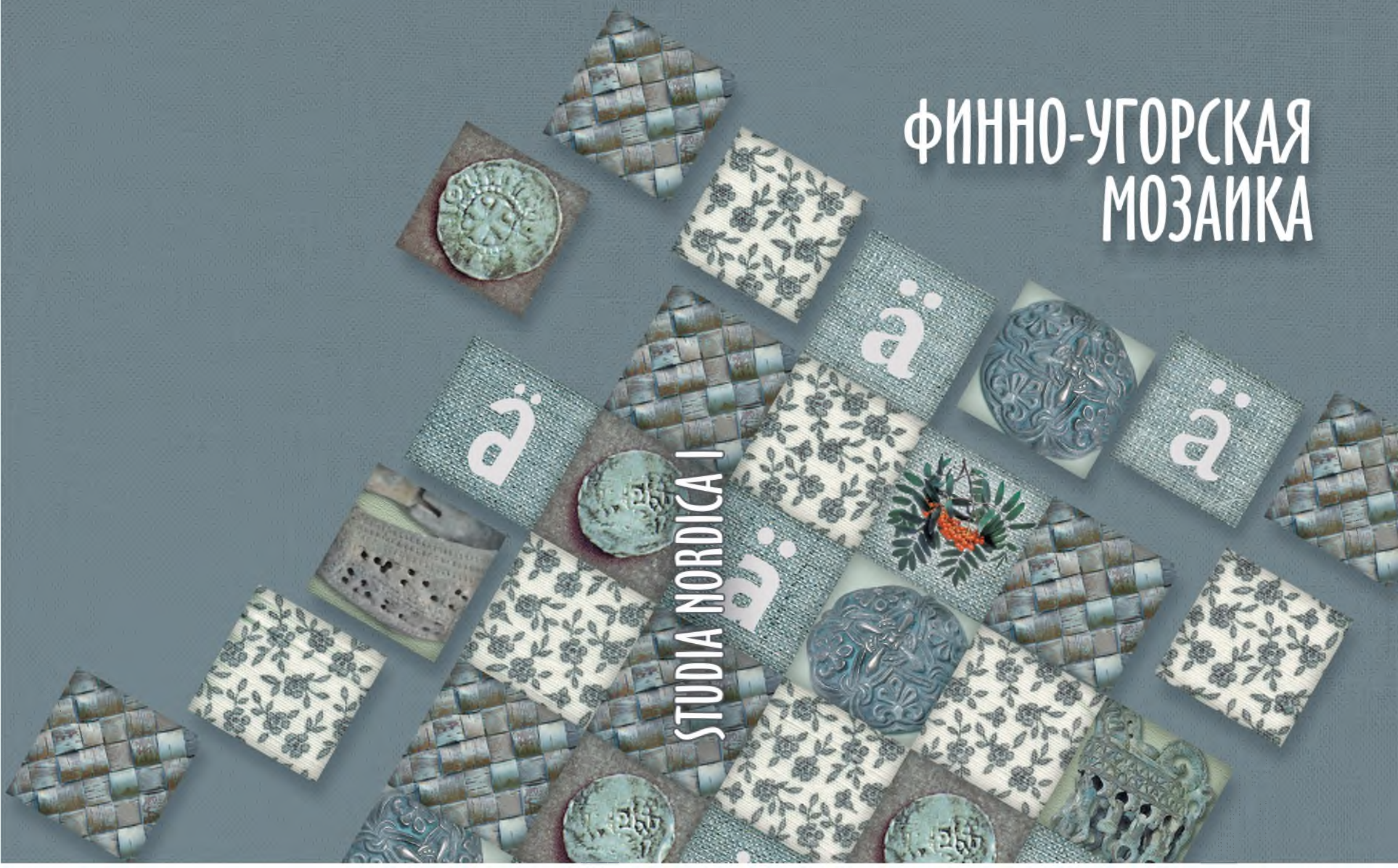


ФИННО-УГОРСКАЯ МОЗАИКА

STUDIO NORDICA I



Карельский научный центр
Российской академии наук
Институт языка, литературы и истории

ФИННО-УГОРСКАЯ МОЗАИКА

СБОРНИК СТАТЕЙ К ЮБИЛЕЮ
ИРМЫ ИВАНОВНЫ МУЛЛОНЕН

STUDIA NORDICA
I

Петрозаводск
2016

УДК 811.511.1 + 39(=511.1)
ББК 81.2
Ф60

Редакционная коллегия:

И. Ю. Винокурова, Н. Г. Зайцева, Е. В. Захарова,
О. П. Илюха (отв. ред.), С. И. Кочкуркина

Рецензенты:

к. и. н. А. П. Конкка, к. ф. н. И. А. Кюршунова

Ф60 Финно-угорская мозаика: сборник статей к юбилею Ирмы Ивановны Муллонен. STUDIA NORDICA I / Отв. ред. О. П. Илюха. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2016. 379 с.

ISBN 978-5-9274-0716-3

В сборник, посвященный юбилею И. И. Муллонен – русского языковеда-ономаста, организатора научных исследований в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН, – включены работы нескольких поколений исследователей, в том числе учеников Ирмы Ивановны, представителей различных направлений гуманитарных наук, прежде всего из Петрозаводска, а также из других городов России и Финляндии.

УДК 811.511.1 + 39(=511.1)
ББК 81.2

ISBN 978-5-9274-0716-3

© Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 2016
© Карельский научный центр РАН, 2016



От составителей

Приступая к подготовке этого сборника, его составители учитывали круг интересов юбиляра, который достаточно широк. Ирма Ивановна Муллонен – доктор филологических наук, профессор, видный российский языковед-ономаст. В поле ее зрения – проблемы финно-угроведения, включая историю, этнографию, языкознание. Географические рамки исследований широки, они выходят за пределы тех впечатляющих границ экспедиционных маршрутов, которые, начиная со студенческих лет, пройдены Ирмой Ивановной.

В списке научных публикаций И. И. Муллонен более 200 работ: монографии, атласы, словари и статьи в самых разных научных изданиях. В них впервые раскрыты закономерности появления и функционирования вепсских географических названий. Основные идеи, сформулированные в монографии «Очерки вепсской топонимии» (1994), были в дальнейшем развиты и получили оформление в докторской диссертации и монографии «Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования» (2002), а также в словаре «Топонимия Заонежья» (2008). Ценность полученных результатов выходит за рамки ономастики, поскольку они по-новому отражают исторические процессы складывания этнической карты Карелии. Эти работы уже оказали влияние на подходы к исследованиям по истории, археологии, этнографии Карелии, придав им междисциплинарную глубину.

Как ученый и организатор науки Ирма Ивановна тесно связала свою жизнь с Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Здесь начался и продолжается ее путь ученого-исследователя, здесь более десяти лет она успешно руководила научным коллективом на посту директора.

Петрозаводская научная школа ономастики, созданная И. И. Муллонен, хорошо известна в России и на Севере Европы. Она пополняется выпускниками аспирантуры ИЯЛИ и Петрозаводского государственного университета. Ученики Ирмы Ивановны сегодня работают в сфере образования и науки как в России, так и в Финляндии, занимаются журналистикой, состоят на государственной службе.

В статьях, вошедших в этот сборник, рассматриваются не только вопросы ономастики. Здесь представлен также широкий спектр «смежных» проблем и «родственных» областей знания. Издание включает работы языковедов, археологов, историков, этнологов, специалистов по музейному и архивному делу. Представлены результаты междисциплинарных исследований по этнической истории, лингвистической географии, истории понятий и культурной антропологии, изложены новые знания в области

фольклора и мифологии, языка и слова, социальных и культурных процессов. В книге собраны работы коллег и друзей юбиляра из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, а также других российских и зарубежных научных центров. В подготовке сборника самое непосредственное участие приняли ученики И. И. Муллонен.

Безусловно, каждый исследователь, работая над статьей, вложил свое отношение к юбиляру, свои чувства: уважение, любовь, восхищение, благодарность. Авторы и составители искренне поздравляют с юбилеем Ирму Ивановну – коллегу, соавтора, наставника и друга и просят принять в дар наш сборник.

РАЗГАДЫВАЯ ТАЙНЫ ОНОМАСТИКИ: К ЮБИЛЕЮ ИРМЫ ИВАНОВНЫ МУЛЛОНЕН

В финно-угорском научном мире имя петрозаводской исследовательницы Ирмы Ивановны Муллонен хорошо известно. Она является создателем карельской ономастической школы, которая в настоящее время, обладая солидным лингвистическим материалом, сосредоточенным в карточках и электронных базах, а также наработками в области теории ономастики, пользуется авторитетом среди исследователей.

И. И. Муллонен родилась 29 января 1956 г. в г. Петрозаводске в семье финнов-ингерманландцев. В семье говорили на родном финском языке, и Ирме Ивановне с детства были привиты те правила жизни и поведения, которые были свойственны именно для прибалтийско-финского мира. Кроме того, ее родители имели четко определенные общественные позиции, которые сделали их заметными фигурами в Петрозаводске. Отец Иван Адамович в конце 1980-х гг. стал основателем и долгие годы руководил Союзом финнов-ингерманландцев, был сторонником не только изучения финского языка как иностранного в школе, но и возрождения культуры общения на нем в семье. Именно он приложил серьезные усилия вместе с единомышленниками, добившись реабилитации родного народа. Мать, профессор филологии Мария Ивановна Муллонен, долгие годы руководила кафедрой финского языка в Петрозаводском государственном университете и пользовалась большой любовью студентов. Родившись в финской семье, Мария Ивановна тем не менее посвятила себя вепсологии. Вместе с другой известной исследовательницей вепского языка Марией Ивановной Зайцевой она посетила в 1960–1970-е гг. практически все уголки вепсской земли. Коллекции сделанных ими магнитофонных записей вепсской речи составляют основу золотого вепсского фонда фонограммархива Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Именно они являются авторами одной из лучших работ российского языкознания по языку вепсов – диалектного «Словаря вепсского языка», вышедшего в свет в 1972 г. и послужившего фундаментом для возрождения вепсского языка в настоящее время. В годы ревитализации вепсского языка и вепсской культуры Мария Ивановна Муллонен стала активным участником Общества вепсской культуры, одним из создателей основ младописьменного языка вепсов, соавтором многих изданных учебников и словарей для школ и вузов.

«Вепские темы и интересы» постоянно культивировались в семье Муллонен, у них в доме собирались активисты вепского возрождения, велись беседы на вепском языке. Это не могло пройти незамеченным и для Ирмы Муллонен. Она совершила свои первые экспедиционные выезды по сбору материала на вепские и карельские территории уже в студенческие годы, став со временем квалифицированным собирателем и знатоком вепского языка и вепской культуры. Сейчас можно утверждать, что, наверное, нет на вепской земле такого уголка, такого поселения, который бы она не посетила. Поскольку она сосредоточила свои научные изыскания на ономастике, то в сферу ее полевых интересов попали и соседние обрусевшие вепские территории, которые сохранили вепское наследие в топонимии (см. карту экспедиционных маршрутов И. И. Муллонен). В настоящее время топонимическая картотека сектора языкознания, где существует отдельная группа топонимистов, руководимая И. И. Муллонен, является одной из самых основательных в России, насчитывая более 300 000 единиц хранения.

Исследование вепской ономастики стало делом жизни Ирмы Ивановны Муллонен. Оно потребовало от нее глубоких познаний в области исторического развития народов и их языков, проекции этих сведений на территорию их сосуществования. Выявление закономерностей сложения и функционирования вепских географических названий является исключительно актуальным и в контексте исследования в целом топонимии Русского Севера с ее мощным прибалтийско-финским субстратом. Между тем вепская топонимия до И. И. Муллонен не становилась объектом специального исследования. Финские лингвисты привлекали вепский материал скорее в качестве дополнительного языкового контекста в процессе широких лингвистических исследований и не ставили задачу специальных ономастических изысканий в этой области.

Свою первую диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук И. И. Муллонен посвятила гидронимии бассейна реки Ояты, которую подготовила под руководством известного карельского лингвиста, специалиста по саамскому языку и топонимике Г. М. Керта, создавшего в Петрозаводске школу по исследованию прибалтийско-финских языков. Защита состоялась на Ученом совете Тартуского университета в 1983 г. В своей первой работе Ирма Ивановна бережно отнеслась к уже сложившемуся в вепской исследовательской практике научному наследию. Она исследовала все первые этимологии, приведенные в работах финских лингвистов XIX–XX вв. А. Алквиста, Э. Н. Сетяля, Э. А. Тункело и др., назвав отдельные из них «блестящими». Идеи же финского лингвиста Я. Калимы, выдвинувшего гипотезу довепского происхождения многих названий в Межозерье, колыбели

вепского народа, получили дальнейшее развитие в исследованиях И. И. Муллонен, где предложен ряд языковых критериев для выявления языка довеппского субстрата.

Сама исследовательница особо ценит свою монографию «Очерки вепской топонимии» (1994), в которой представлены основные закономерности сложения вепской топонимической системы и заложены теоретические основы для ее изучения. Следует подчеркнуть, что в этой работе ей удалось параллельно провести реконструкцию целого ряда утраченных вепских лексем, активно служащих в настоящее время младописьменному вепскому языку. Выявленная в данной работе взаимосвязь между русской топонимной моделью на *-ицы* (Тервеницы, Имоченицы, Валданицы и т. д.) и вепской моделью на *-l* (< **-la*; названия поселений типа Haragl, Muljeil, Nürgoil) позволила исследовательнице восстановить фрагменты древнего вепского именислова, вытесненного ранней христианизацией вепсов.

На основе докторской диссертации, защищенной на Ученом совете Марийского государственного университета в 2000 г., И. И. Муллонен подготовила фундаментальную монографию «Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования» (2002). В ней исследованы механизмы контактирования топонимных систем региона Присвирья, где на разных хронологических срезах происходило активное прибалтийско-финско-русское, вепско-карельское, прибалтийско-финско-саамское взаимодействие. В работе она сумела выявить основные параметры, существенные для характера контактных отношений. Современная этническая карта Присвирья представлена ею как результат поэтапного освоения территории разными этноязыковыми коллективами, сопровождавшегося активным контактированием. На основе реконструкции определенных фонетических особенностей языка носителей довеппской топонимии в работе предложены новые этимологии древних довеппских топонимных основ Обонежья. Высказанные в работе идеи о генезисе доприбалтийско-финского субстрата на Европейском Севере получили в дальнейшем развитие в работах финляндских и российских ономастов.

Широкой читательской аудитории наиболее известна монография исследовательницы «Топонимия Заонежья» (2008), в которой доказывается, что географические названия, доставшиеся нынешнему поколению в наследство от предков, обладают всеми признаками памятников нематериального культурного наследия. В работе приводится расшифровка и одновременно раскрывается этнокультурный контекст более трех сотен топонимов Заонежья, являвшегося на протяжении всего второго тысячелетия н. э. центром притяжения разных этноязыковых потоков. Так, название Онежского озера со значением 'большое', которое может быть квалифицировано как праприбалтийско-финско-саамское (фин. *varhaiskantasuomi*) – память о

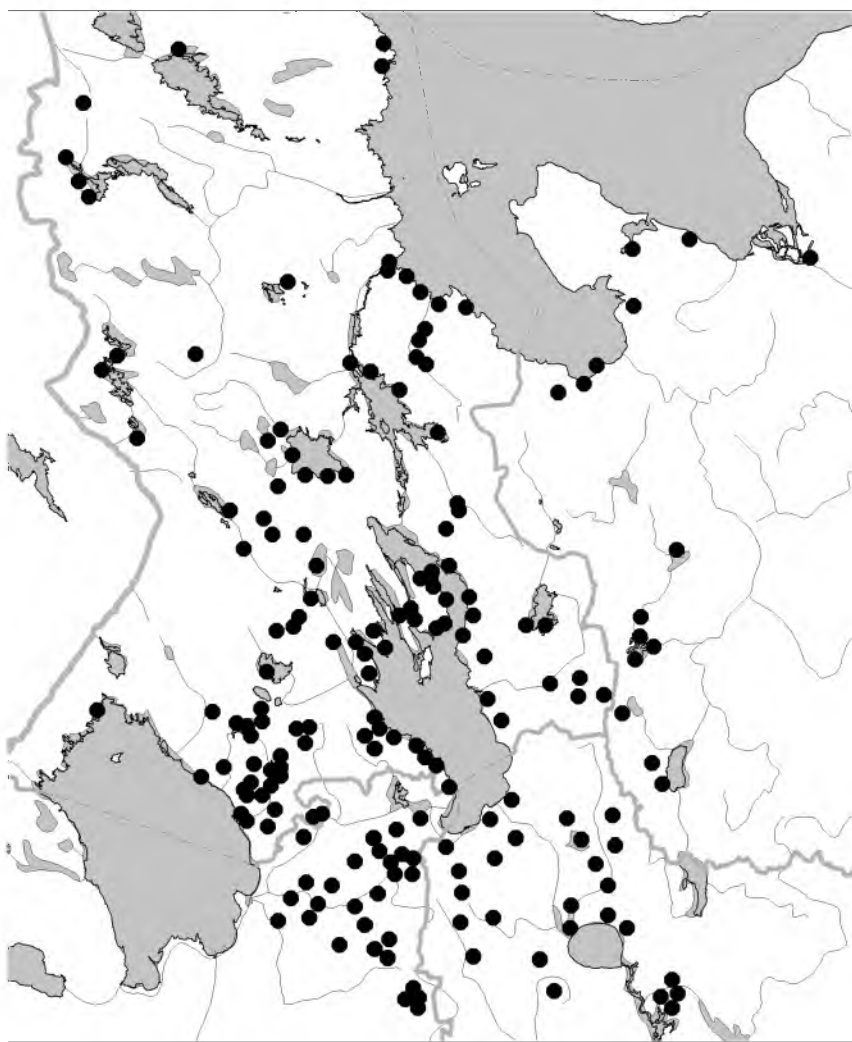
доприбалтийско-финской истории; старинного села Толвуйа (< *Talvoja 'зимний ручей') – след вепсской страницы в истории этой локальной территории; а острова Кижы, восходящего к карельскому слову *kiidžin* 'озерный мох, использующийся при строительстве', доказывает присутствие карелов на этой, теперь русской, территории.

В настоящее время руководимый И. И. Муллонен коллектив завершает работу над проектом «Топонимический атлас Карелии», в ходе выполнения которого получены новые данные о формировании этноязыковой и культурно-исторической карты Карелии. На основе подготовки большого количества топонимических карт (более 70) и анализа ареалов бытования топонимных моделей обозначены границы исторической вепсской территории, прочерчены основные маршруты карельского продвижения на территорию современной Карелии, реконструированы разные по времени и историческому наполнению русские топонимические типы.

Параллельно И. И. Муллонен руководит долгосрочным проектом по созданию геоинформационной аналитической системы «Топонимия Карелии», позволяющей не только создать электронную топонимическую базу, но и связать ее с картой. В результате формируется уникальный ресурс для исследования языковой и этнокультурной истории Карелии. Применение информационных технологий выводит топонимику в Карелии на новый уровень исследования.

С середины 1990-х гг. И. И. Муллонен была одним из основных участников выполняемых под руководством акад. В. П. Орфинского комплексных научных проектов по исследованию истории и культуры Карелии. Серия книг, таких как «Суйсарь: история, быт, культура» (1997), «Деревня Юккогуба и ее округа» (2001), «Панозеро: сердце Беломорской Карелии» (2003); «История и культура Сямозерья» (2008), вышедших по результатам этих исследований, получила как научное, так и общественное признание. Итогом многолетнего сотрудничества с Санкт-Петербургским университетом являются созданные совместными усилиями И. И. Муллонен и профессора А. С. Герда «Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья» (1997) и «Свод топонимов Заонежья» (2013). В целом ею опубликовано более 200 научных трудов, в которых, наряду с исследованиями в области ономастики, плодотворно разрабатываются проблемы этноязыкового контактирования и русской диалектологии в регионе российского Северо-Запада. Следует отметить, что под ее руководством и при ее непосредственном участии подготовлен к изданию уникальный «Словарь живого поморского языка» И. М. Дурова (2011).

И. И. Муллонен создала в Петрозаводске научную школу учеников и единомышленников. Под ее руководством были подготовлены и защищены кандидатские диссертации О. Карловой, Д. Кузьмина, И. Новак, Е. Захаровой.



Карта экспедиционных маршрутов И. И. Муллонен¹

¹ Первая экспедиция с участием И. И. Муллонен, по сведениям фонограммархива ИЯЛИ, состоялась в 1974 г. Карта составлена Н. Л. Шибановой.

И. И. Муллонен совмещает научную и научно-организационную работу с активной преподавательской деятельностью, являясь профессором кафедры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского государственного университета, где читает курсы: «История финского языка», «Введение в финно-угроведение», «Введение в финскую диалектологию», «Ономастика Карелии».

С 2005 г., будучи директором Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, И. И. Муллонен выступала как организатор науки в Карелии, определив во многом ее направления и перспективы, возглавив проведение в Петрозаводске целого ряда международных, российских и региональных научных форумов. Ей принадлежит заслуга в развитии научных контактов с зарубежными коллегами в Финляндии, Эстонии и Норвегии. Финские коллеги избрали ее членом-корреспондентом Финно-угорского общества и Общества финской литературы.

Являясь членом различного рода экспертных советов и коллегий, И. И. Муллонен активно внедряет достижения науки в практику жизни. Идеи возрождения и развития младописьменных языков и культур прибалтийско-финских народов Карелии (карельского и вепсского) находятся в институте постоянно в зоне особого внимания. Она пропагандирует идеи своих научных изысканий о загадках топонимии в СМИ, тем самым возвращая народам Карелии их историческую память и гордость за свой край. Под ее руководством и при ее непосредственном участии сотрудники института ведут постоянную работу по сбору бесценного полевого материала, который позволяет продвинуться в исследовании истории, культуры и языков народов, населяющих и некогда населявших наш край.

Желаем Ирме Ивановне Муллонен крепкого здоровья и дальнейших успехов в исследовательской работе.

***Междисциплинарные
исследования
и научное партнерство***



**«ЗАБЫТЫЕ ТЕКСТЫ»
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ
(1920–1930-е гг.)**

Отличительной чертой корпуса сведений по истории и культуре финно-угорских народов России является то, что значительную часть источниковой базы составляют материалы, датируемые рубежом XIX–XX вв. Именно тогда во многом сложился свод знаний о народной жизни, который принято ассоциировать с традиционной культурой. Хотя следует сразу оговориться, что в этом корпусе возможны свои неожиданные находки. Так, в области этнографического финно-угроведения особый интерес представляют полевые дневники, анкеты, письма и собственно научные произведения 1920–1930-х гг., по разным причинам не ставшие достоянием научной печати, что актуализирует задачу по их выявлению, изучению и публикации [Загребин 2009].

Финно-угорская этнография и советская власть

Внимание к народной культуре восточных финнов и угров в имперский период истории России было обусловлено как рациональным желанием изучить внутренние окраины страны, так и романтическими поисками родства, особо важными для национального строительства западных финно-угров. Появление Советской России создало ситуацию возможности, когда финно-угорская интеллигенция, координируя действия с новыми властями и столичными научными организациями, приступила к изучению своих народов. Ввиду наметившейся кооперации науки и политики, финно-угроведы должны были искать баланс между текстами, отражающими мозаичную картину народной жизни, и официальными отчетами [Загребин, Куликов 2011].

Советские финно-угроведы сохранили, пожалуй, главную особенность «старой школы» – сочетание романтической мотивации с прагматизмом в достижении релевантного результата. С одной стороны, это был «высокий стиль» университетов, академических и музейных центров, столичных и провинциальных научных обществ; с другой – обостренное чувство родины и права народа и одновременно неудовлетворенности существующим порядком, где все близкое и родное пребывало в забвении, невежестве и осмеянии. В большинстве своем эти ученые, выйдя из крестьянской среды, проделали путь, резко отделивший

их от стези молчаливых отцов и приблизивший к новому состоянию – людей говорящих и пишущих. Многим из них было не чуждо литературное творчество, ставшее еще одним инструментом в деле построения здания национальной истории и культуры.

Национально-государственное строительство в населенных финно-угорскими народами областях Советской России нуждалось в научном обосновании законодательных и административных решений. Коренизация управленческого аппарата, проведение границ автономий, взаимоотношения этнических групп и языковая политика стали сферой деятельности этнографов. Довольно скоро вариативность ученых суждений была существенно ограничена. Осложнения возникли уже в 1929 г., когда состоялось совещание этнографов Москвы и Ленинграда, известное выступлениями радикалов от науки [От классиков к марксизму 2014]. Последовавшее затем свертывание этнологии и краеведения вело к тому, что не соответствующие установленным рамкам научные труды замалчивались либо изымались.

Особой страницей в истории раннего советского финно-угроведения были научные контакты местных энтузиастов этнографии с финскими и венгерскими учеными, еще в XIX в. проложившими дорогу к родственным народам России. Инициативы местных «просветителей» находили поддержку со стороны центральных научных учреждений. В течение двух первых советских десятилетий при содействии органов исполнительной власти среди финно-угорских народов работали экспедиции Центрального музея народоведения, Института народов Востока СССР, Института истории материальной культуры. Ученые из московских и ленинградских научных центров не только выполняли научную миссию, но и способствовали укреплению этничности во вновь образованных автономиях. В те годы был собран богатый этнографический и фольклорный материал, лишь частично введенный в научный оборот в силу наметившейся к началу 1930-х гг. тенденции к занижению роли этнических исследований и репрессий по отношению к организаторам науки.

Мрачной страницей в истории советского финно-угроведения было сфабрикованное Нижегородским ОГПУ в 1932–1933 гг. т. н. дело Союза освобождения финских народов (СОФИН) [Куликов 1997]. Практически все финно-угроведы прошли тогда дорогой страданий. Смена политического курса в СССР, сопровождавшаяся постепенным свертыванием национально ориентированных проектов, вела к роспуску краеведческих обществ, минимизации экспедиционной деятельности и гибели многих ученых, научное наследие которых было утрачено либо надежно скрыто.

В поисках крестьянина

Весомым фактором, разумеется, наряду с языковым родством, сближающим финно-угорские этносы, был образ жизни или, лучше сказать, способ хозяйствования, состоявший в подчинении своих интересов, будней и праздников требованиям земледелия (исключение составляли некоторые группы коми и обские угры, живущие преимущественно охотой, рыбной ловлей и оленеводством).

Спектр вопросов, интересовавший советских этнографов, был чрезвычайно широк, но важную часть их изысканий составили явления и факты совсем недавних событий, прежде всего, связанные с Октябрьской революцией 1917 г. Почти сразу определились различные направления поисков, одним из которых была попытка выяснить, как повлияла революция на жизнь простого человека – обычного крестьянина. Подобные задачи ставились многими учреждениями, одним из них был Вятский научно-исследовательский институт краеведения. Работки его сотрудников составили впечатляющий корпус региональных источников. Изданный Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН и Марийским госуниверситетом сборник документов о жизни нерусского крестьянства Вятского края в 1920-х гг. стал важным шагом на пути освоения «забытых текстов» этнографического финно-угроведения [Революция для всех 2008].

Лидером крестьяноведческих исследований тех лет в Камско-Вятском регионе был Павел Николаевич Луппов (1867–1949) – заведующий отделом истории местного края Вятского НИИ краеведения и преподаватель Вятского пединститута им. В. И. Ленина. Научные горизонты П. Н. Луппова не ограничивались вятской историей. Много внимания им уделялось прошлому и настоящему финно-угорских народов края. Тесное сотрудничество с научными сообществами Удмуртии, публикация трудов в Ижевске способствовали тому, что часть его личного архива вошла в состав научно-отраслевого архива УдНИИ (ныне УИИЯЛ УрО РАН). Так, среди бумаг П. Н. Луппова было обнаружено дело, состоящее из заполненных анкет и результатов их первичной обработки в виде сводок. Подробный разбор документов выявил две составляющие, выполненные по собственным тематическим планам. Большая часть архивного тома представлена ответами на программу о пореволюционных изменениях в экономике, социальной и духовной жизни «нацмен», т. е., по терминологии того времени, любых нерусских этносов, совсем не обязательно уступавших по численности русскому населению. Вторая часть дела представлена анкетами, заполненными по условно обозначенной «Программе по собиранию сведений о прошлых временах Вятского края» [Загребин, Иванов 2010].

Экспедиционные тексты и личные истории

При рассмотрении архивных материалов по истории восточнофинского крестьянства 1920-х – начала 1930-х гг. нередко можно встретить тексты (чаще фрагменты), имеющие отношение к экспедиционной деятельности этнографов. Размышления над тем, где и как начинать поисковую деятельность в отношении неопубликованных источников названного круга в определенном временном промежутке, при всех равных и прочих, складывались в некую последовательность: местные архивы – столичные архивы – зарубежные архивы. Именно в такой последовательности строилась работа с рукописным наследием первого профессора-этнографа из числа российских финно-угров Василия Петровича Налимова (1879–1939).

Первоначально коллеги из ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН обнаружили часть рукописи В. П. Налимова, в которой речь шла об удмуртской культуре, причем из текста было ясно, что перед нами оригинальный полевой материал. В истории же удмуртской этнографии таких свидетельств не находилось. Проблема вскоре разрешилась в виде объемистой папки, озаглавленной «В. П. Налимов. Отчет об этнографической экспедиции 1926 года», все это время хранившейся в научно-отраслевом архиве УИИЯЛ УрО РАН. Дальнейший поиск выявил заметки о «налимовской экспедиции» в местной периодике. Начал складываться событийный контекст, на фоне которого проходила экспедиция [Загребин, Шарапов 2010].

Приехав в Ижевск по приглашению Научного общества по изучению Вотского края, с разрешения и при поддержке Обкома ВКП(б), В. П. Налимов со своими спутниками из числа удмуртской интеллигенции побывал у различных групп удмуртов. Мало того, он в короткие сроки подготовил к печати книгу «К познанию удмуртов» и даже заключил договор с издательством на публикацию, но книге не суждено было выйти в свет, поскольку менялись приоритеты советского государства в области национальной политики. Усмотрев в рукописи недостаточную «материалистическую выдержанность», чиновные критики не просто запретили публикацию, они на долгие годы определили ход этнографических исследований, уложив их в прокрустово ложе идеологической догмы. В этой связи возрастает ценность «этнографического архива» В. П. Налимова, представляющего современному читателю «другую этнографию», лишенную осознания теоретико-методологической истины.

Задавшись целью опубликовать материалы В. П. Налимова, мы постепенно пришли к пониманию того, что научное творчество классика коми и финно-угорской этнографии представлено работами статейного типа,

написанными как в дооктябрьский период, так и в раннее советское время наряду с рукописями, отложившимися в личных собраниях, государственных и ведомственных архивах. Особый интерес представлял архив Финно-угорского общества в Хельсинки, в котором находится обширный фонд В. П. Налимова. Одновременно были задействованы документы из личного архива сына ученого, известного математика и философа В. В. Налимова. В результате появился корпус монографии, состоящий из ранее опубликованных трудов этнографа, его же архивных материалов, дополненных статьями участников проекта, по различным аспектам научной жизни В. П. Налимова [Налимов 2010]. Таким образом, удалось не просто ввести в научный оборот новые или хорошо забытые сведения по народной культуре коми, коми-пермяков и удмуртов, но и, по сути, издать книгу памяти репрессированного первопроходца финно-угорской этнографии.

Еще одним направлением проектных исследований, объединяющим региональную финно-угорскую проблематику, стало изучение текстового наследия Восточнофинской экспедиции Центрального музея народоведения, работавшей в 1925–1928 гг. среди мари, удмуртов и мордвы. Ключевой фигурой той экспедиции, ориентированной на изучение культуры, этнической истории и современных преобразований в быте народов Волго-Камья, был Михаил Тимофеевич Маркелов (1899–1939). Мордвин-эрзя по национальности, выпускник Саратовской духовной семинарии и Саратовского университета, в 1924 г. он становится сотрудником Центрального музея народоведения в Москве, возглавив этнологический отряд Восточнофинской экспедиции.

Деятельность М. Т. Маркелова была разносторонней. В 1928 г., когда московские кинематографисты приступили к работе над художественным фильмом «Соперницы», в котором решили показать жизнь удмуртов, он оказал им консультативную помощь. Фильм был оценен как одно из лучших произведений кинематографии того времени. Переломным временем для научного и социального миров этнографа стали летние месяцы 1930, 1931 гг., проведенные в экспедициях к удмуртам. Имея задание выявлять успехи современного хозяйственного строительства в автономной области и пережитки родового строя, т. е. вполне закономерные темы, актуализированные массовой коллективизацией, раскулачиванием и борьбой властей с органом сельского самоуправления удмуртов – *кенешем*, М. Т. Маркелов тем не менее стремился к объективности в своих оценках ситуации. Как следствие – критика подготовленного в результате полевых исследований сборника «Удмурты» [Загребин, Чураков 2012].

В этих условиях логично было предположить, что М. Т. Маркелов издал далеко не всю собранную информацию, пропуская полевые записи через строгую цензуру самосохранения. Предположение оправдалось. В фон-

дах Мордовского объединенного краеведческого музея хранится полевая тетрадь этнографической экспедиции в Удмуртию в 1931 г., копия которой ныне находится в работе на предмет ее полной либо частичной публикации. И таких ожидаемых и неожиданных находок немало. В особенности это касалось рукописей этнографов, репрессированных по делу СОФИН.

Этнографический музей как институт народной культуры

В ходе работы с биографическими материалами эпохи раннего советского финно-угроведения выявился примечательный момент, связавший интересы многих этнографов той поры. Речь идет о создании краеведческих музеев, представляющих культуру местного края. Опираясь на опыт общения с финскими и венгерскими этнографами, активно работавшими над созданием экспозиций, характеризующих жизнь и быт родственных народов России, а также на знания, приобретенные за время учебы в столичных вузах, молодые народоведы взялись за музейное дело. Впрочем, первые удачные опыты собирания этнографических коллекций предпринимались также в предшествующий период преимущественно корреспондентами Русского музея и земскими деятелями.

Замысел «финно-угорского музея» начал приобретать конкретное содержание в ходе экспедиции финского этнографа У. Т. Сирелиуса к пермским народам летом 1907 г. и последующей многолетней переписки с его корреспондентами на местах [Загребин, Шарапов 2008]. Научные стажировки, пройденные в дореволюционные годы в Гельсингфорском университете и Национальном музее Финляндии коми студентом В. П. Налимовым и марийским сельским учителем Т. Е. Евсеевым, сыграли свою роль при создании музеев в Усть-Сысольске (Сыктывкаре) и Царевококшайске (Йошкар-Оле). Не случайно национальные музеи республик Среднего Поволжья и Приуралья стали местами поиска «забытых текстов», прежде всего экспедиционных материалов.

Примером несколько иного рода служит история музея местного края в г. Малмыже Вятской губернии, возникшего благодаря энтузиазму этнографа, историка и археолога М. Г. Худякова. Рукописные труды Малмыжского музея местного края (1923–1926 гг.) представляют собой редкий образец регионального сознания, органично включающего этнически окрашенные материалы, которые без ущерба друг другу раскрывают этнографию края. С Малмыжем оказалась связана исследовательская деятельность удмуртского поэта и этнографа Кузьмы Павловича (Кузубая) Герда (1898–1937), ставшего не только символом пробуждающейся «удмуртскости», но и той личностью, которой суждено было начать строительство «удмуртского музея» как института народной культуры. Учеба в Москве, создание общества по изучению удмуртской культуры «Бöляк», одним из учредителей которого был

профессор МГУ-2 В. П. Налимов, пятнадцать лет назад мечтавший о «зырянском музее», – эти факты, наряду с работой в Центральном музее народоведения и аспирантурой НИИ народов Востока СССР, подготовили его к вступлению в 1926 г. в должность директора областного музея. Пробыв на этом посту всего несколько месяцев, он заложил принципы, на которых и сейчас строится работа Национального музея Удмуртской Республики им. К. Герда [Загребин, Юрпалов 2011].

Некоторые выводы и размышления

Финно-угорские исследования в России к началу 1920-х гг. достигли той стадии, когда ценность народной культуры и значимость ее научного изучения были осознаны самими российскими финно-уграми, когда из среды вчерашних просвещаемых выделились просветители, для которых этнография стала тем средством, с помощью которого можно было заявить о себе научному миру. Можно сказать, что зародившийся тогда интерес к народной культуре и вкупе с нею к музейному делу стал одним из важных стимулов развития этнографического финно-угроведения [Загребин 2014].

Литература

Загребин А. Е. Этнографические материалы 1920–1930-х гг.: к проблеме источников по истории и культуре финно-угорских народов Среднего Поволжья и Приуралья // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 6. С. 254–260.

Загребин А. Е. Этнографическое финно-угроведение в России: динамика научных идей и знаний // Труды Карельского научного центра РАН. Гуманитарные науки. 2014. Вып. 3. С. 3–8.

Загребин А. Е., Иванов А. А. Штрихи к истории крестьянства Урало-Поволжья в первое пореволюционное десятилетие (по новым источникам из НОА УИИЯЛ УрО РАН) // Вестник Удмуртского университета. Серия 5: История и филология. 2010. Вып. 1. С. 46–56.

Загребин А. Е., Куликов К. И. Советское финно-угроведение 1920-х – начала 1930-х гг.: первые действия и противодействия // Проникновение и применение дискурса национальности в России и СССР в конце XVIII – первой половине XX в. Тарту: ЭНМ, 2011. С. 149–163.

Загребин А. Е., Шаранов В. Э. К истории «пермской экспедиции» У. Т. Сиреяуса // Этнографическое обозрение. 2008. № 1. С. 110–117.

Загребин А. Е., Шаранов В. Э. Новые материалы об экспедиции В. П. Налимова в Удмуртию (1926 г.) // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 6. С. 10–14.

Загребин А. Е., Чураков В. С. Вклад М. Т. Маркелова в изучение этнографии удмуртов // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 3. С. 133–139.

Загребин А. Е., Юрпалов А. Ю. Из истории этнографического музееведения: Ижевский музей местного края (1920-е гг.) // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. № 10. С. 4–9.

Куликов К. И. Дело «СОФИИ». Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. 368 с.

Налимов В. П. Очерки по этнографии финно-угорских народов. Ижевск; Сыктывкар: УИИЯЛ УрО РАН; ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2010. 336 с.

От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5–11 апреля 1929 г.) / Под ред. Д. В. Арзютова, С. С. Алымова, Д. Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 511 с.

Революция для всех: Анкеты Вятского научно-исследовательского института краеведения «Влияние революции на быт нацмен (1924–1927 гг.)». Ижевск; Йошкар-Ола: УИИЯЛ УрО РАН; МарГУ, 2008. 500 с.

Светлана Ивановна Кочкуркина

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

АРХЕОЛОГИЯ И ТОПОНИМИКА*

Археология изучает громадный бесписьменный период истории, имея дело с сохранившимися вещественными свидетельствами. Археология – источник знаний о прошлом человечества, о его материальной культуре. Пройдя долгий и сложный путь развития, безымянные охотники и рыболовы в письменных источниках рубежа I–II тыс. н. э. приобрели свои этнонимы – корела, весь, лопь, словене (славяне).

Для изучения периода Средневековья круг источников, в сравнении с периодом каменного века и эпохи железа, существенно расширяется. Помимо археологических материалов, привлекаются глубокие по содержанию письменные источники, данные лингвистики, в том числе и топонимики, этнографии, антропологии. Использование современных естественнонаучных методов (анализ железных изделий и предметов из цветного металла, остатков тканей, глиняной посуды) позволяет исследователям восстановить исторические процессы во всей их сложности и мозаичности деталей, раскрывает многообразный историко-культурный фон.

В статье, учитывая жанр данного сборника, остановлюсь на роли топонимики в освещении археологических проблем. По моему глубокому убеждению, роль топонимической науки при изучении истории народов не подлежит сомнению, хотя надо помнить, что данные топонимии,

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Интерпретация археологических источников в системном изучении древних и средневековых культур Карелии и прилегающих территорий», № 0225-2014-0014.

в сравнении с археологическими данными, не в состоянии датировать то или иное явление, но они могут установить последовательность смены топонимных моделей, реконструировать языковую принадлежность исчезнувших коллективов. Географические названия помогают выяснить территорию расселения народов, пути их передвижения, взаимоотношения с соседями, особенности хозяйственной деятельности. И еще хочу отметить, что в ИЯЛИ КарНЦ РАН не одно десятилетие продолжается творческое содружество археологов и топонимистов, результаты которого опубликованы в ряде монографий, очерков и статей.

Карельская топонимия давно стала объектом исследования финляндских специалистов. В. Ниссиля на основе коллекции карельских топонимов (325000 единиц), хранящихся в Топонимическом архиве Финляндии, создал обобщающий труд о топонимии исторической финляндской Карелии – Карельского перешейка, бассейна Вуоксы, Северо-Западного Приладожья [Nissilä 1975]. В свою очередь, материалы топонимической картотеки Карелии и сопредельных областей (хранятся в ИЯЛИ КарНЦ РАН) дали возможность отразить некоторые процессы освоения карельским населением территории современной Карелии, выявить пути его продвижения на эту территорию, формирование сети поселений и т. д.

Исследование В. Ниссиля [Nissilä 1975] показывает, что фундамент топонимии Северо-Западного Приладожья составляют карельские названия, но в значительной степени финнизированные в результате известных исторических событий. Наиболее древними на этой территории являются саамские топонимы. Именно саамы дали названия многим важным природным объектам. Что же касается славянского и скандинавского присутствия в этом регионе, то топонимия не дает однозначного ответа. Славяно-русское влияние на местное карельское сообщество, безусловно, представлено целым рядом заимствованных лексем, при этом в массе своей поздних. Некоторые из них – уже как факт карельского языка – закрепились в топонимии. Следует признать, что проблема прямого древнерусского присутствия через отражение его в топонимии практически не ставилась. Топонимы, в которых закрепились русские заимствования, отражают вхождение территории Карельского перешейка в сферу древнерусского административного устройства. Наиболее убедительны в этом смысле названия мест, в которых представлены термины, связанные с наименованиями типов поселений: *pogosta* (погост), *lopotti* (слобода), *korotiisa* (городище), *possada* (посад). Раннее вхождение карелов перешейка в зону древнерусского этноязыкового и историко-культурного воздействия демонстрируют топонимы, образованные от православных личных имен.

Следы прямого скандинавского присутствия в топонимии древнего карельского ареала немногочисленны. Такие названия, как *Tamma-Karjala*, *Кобылицкая корела* русских летописей (1338 г.), по мнению В. Ниссиля [Nissilä 1975], происходят от шведского апеллятива *tam* 'прирученный' (готланд. *tamhäst*, *tamruss*). На Карельском перешейке в погосте Рауту зафиксированы три деревни с таким наименованием. Древнескандинавскими названиями являются *Viipuri*, швед. *Viborg* (древнешвед. *Vi* 'святой', *borg* 'древняя крепость', *Björkö* 'березняк, березовая роща', имеющее фризские корни), *Vatnuori*, *Vatikivi* (сканд. *vattu* 'вода', *nor* 'узкий залив', финское *kivi* 'камень'), *Kivennapa* (сканд. *kivo näb* 'бревенчатое укрепление'). При этом следует иметь в виду, считает И. И. Муллонен, что большинство названий, образованных от антропонимов, имеющих скандинавские корни, восходят уже ко времени активной финнизации территории. Кроме того, требует специального исследования вопрос о возможности бытования в среде местного карельского населения наряду с русскими и скандинавских имен.

Скандинавы появились в Северо-Западном Приладожье тогда, когда оно уже было заселено прибалтийско-финским населением, но не создали здесь, в отличие от юго-западной Финляндии, устойчивой сети постоянных поселений, что является необходимым условием рождения системы топонимов. При этом в топонимии Северо-Западного Приладожья представлен широкий спектр этнонимов. Наряду с *vepsä* (вепсы) и *karjala* (корела), есть *lappi* (лопь, саамы), *tsuud*, *tsuhna* (чудь, чухна), *häme* (емь, хяме), *savo* (саво), *inkeri* (ижора), *viro*, *eesti* (эстонцы). Понятно, что эти топонимы имеют разный возраст. Наиболее древние из них возникли в те далекие времена, когда добыча пушнины влекла людей различной этнической принадлежности в отдаленные лесные районы. Наличие этнонима *karjala* на древнекарельской этнической территории можно объяснить тем, что карелы проживали среди иноэтничного окружения, которое и назвало их соответствующим именем. Топонимы с *Suomen-* и *Viro-* встречаются в основном в южной части Северо-Западного Приладожья, а топонимы с *Lapin-* редки на Карельском перешейке, но севернее они встречаются часто [Мамонтова, Кочуркина 1982]. Концентрация топонимов с основой *veps-*, обнаруженная в северной части Карельского перешейка, в приграничье с Финляндией, не поддается на сегодняшний день удовлетворительной этноисторической интерпретации [Муллонен 1994: 134].

У исследователей нет сомнений, что Карельский перешеек с северо-западными берегами Ладожского озера до северо-восточных берегов Финского залива с городом Корела являлся племенным центром. Этот вывод хорошо согласуется с топонимическими данными. Древнерусские летописи, берестяные грамоты довольно четко определяют

территориальные границы корелы. Спорным для археологов остается вопрос о включении Миккельских озер (территория восточной Финляндии) в древнекарельский ареал. Взгляды исследователей колеблются от признания культуры Миккельских озер карельской до полного отрицания этого мнения. Остановились на взвешенной, по моему мнению, компромиссной точке зрения, признающей не только древнекарельское влияние на культуру Саво, но и присутствие на этой территории самих древних карелов (подробнее см.: [Кочкуркина 2011: 102]).

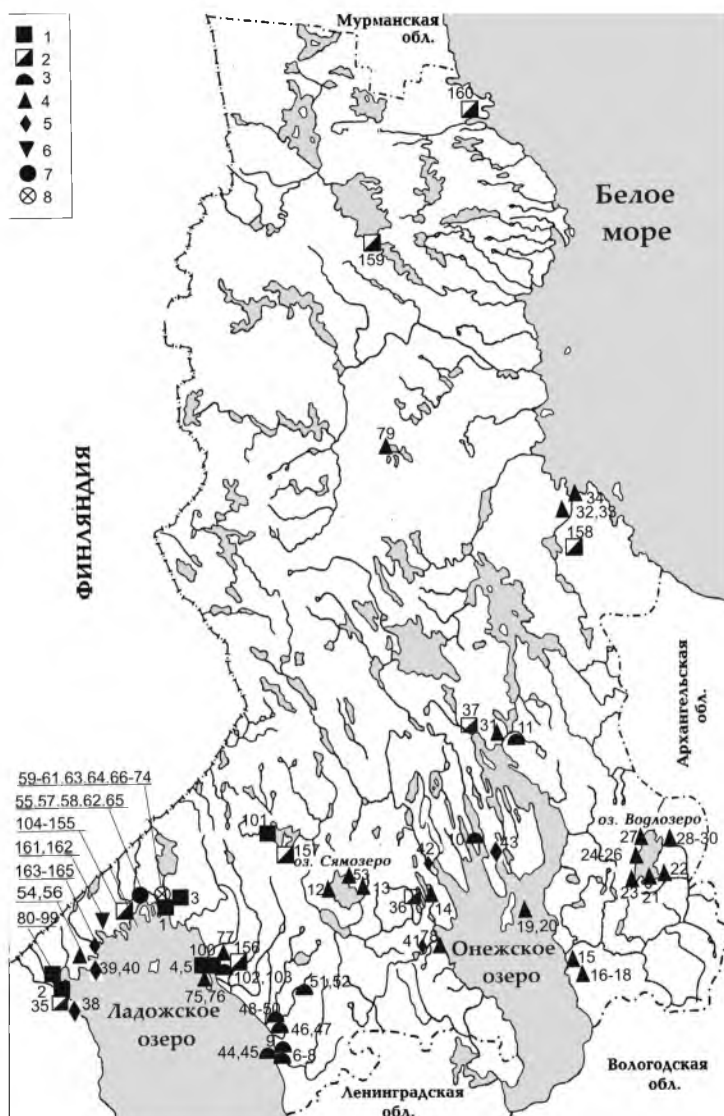
Исторические, лингвистические, антропологические и археологические материалы, без сомнения, свидетельствуют не только о схожести культур Саво и Приладожской Карелии, объясняемой культурными заимствованиями, но и о едином этническом регионе, изначально карельском. Языковой материал однозначно подтверждает то, что восточные говоры финского языка – саво и юго-восточный – сформировались на основе древнекарельского языка. Не менее показательны и собственно топонимические данные. Оказалось, что ареалы целого ряда топонимных моделей, идентифицируемых как карельские, простираются из Северо-Западного Приладожья на северо-запад, в район Сайменских озер [Kuzmin 2014]. Э. Кивиниеми, к примеру, связывает возникновение модели *Törisevä- / Törisijä-* ‘журчащий’ [Kiviniemi 1971: 79] с карельской экспансией периода расцвета древнекарельской культуры, распространившейся на обширные северные и северо-западные, относительно Приладожья, территории, а также – до Онежского озера на востоке. Карельские топонимные типы в районе Миккельских озер свидетельствуют о переселении древних карелов на будущие южносаволакские территории, богатые промысловыми животными, начиная с первых веков II тыс. н. э. Полагают, что с этого времени можно говорить о формировании племени саволаков [Pirinen 1988: 356]. Однако территориальная удаленность, другое окружение, политические акции (Ореховецкий договор) привели к изоляции населения Саво, попавшего под власть Швеции. Усиление потока переселенцев из западной Финляндии в конце XIII в. способствовало распространению западных традиций, восточная граница которых большей частью соответствовала государственной границе по Ореховецкому договору.

Таким образом, выводы, сделанные на археологическом материале, который свидетельствует не только о схожести культур Саво и Приладожской Карелии, объясняемой культурными заимствованиями, но и о едином этническом регионе, подтверждаются широкими лингвистическими данными. Более того, топонимические исследования последнего времени выявили явные следы притока саволаков из Саво в Карелию, происходившего в XVI–XVII вв. [Кузьмин 2011].

Районом расселения веси считается Юго-Восточное Приладожье, хотя древнерусские летописи об этом не упоминают. Такая точка зрения зиждется главным образом на лингвистических и топонимических материалах. Подтверждается она и тем, что потомки веси – современные вепсы – до сих пор проживают в этом регионе. Но, поскольку археологические памятники Белозерья и Приладожья не идентичны, некоторые исследователи предположили, что они были заселены различными группами прибалтийско-финского населения: весью и чудью [Кирпичников 1987: 101–111]. Топонимические исследования, вероятно, тоже указывают на такую возможность. Дело в том, что собственно вепские топонимные модели появляются в Белозерье поздно (можно с осторожностью говорить о XIV–XV вв.); они представлены микротопонимами и сосредоточены главным образом в его северо-западной части. В контексте слабого представительства этнонима *vepsä* в прибалтийско-финских языках, а также в вепских говорах есть основания полагать, что *весь* рубежа I–II тыс. – это довепское население, растворившееся позднее в составе прибалтийско-финского вепского населения Межозерья и передавшее ему свой этноним [Муллонен 2003].

Древности X–XIII вв. в Юго-Восточном Приладожье, за исключением поселения на р. Сясь и селищ, кладов монет, однородны и представлены курганами. При этом топонимический материал убедительным образом подтверждает прибалтийско-финскую принадлежность создателей культуры курганов. Оказалось, что ареал топонимов т. н. *-/-овой* модели, которые зафиксированы уже в приписке к Уставу Святослава XIII в., накладывается на ареал археологической курганной культуры Юго-Восточного Приладожья; совпадение отмечено как в южном Присвирье, так и на северных рубежах ареала – в северном Обонежье [Муллонен 1994, 2002: 81–98].

В южной Карелии, помимо курганов у селений Кокорино и Чёлмужи, по берегам Онежского озера известно около 30 поселений с лепной посудой, характерной для приладожских курганов, а также несколько грунтовых погребений. Датируются они в основном X–XI вв. Это небольшие по площади поселения со следами очагов, иногда горнов, с остатками построек. Находки немногочисленны: орудия труда, предметы украшений, стеклянные и пастовые бусины. Определить их этническую принадлежность пока не представляется возможным. Но косвенные свидетельства – наличие керамики приладожского типа, концентрация поселений в древневепском ареале – дают возможность предположить, что эти памятники оставлены выходцами из Приладожья (см. карту-схему).



Памятники XII–XIV вв:

1 – могилы и могильники; 2 – случайные находки; 3 – курганы; 4 – поселения;
 5 – клады; 6 – «жертвенники»; 7 – городища; 8 – городища-убежища;
 1–160 – номера памятников

Показательно, что модель ойконимов (наименований поселений) -/-ового типа, которая маркирует территорию наиболее раннего земледельческого освоения, отсутствует на восточной окраине реконструированного по данным топонимии исторического вепсского ареала [Муллонен 2012] – в восточном Обонежье. При этом здесь лучше сохранилась древняя довепсская топонимия, в меньшей степени, чем в Присвирье, перекрытая собственно вепским пластом названий. Это согласуется с данными археологии.

В восточной части Карелии, в бассейне Онежского озера и Белого моря зафиксированы памятники многократного заселения: от мезолита до Средневековья. Более или менее долговременных раннесредневековых поселений не найдено. Этнокультурная принадлежность этих памятников по-прежнему остается спорной. По всей вероятности, бассейн Онежского озера и Белого моря в X–XI вв. освоили промысловики (охота, рыболовство, выплавка железа в примитивных горнах), этническая принадлежность которых может быть определена в общих чертах как прибалтийско-финская без каких-либо специфических черт и особенностей материальной культуры, а также в некоторой степени и древнесаамская. К сожалению, из незначительного археологического материала извлечь детальную информацию о жизнедеятельности населения пока не представляется возможным.

Кроме того, топонимические исследования показали, что в юго-восточном Обонежье присутствует поволжское влияние, выразившееся в распространении названий некоторых рек и крупных озер, в то время как прибалтийско-финскими топонимами обозначены незначительные объекты [Захарова 2015]. Поволжское влияние отразилось в археологических находках: некоторых типах украшений и орнаментации глиняной посуды. Эта территория испытала активное освоение со стороны соседних юго-восточных районов.

Такая картина согласуется в целом с теми представлениями о формировании прибалтийско-финских и саамских языков, которые получают признание в науке в самое последнее время. Высказана мысль о бытовании особой западной ветви уральского праязыка, общего предка мордовских, саамских и прибалтийско-финских языков. Образование на его основе саамских языков в результате поглощения предшествовавшего (условно палеоевропейского) языкового элемента, а также прибалтийско-финских языков в ходе активных германских контактов происходило в регионе, тяготеющем к Финскому заливу и Ладожскому озеру. Восточнее же – в Обонежье, Белозерье, Поморье, очевидно, формировались на базе названного западного уральского праязыка свои особые этноязыковые коллективы, которые к тому же подпитывались с юга и юго-востока поволжским влиянием [Saarikivi 2014; Муллонен, Захарова, Макарова 2016].

В этом контексте новые перспективы для взаимодействия археологии и лингвистики – прежде всего топонимики – открываются в реконструкции саамского периода в истории Карелии. Без сомнения, саамы были древними жителями Карелии, оставившими после себя разрушенные ареалы саамских топонимных моделей. Их количество возрастает по мере продвижения с юга Карелии на север, в регион Поморья и Беломорской Карелии, где саамский пласт географических названий в силу относительно позднего карельского и русского освоения сохранился лучше [Kuzmin 2013]. При этом современный анализ саамского наследия в топонимии Карелии позволяет скорректировать и сблизить позиции археологии и языкознания на этническую историю саамов. Картографирование саамских моделей показало, что их ареал, вопреки прежним представлениям, согласно которым саамы занимали территорию от Скандинавии до Коми Республики, а на юге до Верхнего Поволжья, вовсе не был таким обширным. Скорее всего, формирование саамов происходило на территории Карелии и Финляндии в ходе наложения финно-угорского или, в современной терминологии, западноуральского населения на местное палеоевропейское (в смысле языка). Именно здесь в топонимии представлены оба пласта саамского языка – западноуральский и палеоевропейский, в то время как за юго-восточными пределами Обонежья древний дофинно-угорский пласт, принципиально важный для характеристики саамского языка, отсутствует [Saarikivi 2006; Муллонен 2011: 20–21]. Прежние исследования квалифицировали как собственно саамский тот западноуральский компонент, который является в саамском языке общим с другими финно-угорскими языками праязыковым наследием.

Топонимия позволяет уточнить и развить известные современной науке представления о формировании русской Карелии. Наиболее мощный топонимный славяно-русский пласт отмечен на всей древневепсской территории, хотя характер взаимоотношений вепсов и русских протекал не везде одинаково. Согласно топонимическим свидетельствам, можно говорить о массовом вторжении русских в иноязычную среду и усвоении ими местных названий в западных и южных частях вепсского ареала. На остальной территории засвидетельствовано появление двуязычия местного прибалтийско-финского населения и его постепенное обрусение [Муллонен 2002: 325–330]. Ареал русских топонимов фиксирует водный путь, по которому русские продвигались в Карелию – по р. Свирь в Онежское озеро, затем по р. Водле на восток или через Выгозеро и р. Выг в Поморье. Вдоль этих путей сформировались этнолокальные группы русских – поморы, заонежане, водлозеры, выгозеры, которые при всей своей общности отличались особенностями

ми материальной культуры и языка [Муллонен 2011: 427]. При этом сохранение здесь мощного прибалтийско-финского компонента на всех языковых уровнях, а также в топонимии свидетельствует о том, что традиционное русское население Карелии сформировалось в значительной степени в результате обрусения местных вепсов и карелов.

В заключительной части статьи приведу сюжет, связанный с исследованием Олонецкой крепости. В основу изучения Олонецкого края и крепости Олонец (карел. *Anuksen linnu*) положены археологические и топонимические исследования [Мамонтова 2011].

Для археологов было интересно проверить название поля *Linnanpeldo*, происходящее от слова *linnu* ‘город’, а в более раннем значении – ‘крепость’. Жители близлежащей д. Антула рассказывали, что еще не так давно на нем находили какие-то мечи, украшения, что свидетельствует о древних захоронениях. Об этом же писал В. Ягодкин в книге «Из прошлого Олонецкого края», изданной в 1918 г. в Петрозаводске: «Подле же устья реки Олонки, в одной версте от впадения ее в озеро, видны останки земляных продолговатых насыпей, которые можно признать за старинные валы и окопы. Около них можно встретить много человеческих костей, а в земле попадаются иногда шпоры, конские удила, железные трубки и другие вещи. По народному преданию, здесь было “поле битвы”» [Мамонтова 2011: 143]. К сожалению, археологические поиски не увенчались успехом.

Олонец впервые упомянут в приписке к Уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича. Сама грамота датируется 1136/1137 г., поэтому долгое время возникновение поселения относили к XII в. Однако сейчас можно считать доказанным, что приписка, в которой упомянут Олонец, датируется XIII в. В русских летописях [НПЛ: 89] Олонец упомянут в 1228 г., когда отряды еми на лодках появились в Ладожском озере. Узнав об этом, новгородцы с князем Ярославом как будто бы собрались дать отпор неприятелю, но простояли в Неве несколько дней, собрали вече и, ничего не предприняв, возвратились в Новгород. Иначе поступил ладожский посадник Владислав вместе с жителями г. Ладоги. Под их ударами часть еми отступила к Олонцу и Исадам. Таким образом, о существовании Олонца в XIII в. рассказывают два независимых источника. Однако многолетние археологические раскопки на территории Олонецкой крепости слоев XIII в. не выявили.

С Олонцом отождествлялся упомянутый в «Саге о Хальвдане, сыне Эйстейна» Алаборг. Сага, датирующаяся концом XIV – началом XV в., относится к числу приключенческих в древнескандинавской письменности. Наряду с мифическими деталями, она излагает вполне

достоверные исторические события и некоторые историко-географические сведения, не встречающиеся в других источниках, в частности о городе Алаборге (семь упоминаний). Сообщается, что городом правил «большой герой» ярл Скули; после него титул ярла и город с окрестностями получил Ульвкелль, побратим Хальвдана [Древнерусские города в древнескандинавской письменности 1987: 161–165]. Попытки соотнести топоним Алаборг с конкретным городом предпринимались давно. В качестве вероятного местоположения назывались Белое море, Приладожье, Онежское озеро и одно из поселений вблизи г. Олонца [Глазырина 1984: 207–208]. Однако эта точка зрения не была поддержана исследователями [Джаксон, Мачинский 1989: 132].

Первые оборонительные сооружения на территории Рождественского погоста появились лишь в начале XVII в. в связи с нападением отрядов черкас и «немецких людей». Известно, что осенью 1613 г. Олонецкий острожек уже был построен. Это событие подробно изложено в отписке воеводы Федора Плещеева о присылке к нему взятых казаками пленных в бою в Олонце и об отсылке их в Москву. Сейчас точное расположение этого, а может быть, и другого, видимо, небольшого острожка, служившего защитой для местного населения, неизвестно, но вопрос о предшественнике Олонецкой крепости, как и предшественниках древнерусских городов, – традиционно дискуссионный в научной литературе. Не является исключением и Олонец. Одно из таких предположений мы проверили.

Примерно в 8–9 км от г. Олонца ниже по течению, при впадении р. Туксы в р. Олонку, имеется подтреугольной формы мыс, отвечающий всем традиционным требованиям, предъявляемым при сооружении оборонительных комплексов эпохи Средневековья. Более того, с внутренней стороны широкая часть мыса окружена хорошо сохранившимся до сих пор дугообразной формы глубоким рвом, соединяющим обе реки. Вполне возможно, что это была своего рода гавань, в которой могли укрыться небольшие суда. Особенности микротопографии таковы, что внезапное появление неприятеля полностью исключалось, поскольку мыс «запирал» вход. Аналогична по топографическим особенностям более поздняя Олонецкая крепость. Не с этим ли местом связана легенда о набеге шведов на Олонец? Шведы, намереваясь напасть на город, расположились в устье р. Олонки, но приняли еловую рощу в д. Горка Ильинского погоста за величайшее войско и, испугавшись, повернули обратно, разворотив при этом часть берега (это место в переводе с карельского *Laivankienälmüs* означает «поворот корабля» [Мамонтова 2011: 143]). Так это или нет, археологическими раскопками ни опровергнуть, ни подтвердить не удалось, поскольку мыс занят современным кладбищем.

Взаимодействие археологии и топонимики при решении исследовательских задач в области историко-культурного наследия, как видим, конструктивно и перспективно. Между тем надо иметь в виду, что археологические и топонимические ареалы не всегда совпадают, поскольку речь идет о различных видах источников. Выявление археологических памятников и их изучение зависят от многих субъективных обстоятельств, связанных с их поиском и сохранностью, возможностями источниковедческого анализа. В этом смысле топонимический материал более системен. Достоверность топонимической информации обеспечивается массовостью, устойчивостью во времени и формульностью (образование топонимов по строгим законам или формулам) топонимии, в соответствии с которой каждое географическое название создается и функционирует как часть системы. Современные исследования значительно продвинулись в раскрытии закономерностей образования и функционирования топонимов, что позволяет использовать их в качестве надежного источника для исследования этнокультурного, исторического и языкового наследия территории.

Литература

Герд А. С. Исторические границы и ареалы Обонежья по данным разных гуманитарных наук // Очерки исторической географии. СПб., 2001. С. 409–416.

Глазырина Г. В. Alaborg «Саги о Хальвдане, сыне Эйстейна»: К истории Русского Севера // Древнейшие государства на территории СССР: 1983 год. М., 1984. С. 200–208.

Джаксон Т. Н., Мачинский Д. А. «Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна» как источник по истории и географии Северной Руси и сопредельных областей в IX–XI вв. // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1989. С. 128–145.

Древнерусские города в древнескандинавской письменности. М., 1987. 206 с.

Захарова Е. В. Интеграция субстратных прибалтийско-финских топонимов в русскую топонимическую систему Восточного Обонежья: дис. ... канд. филол. наук. Петрозаводск, 2015.

Кирпичников А. Н. Ладога и Ладожская земля VIII–XIII вв. // Тр. Пятого международного конгресса славянской археологии. М., 1987. С. 101–111.

Кочуркина С. И. История и культура народов Карелии и их соседей. Петрозаводск, 2011. 240 с.

Кузьмин Д. В. Наследие саволаксов в топонимии Карелии // Труды Карельского научного центра РАН. № 6. Серия: Гуманитарные исследования. Вып. 2. 2011. С. 45–56.

Мамонтова Н. Н. Топонимия Олонецкого края // Древний Олонец. Петрозаводск, 2011. С. 125–148.

Мамонтова Н. Н., Кочуркина С. И. О топонимии Северо-Западного Приладожья и сопредельных районов // Древняя карелия. Л., 1982. С. 180–185.

- Муллерен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб., 1994. 156 с.
- Муллерен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск, 2002. 356 с.
- Муллерен И. И. Территория расселения и этнонимы вепсов в XIX–XX вв. // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 342–348.
- Муллерен И. И. Исторические топонимы в контексте этнокультурного наследия Карелии // IX Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докладов. Петрозаводск, 4–8 июля 2011 г. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. С. 19–23.
- Муллерен И. И. Природные и культурные факторы формирования вепсской этнической территории // Тр. КарНЦ РАН. Серия: Гуманитарные исследования. Вып. 3. Петрозаводск, 2012. С. 13–24.
- Муллерен И. И. Формирование диалектной карты карельского языка // Истоки Карелии. Петрозаводск, 2015. С. 149–167.
- Муллерен И. И., Захарова Е. В., Макарова А. А. В поисках топонимических границ в Белозерье // Вопросы ономастики. № 1 (20). Екатеринбург, 2016. С. 7–29.
- Современная наука о вепсах: достижения и перспективы. Петрозаводск, 2006. 420 с.
- Kiviniemi E. Suomen partisiippinimistöä. Ensimmäisen partisiipin sisältävät henkilön- ja paikkanimet. Helsinki, 1971. 307 s.
- Kuzmin D. Saamelainen asutus Karjalassa // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 94. Helsinki, 2013. S. 69–123.
- Kuzmin D. Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. Helsinki, 2014.
- Nissilä V. Suomen Karjalan nimistö. Joensuu, 1975. 382 s.
- Pirinen K. Savon keskiaika // Savon historia. V. 1. Kuopio, 1988. 356 s.
- Saarikivi J. Substrata Uralica: Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Tartu: Tartu University Press, 2006.
- Saarikivi J. Reconstruction of culture and ethnicity. Remarks on the methodology of historical-comparative linguistics (on the basis of Western Uralic languages) // New Focus on Retrospective Methods. Ed. Eldar Heide & Karen Bek-Pedersen. FF Communications 307. Helsinki: Academia Scientiarum Fennicae, 2014.

Александр Владимирович Толстиков
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск

БОЯРЕ ПО-ШВЕДСКИ: ПОНЯТИЕ *BAJOR* В ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ XVI–XVII вв.*

Петербургские балы блистательны всегда, но этот – блистателен вдвойне: по случаю свадьбы в город съехались полчища гостей – полсы, камергеры, бояре... академики, офицеры гвардии, провинциальная знать, патриархи и архимандриты, еще бояре...

Малькольм Брэдбери

Судя по приведенной цитате из известного романа М. Брэдбери «В Эрмитаж!» (2000), одна из основных сюжетных линий которого связана с поездкой Дидро в Петербург, бояре до сих пор настолько сильно ассоциируются с Россией, что способны оказаться элементом ее социального ландшафта даже екатерининской эпохи. Что уж говорить о России допетровской, применительно к которой бояр можно, по-видимому, считать чем-то вроде бренда. Не случайно слова, восходящие к русскому *боярин*: *boyar*, *Bojar*, *boyard*, *boiardo* и т. д., встречаются чуть ли не во всех европейских языках и притом, по меньшей мере в Западной Европе, устойчиво связываются в первую очередь с Россией¹. Между тем история заимствования этого и других социально-политических терминов отнюдь не всегда проста и очевидна, а перенимание чужого слова не обязательно означало усвоение соответствующего понятия – скорее наоборот. Когда речь заходит об отражении в языке процесса межкультурного взаимодействия, возникающие при таком «переводе» семантические сдвиги оказываются очень важными, поскольку именно в них ярче всего высвечиваются различия между культурами и обстоятельства их контактов друг с другом. В то же время подобного рода семантический сдвиг может оказаться не столько результатом искажения, неадекватного восприятия реалий иной культуры, сколько актуализацией тех аспектов значения изучаемого слова в языке-источнике, которые не всегда заметны с первого взгляда.

* Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ (подпроект МНОЦ «Fennica»). Настоящий текст является расширенной и существенно дополненной версией ранее опубликованной статьи [Толстиков 2010]. Изначально он готовился для совсем другого издания, которое так и не увидело свет. Зато теперь мне очень приятно, что он выходит именно в сборнике в честь И. И. Муллонен, поскольку личным знакомством с ней я обязан как раз этой работе. Пользуюсь случаем выразить Ирме Ивановне свою искреннюю признательность за помощь и поддержку. Кроме того, хочу также поблагодарить А. А. Гиппиуса, А. В. Голубева, К. А. Левинсона, П. В. Лукина, А. Н. Маслова, И. Майер, А. Пересветова-Мурата и П. С. Стефановича.

¹ Подчеркну, что вопрос о румынских боярах я здесь оставляю в стороне.

Любопытным примером в этом отношении является история понятия *bajor* в ранненовошведском¹ языке. В ней отразились как некоторые общие черты заимствования русского *боярин* в ряде европейских языков, так и специфические черты, связанные с особенностями российско-шведских контактов в XVI–XVII вв. Не претендуя на то, чтобы дать однозначные ответы на все возникающие при этом вопросы, я попытаюсь в настоящей статье обрисовать языковой и культурный контекст, в котором рождалось указанное понятие.

Слово *боярин* в русском языке известно с древности. Этимология его до конца не ясна, хотя, кажется, большинство специалистов склоняется в пользу тюркского происхождения [Фасмер 1996: 203–204; Черных 1999: 106]. Скандинавская этимология, в поддержку которой недавно выступил Ю. А. Клейнер [Клейнер 2007: 103–108], менее убедительна, поскольку она не объясняет бытования термина у протоболгар. У слова *боярин* «Словарь русского языка XI–XVII вв.» фиксирует пять значений: 1. ‘старший дружинник, советник князя’; 2. ‘феодал-землевладелец’; 3. ‘высший служебный чин в Русском государстве XV–XVII вв., а также лицо, пожалованное этим чином’; 4. ‘вельможа, знатный и богатый сановник (при дворе западноевропейских государей)’; 5. ‘все гости на свадьбе (мн. ч.)’ [СРЯ: 307–309]. В новейшем «Словаре обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.» находим практически тот же спектр значений (за исключением самого первого, очевидно, неактуального для обиходного языка указанного времени): 1. ‘лицо, принадлежащее к наследственной аристократии’; с XVI в. – ‘представитель высшего служилого сословия’; 2. ‘феодал, владелец крепостных’; 3. ‘сановник при дворе европейских государей и восточных правителей’; 4. ‘гости на свадьбе (мн. ч.)’ [СОРЯ: 256–258].

Слово *bajor* (*bayor*, *bajior*) впервые встречается в позднем древнешведском языке, в конце XV – начале XVI в. И сначала тоже, кажется, употребляется в значении ‘представитель высшего слоя российской знати’. Вероятно, самый ранний пример относится к 1482 г.: в тексте договора между Швецией и Новгородом (заключенного «по воле» Ивана III и его сына Ивана Ивановича) при конкретизации понятия «Великий Новгород» вместе с простыми горожанами и купцами упоминаются также *the bajiorer* [ST: 360]². То, что речь здесь идет о знати, доказывается, в част-

¹ Границей между поздним древнешведским и ранненовошведским традиционно считают 1520-е гг. (в 1526 г. был напечатан шведский перевод Нового Завета).

² Впрочем, текст здесь приводится по более поздней копии, хотя на ней и есть отметка о том, что она в XVII в. была сверена с оригиналом; ср. аналогично в договоре 1487 г., но уже на нижненемецком языке: «...miit den baijaren, vn miit den inwoneren, vn miit den kopluden, vn miit alle Grote Nowerden federlike erwue...», также по копии, сверенной в XVII в. с оригинальным текстом [Ibid.: 404].

ности, употреблением в соответствующих местах латиноязычных версий договоров между Швецией и Новгородом от 1497 и 1504 гг. термина *barones* [Ibid.: 448, 503]. В договоре 1510 г. (копия, близкая по времени создания к оригиналу) великокняжеский боярин и наместник Великого Новгорода князь Василий Васильевич Шуйский именуется *stora förstens bayor oc höffuidzman paa Stora Nogard her Wadzsali Wasiliuitz* [Ibid.: 579]. В одной из поздних рифмованных хроник, «Хронике Стуре» (доведена до 1496 г., рукопись начала XVI в.), российские послы к датскому королю в 1493 г. тоже названы *bayora* [SMRK: 118]. Впоследствии, в XVI–XVII вв., слово *bajor* (с конца XVI в. – все чаще *bojar*) часто употребляется в таком привычном нам значении [FSVLDB¹; Hjelmqvist 1902: 126; SAOB²].

Однако по меньшей мере с середины XVI в. шведское слово *bajor* начинает использоваться и в другом значении, близком к русскому *сын боярский*, т. е. под «боярами» понимаются представители низшего слоя служилого населения³. Это новое значение становится со временем более чем обычным в Швеции. Например, в 1554 г. фогт прихода Эврепяя Андерс Нильссон сообщал Густаву Васе о бесчинствах на шведской стороне, устроенных некими «двумя боярами (*tvåå bajorrer*), которые живут в четырех милях от границы...», а чуть ниже добавлял, что «большая часть бояр (*bajorne*), проживающих здесь на границе и в других районах в глубине страны, взяты в поход против татар...» [GIR: 553–554]. В «Хронике Пера Брахе» (1585) рассказывается, как во время войны 1555–1557 гг. шведских солдат «встретили... 60 бояр с весьма большим отрядом...» (...*möttthe them 60 bajorer med en wäldig hop krigzfolck...*) [Per Brahes krönika]. У Петра Петрея в шведском тексте его «Описания Московского государства» (1615) часто не только мелькают «князья и бояре» (*Knäsar och Bajorer*) и «знатнейшие бояре» (*förnämsta Bajorer*), но и встречаются, например, в одном ряду и «бояре, стрельцы и казаки» (*bajorer, Strelzer och Casacker*) [Petrejus 1615. Fierde Book: 3]. Любопытно, что в немецком переводе своего труда, вышедшем в 1620 г., Петрей явно избегал употребления слова *bajor*, заменяя его на *Adel* ‘дворянство’, *Edelleuten* ‘благородные’ (т. е. тоже дворяне) и т. п. [Petrejus 1620: 575]. Возможно, он не

¹ Лексическая база данных древнешведского языка, слово приводится в написании *baior*. Здесь же, кстати, прелюбопытный случай употребления слова *bayora* вместо *barones* в переводе на шведский латиноязычного романа Гвидо де Колумна о Троянской войне, 1529 г.

² «Словарь Шведской академии», слово приводится в написании *bojar*. Вариант *bojar* все более распространяется к концу XVI в. Пытаясь объяснить причины этого, авторы словаря предлагают учитывать написание слова *боярин* в русском языке и не исключают влияния немецкого, где закрепилась форма *bojar*.

³ Эта особенность использования термина *боярин* не раз отмечалась в литературе, см., например: [Видекин 2000: 564 (прим. 33)].

был уверен, что его немецкоязычные читатели – в отличие от шведо-язычных – легко поймут этот термин, который в шведском языке вполне уже прижился¹.

Впрочем, в его время и в немецком языке «боярами» нередко называли именно представителей низшего слоя служилых людей. Здесь необходимо коснуться вопроса о заимствовании рассматриваемого термина в немецком. Как отмечал Е. В. Опельбаум, форма *Bojar* фиксируется в актах и грамотах немецких колонистов в Прибалтике уже в 1331 г. В XV в. она встречается в ганзейских документах, в следующем столетии – в средненижне-немецких материалах Ревеля и Ливонии и в XVI–XVIII вв. постоянно присутствует в памятниках, так или иначе связанных с Россией. В 1401 г. в Кёнигсберге впервые фиксируется форма *Bayor*, которая затем встречается в актах немецких колонистов Прибалтики в XV в., а в 1603 г. – в материалах ганзейского посольства в Москву. Так же в XVI в. отмечается средненижне-немецкий вариант *bajar* (*beiar*) [Опельбаум 1971: 47–49].

Интересно, что Е. В. Опельбаум специально вообще не отмечает у данного заимствования значения, близкого к русскому *сын боярский* или *дворянин*. Вместе с тем он приводит цитату из Герберштейна (немецкое издание 1557 г.), где говорится о «боярине, т. е. знатном человеке» (*Boyar der Edlman*), который, «как бы ни был беден... все же считает для себя позором и бесчестьем работать собственными руками», хотя в то же время «он не считал позором поднимать с земли и поедать корки и шелуху плодов... брошенные нами и нашими слугами» [Опельбаум 1971: 47; Герберштейн 2008: 262–263]. Едва ли речь тут идет о человеке, имеющем боярский чин.

Гораздо существеннее, что в нашем распоряжении имеется ряд примеров из происходящих с территории Старой Ливонии документов на нижне-немецком языке, и, судя по ним, значение ‘русский служилый человек вообще’ закрепилось здесь за словом *bejar* / *bayor* уже как минимум к концу XV столетия. Так, в датированном 3 февраля 1495 г. письме нарвского фогта ливонского магистру с сообщением о подготовке московского великого князя к походу на Ревель упоминается, что в Новгороде собирается войско со всей Водской пятины – *alle de bejaren unnd sesnycken*, т. е. ‘все бояре и сошники’² [LECUB 2: 113]. И в июне 1497 г. нарвский хаускомтур, докладывая фогту о стычке местных крестьян с людьми с российской стороны границы, тоже называет последних *Reuszniszsche beyaren und sesnicken*³ [LECUB 2: 398]. Наконец, в письме ливонского магистра верховному кумпану (помощнику) верховного магистра Тевтонского ордена (май 1495 г.)

¹ Подробнее об истории публикации труда Петрея и о различиях между шведской и немецкой версиями см.: [Толстиков 2011].

² Т. е. посошные люди – ополчение, набиравшееся из тяглого населения в порядке повинности.

³ См. перевод отрывка из этого документа: [Бессуднова 2015: 333].

говорится о размещении московским великим князем в Ивангороде большого числа «бояр и торговых людей» (*bayorenn und kofflewten*) [LECUB 2: 157]. Ясно, что в данных случаях имелись в виду не обладатели боярского чина.

Здесь уместно вспомнить, что и в русско-нижненемецких разговорниках XVI – начала XVII в. термин *боярин* / *боярыня* обычно переводится как *Edelman* / *edelfraw* [Сквейрс, Фердинанд 2002: 128].

Множество красноречивых свидетельств подобного рода имеется для конца XVI – начала XVII в. Так, в хронике Бальтазара Руссова (Рюссова) (второе, дополненное издание 1584 г.) встречается упоминание о «3000 бояр» («3000. Boyaren») [Рюссов 1879: 265; Russow 1848: 120]. В начале XVII в. многочисленные примеры такого словоупотребления находим в «Московской хронике» Конрада Буссова (послужившей, кстати, одним из главных источников для Петрея). Вот только один характерный пассаж: «Путивляне тотчас же послали в Дикое поле и спешно набрали несколько тысяч полевых казаков, вызвали также всех князей и бояр (*alle Kneesen und Boyaren im Puthiwelschen Gebiete sesshaft*), живущих в Путивльской области, их тоже было несколько тысяч» [Буссов 1961: 136; Сказания: 67]. Другой любопытный случай – письмо известного переводчика Ханса Флёриха (ок. 1577–1632), родившегося, по всей видимости, в Москве, служившего сначала в посольском приказе, а потом перешедшего на шведскую службу. В этом письме, написанном не ранее 1626 г. и адресованном риксканцлеру Акселю Оксеншерне, Флёрих упоминает, что в сентябре 1609 г. он был «вместе с двумя другими боярами (*mit 2 andere boiaren*) отправлен в Кексгольм», т. е. Корелу, для переговоров о передаче крепости шведам [Maier, Droste 2010: 60]. Известно, что он прибыл туда вместе с И. М. Пушкиным, А. И. Безобразовым и дьяком Н. Дмитриевым [Almquist 1907: 178–179; Замятин 2008: 443–444]. Никто из них боярского чина не имел, а между тем бывший переводчик посольского приказа должен был разбираться в тонкостях социальной структуры в России. Так или иначе, к началу XVII в. именование «боярами» русских служилых людей вообще было вполне обычным и привычным в (нижне)немецком.

Как было показано выше, то же справедливо и для шведского языка. Однако в Швеции словом *bajor* со временем стали обозначать специфическую социальную группу – ингерманландских «русских бояр» (*ryssbajorer*), т. е. российских дворян, перешедших на шведскую службу в конце XVI – начале XVII в. (первые из них стали выезжать после окончания Ливонской войны, в 1580-е гг.). Подавляющее большинство этих родов принадлежало к низшему дворянству [Линд 2000; Пересветов-Мурат 1999]. Таким образом, слово *bajor* на шведской почве приобрело еще одно значение, превратилось в своеобразный «ярлык», навешивавшийся, по сути, на всех представителей служилого сословия, которые воспринимались как русские (пусть и на шведской службе).

Это оказалось возможным благодаря описанному семантическому сдвигу, который, как было показано, произошел в (нижне)немецком языке не позднее конца XV в., а в шведском – не позднее середины XVI в.

Как представляется, в обоих языках этот процесс изменения значения мог происходить параллельно (хотя про взаимное влияние, конечно, забывать нельзя¹). С учетом различий между российской и западноевропейской системами социальных координат в таком переосмыслении чужого термина нет ничего неожиданного. Способность термина *боярин* к эволюции в иной социально-правовой системе иллюстрируется, к примеру, его непростой историей в Великом княжестве литовском [Юргинис 1978: 124–130]².

Однако, на мой взгляд, в шведском контексте стоит обратить особое внимание на наличие аналогичного заимствования из русского в финском языке. Лингвисты однозначно связывают с русским *боярин* восточнофинское *pajari* (а также ливвиковское *bajari* и вепское *bajar*) [Kalima 1952: 132]. В качестве личного имени (прозвища) Pajari (и Pajarinen) было распространено в юго-восточной части нынешней Финляндии (т. е. вблизи границы с Россией) с середины XVI в. Причем в этих краях «боярами» называли богатых и влиятельных людей [Mikkonen, Paikkala 1992: 403]³. В то же время ранние свидетельства (опять-таки середины XVI в.) употребления слова *bajor* в значении ‘русские служилые землевладельцы’ в шведском языке⁴ восходят к основанным на показаниях местных жителей донесениям шведских должностных лиц о положении дел на границе с Россией.

Таким образом, кажется, у нас есть основания предполагать, что одним из факторов формирования шведского понятия *bajor* – наряду с вероятным влиянием соответствующего словоупотребления в нижне-немецком языке – была ситуация, сложившаяся в пограничных с Россией областях Финляндии. Нельзя, по-моему, исключать, что само за-

¹ Кстати, возможно, именно упомянутая выше немецкая форма *Bayor* повлияла на то, что в шведском языке закрепился вариант *bajor* [Pátrovics 2002: 65].

² Между прочим, в связи с появлением в немецком формы *Bayor* Е. В. Опельбаум, со ссылкой на В. Кипарского, пишет: «Фонетический облик и география слова свидетельствуют в пользу его заимствования из лит. *bajōras*...» [Опельбаум 1971: 48]. И составители «Словаря Шведской академии», отмечая неясность появления *-or* в шведском *bajor*, осторожно указывают на то же литовское слово [SAOB].

³ Это прозвище встречалось в юго-западной Финляндии и раньше (самый ранний пример – 1375 г.), специалисты считают, что оно восходит к немецкому имени *Bayar* (известному со Средневековья, например, в Прибалтике). В случае с Карелией предполагают влияние русского языка (в XVII в. там упоминается, например, *Griska Pajari*) [Ibid.]. Кстати, личное имя Боярин фиксируется в русском языке с конца XV в. [Тупиков 2004: 63].

⁴ См. выше примеры из GIR.

имствование в данном случае произошло через посредство финского – на это в свое время указывал Т. Ельмквист [Hjelmqvist 1902: 128]. По всей видимости, здесь, в зоне интенсивных языковых и культурных контактов под «боярами» стали понимать прежде всего (влиятельных) землевладельцев.

Важно подчеркнуть, что при этом, судя по всему, актуализировался уже содержащийся в исходном русском слове оттенок значения ‘барин, господин’, наличие которого предполагал тот же Т. Ельмквист [Ibid.] и которое, например, в XVI в. фиксируют иностранные разговорники [СОРЯ: 257]¹. Однако гораздо более существенно, что и собственно русский материал дает примеры подобного словоупотребления. В. Б. Кобрин, ссылаясь в частности на Судебники 1497, 1550 гг., заметил: «боярином именовался любой вотчинник. <...> В актах, в делах по спорам черных крестьян с вотчинниками нередко встречаются обвинения в попытках “обоярить” государеву землю. Это второе значение термина слишком широко для определения общественной группы, ибо число вотчинников было весьма велико и большинство из них вовсе не принадлежали к знатым родам. Именно из этого последнего значения слова “боярин” родилось впоследствии общее обозначение дворянина-землевладельца – барин» [Кобрин 1985: 29; ПРП. Вып. 3: 356; Вып. 4: 256].

Не могло ли за появлением восточнофинского *pajari* как обозначения именно богатого и влиятельного землевладельца стоять распространение вотчинных хозяйств новгородских бояр еще домосковского времени? Во всяком случае, как мне представляется, в истории формирования специфически шведского понятия *ryssbajorer* этот «финский след» необходимо учитывать наряду с нижнемецким (не забывая, конечно, и о возможности непосредственного русского влияния). Что, кстати, применительно к Ингерманландии, с которой и были прежде всего связаны «русские бояре», более чем естественно, если вспомнить о ее географическом положении.

Таким образом, если представленные здесь соображения верны, то в понятии «русские бояре», возникшем в Швеции в начале XVII в. для обозначения тех подданных российского царя, которые перешли на шведскую службу, были наделены землей и влились в шведское дворянство, можно видеть результат скрещения нескольких традиций словоупотребления в контактировавших языках.

¹ См. также отмеченное выше наблюдение Е. Р. Сквайрс и С. Н. Фердинанд по поводу русско-нижнемецких разговорников. Замечу, кроме того, что в анонимном немецко-русском разговорнике XVI в. непосредственно соседствуют слова *боярин* (поясняемое как ‘Edelman’), *земец* (‘Der begnadung hat Ahn güderen’, т. е. ‘кто одарен / наделен имениями’), *господарь* (‘Ein herr’) и *госпожа* (‘Eine fruwe’) [«Ein Rusch Boeck...»: 11].

Литература и источники

- Бессуднова М. Б. Россия и Ливония в конце XV века: Истоки конфликта. М., 2015.
- Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. М.; Л., 1961.
- Видекинд Ю. История десятилетней шведско-московитской войны / Пер. С. А. Аннинского, А. М. Александрова, под ред. В. Л. Янина, А. Л. Хорошкевич. М., 2000.
- Герберштейн С. Записки о Московии / Под ред. А. Л. Хорошкевич. М., 2008.
- Т. I. Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского А. И. Малеинова и А. В. Назаренко, с ранненововерхненемецкого А. В. Назаренко.
- Замятин Г. А. Россия и Швеция в начале XVII века: Очерки политической и военной истории. СПб., 2008.
- Клейнер Ю. А. Боярин: барин – дворянин // Восточная Европа в древности и Средневековье: Политические институты и верховная власть: XIX Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Папуто. Москва, 16–18 апреля 2007 г. Материалы конференции. М., 2007. С. 103–108.
- Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России: (XV–XVI вв.). М., 1985.
- Линд Дж. Х. Ингерманландские «русские бояре» в Швеции: Их социальные и генеалогические корни. М., 2000.
- Опельбаум Е. В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке. Киев, 1971.
- Пересветов-Мурат А. И. Из Ростова в Ингерманландию: М. А. Пересветов и другие русские *bajog`ы* // Новгородский исторический сборник. СПб., 1999. Вып. 7(17). С. 366–378 (<http://norse.ulver.com/articles/peresvetov/bajors.html>).
- ПРП – Памятники русского права. М., 1955. Вып. 3, 4 / Под ред. Л. В. Черепнина.
- Рюссов Б. Ливонская хроника, в которой рассказывается, как была впервые открыта Ливония и обращена в христианство; кто были первые правители этой страны, начиная от первого магистра тевтонского ордена до последнего, и о подвигах каждого из них; о необычайных и чудесных событиях совершавшихся в стране во время перемены ливонских сословий и после того времени до 1583 года. Полезное и приятное для чтения. Описано кратко и достоверно ревельцем Бальтазаром Рюсовым // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Рига, 1879. Т. 2. С. 157–404.
- Сказания – Сказания иностранных писателей о России. СПб., 1851. Т. 1.
- Сквайрс Е. Р., Фердинанд С. Н. Ганза и Новгород: языковые аспекты исторических контактов. М., 2002.
- СОРЯ – Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. / Под ред. О. С. Мжельской. СПб., 2004. Вып. 1. (А – бязь).
- СРЯ – Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1. (А–Б).
- Толстиков А. В. Русские социально-политические реалии в зеркале шведского языка XVI–XVII вв.: бояре и *bajoger* // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции, инновации: Материалы научно-методической конференции (16–17 февраля 2010 г.). Петрозаводск, 2010. Ч. II. (Л–Я). С. 241–245.

Толстиков А. В. Зачем переводить «Regni Muschovitici sciographia» Петра Петрея со шведского языка? // Средние века. 2011. Вып. 72 (3–4). С. 175–186.

Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен / Вступ. ст. и подгот. текста В. М. Воробьев. М., 2004.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева, под ред. и с предисл. Б. А. Ларина. 3-е изд. СПб., 1996. Т. I. (А–Д).

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 3-е изд. М., 1999. Т. I. А–Пантомима.

Юргинис Ю. М. Бояре и шляхта в Литовском государстве // Восточная Европа в древности и Средневековье: Сборник статей. М., 1978. С. 124–130.

Almqvist H. Sverige och Ryssland 1595–1611: Tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planen. Uppsala, 1907.

«Ein Rusch Boeck...» – Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert / Hrsg. von A. Falowski. Köln; Weimar; Wien, 1994.

FSVLDB – Fornsvensk lexikalisk databas: <http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/>.

GIR – Konung Gustaf den Förstes registratur. Stockholm, 1906. B. XXIV. 1553, 1554.

Hjelmqvist T. Ett par anmärkningar till den danska bearbetningen af Manuel's Satir om den sjuka mässan (utg. af S. Birket Smith) // Arkiv för nordisk filologi. Lund, 1902. B. 18. S. 119–128.

Kalima J. Slaavilaisperäinen sanastomme: Tutkimus itämerensuomalaisten kielten slaavilaisista lainasanoista. Helsinki, 1952.

LECUB 2 – Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. 2. Abteilung. Riga; Moskau, 1900. Bd. 1. 1494 Ende Mai – 1500 / Hrsg. von L. Arbusow.

Maier I., Droste H. Från Boris Godunov till Gustav II Adolf: översättaren Hans Flörich i tsarens och svenska kronans tjänst // Slovo. Uppsala, 2010. N 50. P. 47–66.

Mikkonen P., Paikkala S. Sukunimet. Helsinki, 1992.

Pátrovics P. Eastern Slavic–North Germanic Linguistic Contacts // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 2002. V. 47. N 1–2. P. 59–72.

Per Brahes krönika – Per Brahe den äldres fortsättning af Peder Svarts krönika / Utg. af O. Ahnfelt. Lund, 1896; 1897. D. I–II (<http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/Nysvenska/C.P15-Brahe.html>).

Petreyus P. Regni Muschovitici sciographia: Thet är: Een wiss och egenteligh beskrifning om Rydzland, med thes många och stora furstendömers, provinciers, befestningars, städers, siögars och elfwers tilstånd, rum och lägenheet: Såsom och the Muskowiterske Storfursters Härkomst, Regemente, macht och myndigheet, medh theas Gudztienst och Ceremonier, Stadgar och åthäfwor, både vthi Andeliga, och Politiske saker, vthi sex böker korteligen författat, beskrifwin och sammandragin, af Petro Petreio. Stockholm, 1615.

Petreyus P. Historien vnd Bericht von dem Groszfürstenthumb Muschkow, mit dero schönen fruchtbaren Provinzien vnd Herrschafften, Festungen, Schlössern, Städten, Flecken... wie auch von der reussischen Groszfürsten Herkommen, Regierung, Macht... publiciret durch Petrum Petrejum de Erlesunda. Lipsiæ, 1620.

Russow B. Chronica der Prouintz Lyfflandt: darinne vermeldet werdt, wo dath süluige Landt ersten gefunden, vnde thom Christendome gebracht ys: wol de ersten

Regenten des Landes gewesen sind: van dem ersten Meyster Dütisches Ordens in Lyfflandt beth vp den lesten, vnde van eines ydtliken Daden: wat sick in der voranderinge der Lyfflendischen Stende vnd na der tydt beth in dat negeste 1583. Jar, vor seltzame vnd wunderlike Gescheffte im lande tho gedragen hebben: nütte vnde angenehme tho lesende korth vnd loffwerdich beschreuen. Dorch Balthasar Russowen Reualienssem // Scriptores rerum livonicarum. Riga; Leipzig, 1848. B. 2. S. 1–194.

SAOB – Svenska Akademiens ordbok: <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/>.

SMRK – Svenska medeltidens rim-krönikor. Stockholm, 1867–1868. D. 3. Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna / Utg. af G. E. Klemming.

ST – Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar / Utg. af O. S. Rydberg. Stockholm; Leipzig; P., 1895. D. 3. 1409–1520.

Михаил Леонидович Гольденберг

Национальный музей Республики Карелия,

г. Петрозаводск

МУЗЕЙ И НАУКА: ПАРТНЕРСТВО НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Современный музей расширяет свои миссии. При сохранении приоритетов хранительской и публикационной функций активно развиваются образовательная и воспитательная миссии. Научная составляющая музейной коммуникации сегодня обусловлена множеством проблем. Тенденция к превращению музеев в досуговые заведения, выполняющие набор услуг, порой приводит к выхолащиванию науки из музейных учреждений. Эпатажные выставки, развлекательные массовые мероприятия, всевозможные акции по зазыванию посетителей могут привести к отрыву музеев от принципа научности в своей деятельности. Высказываются утверждения, что «входя в повседневную практику, становясь демократическим учреждением, он (музей) теряет элитарность своего знания и, тиражируясь в массовых акциях, изменяет осмысление, прежде всего, исторического знания» [Философия музея: 156]. Опасность такая действительно есть, если взаимоотношения музея и науки не носят стратегического характера, системных партнерских отношений.

Национальный музей Республики Карелия, руководствуясь концепцией развития музея, старается выстраивать свои взаимоотношения с научным сообществом стратегически обоснованно и системно. Он пережил длительный этап реконструкции, реставрации и приспособления под музей основного здания – памятника федерального значения – и в 2010 г. открыл свою новую постоянную экспозицию. В 22 залах разместилась практически визитная карточка Карелии, репрезентирующая ее особенно-

сти: природно-климатические, геополитические, исторические, этнологические и другие. В процессе создания постоянной экспозиции музей активно сотрудничал с научным сообществом: Петрозаводским государственным университетом и многими институтами Карельского научного центра РАН. В разработке концепции постоянной экспозиции и развития музея до 2020 г. принимал личное активное участие председатель КарНЦ РАН член-корреспондент РАН, д. б. н. А. Ф. Титов. В основу тематико-экспозиционного плана легли принципы научности подачи фондовых коллекций. Ученые КарНЦ РАН оказали консультативную поддержку музею в формировании геолого-минералогических выставок, коллекций, отражающих богатство недр Карелии, ее ландшафтных, почвенных, гидрологических особенностей.

До 2010 г. в музее длительное время отсутствовала постоянная экспозиция. Музей представлял собой несколько залов сменных выставок. С появлением постоянной экспозиции перед ним встала задача обучить сотрудников, поскольку обзорная экскурсия включает в себя разделы от эпохи формирования Балтийского (Фенноскандинавского) щита, ледникового периода и до XX в. Освоение содержания постоянной экспозиции сотрудниками музея включало многочисленные консультации, лекции по проблематике современных отраслей знания, представленных в экспозиции. Большую роль в этом процессе сыграли научные сотрудники Института геологии Карельского научного центра РАН: д. г.-м. н. В. А. Шеков, В. Г. Пудовкин, заведующая лабораторией лесных биотехнологий Института леса д. б. н. Л. В. Ветчинникова, научный сотрудник Института водных проблем Севера А. В. Литвиненко, д. г. н. Н. Н. Филатов. При неизменном приоритете фондовых коллекций, которые являют собой формообразующий фактор любой выставки, сотрудничество музея с научной сферой обеспечило экспозиции необходимую научную достоверность.

Особые творческие и деловые связи сложились у музея с Институтом языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Д. ф. н. И. И. Мулло-нен, д. и. н. О. П. Илюха, к. и. н. А. П. Конкка являются членами Общественного совета Национального музея РК. Научные сотрудники ИЯЛИ – д. и. н. С. И. Кочуркина, к. и. н. Н. А. Кораблев, к. и. н. А. Ю. Жуков, к. и. н. Л. И. Вавулинская, к. и. н. Е. Ю. Дубровская, д. ф. н. Е. Г. Сойни – являлись активными участниками многочисленных круглых столов и научных презентаций, которые в музее проходили регулярно. Национальный музей РК тесно взаимодействует с сектором этнологии ИЯЛИ. В 2015 г. завершены работы по реконструкции здания Шелтозерского вепсского этнографического музея и реэкспозиции постоянной выставки. Научные сотрудники сектора –

д. и. н. И. Ю. Винокурова, к. и. н. З. И. Строгальщикова, а также заведующая сектором языкознания д. ф. н. Н. Г. Зайцева – приняли непосредственное участие на всех этапах этой большой работы. Они помогли концептуально и содержательно наполнить вновь создаваемую экспозицию материалами научных достижений в области традиционной культуры вепсов, отразить этносоциальные процессы.

Особое внимание в коммуникативной связи музея с наукой было уделено проблеме петроглифов, которые представлены в Национальном музее тремя оригинальными фрагментами (в Эрмитаже один фрагмент скалы), уникальным фотопанно, имитирующим мыс восточного берега Онежского озера Бесов нос. Ученые КарНЦ РАН – д. и. н. Ю. А. Савватеев, к. и. н. Н. В. Лобанова, доцент ПетрГУ, к. и. н. А. М. Жульников – оказали музею огромную поддержку в подготовке сотрудников по темам изучения, сохранения и использования петроглифов. Они, безусловно, повлияли на формирование выставочной политики музея, которая включила в себя цикл выставок, связанных с проблемой петроглифов в мировой практике. В Национальном музее РК прошли временные выставки:

2011 г. – Петроглифы Карелии (передвижная выставка НМРК, которая побывала в районах Карелии, ряде стран Европы и областях России),

2011 г. – Писаницы Финляндии,

2013 г. – Петроглифы Африки,

2014 г. – Канозерские петроглифы,

2015 г. – выставка художницы Марины Успенской «Выг: большие тайны маленьких островов».

Консультативная поддержка учеными сотрудников музея носит неформальный характер, так как проблема повышения квалификации музейных работников стоит очень остро. Эти лекции и консультации являются одним из главных каналов пополнения научных знаний сотрудников музея.

В выставочной стратегии музея систематически делается упор на последние достижения науки. Например, проблема карельской березы нашла свое отражение в выставке «Карельская береза – бренд Карелии», которая прошла в музее в 2013 г. Л. В. Ветчинникова не только была консультантом, но и провела круглый стол по проблемам сохранения карельской березы, организовала постэкскурсионные посещения инкубатора Института леса, в котором выращиваются саженцы карельской березы. Она же совместно с сотрудницей музея финского города Рованиemi Стефани Лефрер приняла активное участие в выставке «Проблемы изменения климата в Лапландии», которая прошла в музее в 2014 г. Эта выставка тоже сопровождалась круглыми столами, выступлениями перед учащимися различных учебных заведений.

В тематической структуре выставки к 70-летию Победы был раздел, посвященный роли карельских писателей в освещении Великой Отечественной войны. Большую поддержку в информировании музейных работников сыграл д. ф. н. Ю. И. Дюжев, который провел цикл бесед о творчестве П. Пертту, Я. Ругоева, А. Тимонена, О. Степанова, Д. Гусарова. В результате этот раздел выставки явил собой сплав художественности и исторической достоверности, подкрепленный предметным рядом музейной коллекции.

Национальный музей Карелии давно зарекомендовал себя как своеобразный научный форум, на котором в дискуссии могут встретиться ученые, преподаватели, краеведы, учащиеся, журналисты. Конечно, особую роль в музее играют круглые столы по проблемам исторической науки. В них активное участие принимают профессора ПетрГУ: д. и. н. С. Г. Веригин, д. и. н. Ю. М. Килин, д. и. н. А. М. Пашков. С большим успехом прошли в музее круглые столы «Допетровская Карелия», «Столыпинская реформа в Олонецкой губернии» (в которой принимал участие правнук П. А. Столыпина Н. В. Случевский (СПб)), «75-летие Зимней войны», «Особенности Карельского фронта в Великой Отечественной войне», «Олонецкая губерния в Первой мировой войне» и другие.

Было бы ошибкой думать, что наука и музей своими взаимоотношениями олицетворяют одностороннее движение, и музей только потребитель достижений науки. Музей – полноценный партнер научной сферы, а музейные фонды – широчайшее поле для научных изысканий. У Национального музея Карелии накоплен опыт взаимодействия на взаимовыгодных условиях с наукой. Так, профессор ПетрГУ, д. ф. н. А. В. Пигин провел большую работу по изучению коллекции старопечатных и рукописных книг. В результате появилась научная монография, а музей обрел систематизированную коллекцию. Музей остро нуждается в научном изучении коллекций, их каталогизации и систематизации.

Участие сотрудников музея в конференции «Математические методы в изучении истории», которая проводилась в течение ряда лет ПетрГУ, привело к рождению важного проекта музея с кафедрой математики. Аспирант кафедры А. Талбонен под руководством д. м. н. А. А. Рогова и к. м. н. А. В. Варфоломеева провел оцифровку коллекции из более 7000 фотографий истории строительства Беломорско-Балтийского канала. В музее появилась уникальная электронная поисковая система базы фотоколлекции, географический, хронологический и именной указатели. Это позволило вводить материалы в научный оборот гораздо продуктивнее, чем ранее.

Проектная деятельность музея всегда проходит в партнерстве с научной сферой. В 2014 г. Институт геологии КарНЦ РАН в кооперации с музеем реализовал проект «Дорогой горных промыслов», который позволил

включить горно-минералогические объекты в туристические маршруты. Проект «Традиционный мир вепсов» был реализован вместе с научными сотрудниками ИЯЛИ КарНЦ РАН, результатом которого стал вепсский историко-культурный атлас.

Музей проводит свою международную научную конференцию «Музеи в Северном измерении». Сотрудники музея активно участвуют в ряде региональных конференций: «Лонинские чтения», «Краеведческие чтения», «Державинские чтения» и в других конференциях в России и за рубежом. Например, научный сотрудник музея М. Ю. Данков ежегодно принимает участие в международной конференции «Петровское время в лицах», материалы которой публикуются в «Трудах Государственного Эрмитажа». Музей издает «Вестник Национального музея», в котором печатаются многие ученые Карелии. Сотрудники музея публикуются в научных журналах и сборниках, рецензируют научные труды ученых. В музее состоялся ряд конференций, посвященных юбилейным датам известных ученых Карелии, в зале Благородного собрания постоянной экспозиции прошли их чествования.

Потребность музея в пополнении его библиотеки научной литературой во многом удовлетворяется дарением научных трудов музеем со стороны подразделений КарНЦ РАН и ПетрГУ. Музей регулярно получает «Труды КарНЦ РАН. Гуманитарные исследования» и «Ученые записки Петрозаводского государственного университета». Музей обменивается научными изданиями с другими музеями. Например, в ноябре 2015 г. в музее состоялась презентация издания «Воспоминания соловецких узников 1923–1939», подготовленного музеем Соловецкого монастыря. Первые три тома «Воспоминаний» были переданы в библиотеку музея.

У Национального музея РК устойчивые связи с отраслевыми музеями КарНЦ РАН. Например, открывшуюся в октябре 2015 г. выставку «Sordval – Сердоболь – Sortavala – Сортавала» музей геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН поддержал частью предметов из своей коллекции, передав их в НМРК на временное хранение.

Современный музей не может замыкаться на решении своей главной задачи хранения коллекций. Взаимодействие с научной сферой должно остаться одной из миссий музея. Научная достоверность экспозиций, элитарность коллекций, их систематизация, каталогизация, изучение, составление научных описаний не могут быть достигнуты без кооперации и партнерства с наукой.

Литература

Философия музея. Коллективная монография / Под. ред. М. Б. Пиотровского М.: ИНФРА-М, 2013.

Ирина Геннадьевна Петухова,
Елена Сергеевна Намятова
*Национальный архив Республики Карелия,
г. Петрозаводск*

УЧЕНЫЕ И АРХИВИСТЫ: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

*Архивная новь ждет ученого плуга
(Из бюллетеня Центрархива Карельской АССР
№ 1 от 20 декабря 1927 года)*

В далеком 1927 г. архивисты Центрархива Карельской АССР во главе со своим руководителем Николаем Васильевичем Хрисанфовым мечтали. Мечтали о здании для хранения огромных массивов архивных документов, которые находились тогда в подвальных помещениях (в настоящее время в этом здании располагается Министерство культуры Республики Карелия). Мечтали об исследованиях, в которых будут использованы архивные документы в самых разных целях, что для архивистов очень важно как признание их заслуг по кропотливой работе комплектования архивных фондов. И, конечно же, мечтали о серьезных исследователях – ученых, которые воссоздадут на основе документального наследия историю нашего края. Об этой мечте свидетельствует один из лозунгов, опубликованных 20 декабря 1927 г. в бюллетене Центрархива Карельской АССР № 1 и предназначенных для пропаганды архивного дела. В качестве автора лозунга мы вполне можем предположить самого Николая Хрисанфова (1898–1938), возглавлявшего в те годы Центрархив КАССР, разностороннего по своим интересам человека: ученого, писателя и архивиста.

С позиций сегодняшнего дня мы можем с уверенностью говорить о высокой востребованности документального наследия, собранного и сохраненного карельскими архивистами, активно пополняемого и в настоящее время. К архивным документам обращаются представители различных профессий, краеведы, школьники, студенты и, конечно же, представители самых разных областей науки.

Ведущая роль, безусловно, принадлежит академической науке. На современном этапе архивы перестали быть всего лишь источниковой базой научных исследований. Ученых и архивистов связало плодотворное сотрудничество. Это характерно для многих регионов нашей страны. Не исключение, а хороший пример такого сотрудничества – Республика Карелия. Национальный архив плодотворно развивает сотрудничество с Институтом ЯЛИ КарНЦ РАН, многие годы возглавляемым Ирмой Иванов-

ной Муллонен. Значимым фактом этого сотрудничества стало утверждение к печати Ученым советом ИЯЛИ сборника документов и материалов «Карелия в Великой Отечественной войне: освобождение от оккупации и возрождение мирной жизни, 1944–1945» (Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2010); рецензирование И. И. Муллонен первого архивного справочника, подготовленного на основе ревизских сказок старейшим работником НА РК Д. З. Генделевым – Перечня (межфондового указателя) ревизских сказок 4-й ревизии (1782). Во многом благодаря этой высокой оценке справочник был удостоен диплома Всероссийского конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2009–2011 гг. Рецензия И. И. Муллонен открыла для нас перспективы изучения ревизских сказок не только в контексте исторической науки, но и как ценнейшего источника по топонимии.

Надеемся, что предлагаемая далее подборка документов «К истории карельской деревни Мунозеро» будет интересна юбиляру.

* * *

К истории карельской деревни Мунозеро

Современная деревня Мунозеро Кондопожского района в прошлом была большим селом, центром прихода. В писцовой книге Заонежской половины Обонежской пятины за 1563 г. на Мунозере упоминается деревня Ульянкова, в которой была церковь во имя святого пророка Илии [Писцовая книга Обонежской пятины: 16]. В XVII в. была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом во имя святого пророка Илии. В XVIII–XIX вв. в селе Мунозерский погост жили в основном государственные крестьяне. В 1877 г. красноярским купцом И. И. Токаревым была построена новая деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (до наших дней церковь не сохранилась). Однако постепенно Мунозерский погост перестает быть сначала церковным, затем административным центром деревень, находившихся вокруг озера Мунозеро. В XX в. первенство окончательно переходит к Спасской Губе. Публикуемые документы Национального архива Республики Карелия – штрихи к истории деревни Мунозеро.

При публикации, как правило, сохранены полностью язык и стиль документов, а текст приводится в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. При этом сохранено написание географических названий, а также характерное для XVIII–XIX вв. написание отдельных слов. Явные опечатки и ошибки исправлены без оговорок. Раскрытие сокращений слов, не допускающих двоякого толкования, проводится без квадратных скобок. Часть документов, в связи с их большим объемом или наличием повторяющихся по содержанию фрагментов текста, дана в

извлечениях. Такие случаи оговариваются в заголовках «из», в тексте опущенные части обозначены отточием в квадратных скобках. Отточие не ставилось в том случае, если приведенная часть текста имеет самостоятельный заголовок и дана полностью. Поскольку все публикуемые документы хранятся в Национальном архиве Республики Карелия, в легендах название архива не указывается. Примечания к тексту и содержанию документов приводятся после публикации документа.

Источники

Писцовая книга Обонежской пятины – Писцовая книга Обонежской пятины Заонежской половины Андрея Лихачева, 1563 г. // Материалы по истории народов СССР. Вып. 1: Материалы по истории Карельской АССР: Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. / Подгот. к печ. А. М. Андрияшев; под. ред. М. Н. Покровского. Л., 1930. С. 57–254.

Документы

№ 1

*Из исповедной росписи церкви Покрова Пресвятой Богородицы
Мунозерской выставки Шуйского погоста Олонецкого уезда
Новгородской епархии – о числе прихожан*

1775 г.

Всего при вышеозначенном Покрова Пресвятой Богородицы церкви в приходских во ста тритцати осми дворах обретається				Число обоего пола людей									
				испове- давших и причас- тившихся		испове- давших токмо, а не причастив- шихся		малолет- них кон ниже 4 лет		итого			
В вы- шеяв- ленном дворов числе жи- телей по- рознь по чинам	духов- ные	попов		му- жес- ка	жен- ска	му- жес- ка	жен- ска	му- жес- ка	жен- ска	му- жес- ка	жен- ска	6	11
		дьячков и пономарей		2									
		жен их			3								
		детей их	мужеска пола	2				1					
			женска пола		4				4				
	посац- кие	посацких		11								39	30
		жен их			14								
		детей их	мужеска пола	20				8					
			женска пола		12				4				

Окончание табл.

Всего при вышеозначенном Покрова Пресвятой Богородицы церкви в приходских во ста тритцати осми дворах обретаеся				Число обоего пола людей							
				испове- давшихся и причас- тившихся		испове- давшихся токмо, а не причастив- шихся		малолет- них кои ниже 4 лет		итого	
		му- жес- ка	жен- ска	му- жес- ка	жен- ска	му- жес- ка	жен- ска	му- жес- ка	жен- ска		
	поселя- не	крестьян		221		2				649	482
		жен их			231		3				
		детей их	мужеска пола	351		3		72			
			женска пола		218		3		27		
	всего				608	482	5	6	81	35	694
раскольников записано											
	поселя- не	крестьян						6		6	7
		жен их							7		
итого								6	7	6	7

Ф. 25, оп. 17, д. 1/1, л. 31, 47 об. Подлинник. Рукопись.

№ 2

Из ведомости однокомплектной церкви Покрова Пресвятой Богородицы Мунозерского прихода Петрозаводского уезда Новгородской епархии – о церкви и прихожанах¹

1817 г.

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы деревянная холодная с пределом² святого пророка Илии, благолепием по обычаю восточной православной греко-российской церкви изрядно украшенная, сосуды оловянные, книги церковного круга все имеются.

[...] ^{3**} Дворов 166, в них мужеска пола ревизских душ 710, женского пола 700, обоего – 1410 прихожан, петрозаводских мещан 60 душ, государственных крестьян мужеска пола 650 душ.

[...] Земли при церкви пахотной и сенокосной никакого числа не имеется, а вместо оной производится руга с каждой ревизской мужеска пола души по 16 копеек на всех священно- и церковнослужителей. Сверх того добротное подаяние.

Опись церковному имуществу и обыскные и метрические книги и великопостные росписи имеются и хранятся в церкви.

¹ Данная ведомость – самая ранняя ведомость о церкви Мунозерского прихода, хранящаяся в Национальном архиве Республики Карелия. Также в архиве выявлены ведомости за 1825, 1831, 1843, 1853, 1854, 1869, 1874, 1879 гг.

² Так в документе.

³ Опущены сведения о причте и расстоянии до ближайших деревень, духовного правления и консистории.

Старообрядцев в приходе есть Суземского толка мужеска пола 15 душ, женска пола 22 души. В старообрядстве находятся с 1805 г. и после одного церкви и священника не имеют нигде, а самопроизвольно развращаются между друг другом.

Ф. 126, оп. 2, д. 3/53, л. 100–101. Подлинник. Рукопись.

№ 3

Перечень деревень Мунозерского мирского общества Шуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии с указанием числа душ крестьян мужского и женского пола по 10 ревизии, приписанных к Олонецким заводам

[31 марта] 1858 г.

№№	Наименование деревень ²	Число душ	
		мужеска пола	женска пола
1	Погоская (по 9 ревизии числилось шесть деревень: Погоская, Новоселовская, Пестряковская, Заболотская, Каж-Наволоки и Тервовская)	160	192
2	Шушков	21	20
3	Викшицы	25	27
4	Пялозера на бору (по 9 ревизии числилось три деревни: Пялозера Западной, Пялозера на бору и Пялозера Наволоки)	55	71
5	Кургановой Сельги (по 9 ревизии состояла записанною – Коды-Сельга)	13	9
6	Дек-Наволоки	47	55
7	Умельницы (по 9 ревизии состояла записанною между долгой и ригой ламбами)	15	12
8	Пуйгуба	75	96
9	Год-Наволоки	20	30
10	Пялозера Северного (по 9 ревизии числилось две деревни: Пялозера Южного и Пялозера Северного)	94	98
11	Юрк-Острова	35	33
12	Каночева Сельга	17	18
13	Спаская Губа	85	89
14	Тереков (по 9 ревизии числилось две деревни: Тереки и Курей ручей)	34	47
Итого		696	797

Ф. 4, оп. 18, д. 77/756, л. 112. Подлинник. Рукопись.

¹ Данный перечень составлен к ревизской сказке от 31 марта 1858 г. Мунозерского мирского общества Шуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии о состоящих крестьянах мужского и женского пола, приписанных к Олонецким заводам. В Национальном архиве Республики Карелия также хранятся ревизские сказки Мунозерского общества за 1782, 1795, 1811, 1816, 1834, 1850 гг.

² Опущена графа «на которой странице деревня».

*Из ведомости о церкви Покрова Пресвятой
Богородицы Мунозерского погоста Петрозаводского уезда
Олонецкой епархии – о церкви и часовнях, находящихся в ее ведении*

1869 г.

1. Построена в 1690-м году неизвестно кем.
2. Зданием деревянная с таковою же колокольного, крепкая.
3. Престолов в ней два: настоящий во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а в пределе¹ в честь святого пророка Илии Фесвитянина, хотя в прописанной церкви и есть четыре печки – две чугунных, одна железная и одна кирпичная, но настоящего постоянного тепла в ней нет.
4. Утварью, книгами богослужебными, книгами для христианского назидания и ризницею достаточна, а иконостаса нет².
5. Причта положено по штату 1844 г.: священник один, дьячек один, пономарь один, и просфория, до утверждения сего штата был еще и диакон.
6. Земли при сей церкви имеется 65 десятин и 801 квадратная сажень, в том числе удобной 36 десятин, а именно: пахотной 19 десятин и 801 квадратная сажень, покосу 16 десятин и 1090 квадратных сажень, а неудобной 29 десятин и 801 квадратная сажень. Планы и межевые книги на оную имеются и хранятся в церкви, владеют ею сами священноцерковнослужители.
7. Священник имеет помещение для себя в крестьянском доме, дьячек и пономарь занимают собственные дома, построенные на крестьянской земле, просфория проживает в собственном доме, поступившем ей по наследству от свекра, умершего диакона Павла Скворцова и построенном на церковной земле.
8. На содержание причта по штату V класса, высочайше утвержденному в 1844 г. марта 12 дня, получается постоянного оклада от казны, без вычета 2 копеек с рубля, в год священником 140 рублей, дьячком 40 рублей, пономарем 32 рубля и просфорного 24 рубля. При сем постоянном окладе, при выгодах, доставляемых церковною землею и добротном подавании от прихожан, содержание причта вообще посредственное.
9. Здания, принадлежащие сей церкви, суть десять деревянных лавок, от которых, чрез отдачу в наем 1 числа октября, дохода в сем году получено 5 рублей 20 копеек серебром.
10. Расстоянием сия церковь от консистории в 60-ти верстах, а от местного благочинного в 20 верстах.
11. Ближайшие сей церкви Марциальноводская в 12 верстах, Кончезерская в 20 верстах, Кондопожская в 25 верстах и Сунская 30 верстах.
12. Приписной к сей церкви нет.
13. Домовой церкви в сем приходе нет.
- [...]³ 19. Часовен, состоящих в ведении церкви, числом шестнадцать, по зданию все деревянные, построены неизвестно когда и кем, суть следующие:

¹ Так в документе.

² В ведомости об этой же церкви за 1831 г. в этом же пункте указано: «Утварью достаточна, только иконостаса не имеется» [Ф. 25, оп. 15, д. 16/361, л. 93].

³ Опущены сведения об описи церковного имущества, приходо-расходных книгах, копиях с метрических книг и исповедных росписях, обыскной книге, причте, количестве свечей,

1) Спаскогубская, во имя Преображения Господня, при деревне Спаской Губе в 3 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается в день Вознесения Господня, 26-го июня, в праздник Тихвинской Божией Матери и 6 августа в день Преображения Господня. [...]

2) Пуйгубская, в честь святых мучеников Флора и Лавра, при деревне Пуйгубе в 6 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается во вторник светлой седмицы, 18 августа в день святых мучеников Флора и Лавра и 21 ноября в день введения во храм Пресвятой Богородицы. [...]

3) Пялозерская Северная, во имя Успения Божией Матери, при деревне Пялозера Северной, в 10 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается в первую неделю Великого поста, в празднество Тихвинской Божией Матери. [...]

4) Пялозерская наволоцкая, в честь Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа, при деревне Пялозера Наволока, в 10 верстах от церкви, при ней кладбище издревле. Богослужение в ней совершается 16 августа в празднество Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа. [...]

5) Юркостровская, в честь святых безсребренников Космы и Дамиана, при деревне Юркостров, в 15 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается 1 ноября в день святых безсребренников Космы и Дамиана. [...]

6) Википцкая, в честь преподобного Алексия человека Божия, при деревне Википцах, в 6 верстах от церкви, при ней кладбище издревле. Богослужение в ней совершается 17 марта в день преподобного Алексия человека Божия и 8 ноября в день архистратига Божия Михаила и прочих бесплотных сил. [...]

7) Перт-наволоцкая, в честь святой мученицы Параскевы, при деревне Пертнаволока, в 12 верстах от церкви, при ней кладбище. Богослужение в ней совершается 1 января в день святого Василия Великого и 28-го октября в день святой мученицы Параскевы. [...]

8) Декнаволоцкая, в честь святителя и чудотворца Николая, при деревне Декнаволока в 3 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается 9 мая в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. [...]

9) Декнаволоцкая, в честь преподобного Александра Свирского, при деревне Декнаволока, в 3 верстах от церкви, при ней кладбище издревле. Богослужение в ней совершается 30 августа в день Преподобного Александра Свирского. [...]

10) Галлезерская, в честь святого великомученика Георгия Победоносца, при деревне Галлезере, в 12 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается 23 апреля и 26 ноября в праздник святого великомученика Георгия Победоносца. [...]

проданных в часовнях, вырученных суммах от продажи свечей и подаваний, прихожанам. В сведениях о прихожанах указано, что в 1869 г. к Мунозерскому приходу относилось 27 деревень (247 дворов, 979 мужского и 1108 женского пола), «ко всем прописанным деревням путь есть во всякое время года, но как дороги вообще каменные, то поозтому и сообщенне с деревнями не беззатруднительное» [Ф. 126, оп. 2, д. 6/112, л. 65 об.]. Территориальные границы прихода периодически менялись, так в 1879 г. к приходу относилось 22 деревни (192 двора, 767 мужского и 807 женского пола), при этом «раскольников явных в сем Мунозерском приходе нет, а тайных мужеска пола 5, женска 26 душ», а в заведовании церкви было уже 12 часовен, т. к. часть деревень и соответствующих часовен (юркостровская, пертнаволоцкая, галлезерская и шушковская) были переданы в другие приходы [Ф. 126, оп. 1, д. 4/49, л. 38 об.].

11) Новоселовская, в честь святого пророка и крестителя Господня Иоанна, при деревне Новоселовской, в 1 версте от церкви. Богослужение в ней совершается 29 августа в день Усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна. [...]

12) Теряковская, в честь Собора Пресвятой Богородицы, при деревне Теряках, в 2 верстах от церкви, при ней кладбище издревле. Богослужение в ней совершается 26 декабря в день Собора Пресвятой Богородицы. [...]

13) Утуковская, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, при деревне Утуках, в 10 верстах от церкви, при ней кладбище издревле. Богослужение в ней совершается 8 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы. [...]

14) Верхнеламская, в честь святых и праведных Иоакима и Анны, при деревне Верхней Ламбы, в 10 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается 9 сентября в день святых и праведных Иоакима и Анны. [...]

15) Шупковская, в честь святого апостола Фомы, при деревне Шупках, в 12 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается в неделю Антипасхи в празднество святого апостола Фомы. [...]

16) Кеняковская, в честь Казанской Божией Матери, при деревне Кеняках, в 10 верстах от церкви. Богослужение в ней совершается 22 октября в день Казанской Божией Матери. [...]

Ф. 126, оп. 2, д. 6/112, л. 59–61. Подлинник. Рукопись.

№ 5

Из ведомости о церкви Покрова Пресвятой Богородицы Мунозерского прихода Петрозаводского уезда Олонецкой губернии – об имуществе церкви

1879 г.

1. Построена в 1877 г. красноярским 1-й гильдии купцом Иваном Ивановым Токаревым.

2. Зданием деревянная, с таковою же колокольнею, теплая.

3. Престол в ней один во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

4. Утварю, ризницею, богослужебными и назидательными книгами достаточна.

5. Причта по высочайше утвержденному 20 марта 1871 г. расписанию приходов церковей и причтов Олонецкой епархии положено: настоятель один и псаломщик один.

[...] ¹ 7. Дом у настоятеля церковный, построенный в сем 1879 г. на церковной земле, а службы при оном, как то: скотный двор и сарай над оными, собственные, у и. д. псаломщика и просфирни дома свои собственные, построенные у первого на крестьянской земле, а у последней на церковной. Для помещения и. д. псаломщика куплен дом за 100 рублей на церковные деньги у бывшего священника Василия Лоянского, построенный на крестьянской земле.

¹ Сведения, указанные в пункте 6, аналогичны сведениям, содержащимся в ведомости о церкви за 1869 г. (док. № 4).

9. Здания, принадлежащие к сей церкви, суть два деревянных дома, в которых помещается причт и девять деревянных ветхих лавок от коих, чрез отдачу в наем 1 октября доходу в сем году получено 5 рублей 80 копеек, каковые и записаны на приход в книгу под 1 числом октября. [...]¹

Ф. 126, оп. 1, д. 4/49, л. 32–32 об.

№ 6

Из главной церковной и ризничной описи деревянной однопрестольной церкви Покрова Пресвятой Богородицы Мунозерского погоста Петрозаводского уезда Олонецкой губернии

1 июня 1879 г.

Часть первая. Глава 1-я. 1. Алтарь церкви

1. Престол деревянный из соснового дерева, квадратный вышиною 1 аршин 6 вершков², шириною и длиною 1 аршин 8 вершков. На нем срачица голландского полотна.

2. Жертовенник деревянный из соснового дерева, вышиною 1 аршин 6 вершков, шириною 1 аршин 4 вершка, длиною 1 аршин 8 вершков; на нем срачица голландского полотна.

3. На горнем месте икона Спасителя, сидящего на престоле, вышиною 2 аршина, а шириною 1 аршин 12 вершков, в деревянной окрашенной кобальтом³ рамке.

4. Пред жертовенником икона Успения Божией Матери, с серебряною ризою с позолоченными венчиками, весом около полуфунта в вырезной позолоченной киоте под красным деревом, со стеклом; вышиною 7 вершков, а шириною 6 вершков.

5. На южной стене икона святителя чудотворца Николая, вышиною 1 аршин, а шириною 14 вершков в вырезной позолоченной киоте под красным деревом, со стеклом.

6. Пред престолом деревянный крест с изображением на одной стороне на середине распятия Господня, на верхнем конце Господа Саваоф, на поперечных концах Божия Матери и Иоанна Богослова, а на другой стороне – страстей Господних; на середине крест, в углах, сияние медное посеребренное.

Часть первая. Глава 2

1. Предалтарный иконостас церкви

1. Предалтарный иконостас в три яруса, столярной работы, окрашенный кобальтью⁴, карнизы оного в некоторых местах вызолочены под полимент червонным золотом, над иконами первого яруса восемь вырезных позолоченных крестиков, по белястрам 1-го яруса – по три позолоченных буртика, а по белястрам второго яруса, по два таковых же буртика.

¹ Опущены сведения о часовнях.

² Аршин = 16 вершков $\approx 71,12$ см, вершок $\approx 44,45$ мм.

³ Так в документе.

⁴ Так в документе.

2. Царские врата деревянные резные, позолоченные под полимент червонным золотом, с изображением в середине Божией Матери и Архангела Гавриила, а по краям четырех Евангелистов, вышиною 3 аршин, а шириною –¹.

3. Над царскими вратами, позолочены под полимент червонным золотом, сияние, в середине которого всевидящее око, – вышиною 8 вершков, шириною 1 аршин 4 вершка.

В 1-м ярусе по правую сторону царских врат иконы:

4. Спасителя, вышиною 1 аршин 8 вершков, а шириною 12 вершков.

5. Архангела Михаила (в южных вратах), – вышиною 1 аршин 8 вершков, шириною 12 вершков.

6. Икона святого пророка Божия Илии с изображением огненного восхождения святого пророка на небо, вышиною 1 аршин 8 вершков, а шириною 12 вершков.

7. Икона с изображением явления святой Троицы преподобному Александру Свирскому чудотворцу, вышиною 1 аршин 8 вершков, шириною 12 вершков.

По левую сторону царских врат:

8. Икона Покрова Пресвятой Богородицы, вышиною 1 аршин 8 вершков, шириною 12 вершков.

9. Архангела Гавриила (в северных дверях), вышиною 1 аршин 8 вершков, шириною 12 вершков.

10. Икона Николая Чудотворца, вышиною 1 аршин 8 вершков, шириною 12 вершков.

11. Икона Иоанна Предтечи и святых мучеников Иулитты и Кирика, с изображением над верхом оных усекновения главы Иоанна Предтечи, вышиною 1 аршин 8 вершков, шириною 12 вершков. [...] ²

Глава 3. Иконостасы и иконы в прочих местах храма

1. За правым клиросом в рамке соснового дерева, окрашенной кобальтом³, – икона Покрова Пресвятой Богородицы с чудесами, на ней риза непробного серебра в 50 золотников, икона эта вышиною 1 аршин 8 вершков, а шириною 1 аршин 3 вершка.

2. Херувъ⁴, писанная на холсте и обшита кругом бархатом малинового цвета, а по краям золоченым позументом и золочеными кистями, с изображением на одной стороне Воскресения Христова, а на другой Николая Чудотворца.

3. Плащаница, писанная на холсте, с выпуклою плотию Спасителя, с золотыми мишурными по краям кистями, обшита кругом малинового цвета бархатом, а по краям мишурным позолоченным позументом, с изображением Спасителя и кругом надпись: «Благообразный Иосиф» и пр., шириною 1 аршин 12 вершков, высотой 1 аршин.

¹ Сведения не указаны.

² Опущены сведения об иконах второго и третьего ярусов. Далее опущены сведения о лампадах, подевичниках, аналоях, столиках, кадилах, облачениях престолов и жертвенников, облачениях священнических, диаконов, стихарях причетнических, блюдах, сосудах для освящения хлебов и водоосвящения, купелях, крестильных сосудах, укропниках, колоколах, богослужебных книгах, писаниях святых отцов, других книгах духовного содержания, исторических книгах, грамотах.

³ Так в документе.

⁴ Так в документе.

4. За левым клиросом в рамке соснового дерева, окрашенной кобальтом¹ икона Илии пророка с чудесами, вышиною 1 аршин 8 вершков, шириною 1 аршин 4 вершков.

5. Херувь², писанная на холсте и обшита кругом бархатом малинового цвета, а по краям мипурным позолоченным позументом с золочеными кистями, с изображением с одной стороны крещения Господня, а с другой Казанской Божией Матери.

[...]

Часть вторая. Опись ризницы

Глава 1. Евангелия

1. Евангелие в пол-листа в бархатном малинового цвета переплете, верхняя дека оного обложена серебром, на котором по углам изображения четырех Евангелистов, а в середине – воскресения Христова, а нижней деке наугольник серебряный, и в середине серебряное сияние, в середине которого находится изображение Креста. Москва, изд. 1872 г. Пожертвованное строителем церкви Ивана Ивановича Токарева.

2. Таковое же Евангелие, с таковыми же на серебре изображениями, в 8-ю долю листа. Москва, изд. 1867 г. Пожертвовано крестьянином деревни Спасской Губы Иваном Мефодиевичем Ешаковым.

3. Евангелие в пол-листа, в медном окладе, верхняя дека оного была вызолочена, но от времени полиняла. На верхней деке оного Евангелия изображения на финифте в середине Воскресения Христова, а по углам четырех Евангелистов; переплет и нижняя дека аплек². Печатано в Москве, 1854 г.

4. Евангелие в пол-листа, в полубархатном малинового цвета переплете, с медными посеребренными изображениями на средине Воскресения Христова, а по углам четырех Евангелистов. Москва, изд. 1791 г.

Глава 2. Кресты напрестольные

1. Крест серебряный позолоченный весом 50 золотников.

2. Таковой же крест малый весом 29 1/2 золотников. Первый из них пожертвован крестьянином деревни Спасской Губы Иваном Мефодиевым Ешаковым, а второй строителем храма Иваном Ивановичем Токаревым.

3. Крест медный посеребренный, с изображением на финифте распятия Господня, на верхнем конце Господа Саваоф, а на поперечных Божией Матери и Иоанна Богослова, а на нижнем конце Иисуса Христа молящегося; весом пол-фунта.

Глава 3. Священнослужебные сосуды

1. Потир, дискос, звездица, лжица, две тарелочки серебряные, потир внутри вызолочен, весом 2 фунта. Пожертвованы крестьянином деревни Пятозеро Диановым.

2. Потир, дискос, звездица, лжица, две тарелочки серебряные вызолоченные, весом 141 золотник. Два копия стальных, с костяными ружьями. Пожертвованы строителем храма Иваном Ивановичем Токаревым.

¹ Так в документе.

² Так в документе.

Глава 4. Дарохранильницы

1. Ковчег серебряный вызолоченный со стеклянным колпаком, весом 171 1/2 золотник.
2. Дароносица медная посеребренная, при ней потир и лжица вызолоченные, весом 54 золотника. Дар красноярского купца Ивана Ивановича Токарева.
[...]

Часть третья

Глава 1. Печатные книги. Священного писания

1. Библия на славянском языке в кожаном переплете в пол-листа, Московской типографии издания. 1822 г.
2. Новый Завет в листах, в 16 долю листа. 1865.
3. Евангелие от Матфея на корельском¹ языке, в 8 долю листа. 1820.
4. Толкование на псалмы епископа Палладия Серапульского издание второе, в бумажке. 1874 г. Пожертвование Палладия епископа Олонецкого и Петрозаводского.
[...]

Глава 7. Хозяйственные документы

1. План и межевые книги на церковную землю в первом месте, отведенную во владение священно-церковнослужителей в 1832 г. в количестве 59 десятин 2061 квадратной сажени всей земли, а за исключением неудобной, одной удобной 30 десятин и 1260 квадратных сажен.
2. План и межевые книги на церковную землю в другом месте, отведенную во владение священно-церковнослужителям в том же году в количестве 5 десятин и 1140 квадратных сажен сеного покоса.
3. Проект и смета деревянной церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Мунозерском погосте Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, составленные 25 января 1876 г. олонецким губернским архитектором Михайловским, и одобренный строительным отделением Олонецкого губернского правления по протоколу 9 февраля 1876 г. за № 9.

Ф. 25, оп. 12, д. 62/10, л. 1–1 об., 5–5 об., 10, 21–24, 36, 47 об. Подлинник. Рукопись.

№ 7

*Из рапорта пристава 2-го стана Петрозаводского уезда
петрозаводскому уездному исправнику – о посещении магистром
философии императорского Александровского университета
в г. Гельсингфорсе И. И. Куйола сел Спасская Губа и Мунозеро²*

Не ранее 3 октября 1909 г.

¹ Так в документе.

² И. И. Куйола был командирован для лингвистических и этнографических исследований среди карельского населения Олонецкой губернии [Ф. 620, оп. 2, д. 11/214, л. 231, 231 об.].

В ответ на предложение от 25 сентября 1909 г. за № 104 доношу Вашему высокоблагородию, что в пределах вверенного мне стана проезжали финны: 25 мая с. г. был в селе Спасской Губе магистр философии Куйола, где он производил фотографические снимки села Спасской Губы и села Мунозера. Записывал былины и сказки, расспрашивал местных стариков-карел, при чем в это время ничего предосудительного за ним не замечалось.

Ф. 620, оп. 2, д. 11/214, л. 234–234 об. Черновой экз. Рукопись.

№ 8

Из сведений о крестьянских хозяйствах селения Мунозерский Погост Спасопреображенской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, составленных статистическим бюро Олонецкого губернского земства

[Июнь 1911 г.]¹

Петрозаводский уезд.

Волость – *Спасопреображенск.* Общество – *Мунозерское.* Селение – *Мунозеро Погост.* Разряд крестьян – *государственные.* Селение при реке или озере (названия их) – *Мунозере.* Сплавных или нет. Судходных или нет. [...] ²

Перечислить имеющиеся в селении мелкие торгово-промышленные заведения: трактиры, постоянные дворы, лавки, водяные и ветряные мельницы, масл. заводы, лесопильные заводы, кузницы и т. д.

Название торгово-промышленных заведений	Кому принадлежат
<i>Вододействен[ная]</i>	<i>Тарову Петру</i>
<i>Мелочная лавка</i>	<i>Зайцеву Алекс.</i>
<i>Мелочная лавка</i>	<i>Тарову Конст.</i>

Нет ли отдельных выселков из данной деревни. Какие и когда образовались. Причины выселения. – *Нет.*

Землевладение и землепользование

1. Основные владения (документы и дата их утверждения). – *Утвержд. 1886 г. марта 15-го дня. Владенная запись 52, по плану – 53.*

2. На сколько ревизских душ нарезан надел³.

3. Какие из угодий входят в состав данного владения (подчеркнуть угодья и виды их имеющиеся в наличности): 1) усадыба, 2) пашня – а) постоянная (поля, запольные участки), б) временного характера (перелог, подсеки, маяги), 3) сенокос,

¹ Датировано по аналогичным документам в деле.

² При извлечении предпочтение отдавалось наиболее информативным пунктам, относящимся к условиям ведения крестьянского хозяйства. В таблицах опущены незаполненные графы.

³ Графа не заполнена.

4) выгон – а) чистый, б) по лесу, 5) лес – а) лесной надел, б) подсечно-земельный, в) выгонный надел, б) неудобные земли, 7) части владения вообще с промысловым (не сельскохозяйственным) значением – рыбные ловли, торфяники, залежи угля, извести, камня, металлов и т. д. – *В своем наделе имеются залежи известкового камня. Обжигание извести на продажу производят в казенном участке по билету.*

4. Нет ли каких-либо угодий в общем владении с другими деревнями (какие и с кем). – *Выгон, подсечный надел, и лесной надел, в общем владении 9-ти сел.*

5. Чем и как регламентируются способы пользования в таких случаях. – *Пользование свободное.*

[...]

Пашня

1. Сколько было переделов со времени X ревизии до отвода надела и сколько после того. – *Переделов не было.*

[...] 6. Какая из систем разверстки была принята при последнем переделе: по душам староревизским, работникам, наличным мужского пола, едокам и т. д. – *Платеж установлен с посевной мерки.*

7. Сколько было установлено разверсточных единиц. – *163,5.*

8. По какой системе производилась разверстка в прежнее время. Когда и по каким мотивам эта система оставлена. – *Истари ведется по меркам.*

9. При переделе в последний раз вся ли постоянная пашня поступила в передел или часть ее была оставлена без дележа. Какие из полян (во времени расчистки) поступили в передел и какие остались в единоличном пользовании отдельных домохозяйств. – *Земли не делили. Владение подворно-наследственное.*

[...]

Усадьба

1. Форма пользования усадьбами в настоящее время: подворно-наследственная, душевая.

2. Не передавались ли усадьбы раньше до какого времени. – *Нет.*

3. Не уравнивались ли полевой землей или денежными платежами. Условия такого уравнивания (количество земли и размер платежей). – *Нет.*

4. Система разверстки усадебных земель (по каким душам) и техника переделов. – *Владение подворно-наследственное.*

5. Условия отвода новых усадебных мест. – *Из полевой земли. По новой распланировке 12 лет назад. Таких построек возведено 5-ть. Каждое размером 14х30.*

[...]

Характеристика угодий и условия их эксплуатации

[...]

Пашня

Рельеф и почва

1. Общий характер пашенного рельефа: высокая равнина, ровная низина, котловина, холмистая местность и т. д. – *Высок. холмист.*

Скаты: крутые или отлогие. – *Преобладают крутые.*

Направление скатов. – *В разные стороны к озеру Мунозеро.*

[...]

3. Описание почв на папне¹:

Характеристика почв / Почвы	<i>Мусто муа Койвикко Чернз. чури- стый</i>	<i>Пески муа Койвикко Супесок чури- стый</i>
На каких местах преобладает: на ровных высоких, на ровных низких по скатам – крутым или отлогим, в котлов., на бугр., около болот, около леса	<i>на склонах к озеру</i>	<i>на самых высоких местах</i>
Цвет	<i>черный</i>	<i>черно-серый</i>
Глубина (до материка)	<i>3 в[ершка]</i>	<i>4 в[ершка]</i>
Структура (плотная, вязкая, рыхлая, комковатая, рассыпчатая)	<i>рыхлая</i>	
Переходный горизонт (ореховатый, горохом, бел., как зола и проч.)	—	
Подпочва: а) Название	<i>чура с графитным камнем</i>	
б) Цвет	<i>черный</i>	<i>сери-черный</i>
в) Водопроницаемость	<i>свободная</i>	<i>свободная</i>
Присутствие камней в почве и на поверхности: а) Каких б) В каком количестве	<i>очень много крупных сидячих и мелких графитных</i>	
Близость грунтовых вод	—	
Состав трав на межниках на запущенных полосах, в пару в посевах	<i>разных земных</i>	
Культурные особенности почв: а) Легко ли смачивается и делается ли при этом рыхлою, вязкою б) Скоро ли высыхает, не дел. ли при этом плотною, не образует ли коры, не дает ли трещин	<i>легко рыхл.</i>	
в) Не застаивается ли вода и не вымокает ли хлеб	<i>нет</i>	
г) В какие годы лучше урожай (в сухие или мокрые)	<i>в сухие</i>	
д) Отношение к обработке в различных степенях влажности	<i>каменистость сильно затрудняет обработку полей</i>	
е) Для каких хлебов наиболее пригодна	<i>для ржи</i>	
ж) Отношение к удобрению в смысле быстроты сгорания и интенсивности эффекта в разные годы	<i>навоз быстро перегор.</i>	

[...]

Севооборот

а) На постоянной папне общего чересполосного пользования (поля).

1. Расположена ли папня этого рода значительными сплошными участками или состоит из массы мелких. Сколько отдельных участков охватывает полевая папня. – *В 3-х больших и 5-ти мелких участках.*

2. Расстояние этой папни от усадьбы: а) Ближние полосы *1/4 версты.* б) Дальние *3 версты.* в) Среднее расстояние *1 верста.*

¹ Написание карельских слов дано как в тексте документа. Мусто муа – карел. mustu mua ‘черная земля’, койвикко – карел. koivikko ‘березняк’, чура – карел. šuuru ‘крупный песок’.

3. Преобладающий севооборот. – *Пар, рожь, яров. (бол. овса), пар, рожь, яров. и т. д.*

[...]

б) На запольных участках папши личного пользования (поляны)

1. Лежит ли папшия этого рода значительными кусками или же разбросана в виде мелких участков. Сколько отдельных кусков охватывает запольная папшия. – *В мелких участках в 3-х [местах].*

2. Расстояние от усадьбы: а) до самых ближних участков – *2 версты*, б) до самых дальних – *3 версты*, в) среднее расстояние – *2,5*.

3. Каков относительный размер этого вида папши по данной деревне по сравнению с полями общего чересполосного пользования (больше, меньше, и на сколько – дробью). *На 4 меры ржи. 0,48*

4. Преобладающий севооборот. – *Тот же, что и в папше.*

[...]

Густота сева и перемены в пропорции культур

1. Какими семенами ржи – старыми (*1/4*) или новыми (*3/4*) большинство домохозяев обычно (в средний год) обсеменяет папшию: а) в полях – *нового*, б) на запольных участках, в) в подсеках, г) перелогам.

2. Сколько высевает нови на площадь, засеваемую 1 мерой (маленькой) ржи старого урожая – *1,5 мер.*

Чем объясняется разница в густоте сева старью и новью. – *Новое зерно крупнее, поэтому меньше входит в мерку.*

[...]

7. Какими семенами преимущественно производится сев: своими или покупными, местными или привозными.

8. Не замечается ли разницы в густоте сева – а) на почвах разного вида, б) на сильно удобренных и слабо удобренных участках папши. Характер этой разницы и ее приблизительный размер (дробью). Какими соображениями эта разница вызывается. – *На черноземных местах сеют реже, на песчаных гуще, потому на черных местах земля сильнее и ростков дает больше.*

[...]

Удобрение

1. Что идет обычно в подстилку для скота и в какой пропорции. – *Осенью [сол[ома] 1/4, зимой и весной хвои 2/4, лет. ольх[овые] пр[утья] и мох 1/4.*

[...] 3. Продажа-покупка навоза:

а) Какие дворы являются продавцами. – *У безлошадных вдовиц имеющих небольшую запашку.*

б) Какие покупателями. – *Зажиточные.*

в) Если навоз берется на стороне, где и за сколько верст. – *В своей деревне.*

г) В какое время года покупается навоз. – *Осенью и весной.*

д) Стоимость воза и вес. – *12 копеек за воз 10–12 пудов.*

е) Стоимость доставки – ¹.

¹ В графе прочерк.

ж) Качество навоза в зависимости от того, что служило подстилкой (солома, торф, хвоя) – *хорошее*.

[...] 6. Сколько удобрения кладется в озимом поле под 1 меру (маленку) посева:

		Ржи			Ячменя		
		Воз	Вес воза	Пуд	Воз	Вес воза	Пуд
а) В полях	<i>ст.</i>	25	10	250	–	–	–
б) На запольных участках	<i>нов.</i>	20	–	200			

7. Под какие хлеба и культуры обычно кладется удобрение в яровом поле. – *Под картофель.*

[...] 11. Стоимость воза хвой (вес). – *Накарзать¹ 20 копеек. Привезти 50 копеек на своих харчах за 5 верст.*

Техника полеводства

а) На постоянной пашне (поля и запольные участки)

1. Обработка

Поле- вые куль- туры	Сколько раз пашут		Сколь- ко раз боро- нят	Когда (от – до) пашут			Когда (от – до) пашут		Чем заде- лывают семена (сох., бор., сох.+бор.)	Когда проеис- ходит сев (от – до)	Полка	
	осе- нью	вес- ной до пос.		осе- нью	весной		весной				Сколь- ко раз	ког- да
					1-й раз	2-й	1-й раз	2-й				
Рожь	1	2	2	<i>IX</i> 10–25	<i>VI</i> 1–5	<i>VII</i> 1–5	20	20	<i>сох.</i>	<i>1 авгу- ста</i>	–	–
Овес	1	–	–	<i>IX</i> 10–25	–	–	–	–	<i>сох.</i>	<i>V</i> 6–4	–	–
Карто- фель	1	2	2	<i>IX</i> 10–25	<i>V</i> 10–15	<i>V</i> 13–18	2–3		<i>сох.</i>	<i>V</i> 20	<i>1 бо- рон.</i>	<i>20 ию- ня</i>
Лен	1			<i>IX</i> 10–25								
Коно- пля	1			<i>IX</i> 10–25								

2. Сколько раз после садки картофеля производится пропашка (окучив.) *1 раз сохой, бороньба полка 1 раз.* После посева овса ломка *через 4–5 дней бороной.*

[...] 4. Чем преимущественно пашут *сохой*, боронят *бороной сучковаткой*.

5. У скольких домохозяев имеются – плуги – *нет*, бороны с железными зубьями – *нет*.

¹ Накарзать – нарубить.

2. Уборка

Полевые культуры	Чем убирают: серпом, косой, руками	Когда убирают (жнут, косят) от-до	Способы складки и сушки в поле: суслонны, бабки, бараны	Число снопов в них	Средний вес снопа – в фун.	Сколько времени убранный хлеб стоит в поле	Сколько времени длится сушка в зародах (на ве-шал.)	Когда производится возка и склад в стога	Когда производится овина-ная сушка	Сколько снопов сажат на овин	Чем мо-ло-тят	Как произво-дится ве-янье
Рожь	<i>Серп</i>	<i>VIII 1–6</i>	<i>бабки</i>	<i>10</i>	<i>3,5</i>	<i>10 д.</i>		<i>по про-сушке</i>	<i>по ме-ре на-доб-ности</i>	<i>250</i>	<i>при-уз</i>	<i>На вет-ру</i>
Овес	<i>Серп</i>	<i>10–15</i>	<i>в зарод</i>		<i>1,5</i>	<i>–</i>	<i>20–30 дней</i>			<i>800</i>		
Картофель	<i>Рук.</i>	<i>IX 10–20</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

[...]

Урожайность

Хлеба и культуры	1. Какой урожай считается средним			2. Сколько снопов нажинают на 1 м посева в средн. год		3. Средний умолот в мерах с овина	
	в полях	на врем. пашне: подс., перел.		в полях	на врем. пашне: подс., перел.	в полях	на врем. пашне: подс., перел.
		1-й хлеб	2-й				
		сам (сколько)					
Рожь	<i>7</i>		<i>4</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>67</i>
Овес	<i>4</i>			<i>120</i>	<i>–</i>	<i>17</i>	<i>–</i>
Картофель	<i>7</i>						
Лен (семя)	<i>–</i>	<i>1</i>					

Рынки полевых продуктов и цены

1. До какого времени обычно хватает своего хлеба на продовольствие большинству домохозяев. – *С 25 декабря.*

[...]

Сенокос

Время уборки и поденные цены

1. Все ли покосы убираются в одно время или уборка их растягивается на долгий срок (почему). – *Нет. В сырое лето – до 1-го. В сухое – до 25 июля.*

[...]

Рынки и цены на сено

1. Хватает ли крестьянам своего сена. – *Хватает.* Когда преимущественно покупают. – *В тех случаях, когда недостает сена, берут у зажиточных в долг под работу.*

[...]

Выгон

1. Когда обычно выгоняется скот на пастбища (месяц и число). – *С 6–9 мая.*

2. Когда обычно ставится скот на зимний корм (месяц и число). – *С 1 октября.*

Натуральные повинности

1. Натуральные повинности, их размер и способы отбывания. – *Десятничанье 5–6 дней ежегодно. Подводы волостным лицам 6 дней с лошади. Чинка дор. нет.*

Ф. 27, оп. 3, д. 13/125, л. 82–90. Типограф. бланк, заполненный от руки.

№ 9

Из протокола заседания Президиума Центрального Исполнительного Комитета Карельской АССР – о закрытии церкви в д. Мунозеро Мунозерского сельсовета Петровского района

29 декабря 1929 г.

Слушали: О закрытии церкви в дер. Мунозере Мунозерского сельсовета Петровского района.

Постановили: 1. Принимая во внимание постановление, вынесенное общими собраниями граждан дер. Мунозеро от 15/XI-29 г., дер. Тереки от 8/XII-29 г., дер. Викпицы от 1/XII-29 г. о закрытии Мунозерской церкви и использовании здания таковой под культурно-просветительное учреждение, подтвержденные постановлениями Мунозерского Сельсовета от 10/XII-29 г. и Президиума Петровского РИКа от 11/XII-29 г. – церковь в дер. Мунозеро закрыть и здание таковой передать в распоряжение Петровского РИКа для использования под культурно-просветительное учреждение.

2. Поручить Петровскому РИКу произвести ликвидацию Мунозерской церкви в порядке ст.ст. 39–40 постановления ВЦИК от 8-го апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» (Изв. ЦИК и ВЦИК 1929 г. №№ 96–98).

3. Предложить НКФину АКССР принять по описи имущество означенной церкви, подлежащее сдаче в Госфонд.

4. Настоящее постановление объявить Мунозерскому религиозному объединению.

Ф. Р-689, оп. 15, д. 2/5, л. 266–266 об. Подлинник. Машинопись.

№ 10

Статья в газете «Единоличники ждут "Петров день"»

16 июля 1933 г.

Мунозерская коммуна имени Гюллинга предусматривает по плану выкосить около 200 тонн сена. Рабочей силой коммуна на период сеноуборки обеспечена. Полеводческая бригада разбита на четыре звена, и в каждом из них есть треугольники и парторганизации.

Звенья между собой соревнуются.

Все коммунары, кроме комсомольца Мишпа Пименова, с 1-го июля горячо принялись за сеноуборку. Их трудовой день начинается с 6-ти часов утра и кончается в 7 часов вечера.

Мишпа Пименов выходит в 7 часов утра, вместо того чтобы как звеньевнику выходить в наз[наченный] час и раньше других.

В этой же деревне единоличники не думают косить. Они ждут религиозный праздник «Петров день», после которого, по-старому принято начинать сеноуборку.

Каждый сознательный трудящийся единоличник должен сейчас же начать сеноуборку, чтобы обеспечить свой скот на зиму основным кормом, а не затягивать сенокос до выдуманного попами праздника «Петрова дня».

Петровский ударник¹. 1933. 16 июля. № 29. С. 4.

№ 11

Письмо Председателя Президиума Верховного Совета Карельской АССР П. С. Прокконена в Президиум Верховного Совета РСФСР о переименовании Мунозерского сельсовета в Петровский сельсовет Кондопожского района Карельской АССР

3 сентября 1962 г.

Жители Мунозерского сельсовета Кондопожского района Карельской АССР неоднократно ставят вопрос о переименовании сельсовета в связи с тем, что это название на карельском языке имеет непристойный смысл.

Исполнительный комитет Кондопожского районного Совета депутатов трудящихся поддержал это предложение и 11 июля 1962 г. вынес решение с просьбой переименовать Мунозерский сельсовет в Петровский сельсовет.

Переименование сельсовета в Петровский обосновывается следующими обстоятельствами:

9 сентября 1923 г. XIX съезд Спасопреображенского Совета крестьянских депутатов принял решение переименовать Спасопреображенскую волость в Петровскую в память «убитых т.т. Петрова И. Ф. и 2-х Петров: Мюзиева и Кирьякова».

15 октября 1923 г. Решение Спасопреображенского съезда Советов утверждено ВЦИК.

17 июля 1927 г. постановлением II сессии Центрального Исполнительного комитета Карельской АССР Петровская волость переименована в Петровский район. Постановление II сессии ЦИК КАССР VII созыва от 17 июля 1927 г. утверждено постановлением ВЦИК 29 августа 1927 г.

26 августа 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Петровский район был упразднен, и его территория вошла в состав Кондопожского и Суоярвского районов.

Учитывая, что в годы советской власти исторически существовали Петровская волость, Петровский район, Президиум Верховного Совета Карельской АССР 17 августа 1962 г. принял Указ о переименовании Мунозерского сельсовета Кондопожского района в Петровский сельсовет того же района.

Просим Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить этот Указ.

Ф. Р-689. Оп. 17. Д. 51/429. Л. 119–120. Отпуск. Машинопись.

¹ Газета «Петровский ударник» являлась органом Петровского райкома ВКП(б), РИКа и райпрофсовета.

Языкознание



PIENI ESSEE SANOJEN KOHTALOISTA

Tutkimuskysymyksiä

Artikkelini on suomen ja sen sukukielten sanaston etymologista tutkimusta koskeva essee. Tarkoitukseni on selvittää periaatteellisia sanojen äänneasun ja merkityksen kehitykseen ja sanojen alkuperän tutkimukseen liittyviä kysymyksiä uralilaisten kielten kontekstissa. Keskeisiä kysymyksiäni ovat:

- a) miten sanojen semantiikka ennustaa sanojen äännerakenteen kehitystä ja lainautuvuutta?
- b) miten sanan merkitys ennustaa sen etymologiaa?
- c) missä määrin samat sanavartalat kehittyvät samalla tavoin eri kielissä?
- d) onko mahdollista luoda sanaston kehityksen typologiaa, joka perustuisi sanojen merkitykseen?

Artikkelissa olen luonnostellut uralilaisessa kielikunnassa havaittavia sanaston kehityksen tendenssejä. Kysyn, mitkä yleisestä äännelaillisesta kehityksestä poikkeavat lainalaisuudet tai tendenssit säätelevät sanojen kehitystä silloin kun se on ”epäsäännöllistä”. Erityistä huomiota kiinnitän sanan semantiikkaan sen historiaa ennustavana tekijänä. Samalla esitän luonnoksen sanojen kehityksen typologiaksi tai etymologiseksi typologiaksi uralilaisten kielten kontekstissa.

Kyseessä ei ole varsinaiseen empiriseen aineistoon perustuva tutkimus vaan metatieteellinen pohdinta. Tavoitteenani on tutkimustilanteen reflektointi ja tutkimusasetelmien täsmentäminen, ei aineiston yksityiskohtainen analyysi, johon ei tilanpuutteen vuoksi olisi mahdollisuuttakaan.

Olen käsitellyt artikkelin teemaa Kielitieteen päivillä Helsingissä toukokuussa 2010 sekä 24. pohjoismaisessa lingvistikonferenssissa Joensuussa elokuussa 2010 sekä eräissä muissa esityksissä mm. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Nämä esitelmät ovat toimineet artikkelini pohjana. Samaa ongelmakenttää käsitellään osin myös laajemmassa artikkelissa [Saarikivi 2014].

Säännöllistä vai epäsäännöllistä?

Etymologisen tutkimuksen lähtöoletuksia on perinteisesti kuvattu kahdella maksiimilla. Näistä ensimmäisen mukaan jokaisella sanalla on oma historiansa (*Chaque mot a son histoire*, alkuaan ilmeisesti Meillet) ja toisen mukaan äännelait ovat poikkeuksettomia (*Die Lautgesetze kennen keine Ausnahme*, Leskien). Ilmeistä on, että näiden väitteiden välillä vallitsee jännitteinen suhde. Mikäli äännelait ennustaisivat kaikkien sanojen historian aukottomasti, ei

sanojen yksilöllistä historiaa nimittäin voisi olla olemassa. Toisaalta, mikäli kaikkien sanojen historia olisi täysin yksilöllinen, ei äännelakeja voisi olla olemassa. Etymologiassa on siis yhtäältä kuvattava sanojen historiaa yksittäistapauksina, toisaalta yksittäisen sanan historian kuvaaminen on uskottavaa sikäli kuin se noudattaa yleisesti tunnettuja kehityksiä. Tähän liittyy myös se esim. Häkkisen [Häkkinen 1983] korostama seikka, että etymologinen tutkimus yhtäältä perustuu äännehistorian tuntemukseen, mutta samalla kuitenkin (yhdessä historiallisen morfologian kanssa) tuottaa äännehistoriallisen tiedon. Äännehistoria ja etymologia siis edellyttävät toisensa ja tuottavat toistensa tutkimusaineiston.

Etymologinen tutkimus onkin perinteisesti kohdistunut yhtäältä eri kielten sanastojen välisten äännesuhteiden ja niitä valaisevien äännelakien selvittämiseen, toisaalta yksittäisten sanojen variaation ja kehityksen kuvaamiseen. Koska etymologian tutkimuskohteena kuitenkin on ensi sijassa yksittäisten sanojen alkuperä, ovat vähemmälle huomiolle jääneet sanaston yleiset kehitystendenssit, toisin sanoen vastaaminen kysymykseen, *missä tapauksissa* sanojen kehitys on äännelaillista ja missä tapauksissa siinä taas on havaittavissa sanakohtaisia normaalista äännelaillisesta kehityksestä poikkeavia tendenssejä.

Perinteisesti etymologian teoreetikot ovat viitanneet mm. analogian merkitykseen äännelaillista muutosta täydentävänä tekijänä, vrt. esim. [Paul 1886: 85–98; Ravila 1975]. Murremaantieteen harjoittajat taas ovat korostaneet homonymian välttämisen ja kansanetymologian (joka on eräs analogian alalaji) roolia kielen äännelaillista kehitystä häiritsevinä tekijöinä (ks. tarkemmin esim. [Jarva 2003: 20–21; Itkonen 1966: 37–38]). Jo 1800-luvulta alkaen on niin ikään oletettu, että äänteellisesti motivoitunut sekä merkitykseltään affektiiviset sanat muuttuvat kielen historiassa usein äännelaillisesta kehityksestä poikkeavasti. Kysymystä siitä, mitkä sanat kuuluvat näihin luokkiin ei kuitenkaan ole helppo ratkaista, siitä puhumattakaan, että äänteellisesti motivoituja sanoja koskevat kehitystendenssit olisi tyydyttävästi kuvattu. Tutkimuksen nykyvaiheessa on kuitenkin tyydyttävästi onnistuttu erottamaan onomatopoeettiset ja deskriptiiviset sanat yhtäältä ja yleinen äänneasulla jäljittely sekä kielikohtaiset äänteelliset konventiot toisaalta (keskustelua suomen ja muiden uralilaisten kielten osalta esim. [Koponen 1998; Koivulehto 2001; Aikio 2001; Jarva 2003; Kulonen 2010; Heikkonen 2012; Kim 2013]). Hiljattain on Kim [Kim 2013] kuvannut eräiden suomen äänteellisesti motivoitujen sanojen neutraloitumista kiinnittäen huomiota johtoprosesseihin, semanttiseen muutokseen ja murremaantieteeseen. Mm. sellaiset yleiskielen sanat kuin *juoru*, *hymy*, *hyrrä* ja *kapina* paljastuvat käsittelyssä hyvin myöhään (1800–1900-luvuilla) äänteellisesti motivoituneista sanoista neutraalistuneiksi lekseemiksi.

Vaikka etymologia perustuu äännehistoriaan, on liioittelua väittää kaiken äänteellisen kehityksen olevan pelkästään äännelain ja analogian ohjaamaa. Kielessä on myös ääntenmuutoksia, jotka eivät tapahdu lain-, vaan tendenssinomaisesti. Tällaisia ovat tietenkin erityyppiset onomatopoesian ja deskriptiivisten konventioiden ilmenemät, mutta myös eräät merkitykseltään neutraalit muutokset. Esim. suomen kielessä *r:n* ja *h:n* edellä havaittavissa oleva vokaalin piteneminen. *Kärmeestä* on tullut *käärme*, *parmasta paarma* ja *tarnasta taarna*, samoin *huhdasta huuhta* ja *vahdosta vahto*, mutta samantyyppisessä äänneympäristössä ei ole sekundaariakaan vokaalinpidennystä esimerkiksi sanoissa *armo*, *karva*, *härnä*, *parvi*, *lahti*, *tahra* jne. Vaikka monissa tapauksissa voi olettaa vokaalinpidennyksen liittyvän sanan fonotaktiikkaan, ei ilmeisesti ole osoitettavissa mitään yksiselitteisiä äänteellisiä tai merkitykseen liittyvää seikkoja, jotka auttaisivat ymmärtämään, milloin sporadinen pidennys tapahtuu ja milloin se taas jää tapahtumatta.

Samantyyppisiä ongelmia on kosolti myös uusien sanojen synnyssä. *Tyhmä* on mitä ilmeisimmän syntynyt ensi tavun vokaalikaliteetin varioinnin myötä *tuhmasta*, *kyhmy kuhmusta* ja *pöly pelusta*. On myös mahdollista, että *möly* on syntynyt *melusta* ja *pöhhö pehkusta*, mutta esimerkiksi äänteellisesti sangen läheinen *mela* ei ole kehittynyt ***möläksi*, eikä sanasta *puhke-* esiinny varianttia ***pyhke-* tai sanasta *pola* varianttia ***pölä*. Kysymystä siitä, millä äänteellisin ja semanttisin ehdoin tällainen sananmuodostus on suomen kielessä mahdollista, ei ole ratkaistu, siitäkään huolimatta, että kysymystä on toistuvasti sivuttu tutkimuskirjallisuudessa, vrt. [Saukkonen 1962; Kim 2013]. Kyseessä on vokaalivaihteluun perustuva johtoprosessi, jonka tarkat äänteelliset ja semanttiset ehdot ovat toistaiseksi kuvaamatta.

Epäsäännöllisen kehityksen ongelmat koskevat usein koko sanahahmoa. Venäläisperäisen sanan *potasma* ‘potkusuksi’ (< *podošva*) pohjalta ovat syntyneet mm. sanat *potakka*, *potaska*, *potka*, *pätäskä* ja *pätäkkä*, vaikka nämä eivät ole millään tavoin säännöllisiä johdoksia. Ne ovat edelleen kontaminoituneet toisiin suksitermeihin (vrt. *lapakko*, *lapuska*, *lapisko* ‘suosuksi’, *lotakka*, *lotisko* jne. id. [Itkonen 1977]). Vesa Jarva [Jarva 2003] on kuvannut venäläisperäisten varioivien sanapesyeiden (*hotka* ‘nopea’, *tytinä* ‘lihahyytelö’, *tökötti* ‘tuohiterva’, *kalkkale* ‘kulkunen’) irtaantumista lainaoriginaalistaan ja kontaminoitumista muiden sanojen kanssa. Tässä yhteydessä on syntynyt merkitykseltään ”ekspressiivisiä” sanoja, joiden ”venäläisperäisyys” voidaan eri kriteerein asettaa kyseenalaiseksi, siitäkin huolimatta, että ne on muodostettu venäläislainan pohjalta. (Itämeren)suomalaisessa kontekstissa on tutkittu myös sananlopun osalta epäsäännöllisesti varioivia sanapesyeitä, joissa analogian vaikutuksesta syntyy uusia sanoja (*selkeä* → *selvä*). Ilmiötä on nimitetty suffiksinvaihdoksi [Nikkilä 1998] tai johtokorrelaattien muodostamiseksi [Räsänen 1978; Kulonen 2010].

Esimerkiksi *pätäkä* ja *potka* syntyvät *potasmasta* mahdollisesti siten, että kantasanan *-(a)smä* ensin virheellisesti analysoidaan johtimeksi, joka korvataan olemassaolevalla johtimella *-(k)ka*. Näin saadaan *pot(ak)ka*, joka sitten edelleen kansanetymologisesti samaistetaan kielessä jo oleviin sanoihin *potka* ‘reisi’ (joka myös semanttisesti liittyy potkimiseen) ja *pätäkä* ‘raha; vitonen’ (joka niin ikään on slaavilainen laina). Suomen ja myös muiden itämerensuomalaisen kielten sanaston etymologioissa on hyvin paljon tämäntyyppistä eritasoisiin analogioihin pohjautuvaa variointia, jonka täsmällisten ehtojen kuvaaminen on nykyisen etymologisukupolven keskeisiä tehtäviä.

Kohti etymologista typologiaa

Paitsi äänteellinen variaatio, on etymologisen tutkimuksen kannalta relevantti kysymys, miksi eräät sanat (esim. ‘lihahyytelöä’, ‘potkusuksea’ tai ‘tuohitervaa’ tarkoittavat) ovat kehittäneet suuren määrän äänteellisiä ja suffiksaalisia variantteja, kun taas toisten sanojen kehitys on äänteellisesti ja muoto-opillisesti täysin säännöllistä. Jotta tällaisiin kysymyksiin voitaisiin vastata, on sanaston kehitystä tarkasteltava kokonaisuutena kielittäin, kielikunnittain ja kieltenvälisesti.

Viime aikoina myös sanastoon liittyvät teemat ovat muuttuneet kielitypologian tutkimuskohteiksi. Vaikka tällaiseen tutkimukseen liittyy samantyyppisiä datan epätasaisuuden ongelmia kuin kielitypologiseen tutkimukseen yleensäkin, on ilmeistä, että kieltenvälisessä lainautumisessa on havaittavissa erityisesti lainautuvia sanaluokkia ja merkityksiä koskevia lainalaisuuksia, jotka useiden kielten vertailun valossa voidaan ilmaista perinteistä etymologista tutkimusta systemaattisemmin, ks. [Haspelmath & Tadmor 2009; Tadmor 2009].

Eri kielikuntia yhdistävä lainautumisen typologia tarvitsee tuekseen yksittäisiä kielikuntia kattavia tarkasteluja sekä sanaston kehitystä kokonaisuutena tarkastelevaa typologista tutkimusta. Tähän liittyen käsittelen seuraavassa viittä erilaista sanaryhmää, joiden kehityksessä on uralilaisessa kielissä toisistaan selvästi poikkeavia tendenssejä. Käytän niistä hyvin alustavaksi tarkoitettuja nimityksiä *liikkuvat sanat*, *kiinteät sanat*, *hatarat sanat*, *perussanat* ja *kieliopin sanat*.

Liikkuvat sanat

Kulttuuri-innovaatioiden nimet ovat herkkiä lainautumaan. Materiaalien, teknologioiden, kotieläinten ja artefaktien sekä uskonnollisten käsitteiden nimet lainautuvat herkästi kielestä toiseen mikäli sanoja vastaavat käsitteet leviävät. Tähän ryhmään kuuluvat sanat edustavat horisontaalista kielellistä perintöä. Ne liikkuvat verkostoissa, jotka välittävät kauppatarvike- ja uskontoja tai muodostavat valtarakenteita. Useimmiten ne edustavat

äänteellisesti säännöllistä lainautumista kielestä toiseen. Tähän tyyppiin kuuluvaa sanastoa on kussakin kielessä usein monia eri kerroksia (vrt. [Saarikivi 2014], jossa mytologista sanastoa on analysoitu tästä näkökulmasta).

Kulttuuri-innovaatioiden ja niitä kuvaavien sanojen yhtäaikaista leviämistä on kuvattu sanaparilla *Wörter und Sachen*. Asioiden (*Sachen*) nimitysten kanssa samankaltaisesti käyttäytyä myös ideoihin liittyvä sanasto (*Wörter*). Lainautumisen typologiasta käytettävissä olevan tiedon valossa herkimmin lainautuvaa sanastoa onkin uskonnollinen terminologia, jota seuraavat pukeutumiseen, rakentamiseen, oikeuskäytäntöihin, yhteiskunnallisiin suhteisiin ja ruokaan liittyvä sanasto [Tadmor 2009: 64]. Esimerkiksi kristinuskoon liittyvä sanasto on eurooppalaisissa kielissä pitkälti yhteistä alkuperää, joka itämerensuomeen on saatu aluksi slaavilaisten kielten välityksellä (*pappi*, *risti*, *pakana* ja *raamattu*, vrt. [Kalima 1952: 197]). Novgorodin tuohikirjeiden paljastettua eräitä vanhojen slaavilaisten lainanantajakielten äänteellisiä piirteitä, mm. ns. 2. palatalisaation (kantaslaavin **k > c*) puuttumisen [Zaliznjak 2005: 41–45], voidaan nyt esittää, että myös sana *kirkko* kuuluisi slaavilaisiin lainoihin: ksu **kir(i)kko < *kьrkū >* mven *църкы >* nven. *церковь* (tässä muodossa uusi etymologia, sl. sanasta ks. [Vasmer IV: 300]; sanaa on pidetty myös alasaksalaisena lainana, vrt. [Bentlin 2008: 68–69], jossa viittaus Koposeen)¹.

Suomalais-ugrilaisen muinaistutkimuksen kannalta huomattavaa on, että arkeologisesti määriteltävät kulttuurialueet tyypillisesti jakavat teknologioita, raaka-ainelähteitä ja uskonnollisia käsityksiä. Kielellisessä aineistossa näitä vastaavat kielirajojen yli helposti leviävät liikkuvat (laina)sanat. Materiaalisesti samantyyppisen kulttuurin piirissä asuvat ihmiset saattavat kuitenkin käyttää monia eriin kielikuntiin kuuluvia kieliä, vrt. esim. [Terrell 2001; Lavento & Saarikivi 2012]. Arkeologiset kulttuurialueet, joita fennougriistüikan(kin) historiassa on haluttu usein kytkeä kielten levintään, näyttävätkin monissa tapauksissa edustavan pikemmin teknokomplekseja ja vaihdantaverkkoja, jotka kielen tasolla vastaavat erityyppisiä kieliliittoja, joita yhdistävät mm. liikkuvat sanat.

Paikalliset sanat (substraatti)

Toisentyypisiä lainasanoja edustavat paikallisesti periytyvät substraattisanat, jotka kulkeutuvat kielestä toiseen kielenvaihdon yhteydessä.

¹ On jossain määrin epäselvää, onko *kirkko* kantasuomalainen sana. Sanalla on sekä ensi tavun *e*:hen, että ensi tavun *i*:hin viittaavia varianteja [SSA I: 370], mikä viittaa siihen, että se on lainautunut ims. kieliiin useita kertoja. Itämerensuomessa esiintyy sekä lähtöasuun **kirikkö*, että **kirkko* viittaavia muotoja. Mikäli sanan varhaisin asu olisi **kirikko*, laina viittaisi sl. lähtöasuun **kьrkū*, jonka jatkajia on ainakin eräissä kirkkoslaavin varianteissa, tšekissä, sloveenissa ja sorbissa, vrt. [Vasmer IV: 300].

Tähän ryhmään kuuluvat usein mm. kasvien ja (luonnossa esiintyvien) eläinten nimitykset, maastoon liittyvä sanasto sekä ennen kaikkea paikannimet, jotka edustavat vertikaalista kielellistä perintöä. Ne on usein lainattu useita kertoja kielestä toiseen samalla alueella ja niiden varhaisin alkuperä on hämärän peitossa kadonneita kielimuotoja edustaneissa substraattikielissä. Samaan sanastotyyppiin kuuluu usein myös pejoratiivista sanastoa kuten kirosanoja.

Kyseessä on sanasto, joka on tiettyyn (kulttuuri)ekologiseen alueeseen liittyvää ja periytyy tällä alueella kielestä toiseen, mutta ei leviä horisontaalisissa verkostoissa. Kuten liikkuvat sanat, ne omaksutaan useimmiten sanojen konkreettisen denotaation tullessa tunnetuksi, mutta erona on se, että ne kuvaavat asioita, joita joko ei voi siirtää paikasta toiseen tai joiden siirtämisellä ei ole kaupallista tai hallintaan liittyvää merkitystä. Esimerkkinä paikallisista sanoista voidaan mainita suomen ja karjalan saamelaislainat [Aikio 2009]. Niissä on melko paljon sanoja, joilla ei itse saamen kielessä ole mitään varsinaista alkuperää (esim. su *naali*, *mursu*, *piekana*, *riekko* ym.). Merkityskentiltään hyvin samankaltaista sanastoa on lainautunut runsaasti myös itämerensuomesta venäjään, vrt. [Myznikov 2004], ja niistäkin monet ovat alkuperältään tuntemattomia itämerensuomessa (vrt. su *kanerva* > ven. murt. *kanáβpa* ym., su *hor(s)ma* > ven. murt. *φopma* ym.). Suomessa, saamessa ja venäjässä, eräissä tapauksissa myös skandinaavisissa kielissä on myös sanastoa, jonka lainasuhteet ovat epäselviä, mutta joka levikiltään rajoittuu Fennoskandiaan ja sen ympäristöön (esim. su *norppa*, saa*N* *noarvi* ja *njuorju*, ven. *heпna*, su *siika*, ru *sik* ja ven. *cuэ*).

Tuntemattomista ”paleoeurooppalaisista” kielistä saadut sanastokerrostumat erityisesti tundravyöhykkeellä puhutuissa uralilaisissa kielissä taas ovat paljon vielä tutkimatta (saamen osalta ks. [Aikio 2004]; vastaavaa sanastoa esiintyy ilmeisesti melko runsaasti mm. samojedikielissä). Taigavyöhykkeen kielissä substraattia on vähemmän, mutta paikannimissä esiintyvän sanaston epäuralilaisuus viittaa siihen, että sitä on kuitenkin jonkin verran, vrt. [Saarikivi 2004].

Paikallisten sanojen levikki tutkittavan kielen murteissa on usein kapea ja niissä on havaittavissa fonemaattista variaatiota, joka on samantyyppistä kuin ns. hatarissa sanoissa (ks. alla). Eräissä tapauksissa niistä voi muodostua liikkuvia sanoja jonkin kulttuurisen innovaation myötä. Esimerkiksi monet laajalti levinneiden kauppatavaroiden nimet ovat alun perin paikannimiä (*pronssi* ← *Brentesion* > Brindisi, *kupari* ← *Kypros*, *kahvi* ← *Kaffa*? [alue Etiopiassa]). Tällainen sana syntyy usein kun jokin aikaisemmin vähäkäyttöinen paikallinen hyödyke muuttuu kauppatavaraksi.

Uralilaisen etnohistorian kannalta kiinteillä sanoilla paikannimet mukaan lukien on se merkitys, että niiden avulla on periaatteessa mahdollista määrittää kunkin kielialueen suurin laajuus menneisyydessä. Venäjässä, skandinaavisissa

kielissä ja muissa myöhään nykyiselle puhuma-alueelleen levinneissä kielissä kuten suomessa on substraatteja, jotka osoittavat mm. itämerensuomalaisen kielimuodon, saamen ja monien muiden kielimuotojen laajimman levikin nykyisten kielten puhuma-alueilla.

Hatarat sanat (affektisanat)

Kolmantena sanaryhmänä, jolla on oma historiansa, erottuu kehitykseltään epästabili ”hatarat” sanasto. Tähän kuuluvat esimerkiksi tunteisiin, päihtymykseen ja seksuaalisuuteen liittyvät sanat. Ryhmään kuuluvalla sanastolle ovat luonteenomaisia piirteitä samaa tarkoittavien sanojen runsaus, samasta sanasta muodostettavien rinnakkaisten johdosten ja muiden varianttien suuri määrä sekä ryhmään kuuluvien sanojen keskimäärin lyhyt ikä ja korkea vaihtuvuus.

Nykykielten sanaston variaation tutkimus antaa edellytyksiä ymmärtää ryhmään kuuluvan sanaston etymologioita. Paunosen [Paunonen 2006] mukaan stadin slangissa on yli 300 ilmausta ’nuorelle naiselle’ (*friidu, fritsu, kimmä, gimma, giltsi, kimuli, mimmi, pimatsu, muija, vosu* jne.), mutta vain yksi ilmaus ’kalalle’ (*fisu*). Vaikka kantasuomen tytärkielissä tilanne ei ole yhtä äärimmäinen, tendenssi on sama. Nuorta naista suomen murteissa tarkoittavat *neiti, neitsyt, neito, neitsi, neikka, neitonen, neity, neitty* ym. kuuluvat etymologisesti yhteen, mutta ovat keskenään monimutkaisissa suhteissa, joita ei nykytiedon valossa voi kuvata äänneläilliseksi tai johtopollisesti säännölliseksi (vrt. myös *tyttö, tyttö* jne.). Vastaavasti sana *kala* kuuluu useimpien uralilaisten kielten sanastoon, eikä siitä useimmissa kielissä esiinny minkäänlaisia variantteja.

Hatarien sanojen merkityspiirteiden kannalta on kiintoisaa, että uralilaiseen kantakieleen ei **pelkä*-vartaloa lukuun ottamatta palaudu tunteisiin liittyvää laajalevikkistä sanastoa, vrt. [Häkkinen 2001: 182]. Kyseessä ovat keskeiset ihmiselämän asiat, jotka eivät kuitenkaan ole käsin kosketeltavia vaan määrittelyjä pakenevia. Siksi ryhmään kuuluvista sanoista näyttää muodostuvan eräänlaisia kielellisten uudennosten attraktiokeskuksia ja ne kuuluvat usein hatariin sanoihin. Tunneilmauksia muodostetaan mm. värinimityksiin (*viha ~ vihreä*) tai ruumiinosan nimityksiin liittyen. Kiintoisaa on, että esimerkiksi keskeiset rakkauden ilmaukset ovat eri alkuperää jopa lähisukukielissä suomessa (*rak(k)as-*), karjalassa (*suvaijja: suvaič(č)e-*) ja virossa (*armas-*).

Nuoren naisen nimityksiin, päihtymystiloihin tai seksuaalisiin tiloihin liittyvää sanastoa on perinteisesti kuvattu merkitykseltään affektiiviseksi tai ekspressiiviseksi. Tällaiselle sanastolle voidaan etymologian tutkimuksessa ennustaa suurta äänneasun variaatiota, melko lyhyttä ikää ja pikaista korvautumista uusilla sanoilla. On toisaalta jossain määrin epäselvää, kuinka universaalista tendenssistä on kyse. Usein tämäntyyppisiin merkityskenttiin

kuuluu jonkin verran myös pitkäikäistä sanastoa, uralilaisen kielikunnan tapauksessa esim. suomen sanojen *kuse-* ja *paska* vastinesarjat. Indoeurooppalaiseen kantakieleen palautuu myös rakkauden ja seksuaalisuuden sanastoa.

Hieman erilainen sen sijaan on kysymys varsinaisten syntyään äänteellisesti motivoituneiden sanojen luonteesta. Ne muodostetaan kielikohtaisiin äännesymbolisiin konventioihin liittyen, joita voidaan kutsua fonesteemeiksi, vrt. esim. [Aikio 2001; Aikio 2009: 25–30; Kulonen 2010; Heikkonen 2012]. Äänteellisesti motivoituneet sanat voivat usein varioida samantyyppisesti kuin hatarat sanat, mutta tämä näyttää olevan kytköksissä sanojen merkitykseen. Esimerkiksi suomen onomatopoeettisissa *ise*-verbeissä (*kilise-*, *kolise-*, *suhise-*, *sohise-*) on monia sellaisia, joiden variaatio näyttää rajoittuvan tiettyihin verbijohdostyyppeihin (*kilahta-*, *kolahta-*, *suhahta-*, *sohahta-*, mutta ei esim. ***kilaihta-*, ***kolaihta-*). Tämä viittaa siihen, että äänteellisesti motivoituneiden sanojen määrää on suomen etymologisissa sanakirjoissa liioiteltu, vrt. [Koivulehto 2001]. Sen sijaan on mahdollista, että suuri osa suppealevikkisestä hämäräperäisestä sanastosta kuuluu ”hatariin sanoihin” ja on syntynyt erilaisten kontaminaatioiden ja korrelaatiojohtamisen myötä. Ilmiön olemassaolosta ei sinällään ole epäselvyyttä, mutta sen laajuuden ja kokonaismerkityksen kuvaaminen etymologisessa tutkimuksessa on merkittävä tulevaisuuden tehtävä suomalaisille etymologeille.

Perussanat

”Hataria sanoja” koskevat huomautukset muistuttavat, että vaikka sanastohistoria nojautuu sanojen äänneläillisen kehityksen oletukseen, perustuu koko kielikuntaa koskevien äännelakien rekonstruoiminen sittenkin semanttisesti melko kapeaan otokseen kielen sanastoa, jota voi kutsua vanhaksi perussanastoksi.

Uralilaiseen kantakieleen palautuu ruumiinosia sekä ihmisen perustoimintoja ja keskeisiä luonnonilmiöitä kuvaavaa sanastoa. Toisaalta kantakiel(t)en sanastolle on luonteenomaista sekin, että kyseessä on ”banaaleja” ja arkipäiväisiä asioita kuvaavat sanat. Uralilaiseen kantakieleen ei palaudu keskeisiä tunnetiloja kuten rakkautta, iloa, vihaa, häpeää tai onnea kuvaavia sanoja, mutta kylläkin nykykielessä sangen vähäfrekvenssisia puiden (*pihlaja*, *vaahtera*, *tammi*) ja kalojen nimityksiä (*säynävä*, *särki*). Edelleen, kantauraliin palautuu esimerkiksi pieneliöiden ja vähäpätöisten nisäkkäiden nimityksiä (*täi*, *kusiainen*, *sonsar* [*sonttiainen*], *siili*, **hómala* ’jänis’ ym.), mutta ei keskeisten saaliseläinten ja pyhänä pidettyjen suurten nisäkkäiden kuten peuran, hirven tai karhun nimityksiä (ks. esim. [Häkkinen 2001: 179]). Näistä käytetyt nimitykset ovatkin monissa kielissä selvästi eufemismeja, ”hataria sanoja”, tai naapurikielistä lainattuja sanoja, joiden leviämiseen lieene vaikuttanut mm. sanatabu.

Vastaava raja- ja paikkallisiin sanoihin nähden. Vaikka uralilaiseen kantakieleen palautuu runsaasti luontoon liittyvää sanastoa (*joki, vesi, puu* jne.), eivät esimerkiksi paikannimissä runsaina esiintyvät maastosanat (*mäki, niemi, saari, suo, järvi*) useinkaan ole uralilaista perua vaan edustavat lähinnä substraattilainoja (paikallisia sanoja, vrt. [Saarikivi 2004; Aikio 2004]).

Kieliopin sanat

Vanhasta uralilaisesta sanastosta on nostettavissa vielä erilleen ryhmä sanoja, jotka useassa eri kielissä ovat toisistaan riippumatta päätyneet abstrakteja käsitteitä ilmaisevien johdosten kantasanoiksi ja kehittyneet kieliopillisten suhteiden ilmaisimiksi.

Seikka, että tietyt merkityskehitykset toistuvat maailman kielissä laajalti ja tuottavat kieliopillisia merkityksiä on laajalti tiedossa, vrt. esim. [Heine & Kuteva 2002]. Kenties vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen seikkaan, että kieliopillistumisprosessit kohdistuvat siihen osaan kielen ydinsanastoa, joka muodostaa myös abstrakteja käsitteitä.

Esimerkiksi itämerensuomen postpositiorakenteissa yleisen *pää*-sanana vastineista on kehittynyt postpositioita myös mm. mordvalaiskielissä, unkarissa ja komissa (mahdollisesti myös udmurtissa). Vepsässä ja aunuksessa siitä on kehittynyt sijamuoto, vrt. esim. [Grünthal 2003: 132–134]. Sanasta on kehittynyt myös monia abstrakteja johdoksia paitsi itämerensuomessa (su *päättää, päätellä, päätön, päihtyä, päitset* jne.), myös esim. unkarissa (*befejezik* ‘lopettaa; päättää’, *fejedelem* ‘valtakunta’, *fejöldni* ‘kehittyä’ ym.) ja permiläisissä kielissä (esim. ud *pumitany* ‘tavata’, *jylpum* ‘tavoite’, *pumkyl* ‘tuomio’). Merkitykseltään läheinen *otsa* on kehittynyt postpositioksi eteläisessä itämerensuomessa, marissa ja permissä. Todennäköiseltä vaikuttaa, että myös permin terminatiivin tunnus (ud *-oz*, ko *-öd*) kuuluu tähän yhteyteen (vrt. kuitenkin [Csúcs 2005: 189–190], jossa toinen selitys). Sana esiintyy abstraktien johdosten kantana mm. virossa (*otsustada* ‘päättää’) ja permiläiskielissä (vrt. ud. *azlanskyny* ‘edistää’, *azpalaz* ‘tulevaisuus’ ym.).

Sekä kieliopillista merkitystä, että metaforisen merkityksenmuutoksen kautta abstraktia merkitystä muodostavia sanoja uralilaisessa kieliperheessä ovat mm. suomen *tyvi, perä, juuri, sydän, putki* ja *ponsi* sanojen vastineet. Niiden pohjalta on muodostunut postpositioita ja sijamuotoja (esim. unk. *-t’ól* ~ *tyvi*, [pohjois]saamen postpositiosarja *čáđa-* ~ su *sydäme-*, komi *pyčk-* ‘sisällä’ ~ su *putki*), abstrakteja ‘alkamista’ ja ‘loppumista’ (mari *tünalta-* ‘aloittaa’ ~ su *tyvi*, ko *pomavny* ‘lopettaa’ ~ su *pää*), ‘läpi kulkemista’, ‘sisällä olemista’, ‘ajattelua; päättelyä’ ym. ilmaisevia johdoksia eri kielissä. Myös alkuaan ‘varjoa’ tai ‘sielua’ merkinnyt **icci* (> ksu **iccek, *isek*, jotka lienevät

latiivimuotoja) on kielio pillistunut eri kielissä refleksiiviksi ja siitä mahdollisesti erikseen suffiksoitunut ainakin itämerensuomessa (vrt. itämurteiden refleksiivitaivutus *heittähes* < **heittä ihes* < **heittätak iccensek* ja myös suomen prolatiivi **-iccek*, joka niin ikään voisi olla *itse*-sanasta syntynyt (*alitse*, *ylitse* < *ala-iccensek*, *ülä-iccensek*, ‘alavarjoon, ala-itseen’); refleksiivintaivutuksen suffiksaalisena alkuperän kieltää tosin Koivisto [Koivisto 1990], eikä myöskään prolatiivia tutkinut Suoniemi-Taipale [Suoniemi-Taipale 1994] pohdi suffiksin alkuperää).

Keskustelua

Edellä esitetty uralilaisen kielikunnan ”etymologisen typologian” luonnos on täysin alustava ja hieman leikkimielinenkin. Esitettyjä luokkia ei ole empiirisesti verifioitu laajoin aineistoin, vaan ne perustuvat tutkijan intuitioon. Toisaalta vastaavia oletuksia tuon tai tämän sanan alkuperästä erikielisten analogioiden valossa on perinteisestikin tehty etymologisessa tutkimuksessa. Jos tarkastelutavassani siis on jotain uutta, kyseessä on nimenomaan pyrkimys tarkastella kielen sanaston kehitystä kokonaisuutena.

Tulevan tutkimuksen tehtävänä olisikin täsmentää tämän kaltaisia sanaston kehitystendenssejä yksittäisten sanojen etymologioinnin lisäksi laajemmissa tutkimusasetelmissa. On ilmeistä, että niillä on potentiaalisesti suuri merkitys mm. sanojen etymologiaa, kehitystä ja ikää ennustavina tekijöinä sekä sen selittämisessä, miksi kantakieliin palautuu sellaista sanastoa kuin palautuu.

Erikseen selvitettävä olisi kysymys siitä, missä määrin tämäntyyppisiä etymologisia typologioita on mahdollista soveltaa toisiin kielikuntiin. Sanojen kehityksessä on yhteisiä tendenssejä monissa eri kielissä, esim. ruumiinosan nimitysten kielio pillistumisen ja kulttuurilainojen leviäminen. Toisaalta ilmeistä on sekin, että kussakin kielikunnassa on havaittavissa ainutkertaisia homonymian, polysemian ja merkityksenmuutosten tendenssejä, jotka heijastavat erilaisia etnolingvistisiä maailmankuvia ja niihin liittyvää kulttuurista tietoa.

Lähteet

Aikio 2001 – Aikio A. Miten kuvaannollisuus selittää sanoja? // Tieteessä tapahtuu 3/2001.

Aikio 2004 – Aikio A. An essay on substrate studies and the origin of Saami / Irma Hyvärinen & Petri Kallio & Jarmo Korhonen (eds.). Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen: Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 63, 2004. P. 5–34.

Aikio 2009 – Aikio A. The Saami loanwords in Finnish and Karelian. Oulu University, 2009.

Bentlin M. Niederdeutsch-Finnische Sprachkontakte. Der lexikalische Einfluss des Niederdeutschen auf die Finnische Sprache während des Mittelalters und der frühen Neuzeit // MSFOu 256, 2008.

Csucs S. Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache ('Reconstruction of the Permian protolanguage'). Bibliotheca Uralica 13. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005.

Grünthal R. Finnic adpositions and cases in change // MSFOu 244, 2003.

Heine B. & Kuteva T. World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Haspelmath M. & Tadmor U. Loanwords in the world's languages. A comparative handbook. New York: Mouton de Gruyter, 2009.

Häkkinen 1983 – Häkkinen K. Suomen kielen vanhimma sanasto ja sen tutkimisesta. Suomalais-ugrilainen kielten etymologisen tutkimuksen perusteita ja metodiikkaa. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 17. Turku: Turun yliopisto, 1983.

Häkkinen 2001 – Häkkinen K. Prehistoric Finno-Ugric culture in the light of the historical lexicology // Christian Carpelan, Asko Parpola and Petteri Koskikallio (eds.): Early contacts between Uralic and Indo-European. Linguistic and Archaeological considerations. MSFOu 242. Helsinki: Société Finno-Ougrienne, 2001.

Itkonen 1966 – Itkonen E. Kieli ja sen tutkimus. Universitas 4, 1966.

Itkonen 1977 – Itkonen T. Karjalais-suomalainen suksiretki / Lauri Posti et. al. (toim.): Kielen ja kulttuurin kentältä. Igor Vahroksen 60-vuotisjuhlakirja. Neuvostoliittolainstituutin julkaisu 25, 1977. S. 27–50.

Jarva V. Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa. Jyväskylä Studies in Humanities 5. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003.

Kalima J. Slaavilaisperäinen sanasto. Tutkimus itämerensuomalaisten kielten slaavilaisperäisistä lainasanoista // SKST 243, 1952.

Kim J. Suomen kielen ekspressiivisten sanojen muodostumista ja neutraloitumista sekä juoru-, hymy-, hyrrä- ja kapina-sanojen etymologioita. Pro gradu. Suomalais-ugrilainen kielitutkimus. Helsingin yliopisto, 2013.

Koivisto J. Suomen murteiden refleksiivitaivutus // SKST 532. Helsinki: SKS, 1990.

Koivulehto J. Pärekö pärrättämisestä, turvako turahtamisesta. Tieteessä tapahtuu. 5/2001.

Koponen E. Etelävirron murteen sanaston alkuperä. Itämerensuomalaista etymologiaa // MSFOu 230, 1998.

Kulonen U-M. Fonesteemit ja sananmuodostus. Suomen kontinuaatiivisten uverbijohdosten historiaa. Suomi 197. Helsinki: SKS, 2010.

Lavento M. & Saarikivi J. Linguistics and archaeology. A critical view of an interdisciplinary approach with reference to the prehistory of Northern Scandinavia. Jointly with Mika Lavento // Charlotte Damm & Janne Saarikivi (eds.): Networks, interaction and emerging identities in Fennoscandia and beyond. Papers from a conference held in Tromsø, Norway, October 13–16, 2009. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 265. Helsinki: Finno-Ugric Society, 2012.

Lintunen K. Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa. Pro gradu. Suomalais-ugrilainen kielentutkimus. Helsingin yliopisto, 2012.

Muznikov 2004 – Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения русских говоров Северо-Запада. (Этимологический лингвогеографический анализ.) СПб., 2004.

Nikkilä O. nop-ea → nopsa, sel-keä → selvä: suffiksinvaihto ja suomen sanojen etymologiointi / Urho Määttä ja Klaus Laalo (toim.). Kirjoituksia muoto- ja merkitysoipista. Folia Fennica & Linguistica 21. S. 77–101. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1998.

Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte. Zweite Auflage. Halle: Max Niemeyer, 1886.

Paunonen H. Synonymia Helsingin slangissa // Virittäjä 110, 2006. S. 336–364.

Ravila P. Johdatus kielihistoriaan // Tietolipas 3. Helsinki: SKS, 1975.

Räisänen A. Kantasanan ja johdoksen suhteesta // Virittäjä 82. Helsinki: Kotikielen seura, 1978. S. 321–344.

Saarikivi 2004 – Saarikivi J. Is there Palaeo-European substratum interference in western branches of Uralic? // JSFOu 90, 2004. P. 187–214.

Saarikivi 2014 – Saarikivi J. Reconstruction of culture and ethnicity. Remarks on the methodology of the historical-comparative linguistics (on the basis of Western Uralic languages) // Eldar Heide & Karen Bek-Pedersen (eds.): New focus on retrospective methods. Folklore Fellow's communications 307. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2014. P. 186–216.

Saukkonen P. Eräs etymologiointiperiaate // Virittäjä 66. Helsinki: Kotikielen seura, 1962. S. 342–344.

SSA – E. Itkonen, U-M. Kulonen (pt.): Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja // SKST 556. Helsinki: SKS, 1992–2001.

Suoniemi-Taipale I. Suomen prolatiivi // SKST 616. Helsinki: SKS, 1994.

Tadmor U. Loanwords in the world's languages. Findings and results / Martin Haspelmath, Uri Tadmor (eds.): Loanwords in the world's languages. A comparative handbook. New York: Mouton de Gruyter, 2009.

Terrell J. E. Ethnolinguistic groups, language boundaries and culture history. A sociolinguistic model / Terrell, John Edward (ed.): Archaeology, language and history. Essays on culture and ethnicity. Westport, Connecticut – London: Bergin & Garvey, 2001.

Васмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Перевод с немецкого и дополнения О. А. Трубачева. М.: Прогресс, 1964–1973.

Zaliznjak 2005 – Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. Второе издание. М.: Языки славянской культуры, 2005.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ БЛОКНотов (ВОЛГО-ДВИНСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ)*

Полевые записи всегда несут в себе ощущение открытия, хотя подлинное их значение осознается гораздо позднее. Тем не менее есть ситуации, когда именно новизна только что записанных слов будит в исследователях жажду интерпретации. Несколько таких случаев нашли отражение в данных заметках. Из полевых записей сезонов 2012–2015 гг., осуществленных участниками Топонимической экспедиции Уральского университета на территории восточных районов Вологодской и Костромской областей, отобраны те лексемы, которые либо не были зафиксированы ранее, либо добавили к уже известным языковым фактам данные, подсказывающие новые истолкования.

Адамёнок

В Шарьинском и Вохомском районах Костромской области зафиксирована лексема *адамёнок* (жен. *адамёнка*) в значении 'бойкий, шаловливый, непослушный ребенок': «Адамёнок – это непослушный ребенок. Не знаю, штётто не слушается, не подчиняется» (Вохом, Хмелевка); «Адамёнок я и сейчас говорю, внука-то у меня бегают, ой, ты куда, адамёнка, побежала. Это уж как ласкательно: ой, адамёнок ты, адамёнок» (Вохом, Масленниково).

Легко связать такое обозначение ребенка с именем библейского Адама, которое часто употребляется как обозначение человека вообще или отличающегося какой-либо особой чертой, экспрессивно воспринимаемой (ср., например: моск., самар. *адám*, симб., тамб. *адáмина*, сарат., тамб. *адáмице* 'о человеке огромного роста' [СРНГ 1¹: 205]). Такое мотивационное толкование находим и в полевых материалах: «Кто как скажет! Адамёнок – говаривали, конечно. От Адама значит, адамёнок дак. От слова Адам» (Вохом, Пономарево).

Однако еще одно значение заставляет искать другие пути интерпретации: *адамёнок* 'ребенок, рожденный женщиной от нечистой силы': «Родился – весь в волосах, рога – дьяволёнок ли, адамёнок. От нечистой си-

* Работа выполнена в рамках реализации программы конкурентоспособности УрФУ (2013–2020), научная группа «Народная языковая традиция как источник историко-культурной информации (Русский Север, Средний Урал, Верхнее Поволжье)».

¹ Здесь и далее указан номер выпуска.

лы родила она» (Вохом, Хмелевка). Ср. *обменёнок* ‘ребенок, которого, по поверью, обменял в детстве леший’: «Лесной обменяет детей, если матом ругают. Обменёнок вот и растет неразвитой» (Окт, Даровая). Внутренняя форма наглядно проявляется и в толковании, и в контексте. У этой лексемы между тем зафиксировано то же значение, что и у лексемы *адамёнок*, причем именно в Вохомском районе: «Обменёнок – это как бы что-то типа безобразник, про ребенка как-то это» (Вохом, Большедворка). Ср. также: *обменёныш* ‘непослушный ребенок’: «Обменёныш – вот непослушный, заругают его так. Назло-то скажется слово» (Вохом, Питер). Логика развития значения ‘непослушный ребенок’ у лексемы *обменёнок*, как представляется, комментариев не требует.

Совпадение семантики заставляет обратить внимание на некоторое сходство звучания лексем *обменёнок* и *адамёнок*. При этом показательным кажется наличие на этой же территории лексемы *одомёнок* ‘о бойком, подвижном ребенке’: «Ой, как одомёнок! Это ругались когда. Бойкие это» (Вохом, Жаровская). Можно выстроить следующий ряд преобразований: *обменёнок* > **одменёнок*¹ > **оденёнок* / **одемёнок* > *одомёнок* > *адамёнок*. На последнем этапе решающим фактором становится народная этимология.

Без шти

Это предложно-падежное образование со значением ‘постоянно, без перерыва’ записано в Никольском районе Вологодской области в следующих контекстах: «Без шти мелю неладно» (Ник, Завражье), «Без шти бранил бабу-ту» (Ник, Дунилово). Отсутствие других сведений открывает широкий простор для предположений. Так, достаточно убедительно восстановление **без чьсти* с дальнейшим упрощением группы согласных на стыке предлога и существительного. В плане семантики, учитывая общий негативный тон высказывания, можно предположить, что слово *честь* (др.-рус. *чьсть*) употреблено в своем основном значении (‘почет, уважение’), тогда приходится признать, что собиратель ошибся, определяя значение, и речь идет о критической оценке говорящим собственного речевого поведения (т. е. информант хотел сказать, что «мелет» не то, что следует говорить в данном конкретном случае). Ср. вологодское *честью* ‘хорошо, по-настоящему; так, как следует’ [СВГ 12²: 38]. Не менее привлекательным кажется восстановление исходного **чьть* в значении ‘счет’, ‘число’. Смысл «без счета» или «без числа» дает семантику ‘много’, что вполне могло бы трансформироваться в значение ‘постоянно’.

¹ О возможности такой замены говорит наличие форм типа *одманывать* вместо *обманывать*, *одменяться* ‘переменяться’ (см.: [СРНГ 23: 34]).

² Указан номер выпуска.

Кутька прял(а), тучка пряла

В Шарьинском районе Костромской области глагол встретился в двух сочетаниях: 1) *кутька прял(а)* ‘о ком-, чем-либо, внезапно исчезнувшем’: «Был и нету, как кутька пряла» (Шар, Быково); «Кутька пряла, нету ручки! Чёрт-чёрт, поиграй да отдай!» (Шар, Бухалкино); 2) *тучка пряла* ‘о туче, унесенной ветром’: «Тучка пряла, тучка пряла, ветром унесёт её, так и сдует» (Шар, Козиониха). В аналогичном значении известно выражение *Митька прял*, ранее зафиксированное и в словарях, и в записях Топонимической экспедиции Уральского университета (географию подробно см.: [Феоктистова 2003: 118]), для которого Л. А. Феоктистова видит связь с глаголом *прять*, *пряду* [Феоктистова 2003: 118–121]. Представляется, что не лишена смысла гипотеза об участии в приведенных идиомах глагола *прянуть* ‘прыгнуть, быстрым, резким движением устремиться куда-л.’, который в литературном языке имеет помету «устар.» [СРЯ 3¹: 523]. Выражение *тучка пряла* тогда оказывается вполне прозрачным, что ощущается и в иллюстрирующем выражение контексте. В идиоме *кутька прял(а)* достаточно отчетливо видится образ молодого животного (например, щенка; ср. данное в ССРЛЯ *кутёнок* с пометой «обл.» [ССРЛЯ 5²: 1900]) или птицы, внезапно прыгнувшей или улетевшей прочь (ср. арх., влг., костр. *ку́тька* ‘курица’ [СГРС 6²: 320; ЛКТЭ]).

Орать во всю вересовку. Во всю весляную

Выражение *орать во всю вересовку* (*вересовушку*, *вересовую*) записано в Кичменгско-Городецком и Никольском районах Вологодской области. Оно означает ‘громко кричать, во всю Ивановскую’: «Во всю вересовку орёт, заткнул бы хайло» (К-Г, Еловино), «Во всю вересовую орёт, ну-ко, кто его обидел? Ну, во всю вересовушку орёт – вот как я. Я ведь громкоговоритель» (К-Г, Косково); «Орал во всю вересовушку – штё у тебя? Пожар?» (Ник, Серпово). Единично встретился также вариант *орать на всю березовку* ‘громко кричать’: «Ну-ко, ты не в лесу! Орёшь на всю березовку» (Ник, Полежаево). Эти фразеологизмы, кажется, не отмечались ранее в лексикографических источниках.

Если размышлять о мотивации данных выражений, то первой напрашивается «лесная» версия, предполагающая связь с сев.-рус., ср.-рус. *véres* ‘можжевелик’, ‘вереск’ [СРНГ 4: 30–31] и *береза*, которые выводят на ситуацию окриков в лесу (ср. замечание *Ты не в лесу*, часто используемое для того, чтобы одернуть громко говорящего или кричащего человека). Однако эта версия встречает возражения: во-первых, формы

¹ Указан номер тома.

² Здесь и далее указан номер тома.

вересовка, вересовая, березовка и под., хоть и потенциально возможны, не встречаются в лексической системе русских диалектов для наименования лесов определенного вида; во-вторых, довольно странно, что в качестве наиболее распространенного варианта мы сталкиваемся с обозначением зарослей можжевельника, которые никак не могут считаться тем местом, где чаще всего окрикивают друг друга в лесу (логичнее предполагать, что такая ситуация может быть запечатлена в выражениях с участием слов *ельник, сосняк, березник* и под.). При этом, как показывает мотивационный анализ большой группы русских фразеологизмов (в том числе диалектных) со значением 'громко кричать, орать', осуществленный в [Мокиенко 1986: 43–53], сочетания, где упоминается лес или любое его виды, в реальном употреблении не фиксируются.

Отсюда другое решение. Мотивирующим следует считать глагол *верещать* или родственные ему, ср. *верёскнѹть* перм., сарат., свердл., твер. 'грянуть, загреметь (о громе)', новг., свердл. 'издать неожиданно резкий крик', новг. *верескоток* 'несмолкаемая шумная болтовня, нескончаемый разговор', ленингр., калинин. *верескунья*, вят. *вересовая* 'женщина, которая много кричит, визжит' [СРНГ 4: 132, 133] и др. В этом случае слова *вересовка, вересовая* и др. можно считать игровым обозначением рта, глотки или громкого голоса. Такие обозначения фигурируют в конструкциях, образованных по популярной модели *во всю (весь) X орать (кричать)*, ср. олон. *во весь крик (закричать)*, пск. *во весь гвалт (кричать, плакать, петь)*, печ. *во всю челюсть*, пин. *во всю пасть*, морд. *во весь кадык*, простореч. *во все хайло*, разг. *во всю глотку* и т. п. [Мокиенко 1986: 48]. В составе подобных конструкций могут фигурировать экспрессивные номинации рта, глотки и проч., которые нередко окказиональны, образованы от слов, обозначающих функции соответствующих органов, и не встречаются в терминологическом употреблении: арх. *во всю голосянку*, арх. *во всё гайно*, пск. *на весь изгал, на изгалённую*, смол. *во всю мялицу*, пск. *во всю мялку* [БСРП: 111, 149, 265, 421] и др. К числу подобных окказиональных экспрессивов, не используемых вне фразеосочетаний, относится, очевидно, слово *вересовка* (с вариантами).

Что касается выражения *орать во всю березовку*, то оно, по всей видимости, возникло по логике развития «лесных» ассоциаций, которые неминуемо должны были появиться у *вересовки*. Кроме того, *вересовка* и *березовка* фонетически близки. Интересно отметить, что *верес* и *береза* могут употребляться в одной синтагме: костр. *ни к вересу, ни к березе* 'ни к чему, «ни к селу, ни к городу»' [ЛКТЭ]. Возможно, такая связь в какой-то мере обоснована и сходным бытовым использованием соответствующих деревьев (из березы, как и из можжевельника, делают веники, обручи для бочек и проч.).

На этой же территории (в Никольском и Кичменгско-Городецком районах) отмечено и другое любопытное выражение со значением громкого крика: *во всю весляную (вёсляную)*: «Ну, осердилась, пелит хайло во всю весляную!» (К-Г, Смольянка). Очевидно, перед нами вариант выражения *на всю вёслину*, которое В. М. Мокиенко считает узкодиалектным [Мокиенко 1986: 49], засвидетельствованным только в пермских говорах, ср.: «На всю веслину заухла, а он не слышал» [СПГ 1¹: 90]. На настоящий момент круг фиксаций этого факта более широк: можно добавить еще новосиб. *на всю ёслину* ‘очень громко, во все горло (кричать)’: «Да подь ты к чомару, глухой пень, чё те на всю еслину кричать буду?» [СРГС 1/2²: 103], заурал. *во всю ёслину* ‘во всю силу, громко’: «Корова у нас была, так подойдёт к воротам и закричит во всю еслину, мол, встречайте» [СРНГ 9: 40–41], а также тюмен. *на всю вёслину* (последний факт подан в статье *вёслина* ‘небольшое селение, деревня’: «Что ты кричишь на всю веслину?» [СРГС 1/1: 135], однако в ней нет никаких данных в пользу того, что слово *вёслина* может употребляться вне этого устойчивого сочетания).

В составе представленных фразеологизмов варьируют предлоги *в* и *на*, и такое варьирование вполне нормально и типично для выражений, реализующих изучаемую модель, ср. пск. *на весь рот, на всю глотку*, простореч. *на весь голос*, смол. *на все бандáлы* и проч. [Мокиенко 1986: 48].

Объяснение фразеологизма *на всю веслину*, кажется, предлагалось только В. М. Мокиенко [Мокиенко 1986: 49]. По его мнению, *веслина* – образование от *весь, весьце* ‘село’, при этом данная фразама принадлежит к числу крайне редких реализаций модели, которые имеют «пространственную» мотивацию, т. е. указывают на ту зону, которую может «покрыть» голос (еще один факт – яросл. *во всю подселённую кричать* – автор считает поздним образованием) [Мокиенко 1986: 49].

Что смущает нас в данной версии? Слово *веслина* в «деревенском» значении не фиксируется ни в каких диалектных источниках, кроме словаря В. И. Даля (на него и ссылается В. М. Мокиенко), при этом у Даля лексема подана в составе следующей статьи: *весь* новг. ‘сельцо, селение, деревня’, умал. *весца́*, сиб. *вёслина* [Даль² 1³: 187]. С точки зрения словообразования форма *веслина* выглядит необычно. А. Е. Аникин предлагает два варианта объяснения слова, отмеченного Далем: 1) из *веснина* (от **весный*, ср. польск. *wieśny*) с диссимиляцией *н...н > л...н*; 2) от уменьш. *вёска, весца*, тогда **весчина*, л ошибочно [Аникин РЭС 7: 20]. Как видим, обе версии обладают высокой степенью гипотетичности. Смущает не

¹ Здесь и далее указан номер выпуска.

² Здесь и далее указано: номер тома / номер части.

³ Указан номер тома.

только раритетность формы *веслина* и ее словообразовательная «сомнительность». Если бы в составе изучаемого фразеологизма, отмеченного в влг., перм., заурал., нвсиб. говорах, фигурировало производное от слова *весь*, то в русских диалектах (как в нарицательной лексике, так и в топонимии) должны были бы сохраниться и другие дериваты указанной лексемы, ведь ее семантика (‘деревня’) не может не располагать к этому. Однако наши поиски во всех доступных русских диалектных словарях, в том числе региональных исторических (перм., вост.-сиб., пск. говоры), в словарях географических терминов, а также в картотеке Топонимической экспедиции Уральского университета (народная топонимия Русского Севера, Верхнего Поволжья, Среднего Урала) практически не дали результатов. Такая лакуна в «крестьянской» традиции (при наличии слова *весь* в литературном идиоме русского языка) объясняется происхождением слова, которое, по крайней мере в составе оборота *грады и веси*, пришло в рус. из ц.-слав.; уменьш. *вёска* в смол. говорах, по существу, блр. слово [Аникин РЭС 7: 36–37].

Эти соображения приводят нас к заключению, что слово *вёслина* ‘деревня’ – лексикографический фантом, вычлененный составителями словарей XX в. из выражения *во (на) всю веслину (еслину)*. Фиксацию из словаря В. И. Даля надо признать «глухой». Наличие варианта *ёслина* еще больше убеждает в том, что данное слово не связано с *весь* (исчезновение *в* фонетически не оправдано).

Хочется дать альтернативное объяснение фразеологизма *во (на) всю веслину (еслину)*, которое основано на предположении о том, что исходной здесь является форма *ёслина*. Выше говорилось, что во фраземах со значением громкого крика, образованных по модели *во всю (во весь) X*, нередко встречаются обозначения рта, глотки, в том числе окказиональные, мотивированные глаголами, которые называют функции рта (ср. *гайно, мялица, вересовка* и др.). Можно думать, что *еслина* – дериват глагола *есть* ‘есть, питаться’ с мотивационным значением ‘то, чем едят’¹. С точки зрения суффиксации ср. влг. *ёсли* = литер. *ясли* ‘кормушка для скота’, влг. *ёсленная дыра* ‘отверстие в полу сеновала, в которое сбрасывают сено скоту’ [СГРС 3: 332] и др. В гнезде данного глагола есть формы со вторичным начальным *в*, ср., к примеру, влг., вят. *вёсли* ‘ясли для корма скота’ [СРНГ 4: 183]. Разумеется, появление таких форм способствует полной дезимологизации слова.

¹ Отметим, что дополнительных разысканий требует вопрос о связи слова *ёслина* с перм. *еслётъ* ‘сила, мощь’: «Ревет во всю еслётъ» [СРНГ 9: 40]. Сущ. *еслётъ* может быть образованием от *есть* ‘есть, питаться’ с первоначальным значением ‘рот, пасть’ – или же дериватом *есть* – формы праес. ‘быть, существовать’ (на последнюю возможность указал нам А. Е. Аникин в устном сообщении, за что выражаем ему благодарность).

В заключение следует сказать, что отмеченные нашей экспедицией вологодские сочетания *во всю весляную* и *вёсляную* объясняются не только дальнейшей деэтимологизацией слова *ёслина* → *вёслина*, но и, вероятно, притяжением к лексеме *вселенная* или ей подобным (ср. яросл. *во всю подселённую* ‘очень громко (закричать и т. п.)’ [ЯОС 2¹: 37]).

Хоробрёц заходил. Родька пришел

В Шарьинском районе Костромской области ТЭ УрФУ многократно зафиксировала слово *хоробрёц* с вариантами *хробрёц*, *храбрёц* и *храбёц*, которое употребляется преимущественно в составе устойчивых сочетаний с глаголами передвижения, характеризующих тяжелые физиологические состояния:

▪ о предсмертном состоянии: а) о хрипах, затрудненном дыхании при агонии – *храбрёц* (*храбёц*), *хоробрёц ходит* (*идёт, заходит, заходил, пошёл, пришёл, ходил*): «Он уж по-хорошему не говорит от этого *храбца*» (Шар, Быниха); «Помирают, храпят перед смертью, вот *хоробрёц-то* и *пришел*». «*Хоробрёц ходит* – дышит как храпит, глаза даже не переведет, долго не наживет» (Шар, Бухалкино); «Или перед смертью *хоробрёц ходит*: человек храпит. “Такую долю *хоробрёц ходил* у ёй”, – скажут» (Шар, Гольяниха); «Я пришла, а он храпит как-то, и он уж знал сам, что умирает, и говорит: “Во мне как *хоробрёц ходит*”» (Шар, Бухалкино); «Когда помирает человек, и он захрапит, у него храп – *хоробрёц пошел*» (Шар, Плосково); б) о том, как человек умирает, лишается сил – *хоробрёц отходит*: «“*Хоробрёц отходит*”, – перед смертью говорят, когда умирает человек» (Шар, Сергеево); в) о судорогах, конвульсиях при агонии – *хоробрёц заходил, хробрёц идет*: «*Хоробрёц заходил* уже – последние судороги, вот уже лежит на смертном одре» (Шар, Берзиха); «К ёму *хоробрёц уж заходил*, трясется, дух испустит» (Шар, Серково); «Это когда человек умирает, и вот его начинает перед смертью туда-сюда крутить, вертеть, он не понимает, чего делает. И в этот период нельзя его беспокоить, чтобы он умер спокойненько. Вот это называется *хробрёц идет*» (Шар, Козиониха); г) о нарушении глотания и дыхания – *храбрёц стоит* (*заходил*): «Или дают пить – а не проходит: у него там *стоит храбрёц* – вот и не проходит вода» (Шар, Зебляки); «*Храбрёц заходил* у его – вот тут вот так всё делается <показывает на горло> – вот он умрет: не проходит воздух» (Шар, Зебляки);

▪ порча, сглаз, наведенные на ребенка, – *хоробрёц*: «Ак это одно и то же: что у ребенка *хоробрёц*, то и уроки» (Шар, Плосково);

¹ Указан номер выпуска.

▪ о родимчике у детей – *хоробрѣцъ зашел (приходил)*: «Дергается ребеночек во все стороны – ну, скажут, *хоробрец* к ему *зашёл*» (Шар, Берзиха); «На испуг *приходил* этот *хоробрец*. Судороги делаются, человека начинает трясти. Это у ребёночков бывает. Он без сознания делается. К старушкам ходят, снимают» (Шар, Гольяниха);

▪ о болезнях с сильным кашлем, затрудняющим дыхание, – *храбрец заходил*: «Если человек болеет сильно или около смерти – и не может откашляться, о таком говорят: *храбрец заходил*» (Шар, Заболотье); «*Храбрец заходит* – если человек заболит, у него в душе, в груди. Али, может, умирает. И даже зубы у него могут заскрипеть как-то не по пути, по ему *идёт храбрец*. Он уж по-хорошему не говорит от этого *храбца*» (Шар, Быниха).

Приведенные фиксации существенно обогащают данные об этом выражении, которые ранее были раритетны: нам удалось обнаружить только казан. *хоробрѣц ѓ хоробрѣц играет* ‘человек испускает дух’ [Дальз 4¹: 1220] и костр. (кологр. и чухл.) *харабрѣцъ, храбрѣцъ* ‘предсмертный хрип’: «*Харабрѣцъ заиграл*. Долго не наживёт»; «*Храбрѣц у него ходит*»; «У умирающего *храбрѣц* начался – это конец» [Ганцовская]. Таким образом, выражение отмечается в смежных говорах Поволжья.

Образ, транслируемый изучаемыми фразеологизмами, может поворачиваться разными гранями. Чаще всего *хоробрѣц, приходя, играя, вставая* в организме человека, препятствует дыханию, глотанию, вызывает судороги и т. п., что приводит к тяжелейшему состоянию больного и к смерти. Однократно встретилось иное прочтение образа носителем языка: поскольку *хоробрѣц отходит* в тот момент, когда человек обессиливает перед смертью, значит, он воспринимается как средоточие жизненных сил.

Какое этимологическое решение можно предложить для изучаемого слова? Кажется, оно не рассматривалось специально в литературе – кроме беглого упоминания в [ЭССЯ² 8: 72–73], где казанский факт из Даля (*хоробрѣц играет*) помещен (без комментариев и объяснений) в статью **xorbrьсь* – производного с суф. *-ьсь* от прилаг. **xorbrь*. С точки зрения семантики это аргументировать сложно. Многочисленные продолжения **xorbr-* в славянских языках в подавляющем большинстве случаев имеют значения, характеризующие человека: ‘храбрый, смелый’, ‘бодрый’, ‘тщеславный, горделивый’, ‘хвастливый’ [ЭССЯ 8: 71–73]; единственное значение, выходящее из этого ряда, представлено в твер. *хороброе* ‘вкусное кушанье’ [ЭССЯ 8: 72]. Последнее авторы ЭССЯ связывают с отражением этимологических связей: первоначальное **xorbь* родственно лтш. *skarbs* ‘острый, строгий, суровый, задорный’, др.-исл. *skarpr* ‘острый’ [ЭССЯ 8: 72].

¹ Указан номер тома.

² Здесь и далее указан номер выпуска.

Наверное, можно построить умозрительную схему развития значений, показывающую переход от семантики гнезда **xorbr-* к значениям, которые нас интересуют. Такая схема могла бы быть состоятельной, если бы подтверждалась аналогиями в кругу других лексических единиц, означающих агонию etc. Обратимся к ним.

Анализ славянской лексики и фразеологии (в том числе диалектной) со значением признаков агонии, собранной в [Wysoczański 2012: 219–221], не позволяет найти лексические единицы с производящей семантикой ‘острый’ → ‘бодрый’, ‘храбрый’ и проч. При этом обнаруживаются слова и выражения, проявляющие яркое мотивационное и структурное сходство с теми, в которых участвует слово *хоробрец*. Приведем данные В. Высочанского, дополненные теми примерами, которые удалось найти нам: твер. *каркалец* (удар.?) *играет* ‘состояние больного перед самой смертью, когда он хрипит’ [СРНГ 13: 91], олон. *карохоль*, *кóрохоль* ‘предсмертный хрип человека’ [СРНГ 13: 97], курск., орл., тульск. *колоколéц* ‘предсмертный хрип в горле умирающего человека’, *колоколéц заиграл* (*играет*) ‘о предсмертном хрипе’ [СРНГ 14: 138], без указ. м. *колоколéц*, курск., орл., пенз., твер., тульск. *колоколéц* ‘предсмертный хрип, вырывающийся из горла умирающего человека’, иркут., курск., орл., пенз., твер., тульск. *колоколéц играет, заиграл, бьет, слышен* ‘о безнадежном состоянии человека, когда из груди начинает вырываться предсмертный хрип’, пенз. *колоколéц пришел* ‘пришел конец, наступил смертный час’ [СРНГ 14: 164], смол. *колоколéц* ‘предсмертное клокотание мокроты, поднимающейся к горлу’: «Стау ужэ здыхацца, кылаколиц душить, ти чуиш ты?» [ССГ 5¹: 56]. Как видно, *колколец*, *каркалец* и проч., подобно *хоробрецу*, *приходят*, *играют*, а кроме того, имеют явное звукоподражательное происхождение, имитируя хрип, храп, кашель. Здесь используется тот же звуковой фонд, что и в многочисленных обозначениях собственно кашля или хрипа, где фигурируют заднеязычные *к* и *х*: арх. *ка́ркотá* ‘кашель’ [СРНГ 14: 334], влг. *кархóта*, олон. *корхóта* ‘то же’ [СРНГ 13: 108–109], смол. *кархун* ‘о том, кто часто кашляет, харкает’ [СРНГ 13: 109], костр. *хóркать*, *харчéть*, *хáрчить* ‘кашлять, хрипеть от удушья’ [ЛКТЭ], перм. *хы́ркать* ‘издавать хрипящие звуки, хрипло кашлять’, *ха́мгать*, *хрымгать*, *хры́пать* ‘кашлять’ [СПГ 2: 495, 513, 516], новг. *кóрхнуть*, *кы́рхать*, *хрепáть*, *хулéкать* ‘кашлять’ [НОС: 438, 492, 1256, 1258] и мн. др.

Думается, что слова *хоробрец*, *храбец* и проч. тоже имеют звукоподражательное происхождение. При этом они испытывают притяжение к *храбрец* (*хоробрец*) ‘храбрый человек’, которое обусловлено

¹ Указан номер выпуска.

двумя причинами: во-первых, фонетической близостью слов-участников взаимодействия; во-вторых, стремлением носителей языка придать обозначению тяжелого физического состояния максимально «антропоморфный» вид, «оживить картинку», что соответствует логике данной эвфемистической модели: *X (некий квазиперсонаж) пришел, играет* и т. п.

Предложенное решение опирается и на тот факт, что среди фиксаций выражения *хоробрец пришел* большинство приходится именно на обозначения предсмертных хрипов, кашля. Очевидно, «хриповая» семантика и была первичной. Дальнейшее развитие значений вполне естественно и затрагивает представления о других составляющих агонии (например, судорогах) или же иных болезнях, в симптоматику которых входят кашель, хрипы, судороги.

Не случайно выделенными оказываются и детские болезни: из-за особо ценностного отношения к больному ребенку эвфемистические модели в сфере наименования детских болезней оказываются весьма распространенными.

Последнее соображение перекидывает мостик к другой группе эвфемистических фразеологизмов, записанных нашей экспедицией в Шарьинском районе. В них тоже фигурирует некий квазиперсонаж, вызывающий болезненное состояние ребенка. Этот персонаж – *Родя, Родька*, «приход» которого влечет за собой истерический плач детей, иногда доводящий их до судорог, – *Родька пришел (пришла, нашел, взял, напала)*; *«Родька взял, Родька пришел – задеянится, закапризничает если»* (Шар, Столбцкое); *«На тебя Родька нашёл – так называют маленьких, он ревет и ревет, беспокойный ребенок»* (Шар, Сергеево); *«Ребёнок капризничает сильно, катается даже, бьётся на полу – дак Родька пришёл, Родион – имя, Родька»* (Шар, Плосково) и др. В нескольких случаях *Родька* воспринимается не как причина плача, а как существо, с помощью которого устрашают плачущих, обещая им появление этого персонажа – *Родька (Родя) придёт, Родька заберет, Родька за углом стоит*: *«“Ну, реви-реви, за углом Родька стоит, придет, тебя заберет”*. Ревет – так Родька» (Шар, Зебляки); *«Родя придет по тебя. Так детишкам говорили. Просто така пословица, поговорка»* (Шар, Уполовнички); *«Родька придет и заберет тебя. Видно, страшилище было»* (Шар, Барабаново).

Эти фразеологизмы не фиксируются в доступных нам словарных источниках. Они образованы аналогично фактам предыдущей группы: путем приписывания «антропоморфных» коннотаций лексеме, являющейся обозначением болезни. По всей видимости, в основе – разг. *родимчик* ‘у младенцев, беременных и рожениц: припадок, сопровождающийся судорогами и потерей сознания’. Стимулами для трансформации *родимчик* →

Родя, *Родька* становятся как звуковая близость слов, так и функционирование названия болезни в составе сочетаний типа *родимчик взял, родимчик бьет*, которые подталкивают к восприятию болезни как одушевленного существа. Известно, что детская бессонница относится к числу тех болезненных состояний, которые наиболее часто персонифицируются в народной культуре, что позволяет говорить об особых «демонах детской бессонницы» [Юдин 2001: 78–79].

Таким образом, выражения типа *хоробрец заходил и Родька пришел* мотивационно поддерживают друг друга.

Литература

Аникин РЭС 7 – Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 7. М., 2013. 352 с.

БСРП – Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. М., 2008. 784 с.

Ганцовская – Ганцовская Н. С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и Унжи (с эпицентром акающих говоров). Рукопись.

Даль₂ – В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. 1–4. СПб.; М., 1880–1882 (Репр. Изд. М.: Терра, 1955).

Даль₃ – В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. СПб.; М., 1903–1909. Т. 1–4.

ЛКТЭ – Лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка и общего языкознания УрФУ, Екатеринбург).

Мокиенко В. М. Образы русской речи: Историко-этимологические и этнолингвистические очерки фразеологии. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.

НОС – Новгородский областной словарь / Изд. подготовили А. Н. Левичкин, С. А. Мызников. СПб., 2010. 1435 с.

СВГ – Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–2007 / Под ред. Т. Г. Паникаровской, Л. Ю. Зориной. Вып. 1–12.

СГРС – Словарь говоров Русского Севера / Под ред. А. К. Матвеева (т. 1–5); М. Э. Рут (т. 6–). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001–. Т. 1–.

СПГ – Словарь пермских говоров. Вып. 1–2. Пермь, 2000–2002.

СРГС – Словарь русских говоров Сибири / Под ред. А. И. Федорова. Т. 1–5. Новосибирск, 1999–2006.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–47. М.; Л., 1965–2014.

СРЯ – Словарь русского языка / Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1–4. М., 1981–1984.

ССГ – Словарь смоленских говоров / Отв. ред.: Л. З. Бояринова, А. И. Иванова. Вып. 1–11. Смоленск, 1974–2005.

ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1948–1965.

Феокистова Л. А. Номинативное воплощение абстрактной идеи (на материале русской лексики со значением ‘пропасть, исчезнуть’): Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003.

Юдин А. В. Персонифицированные болезни и способы борьбы с ними в народной культуре восточных славян // *Studia Litteraria Polono-Slavica*. Warszawa, 2001. 6: Choroba, lek i zdrowie. С. 75–85.

ЯОС – Ярославский областной словарь / Отв. ред. Г. Г. Мельниченко. Вып. 1–10. Ярославль, 1981–1991.

Wysoczański W. Umieranie i śmierć: Wielowymiarowość językowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Отв. ред. акад. О. Н. Трубачев. Вып. 1–39. М., 1974–2014.

Галина Валерьяновна Федюнева

*Институт языка, литературы и истории КомиНЦ Уро РАН,
г. Сыктывкар*

ЛЕКСИКА В ОСВЕЩЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПЕРМСКИХ НАРОДОВ: К ОЦЕНКЕ ВАЛИДНОСТИ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ЭТИМОЛОГИЙ

К исследованиям по этногенезу и этнической истории наряду с археологическими и историческими данными часто привлекаются данные языков, которые могут содержать дополнительные сведения о локализации изучаемых этносов в прошлом, их передвижениях, исторических связях с соседями и т. д. Однако так ли надежны эти данные?

Достаточно высокую степень валидности они имеют в тех случаях, когда речь идет об исторических процессах на поздних этапах формирования этноса, языковые особенности которого могут быть объяснены средствами современных языков. Данные более ранних периодов языковой истории (тем более при отсутствии письменных памятников) во многом гипотетичны, их верификация требует привлечения обширной информации и специальных методик обработки. Соответственно, степень надежности этих данных объективно не может быть высокой, тем более абсолютной. Между тем в этногенетических работах этому материалу часто придается неоправданно большое значение.

Любопытно с этой точки зрения рассмотреть материал коми языка, привлекаемый в построение теорий пермского этногенеза и этнической истории коми и удмуртов.

1. Одной из констант любого этногенетического исследования является проблема локализации **прародины** – территории проживания этноса в начальный период его формирования, решение которой невозможно без языкового материала. «Инструментарий языкознания позволяет довольно надежно локализовать район обитания носителей праязыка. Для этого используются

три взаимнезависимых метода: лингвистическая палеонтология (определение места обитания носителей праязыка по набору названий растений, животных, климатических и ландшафтных особенностей, отраженных в праязыковой лексике и позволяющих при наложении на палеогеографическую карту соответствующего времени очертить праязыковой экологический ареал – район совместного распространения всех данных природных явлений, который так или иначе должен соотноситься с реальным районом обитания носителей праязыка), данные о внешних (контактных) связях интересующего нас праязыка с языками, относительно локализации которых имеются более или менее надежные соображения и, наконец, данные субстратной топонимики, указывающие на древние ареалы обитания носителей тех или иных языков, оставивших определенные пласты географических названий», – пишет В. В. Напольских [Напольских 2010: 12].

1.1. Среди лексических разрядов, привлекаемых к этим исследованиям, высокую степень валидности имеет **топонимия**, однако этимологизация и этническая идентификация этой лексики – весьма трудная задача. Как правило, более или менее последовательной стратификации поддаются поздние слои топонимии, тогда как выявление глубинных стратов требует больших усилий и, как показывает практика, не одного поколения исследователей. К сожалению, пермская топонимия, особенно ранняя, остается почти не изученной, однако методика системного анализа субстратной топонимии, разработанная и успешно примененная А. К. Матвеевым к территории Русского Севера [Матвеев 2001, 2004, 2007], дает надежду на создание подобных работ и в пермистике [см., напр.: Смирнов 2013, 2014 и др.].

1.2. Использование метода **лингвистической палеонтологии**, если можно так сказать, менее затратно, однако и результаты его применения менее надежны, поскольку напрямую связаны с трудностями выявления исторически значимой лексики и ее этимологизации. Если реконструкция морфологических (и отчасти фонетических) процессов и явлений имеет *более или менее* твердую почву благодаря относительной устойчивости внутренней структуры языка, то лексический уровень подвержен трудно отслеживаемым, а подчас и вовсе непредсказуемым изменениям. Сама процедура этимологизации (т. е. выявление в современных языках *отдельных* сходжений, достоверность которых доказывается наличием *более или менее* регулярных фонетических и семантических соответствий с учетом *возможных* исторических изменений) предполагает наличие погрешностей, с углублением хронологии исследования умножающихся в геометрической прогрессии.

Понятно, что в зависимости от изученности языков и совершенствования приемов анализа этимологии должны уточняться, дополняться и (с большой долей вероятности) опровергаться. На деле же большая часть ранее этимологизированной лексики без дополнительной верификации кочует из работы в

работу на протяжении многих лет и даже столетий и в таком виде привлекается в этногенетические построения. В частности, лексика природного ландшафта, используемая для характеристики экологического ареала возможного проживания прапермского этноса, находится на стадии первичной этимологизации, несмотря на появление новых источников и методик.

Например, историк С. К. Белых, впервые применивший метод лингвистической палеонтологии в пермистике, использовал для этого названия *кедра*, *орешника* и *дуба*. География распространения этих растений позволила ему «локализовать территорию прапермского экологического ареала в Среднем Прикамье на территории Пермской области, приблизительно между 57-й и 58-й параллелями северной широты» [Белых 1999: 256–257; 2009: 60–62]. Учитывая ареал распространения *кедра* и *дуба* в конце I тыс. н. э., В. В. Напольских место обитания носителей пермского праязыка определил еще более конкретно – Среднее (Пермско-Сарапульское) Прикамье [Напольских 2010: 12].

Ни в коей мере не отрицая возможность проживания прапермян в указанном ареале, позволю себе высказать сомнение в этимологии привлекаемых слов, которая не кажется мне безупречной, прежде всего, в части соответствия коми материала удмуртскому.

1.2.1. ‘Кедр ~ можжевельник’. Название *кедра* считается наследием уральского праязыка. Реконструкция праформы **soksz* (*saksz*, *seksz*) U ‘кедровая сосна; *Pinus cembra*’ делается на основе обско-угорских (манс. *tēt*, *tyt*, хант. *tēχət* ‘кедр’), самодийских (нен. *tydō*, селк. *tyty*, *teedey* ‘кедр’) и пермских (коми *sus-pu* ‘кедр’, удм. *susi-pu* ‘можжевельник’) соответствий. Отмечается возможность прап. > мар., ср. диал. *sas*, *šaršō*, *šoršo* ‘калина’ [UEW: 445]. Отсутствие прибалтийско-финских и волжских соответствий, а также не совсем ясный семантический сдвиг ‘сосна кедровая’ > ‘можжевельник’ в удмуртском языке¹ обычно объясняют тем, что кедр не произрастает на территориях современного проживания этих народов [КЭСК: 267].

Последнее утверждение ничего не объясняет. Понятно, что наличие или отсутствие слова в языке облигаторно не связано с наличием или отсутствием в окружающей действительности самой реалии. Важно установить связь данного слова с другими элементами языка и попытаться устранить имеющиеся противоречия.

В данном случае семантика и фонетический облик удмуртского слова позволяют рассмотреть его в другой этимологической статье, а именно: общеп. **sós-* < доперм. **s8ksz* ‘вид кустарникового дерева’. К этому

¹ «Не вполне понятны причины семантического перехода, потому что, по материалам [Деревья и кустарники СССР 1966], на территории Удмуртии кедр растет» [Норманская, Дыбо 2010: 89].

этимону возводятся коми слово *сѳс-пу* вв. печ. уд. ‘кустарниковая ольха’¹, вв. иж. л. ‘рябина’, которое сравнивается с манс. *сосыг, сосай*, хант. *ѳовѳак* ‘смородина’ [КЭСК: 264].

Распространение слова *сѳс-пу* в большинстве коми-зырянских диалектов, а также коми-пермяцкое слово *суса-пу* ‘бузина’ [КПРС: 458] свидетельствуют об их общекоми происхождении. В семантическое гнездо ‘вид кустарникового дерева’ хорошо вписывается и удмуртское *сусы-пу* ‘можжевельник’. Фонетических препятствий для этого нет. Ср. также мар. *сѳсѳ* ‘калина’ [СМЯ 6: 277].

1.2.2. ‘Орешник ~ шиповник’. Начиная с ранней статьи Е. С. Гуляева [Гуляев 1961]², установилась этимология, согласно которой удм. *пашпу* ‘орешник’ и кз. вв. *пашкан* ‘ягоды шиповника’ восходят к общеперм. **pašk-* ‘орех, ягода’, и далее, с учетом волжских и прибалтийско-финских параллелей, к финно-пермскому источнику [КЭСК: 217].

Не вдаваясь в более глубокую этимологию, отмечу, что сопоставление коми и удмуртского слов вызывает сомнение. К. Редеи в статье *päškz* FP ‘орех, орешник’ приводит удм. *пашпу* ‘орешник’, отмечая при этом, что «Die Zugehörigkeit des sytj. Wortes ist aus semantischen Gründen unsicher» [UEW: 727]. Соответствующая статья в SKES содержит только удм. *пашпу, пушмульпу* ‘орешник’ [SKES: 679].

Коми слово *пашкан* относится к разряду узкодиалектных, оно зарегистрировано в верхневычегодских дд. Аныб, Деревянск, Руч и Носим [СДКЯ 2: 83]. Можно предположить, что это слово было образовано в местных говорах от архаичной основы *пашк-* (-ан – словообразовательный суффикс существительных), которая сопоставима с фин. *pahka, pahku* ‘нарост, шишка, комок, кап (на дереве)’ [SVS: 432]. Финские лексемы с учетом метатезы **kš* > **šk* > *hk* сравниваются с мордовскими словами *пакш, пакшке* ‘пучок, клоч, охалка (волос, сена)’ и возводятся к U **pakša* ‘узел, шишка, нарост, бугор и т. д.’ [UEW: 350; SKES: 679].

При метатезе **kш* > **шк*, абсолютно закономерной для пермских языков, фонетических препятствий для включения коми слова в эту группу нет. Более того, слово *пашкан* лучше вписывается в ряд слов с велярной гласной в основе (**pakša* ‘нарост, шишка’ > фин. *pahka*, морд. *пакшке*), нежели с палатальной (**päškz* ‘орех’ > морд. *паште*, мар. *пүкиш*, фин. *pähkinä*). Косвенным доказательством принадлежности коми слова к этой группе является и его первоначальное значение – ‘ягода, ягоды шиповника’ [ССКЗД: 195, *лежнѳгйив*; 278; КЭСК: 217], перенесенное впоследствии и на само растение.

¹ Также лет. *сос-пу* [ДХ: 118].

² См. также: [Лыткин 1964: 166].

1.2.3. 'Дуб'. Название *дуба* рассматривается в финно-пермском или (под вопросом) финно-вожском контексте. Вопросы вызывает пермский материал (коми *туну*, удм. *тыты* 'дуб' < общеп. **tum-pi*, где *pi* 'дерево'), который сопоставляется с прибалтийско-финскими (фин. *tammi*, эст. *tamm*, лив. *tāmt* 'дуб') и вожскими (морд. *тумо*, *тума*; мар. *тум*, *тумо* 'дуб') словами. Пермские формы без *-м-*, по мнению К. Редеев, могли появиться в результате контаминации исконной основы с русским словом *дуб* под влиянием народной этимологии (> коми *дуб*, *дубну*) [UEW: 798]. В SKES пермский материал не приводится вовсе [SKES: 1218].

Сам факт того, что коми слово является наследием общепермского периода, остается не доказанным, во всяком случае, нельзя исключить следующие контраргументы.

В самостоятельном употреблении слово не встречается, хотя зарегистрировано во многих словарях коми языка без каких-либо примеров и с пометой *диал. нв.* Думаю, это результат целенаправленной активизации архаичной лексики в процессе обогащения литературного языка, а также практики составления словарей на базе уже существующих.

Первоначально слово было выявлено В. И. Лыткиным при расшифровке древнепермской надписи на иконе «Зырянской троицы». Оно встречается трижды и всякий раз в качестве перевода русского слова *дуб*: 1) Яви же ся Аврааму бог у дуба Мамрия (= *мамбри туну дорын*); 2) и прохладитесь под дубом (= *туну дынын*); 3) сам же стояше перед ним под дубом (= *туну дынын*) [Лыткин 1952: 39–40]. При этом вопросы: Кто сделал надпись на иконе? Коми, усвоивший в какой-то степени русский язык? Русский со знанием коми языка? Знал ли он коми (< общеп.) слово или, при отсутствии такового, использовал (адаптировал) слово из русского текста? – сегодня остаются без ответа.

Некоторые исследователи слово *туну* 'дуб' находят в составе микропонимов, в названиях полей *Тупи-йёр* (*йёр* 'загон, огороженный участок') и *Тупи-кыр-йыв* (*кырйыв* 'вершина возвышенности'), луга *Тупу*, озера *Тупи-ты* (*ты* 'озеро'), ручья и луга *Тупи-шор* (*шор* 'ручей'), бора *Тупи-яг* (*яг* 'бор') [Туркин 1971: 282]; *Тупи-орд* (*орд* 'место у чего-то, кого-то'), *Тупи-туй* (*туй* 'дорога') [КЭСК: 286]. Все названия сосредоточены в одном месте – на нижней Вычегде, в окрестностях д. Туискерос. Они относятся к микропонимии, т. е. по определению к неустойчивому разряду лексики, известной узкому кругу местных жителей [Суперанская 1967: 38]. Даже если предположить, что «в конце XIV века это слово для местного населения было еще хорошо известно» [Насибуллин 1992: 83 и др.], вряд ли названия мелких объектов возле небольших населенных пунктов можно отнести к столь далеким временам.

Характерной особенностью микротопонимов является также то, что значительная часть их имеет отантропонимическое происхождение. Поэтому логичнее предположить, что в основе номинации таких объектов, как *поле*, *дорога*, *загон*, *луг* и т. д., лежит принадлежность их кому-то или чему-то, нежели характеристика местности с точки зрения произрастания дуба в далеком прошлом или сохранившееся в памяти жителей д. Туискерос «воспоминание» о дубе, произраставшем на их прежней родине.

Сомнения вызывает и форма топонимов. При наличии живого слова *пу* 'дерево' общелингвистический закон «давления системы» должен был бы поставить элемент *тупи* 'дуб' в один ряд с такими словами, как *суспу* 'кедр', *жовпу* 'калина', *льбмпу* 'черемуха' и т. д., хотя бы под влиянием народной этимологии. Тот же вопрос возникает к удм. форме *тыты*, ср. удм. *кызыпу* 'ель', *пуземпу* 'сосна' и т. д. Неудивительно, что в КЭСКом топонимы приводятся под вопросом, а в UEW не приводятся вовсе.

«Так был ли мальчик?» Наличие слова *тупу* в памятнике древнезырянской письменности, по мнению С. К. Бельха, можно объяснить тем, что «средневековым вычегодским зырянам вполне могли быть известны какие-либо изделия из дуба, а само название этого дерева их предки могли сохранить со времени своего переселения из более южных широт либо позаимствовать у своих более южных соплеменников» [Бельх 1999: 265]. А почему не у русских? Не случайно оно «сохранилось» в говорах нижней Вычегды, региона наиболее ранних и интенсивных контактов коми с русскими в процессе колонизации последними северо-восточных территорий.

Несмотря на изложенные сомнения, приведенные этимологии считаются доказанными, и на их основе делаются далеко идущие выводы. Например, Ю. Норманская и А. Дыбо считают, что «по сравнению с финно-пермским ландшафтом в пермском опять появляется большое количество хвойных деревьев. В целом он больше похож на финно-угорский, за исключением того, что для пермского языка реконструируются названия лиственных деревьев – *дуба* и *тополя*» [Норманская, Дыбо 2010: 262], т. е. как раз наиболее спорные с точки зрения этимологии названия¹.

2. Большое значение для реконструкции этнических процессов имеет так называемая *контактная* лексика, свидетельствующая о *внешних* связях изучаемого этноса с соседями в различные исторические периоды.

Так, известно, что на протяжении своей истории (в том числе в составе более крупных этнических образований) коми имели контакты с раз-

¹ Этимологию названия тополя также нельзя считать удовлетворительной: коми диал. *оржыпу*, удм. *урыжпу* < общеп. **oržz*- «осокорь, черный тополь» // ? эрз. *иржэня* «жесткий грубый» [КЭСК: 207].

ными родственными и неродственными народами, о чем свидетельствуют слова неисконного происхождения, т. е. не финно-угорские и не пермские, обнаруженные в коми языке. Заимствования из разных – иранского, тюркских, обско-угорских, ненецкого, прибалтийско-финских, древнерусского и русского – языков, выявленные в основной своей массе В. И. Лыткиным [Лыткин 1953 и др.], в дальнейшем были использованы для прямых выводов о местах проживания предков коми, их передвижениях и исторических контактах с другими народами.

Однако с появлением новых исследований в этой области стало ясно, что многие этимологии, до сих пор считавшиеся бесспорными, могут быть пересмотрены и уточнены. Основанием для этого становится учет двух важнейших аспектов этимологизации, ранее не принимавшийся в расчет из-за недостатка лингвистического материала. Это 1) учет фактора полихронотопности, т. е. разновременности и мультилокальности исторических контактов, и 2) учет особой роли русского языка в мультиэтничном пространстве России.

2.1. Показательна в этом отношении этимология коми слова *пурт* ‘нож’. Слово считается заимствованием из праиранского языка [КЭСК: 233 и др.], контакты с которым датируются общепермским периодом. Близкие слова имеются в чувашском и эвенкийском языках, куда «этот арийский культурный термин», по мнению В. И. Лыткина, распространился через скифов [Лыткин 1975: 90].

Исследования последних десятилетий позволяют внести коррективы в эту этимологию. Так, А. Е. Аникин справедливо считает, что в эвенкийский язык слово попало из коми языка через русский [Аникин 2000: 459]. Об этом свидетельствуют русские письменные источники, в которых слово *пурт* фигурирует как название предмета меновой торговли с инородцами, напр., в таком контексте: «...русского товару... пол пуда одекуев синих, сто пуртов...».

Е. А. Хелимский, в свою очередь, не без основания ставит под сомнение иранскую этимологию коми слова *пурт*. Он считает, что слово могло проникнуть в коми язык через болгарское посредство (ср. чуваш. *пуртă* / *порт* ‘топор’), учитывая важную роль Волжской Булгарии как транзитного торгового центра. Было ли болгарское слово заимствовано русским и пермскими языками параллельно или проникло в один из языков через посредство другого, сказать трудно, поскольку обе возможности исторически и фонетически обоснованы [Хелимский 2002: 85].

Позволю себе добавить, что слово могло быть заимствовано неоднократно и в разные русские говоры в контактах с различными языками. Например, занесенное ранними миграционными потоками русских (и коми-зырян) слово сначала проникло в эвенкийский язык, а затем, в более

позднее время, было снова заимствовано в местные русские говоры, но уже в эвенкийской форме *пуртА* ‘охотничий нож’: иркут. бурят. *нато-чить пурт'у как-то надо, скоро в лес идти*; [*У эвенков*] *покупали или изготавливали по тунгусскому образцу охотничьи ножи – пурты*. Аналогичным образом в некоторые современные севернорусские говоры слово проникло из языка коми охотников, но уже в более позднее время и в более узком значении – ‘охотничий нож’ [СРНГ 33:137].

2.2. Опосредованное влияние языков друг на друга можно наблюдать и на Европейском Севере России, в контактной зоне коми языка с некоторыми прибалтийско-финскими и (древне)русским языками.

Вопрос карело-вепских заимствований в коми языке слабо изучен, однако на основе работ В. И. Лыткина, выявившего несколько десятков коми-прибалтийско-финских соответствий [Лыткин 1953: 65; 1956, 1963 и др.], сложилось мнение, что западные соседи оказали значительное влияние на коми, поскольку в коми языке обнаружены многие «вепские» слова, касающиеся «различных сторон хозяйственной деятельности» [Жеребцов 1982: 36]. Особенно это касается удорских коми, в языке которых выявлено больше всего соответствий. Все ли выявленные слова можно считать свидетельством прямых контактов коми и вепсов?

С. А. Мызников, проанализировав корпус прибалтийско-финско-коми соответствий в КЭСК, пришел к выводу, что большая их часть в прибалтийско-финских языках не является исконной, причем сходная лексика обнаруживается в смежных русских говорах. Например, коми уд. слово *люська* ‘ложка’ считается прямым прибалтийско-финским заимствованием, ср. вепс. *lužik*, кар. *lužikka*, фин. *lusikka*, эст. *lusik* ‘ложка’ [КЭСК: 415]. В прибалтийско-финские языки слово проникло из древнерусского языка (др.-рус. *лъжьска*, совр. *ложка*), затем было обратно заимствовано во многие русские говоры: *лузка*, *лузица*, *лузик* и т. д. [СРНГ 17: 185]. Это не исключает возможности появления слова *люська* в удорском диалекте через русское посредство [Мызников 2014: 91, 92]. Или удорское слово *бель* ‘дверной или оконный косяк’, считающееся древним вепским заимствованием [КЭСК: 38], представлено также в ряде контактных северовосточных русских говоров [СРНГ 2: 236]. Трудно сказать, проникло ли это слово в один из говоров Удоры в «древние» времена, в непосредственных контактах с вепсами, или позже, через посредство русских.

Не в этом ли разгадка того, что на территории Удоры, в говорах которой выявлено больше всего лексических заимствований из прибалтийско-финских языков, обнаружен только *один* топоним этого происхождения? Больше всего прибалтийско-финских топонимов обнаружено в низовьях Вычегды и в бассейне Лузы [Туркин 1985: 17], в говорах которых карело-вепских заимствований в разы меньше.

2.3. Учет особой роли русского языка позволяет внести коррективы в этимологию, надежность которых вызывает сомнения у самих авторов. Например, в КЭСК коми слово *тус* [*туск-*] ‘бельмо, катаракта’, диал. ‘серый, тусклый, невзрачный’, *тускавны* ‘покрыться бельмом’ под вопросом сравнивается с удм. *тус* ‘вид, облик, тип, цвет’ (< общер. * *tus*), мар. *тус* ‘цвет, масть, вид, облик’, эрз. *тус* ‘образ, выражение лица’ и считается древнебулгарским заимствованием, ср. чув. *тёс* ‘цвет, масть, вид, облик’ [КЭСК: 288]. Из этого сопоставления явно выпадает коми слово, которое может быть рассмотрено как русское заимствование, ср. рус. *туск* ‘тусклость, бельмо на глазу, катаракта, помутнение зрения и т. д.’ [СРНГ 45: 288; Фасмер IV: 126]. Остальные соответствия вполне вписываются в разряд общей лексики Поволжья, видимо, болгарского происхождения.

Приведенные примеры свидетельствуют о важности учета фактора одновременности контактов, а на более поздних этапах контактирования – роли русского языка, пренебрежение которой может привести к «целому ряду заблуждений, вызванных лобовым сопоставлением форм, связанных лишь через русское посредство» [Хелимский 2002: 84]. Они лишний раз показывают, насколько сложным может быть путь того или иного слова в полиэтническом пространстве и, соответственно, насколько проблематично привлечение лексического материала в этногенетических исследованиях.

3. Еще большей осторожности требует использование лексики для изучения *внутренних* этнических процессов, маркировки передвижения групп населения в относительно едином пространстве близкородственных языков и диалектов. Наиболее надежную информацию в этом случае могут дать явления, связанные с девиациями внутренней структуры языка (фонетические, грамматические, структурные преобразования, архаизация, инновационные явления и т. д.), изоглоссы распространения которых можно отследить и даже картографировать. Плодотворно также использование ономастического, т. е. имен и фамилий переселенцев, конечно, при наличии соответствующих исторических документов. Однако лексика в таких исследованиях *объективно* имеет низкую степень валидности, и использование ее может привести не только к искажению языковых фактов, но и к неверным историческим заключениям.

В одной из своих последних работ Е. А. Цыпанов справедливо отметил, что в теориях пермского лингвогенеза «ученые применяли лишь ограниченный материал (данные диалектов, заимствования, топонимы, этнонимы и др.), в то время как при решении таких сложных проблем необходим системно-языковой подход с привлечением множества лингвистических источников, прежде всего теоретических знаний об общепермском языке, его системных особенностях» [Цыпанов 2014: 27].

При этом в «поисках иных методик и источников» он обращается к наиболее ненадежному лингвистическому материалу – лексике природного ландшафта коми языка, которая, по его мнению, «может использоваться при решении вопросов коми лингво- и этногенеза». В частности, он считает, что «многие исконно коми слова указывают на более южное происхождение коми», «тем самым усиливая миграционную теорию этногенеза» [Цыпанов 2014: 29].

Не вступая в извечный спор между сторонниками миграционной и автохтонной теорий коми этногенеза, хочу обратить внимание лишь на некоторые методологические ошибки, делающие абсолютно бездоказательными выводы, на которых настаивает автор.

Прежде всего, сомнения вызывает сам материал, в качестве которого Е. Цыпанов приводит ряд названий флоры и фауны, не представленной на территории нынешнего проживания коми. Это: *нинпу* ‘липа’, *нинкӧм* ‘лапоть’, *веснін*, *веснінпу* ‘липа’, *оржы* ‘осокорь’, *сирпу* ‘вяз, ильм’, *тупу* ‘дуб’, *панназ* ‘клён’, *улмӧ* ‘яблоко’, *гадя* ‘цапля’, *ко-липкай* ‘жаворонок’, *вӧрпорсь* ‘кабан’, *боян* ‘аист’, *кый* ‘пиявка’, *сэч* ‘кролик’, *лымдорчача* ‘подснежник’, *ӧмидзкай* ‘малиновка’, *дзулимкай* ‘иволга’, *косму* ‘апрель’.

Большинство из этих слов обнаружено в рукописном русско-коми словаре Н. А. Попова [Попов 1843, 1864] А. И. Туркиным, который отмечает, что словарь Попова содержит много архаизмов, славянизмов, неологизмов, иногда искусственных, узкодialeктных и вовсе отсутствующих в современных диалектах слов [Туркин 1976, 1977]. Объясняется это тем, что при создании русско-национальных словарей неизбежно возникает проблема отсутствия соответствий в национальной части словаря. Обычной практикой при этом является заполнение лакун авторскими неологизмами, словами близких языков, описательными переводами и т. д. Это относится и к словарю Попова, о чем со многими примерами пишет А. И. Туркин [Туркин 1976: 298]. Следовательно, «южное», по мнению Цыпанова, слово *вӧр порсь* ‘букв. лесная свинья’ вполне может быть поздним собственно коми описательным термином (ср. вепс. *теc-siga* ‘кабан’, букв. ‘лесная свинья’). Ни о какой «южной прародине» не говорят также новообразования *лымдорчача* ‘подснежник’, букв. ‘цветок возле снега’, *ӧмидзкай* ‘малиновка’, букв. ‘малина-птица’ и др., взятые автором из словаря современного коми-пермяцкого языка [КПРС: 233, 305].

Наличие слова *улмӧ* ‘яблоко’ в коми языке также не доказано. Оно взято из словаря Г. С. Лыткина, в работах которого содержится много авторских неологизмов, объясняемых его пуристическими взглядами. Г. С. Лыткину как крупному ученому-востоковеду, несомненно, было из-

вестно широко распространенное в языках Поволжья слово *ульмо* / *олма* 'яблоко', удмуртскую версию которого он мог использовать для заполнения соответствующей лакуны в коми части словаря.

Кроме того, при обращении к ранним словарям, особенно рукописным и больших объемов (словарь Н. П. Попова содержит более 70 тыс. статей), нельзя исключить описок, графических неточностей, а также недостаточно идентифицированных из устной речи лексем. Напр., неясное слово *сэч* 'кролик', по-видимому, является неточной передачей общекоми *коч* 'заяц'. Слово *веснін*, *весніну* 'липа', в составе которого Е. Цыпанов видит слово *нишпу* 'липа' и «абсолютно неизвестный современным носителям языка» компонент *вес-*, возможно, имеет отношение к рус. диал. *ветлина*, *вислина*, *висла* 'ива', 'ветла': *вон там вислина стаит, листочки узиньки* [СРНГ 4: 194]. Если исключить случайность появления этого слова в словаре (что также возможно), его можно объяснить contaminaciónей русского слова с коми *нин* 'лыко' под влиянием народной этимологии.

Приведенное удорское слово *панпаз* 'клен' (со ссылкой на А. И. Туркина) и вовсе можно считать курьёзом, поскольку в одном из говоров Удоры слово *клен* имеет значение не дерево *клен*, а растение *вороника*, медвежья ягода, воронья ягода¹, которому в других коми диалектах соответствуют названия *понбаз*, *понпас* и др. [ССКЗД: 292].

Слово *боян* 'аист', взятое из словаря Н. Попова, зафиксировано и в других источниках: *боян кай* 'аист' [SDW: 13; РЗС 1931], *боян* выч. 'аист' [SWF 1: 91], кп. *буян* 'орел' [Wolegow: 21]. Происхождение неизвестно. Ближкое по звучанию и значению слово имеется в славянских языках: рус. диал. *ботян*, *ботьян*, *батын*; *бачан*, *боцан* [Даль 1: 55; СРНГ 2: 160; 3: 139], укр. *бочан*, болг. *буцян*, польск. *bosian*, *bosap* и т. д. 'аист', *бузан* 'белый аист' [Фасмер 1: 201, 232]. Скорее всего, это славянское заимствование, какими-то сложными путями проникшее в коми говоры. Ср. аналогичное эстонское слово *pat'san* 'аист', которое П. Аристе считает белорусским заимствованием [Ariste 1965: 23]. Во всяком случае, нет никаких оснований считать, что это слово было в языке предков коми, мигрировавших с их «южной прародины» на нынешнюю территорию.

Практически все слова, приведенные автором в пользу «миграционной теории» этногенеза коми, требуют дополнительной верификации. Большинство из них, кроме, пожалуй, *оржы* 'осокорь' и *сирпу* 'вяз, ильм', вряд ли могут претендовать на общепермское происхождение. Даже если они были в прапермском языке, наличие «южных слов» в языке

¹ Возможно, связано с рус. диалектным *клен*, представленным в том числе и в контактных с коми языком диалектах в значении «какой-то домашний цветок»: *Мой ты клёнушко! Чё-то желтеть начинаешь* (рассматривая цветы на окне) [Акчим 2: 45] или *клёнистый* «развесистый, похожий на клен», напр., вят. *кленистые* сосны [СРНГ 13: 277].

еще не доказывает «южного происхождения» народа. Следуя логике автора, можно предположить, что и ненцы когда-то проживали значительно южнее своих нынешних территорий, поскольку сохранили в своей «генетической памяти» слово *тыбыёва* ‘дуб’ [НР-РНС: 216]. Однако это слово могло быть заимствовано ненцами от коми или русских [Белых 1999: 265; Норманнская, Дыбо 2010: 109].

Использование лексики для изучения внутренних процессов этнической истории требует особой осторожности, поскольку движение ее в континууме родственных языков и диалектов отследить практически невозможно. Более того, лексика – наиболее проницаемая область языка, и нет никакого сомнения в том, что значительная ее часть имеет контактный характер. Степень же устойчивости отдельных лексем «в языковой памяти народа» вообще не подвергалась сколько-нибудь серьезным исследованиям.

Литература

Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Новосибирск, 2000. 767 с.

Белых С. К. К вопросу о локализации прародины пермян // Пермский мир в раннем средневековье. Ижевск, 1999. С. 245–281.

Белых С. К. Проблема распада прапермской этноязыковой общности. Ижевск, 2009. 150 с.

Гуляев Е. С. О некоторых удмуртских терминах флоры и их соответствиях в коми языке // Всесоюзное совещание по вопросам финно-угорской филологии. Петрозаводск, 1961. С. 123–127.

Жеребцов Л. Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. М.: Наука, 1982. 224 с.

Лыткин В. И. Древнепермский язык. Чтение текстов, грамматика, словарь. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 174 с.

Лыткин В. И. Из истории словарного состава пермских языков // Вопросы языкознания. М., 1953. № 5. С. 48–70.

Лыткин В. И. Вепско-карельские заимствования в коми-зырянских диалектах // Акад. В. В. Виноградову к его шестидесятилетию. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 179–189.

Лыткин В. И. Карельско-вепские заимствования в коми языке // Всесоюзное совещание по вопросам финно-угорской филологии: Тез. докл. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1961. С. 13–14.

Лыткин В. И. К вопросу о прибалтийско-финских заимствованиях в коми-зырянских диалектах // Прибалтийско-финское языкознание. Тр. Карельского филиала АН СССР. М.; Л., 1963. Вып. 39. С. 3–11.

Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских языков. М.: Наука, 1964, 268 с.

Лыткин В. И. Пермско-иранские языковые контакты // Вопросы языкознания. М., 1975. № 3. С. 84–97.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Т. I–III. Екатеринбург, 2001. 345 с.; 2004. 369 с.; 2007. 298 с.

Мызников С. А. Некоторые аспекты этимологического анализа коми языка // Тр. КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2014. № 3. С. 90–99.

Напольских В. В. К начальным этапам этнической истории коми // Арт. № 2. Сыктывкар, 2010. С. 10–22.

Насибуллин Р. III. Булгаризмы и их отношение к вопросу о времени распада общепермской языковой общности // Вордскем кыл. № 2. Ижевск, 1992. С. 81–95.

Норманнская Ю. В., Дыбо А. В. Тезаурус. Лексика природного окружения в уральских языках. М.: Тезаурус, 2010. 364 с.

Смирнов О. В. К вопросу о пермском топонимическом субстрате на территории Марий Эл и в бассейне среднего течения реки Вятки (в свете этнической интерпретации археологических культур) // Вопросы ономастики. Екатеринбург, 2013. № 2 (15). С. 7–59; 2014. № 1 (16). С. 7–33.

Смирнов О. В. Об этнической интерпретации археологических культур I тыс. н. э. в бассейне среднего течения р. Вятки (по топонимическим данным) // Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы. (Археология евразийских степей. Вып. 20.) Казань, 2014. С. 90–106.

Суперанская А. В. Микропонимия, макропонимия и их отличие от собственно топонимии // Микропонимия. М.: Изд-во МГУ, 1967. 154 с.

Туркин А. И. Архаическая лексика коми языка в топонимике Вычегды // Советское финно-угроведение. Таллин, 1971. № 4. С. 277–283.

Туркин А. И. Русско-зырянский словарь Н. П. Попова // Советское финно-угроведение. Таллин, 1976. № 4. С. 293–299.

Туркин А. И. О втором варианте русско-зырянского словаря Н. П. Попова // Советское финно-угроведение. Таллин, 1977. № 4. С. 293–296.

Туркин А. И. Этногенез народа коми по данным топонимии и лексики. Препринт ИЯЛ АН Эстонской ССР. Вып. 31. Таллин, 1985. 39 с.

Хелимский Е. Трансевразийские аспекты русской этимологии // Русский язык в научном освещении. М., 2002. № 2 (4). С. 75–91.

Цыпанов Е. А. Дивергенция финно-угорского и пермского праязыков в свете последних теоретических и источниковедческих подходов // Пути развития пермских языков: история и современность. Тр. Института языка, литературы и истории. Вып. 73. Сыктывкар, 2014. С. 8–38.

Ariste P. A Case of Language Contact in the East Baltic Area // Советское финно-угроведение. Таллин, 1965. № 1. С. 21–25.

Источники

Акчим – Словарь говора деревни Акчим Красновиперского района Пермской области / Перм. ун-т. Пермь, 1984–2003. Вып. 1–5.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. Т. I. 1981. 699 с. Т. II. 1981. 779 с. Т. III. 1982. 555 с. Т. IV. 1982. 573 с.

ДХ – В. И. Лыткин. Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам / В. И. Лыткин. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 128 с.

КПРС – Баталова Р. М. Коми-пермяцко-русский словарь / Р. М. Баталова, А. С. Кривошекова-Гантман. М., 1985. 624 с.

КЭСК – Лыткин В. И. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999. 430 с.

РЭС – Лыткин Г. С. Русско-зырянский словарь. Составлен по рукописному словарю Н. П. Попова. Л.: Изд. АН СССР, 1931. VI. 360 с.

НР-РНС – Терещенко Н. М. Словарь ненецко-русский и русско-ненецкий. СПб., 2005. 335 с.

СДКЯ – Словарь диалектов коми языка. В 2-х т. Сыктывкар. Т. 1. 2012. 1092 с. Т. 2. 2014. 886 с.

СМЯ – Словарь марийского языка / Сост. В. И. Верпинин, И. Г. Иванов, Н. И. Исанбаев, под ред. И. С. Галкина. Т. VI. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд., 2001. 363 с.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Т. 1–44. СПб., 1965–2011.

ССКЗД – Жилина Т. И. Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов / Т. И. Жилина, М. А. Сахарова, В. А. Сорвачева / Отв. ред. В. А. Сорвачева. Сыктывкар: Коми кн. изд., 1961. 490 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. М.: Прогресс. 1986. 576 с.; 1986. 671 с.; 1987. 831 с.; 1987. 863 с.

SDW – Wiedemann F. J. Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem Wortjakisch-deutschen im Anhang und einem deutschen Register von F. J. Wiedemann. Petersburg, 1880. 692 S.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1987–1981. I–VII. 2293 s.

SVS – Suomalais-venäläinen sanakirja / Финско-русский словарь / Сост. И. Вахрос, А. Щербаков; под ред. В. Олльхайнен, И. Сало. М.: Русский язык, 1977. 815 с.

SWF – Fokos-Fuchs D. Syrjänisches Wörterbuch: In 2 B. [В двух томах: Т. 1. 714 с. Т. 2. 715–1564 с.] Budapest: Akademia Kiado, 1959. 1564 S.

UEW – Uralisches etymologisches Wörterbuch. B. I. Uralische und finnisch-ugrische Schicht. B. II. Finnisch-permische und finnisch-wolgaische Schicht. Ugrische Schicht / Rédei Károly. Budapest, 1988. 906 S.

Wologow – Rédei Károly. Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1833 auf Grund der Aufzeichnungen F. A. Wologows von Károly Rédei. Budapest, 1968. 139 s.

Сокращения языков и диалектов

болг. – болгарский язык; вв. – верхневьчегодский диалект коми-зырянского языка; вепс. – вепсский язык; выч. – вычегодские говоры коми-зырянского языка; доперм. – допермская форма; др.-рус. – древнерусская форма; иж. – ижемский диалект коми-зырянского языка; кар. – карельский язык; кз. – коми-зырянский язык; коми – коми язык; кп. – коми-пермяцкий язык; л. – прилузские говоры коми-зырянского языка; манс. – мансийский язык; мар. – марийский язык; морд. – мордовский язык; нен. – ненецкий язык; общеп. – общепермская форма; печ. – печорский диалект коми-зырянского языка; польск. – польский язык; прап. – прапермская форма; рус. – русский язык; сельк. – селькупский язык; уд. – удорский диалект коми-зырянского языка; удм. – удмуртский язык; укр. – украинский язык; фин. – финский язык; хант. – хантыйский язык; чуваш. – чувашский язык; эрз. – эрзя-мордовский язык; эст. – эстонский язык.

О СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СИСТЕМЕ ГОВОРА*

Исторические процессы, проходившие на территории современной России в течение веков, тесно сопряженные с миграцией населения, нашли яркое отражение в топонимии различных регионов, в лексической макросистеме русских говоров. Длительное сосуществование народов, говорящих на неродственных языках, привело к образованию новых топонимических и лексических региональных систем, в которых в результате интерференции неразрывно объединились элементы разноструктурных языков. Результатом процессов этнокультурного и языкового взаимодействия явилось формирование историко-культурных зон, в частности на территории Русского Севера и Северо-Запада России [Очерки 2001]. Ученые, изучающие вопрос о древнейшем населении Фенноскандии, отмечают, что палеоевропейцы, которые впервые заселили современную Ленинградскую область, Карелию и южную Финляндию, оказавшись в зоне инокультурных и иноэтнических контактов, некоторое время сохраняли свою этническую окраску, но затем подверглись «массированному давлению со стороны племен ямочно-гребенчатой керамики, носителей которой многие исследователи связывают с предками финно-угров» [Шумкин 2001: 21]. При этом, несмотря на мощное этнокультурное воздействие со стороны коренных жителей, пришедшие европейцы оказали также сильное влияние на иноязычное окружение: «Превалируя в численном отношении, новое население в значительной мере ассимилирует аборигенов, вобрав в себя некоторые черты генотипа и ряд элементов культуры» [Шумкин 2001: 21].

Взаимопроникновение элементов разных культур ярко представлено в языке, о чем свидетельствуют лингвистические исследования, посвященные лексическому составу и топонимии разных этносов на территории Европейского Севера и Северо-Запада [Шахматов 1911; Kalima 1919; Mikkola 1938; Veenker 1957; Матвеев 2001; Муллонен 2002; Мызников 2004; Очерки 2001 и др.]. В процессе интерференции

*Исследование выполняется при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

структурно контрастирующих языков, к каковым, в частности, относятся русский и прибалтийско-финские / финно-угорские, выработался этногенетический код в виде системы признаков воздействия одного языка на другой.

Иногда этимологически родственные слова имеют разные корневые морфемы, ср. среди названий гриба волнушки такие, как *болну́шка*, *бо́лдинка*, *болму́ха*, *во́лбенка*, *во́лванка*, *во́лганка*, *во́лденга*, *го́лменка*, *о́лвенка* и др. (более подробно см.: [Михайлова 2014: 529–534]). Неизменным в этих новообразованиях остается только сочетание гласного [о], чаще в ударном положении, и плавного, находящегося в центре корневой морфемы. Скрепляющим элементом, позволяющим видеть в данной группе слов, которая насчитывает около 80 единиц, является неизменная семантика и географическая близость (говоры восточной части севернорусского наречия). В большинстве случаев мена звуков, представленных в приведенных примерах, не может быть объяснена внутренними процессами в развитии русского языка.

Для обозначения слов, имеющих признаки воздействия языка иной структуры, используем понятие экстенциальной лексической единицы (ЭЛЕ). Первоначально возникшая в результате модификации слова под влиянием неродственной структурно-языковой системы, ЭЛЕ связана с понятиями вариант слова, прежде всего фонетический, и слово как исходная самостоятельная единица. Список ЭЛЕ, включающий около 5000 единиц, содержит разные по объему группы этимологически родственных слов – от одной пары типа *озрачо́к* ‘зрачок’ Ср. Урал¹ [СРНГ 23²: 100] и *зрачо́к*, *око́жечко* ‘окошечко’ Юрьев. Влад. [СРНГ 23: 133] и *око́шечко* до нескольких десятков, см., например, названия полотенца для рук с исходной сложной основой *руко́тер* [Михайлова 2013: 187, 202, 266, 228, 297; Михайлова 2015: 80–85], названия гриба волнушки [Михайлова 2013: 43–47, 87–89, 119, 228]. Состав ЭЛЕ показывает разную степень устойчивости экстенциальной единицы в системе говора ограниченной территории, с одной стороны, и в русской лексической макросистеме, с другой. В данной статье сделаем попытку коснуться вопроса именно о роли ЭЛЕ в конкретной системе говора – о характере функционирования или в качестве устойчивого лексического звена, т. е. самостоятельного слова, или в качестве дополнительного, необязательного, колеблющегося элемента, в некоторых случаях параллельно употребляющегося с основным словом.

¹ Сокращения географических помет даются по словарям.

² Здесь и далее указан номер выпуска.

В лексикографической практике ЭЛЕ принято представлять по-разному.

1. Они могут подаваться в одной словарной статье в качестве фонетических вариантов к основному слову. Показательными в этом отношении являются данные Псковского областного словаря, диалектного словаря полного типа. Совершенствуя лексикографические приемы разработки материалов, проявляющих и отражающих системные отношения лексики, Б. А. Ларин, помимо описания грамматической, стилистической, структурной характеристики слова, указывал, что «соотнесение синонимов и фонетико-морфологических вариантов слова освещается как соотношение лексических систем псковских говоров между собой, так и соотношение их с другими диалектами» [Ларин 1962: 255]. Подаче фонетических вариантов в ПОС уделяется пристальное внимание. Ср.: *блыкаться* 'ходить без дела, слоняться' в разных псковских говорах и экстенциальные варианты *аблыкаться* Гд., Печ., *балыкаться* Гд., Ляд., Пушк. [ПОС 2¹: 48], с протезой и эпентезой в начальном слоге. Приведенные сведения дают возможность установить наличие представленных вариантов в относительно компактной зоне гдовских говоров, лексику которых можно рассматривать в качестве устойчивой системы.

Интерес вызывает, прежде всего, сосуществование разных вариантов в диалектной лексике одного населенного пункта, которая в наибольшей степени отражает системные отношения в лексике говора. В статье ПОС *блыкаться* обнаруживается наличие трех лексических единиц в говоре д. Марьинское Лядского района: *блыкаться* и *аблыкаться* в указанном выше значении, а также *балыкаться* с близкой семантикой – 'скитаться, бродяжничать' [Там же]. Данный факт свидетельствует о некоторой неустойчивости вариантов в системе говора.

Словарная статья дифференциального словаря, включающая экстенциальный вариант, отражает более широкий семантический диапазон исходного слова. В этом отношении показательны, например, *лы́винка* Кад., Шексн. Волог. и *лы́бинка* Кад. Волог. – 'участок покоса на низком болотистом месте', но *лы́винка* 'небольшая лужа, лужица' Карг. Арх. не имеет варианта [СРГК 3¹: 162]. В таких случаях, как правило, ЭЛЕ имеет и ограниченную, более узкую территорию бытования: в кадуйских говорах вариант *лы́бинка* носит неустойчивый характер.

2. Фонетический вариант часто дается отдельной словарной статьей с отсылкой к исходному слову в виде толкования 'То же, что ...', например, *лы́ба* 'то же, что *лы́ва*' Реж. Ср. Урал [СРГСУ-Доп.: 290], при *лы́ва* 'лужа' Богд. Ср. Урал [СРГСУ-Доп.: 282]¹, ср. *лы́ва* 'то же' Арх., Вят.,

¹ Составители СРГСУ-Доп. не учли наличие слова *лы́ва* в предшествующей части словаря [СРГСУ 2: 106–107], где *лы́ва* отмечено в значениях 'лужа', 'озерко посреди болота', 'болото'.

Волог., Сев.-Двин., Беломор., Север., Сев.-зап., Пск., Тул., Костром., Нижегород., Волго-Камье, Перм., Оренб., Урал., Сев.-Урал., Свердлов., Челяб., Курган., Заурал., Сиб. [СРНГ 17: 216]. Слово *лы́ба*, несмотря на отношение к *лы́бинка* как производящего к производному, можем также отнести к неустойчивым экстенциальным единицам. Существенную роль здесь играет географическая отдаленность родственных ЭЛЕ.

3. Учитывая разнообразие процессов иноструктурного языкового воздействия на лексику русских говоров [Михайлова 2013: 7–9], приведших к более существенным изменениям внешнего облика слова, обратим внимание на тот факт, что словари представляют большую часть ЭЛЕ как самостоятельные словарные единицы, не отмечая отношений вариантности, которые существовали на начальной стадии возникновения ЭЛЕ. Эти единицы описываются в отдельной словарной статье в качестве лексем, не имеющих видоизменений фонетического характера, не соотносимых на первый взгляд с этимологически родственными и семантически близкими лексемами: *рына* ‘открытое место на болоте’ Кирил. Волог. [СРГК 5: 612], *карнѹть* ‘резко сдвинуть что-н., откуда-н.’ Тихв. Ленингр. [СРГК 2: 329], *лѹда* ‘ослепительная белизна снега при солнечном свете’ Кем., Онеж., Арх. [СРНГ 17: 177], *бытѣть* ‘становиться упитанным, полнеть’ Бор., Холм. Новг. [НОС 2010: 87]. Ср. также: *озлѣбок* ‘верхняя часть бугра, взлобок (где пасут скот)’ Ворон. [СРНГ 23: 95], где представлено упрощение *ttt-* > *tt-* с последующим развитием протезы > *att-* и *взлѣбок* ‘возвышенное место, крутой пригорок» «простореч. и обл.» [СРНГ 4: 264], *взлѣбочек* ‘небольшая возвышенность, горка’ Локн. Пск. [ПОС 3: 161]; *котѣрник* ‘полотенце’ Нгр. Вят. [ОСВГ 5: 107] и *рукотѣрник* ‘то же’, Вят., Киров., Яросл., Волог., Олон., Арх., Сев.-Двин., Костром., Ленингр., Новг., Перм., Свердлов., Ср. Урал, Сиб. [СРНГ 35: 255]¹.

Осознавая отсутствие системы критериев определения степени устойчивости ЭЛЕ и некоторую условность постановки вопроса в целом, сделаем попытку выявления признаков устойчивости/неустойчивости модифицированных единиц на некоторых примерах.

Если согласные корневой морфемы в лексических единицах различаются только одним признаком, то устойчивость модифицированного варианта на уровне диалектной макросистемы может оцениваться как слабая. К таковым относятся единицы, отражающие мену звонких и глухих согласных (*d ~ t*), например: звонкий согласный в соответствии с глухим – *буга́ть* ‘пугать, устрашать’ Кон. Арх. [АОС 2²: 156] < *пуга́ть*; *жи́ро́кий* ‘широкий, не узкий’ Мар. Пос. Чуваш. [СРГП: 302] < *широ́кий*; глухой согласный в соответствии со звонким – *коро́х* ‘горох’ Ляд. Пск. [ПОС 7: 130; ПОС 15: 283], *коро́ховый* ‘гороховый’ Козлов. Чуваш. [СРГП: 328] < *горо́х* и др.

¹ О разных модификациях слова *рукотѣрник* см.: [Михайлова 2015: 281–285].

Относительно системы говора ограниченной территории, вероятно, характер устойчивости определяется внутренними отношениями, с учетом не только пар слов, отличающихся одним звуком, но и всего словообразовательного комплекса. Лексическая единица *бугать* функционирует лишь в одном говоре Архангельской области на фоне лексемы *пугать*, известной практически всем говорам региона. Однако при кажущемся незначительным несовпадении фонемного состава основной экстенциальной единицы, содержащей производящую основу – *бугать*, с исходной лексемой *пугать* имеются расхождения в словообразовательных гнездах, которые можно определить по данным АОС и списка ОСАГ. Ср.: *бугалище* ‘пугало, чучело для отпугивания птиц от огорода’ Кон. Твр., *бугало* с неясным значением Прим. Иж. [АОС 2: 156], *набугать* [ОСАГ: 390] и *пугало* [ОСАГ: 303], *пугальник* [ОСАГ: 258], более десяти глагольных лексем с разными приставками, образованных от *пугать*: *опугать* и др. [ОСАГ: 390]. Некоторая разница в реализации потенциальных словообразовательных возможностей показывает самостоятельность лексем, отличающихся начальными звуками, из чего следует признать устойчивый характер экстенциальных единиц – слов с корнем *буг-*.

В белозерско-бежецкой группе говоров отмечено словообразовательное гнездо с начальным звонким согласным, соответствующим более широко распространенному глухому: *гачать* ‘качать, укачивать’ Бел., *гачеть* ‘то же’ Кир., *гаччеть* ‘качать’ Шексн., *гачаться* ‘качаться’ Баб., *гачкой* ‘качающийся’ Чер., *гачули* и *гацули* ‘качели’ Шексн., *гачуля* ‘то же’ Бел. [СГРС 3¹: 18–19; СРГК 1: 331], ср. *качать*, *-ся*, а также *качуля* ‘качели’ Перм., Вят., Киров., Костром., Яросл., Волог., Сев.-Двин., Новг., Олон., Арх., Мурман., Челяб., Свердл., Ср. Урал, Курган., Тобол., Новосиб., Кемер., Том., Краснояр., Енис., Иркут., Сиб. [СРНГ 13: 147]. Территориально близко, примыкая к белозерско-бежецкой межзональной группе с юго-востока, *гачеться* ‘качаться’ Пошех. Яросл. [СРНГ 6: 154; ЯОС 3²: 72]; отдалено от основного ареала слово *гочуля* ‘качели’ Лен. Арх. [АОС 10: 6]. Наличие целого гнезда слов с экстенциальным элементом – звуком *г* вместо обычного *к* – явно характеризует приведенные ЭЛЕ как устойчивые.

Объяснение мены звонких и глухих согласных в севернорусских говорах, по мнению Б. А. Ларина, «надо искать в их субстрате, так как языки угро-финской группы имеют и другие фонологические противопоставления рядов согласных (например, глухие сильные – глухие слабые – звонкие), а в некоторых диалектах – утрату звонких, в других – озвончение глухих (например, в севернокарельских говорах озвончение *k – t – p* в

¹ Указан номер тома.

² Здесь и далее указан номер выпуска.

сильной позиции)» [Ларин 1959: 47]. Описывая особенности консонантной системы псковских говоров, С. М. Глускина отмечала 55 случаев «озвончения» и 17 случаев «оглушения», причем звонкие находятся в окружении гласных и сонорных звуков, т. е. в сильной позиции. Исследователь видит причины данного явления в иноязычном влиянии: «Такое распределение напоминает отношения между глухими и звонкими аллофонами смычных шумных согласных, предполагаемые в западнофинском праязыке» [Глускина 1973: 49]. Ср: *пядá* Печ. Пск. [Глускина 1973: 37] и *пята́, желабóлка* ‘чашечка у цветка’ Пск., Осташк. Твер., ‘шишка, желвак’ Осташк. Твер. [СРНГ 9: 110], ср. *шалабóлки* ‘головчатые растения’ Бат., Кр., Люб., Хв. Новг. [НОС 2010: 1290]¹. В словарной статье *гипюр* ‘кружево с выпуклым узорным рисунком’ Себ. отмечен вариант *кипюр* Печ. [ПОС 6: 163]. Наличие других вариантов – *гипюра* Печ., *гипур* Порх., *гипер* Дед. [ПОС 6: 163] свидетельствует явно о неустойчивом характере всех единиц (возможно, связанном с особенностями усвоения иноязычного слова).

Некоторые лексические единицы из разряда экстенциальных могут быть приняты за лексико-семантические диалектизмы и на уровне лексической системы русского языка характеризоваться как омонимы к общеизвестным словам: *ладбóшка* ‘гриб (подольховник?)’ Волос. Ленингр. [СРГК 3: 90], *котéльник* ‘полотенце’ Урж. Вят. [ОСВГ 5: 107], *рúдный* ‘урожайный’ Белом. Карел. [СРГК 5: 576]. При этом соответствующие исходные слова, как правило, в говоре отсутствуют, в связи с чем в сознании диалектоносителя совершенно теряется представление об этимоне и возникают новые ассоциативные связи. Ср. исходные слова для приведенных примеров: *гладбóшка* ‘пластинчатый гриб, предназначенный для соления’ Чуд., Люб. Новг. [СРГК 1: 334], *рукотéрник* ‘полотенце’ Вят., Киров., Ярослав., Волог., Олон., Арх., Сев.-Двин., Ленингр., Новг., Перм., Свердл., Ср. Урал, Курган, Тобол., Оренб., Нарым., Новосиб., Алт., Том., Кемер., Енис., Хакас., Краснояр., Иркут., Забайкалье, Бурят. АССР, Сиб., ‘тряпка из грубой ткани для вытирания рук’ Ярен. Волог., Волог., Север., Новг., Яросл., Костром., Вят., Киров., Перм., Новосиб., Иркут. [СРНГ 35: 255], Баб., Верх., Волог., Вож., В.-У., Кир., К.-Г., Межд., Ник., Ньюкс., Сок., Сямж., Тарн., Тот., У.-К., Хар. Волог. [СВГ 9: 71], *грúдный* ‘богатый урожаем, урожайный’ Челяб., ‘многочисленный, имеющийся в боль-

¹ Составители ПОС при слове *желобóлка, желабóлка* приводят сведения из СРНГ [ПОС 10: 186], что, возможно, говорит то ли об отсутствии варианта с глухим согласным в современных псковских говорах (но это кажется маловероятным), то ли о незнании составителя словарной статьи о существовании исходной, на наш взгляд, лексики *шалабóлка*. Данный факт легко объясняется большой «удаленностью» букв *ж* и *ш* в алфавите.

шом количестве' Беломор., Верхне-Тавд. Свердл., Колым. Якут. [СРНГ 7: 163] и возможные новые соотносительные слова: *ладби́шка* 'внутренняя сторона кисти руки' [ССРЛЯ 6¹: 29], *котельник* 'мастер по изготовлению котлов' [ССРЛЯ 5: 1535], *рудный* 'относящийся к руде, природному минеральному сырью, содержащему металлы или их соединения' [ССРЛЯ 12: 1521]. Очевиден факт отсутствия мотивировочных признаков в составе семантики общеизвестных слов для развития новых значений, представленных в диалектных лексемах. Такие возможные «при этимологическом рвении» семантические связи, как 'гриб' и 'ладонь', 'полотенце' и 'котельник, котел', 'урожай' и 'руда', сомнительны и ложны.

Особую группу составляют словообразовательные диалектизмы, в которых отражается мена звуков в корневой морфеме: *загу́льжица* 'глухое, отдаленное от культурного центра место, захолустье (?)' Остр. Пск. [ПОС 11: 162], ср. *заку́льжина* 'отдаленный участок (край) болота' Ок. Новг. [НОС 2010: 293]; *бугалище* 'пугало, чучело для отпугивания птиц от огорода' Кон. Арх. [АОС 2: 156].

Одни из указанных единиц воспринимаются как фонетически более близкие (*блы́каться* > *аблы́каться*, *балы́каться*). При одинаковой или близкой семантике и географии, в пределах одной лексической микросистемы, такие варианты, видимо, могут свободно заменяться исходным словом. Такого рода варианты, как правило, сохраняют первый звук корня неизменным. Другие – при существенном изменении начала корневой морфемы – фонетически отдалены от исходной единицы, ср. вышеприведенные слова с исходными: *кари́уть* и *кряну́ть* 'своротить, сдвинуть, переместить что-л. тяжелое' Вят., Яросл., Волхов. Ленингр., Новг., Твер., Олон., Зап.-Брян., Черепов., Прионеж. [СРНГ 15: 368]; *луда́* и *гудь* 'что-н. гладкое, лоснящееся', *гуде́ть* 'лосниться' Гд. Пск. [ПОС 6: 187], *ряна́* и *гряна́* 'возвышенное место на болоте, кочка' Медв., Белом., Кем. Карел., Карг. Арх., Волх. Ленингр. [СРГК 1: 408]; *быте́ть* и *выть* 'сила, крепость' Новг. Новг., Онеж. Арх., Алт. [СРНГ 6: 45]; *ладби́шка* и *гладби́шка* 'пластинчатый гриб, предназначенный для соления' Чуд., Люб. Новг. [СРГК 1: 334]; *рудный* и *грудный* 'богатый урожаем, урожайный' Челябин., 'многочисленный, имеющийся в большом количестве' Беломор., Верхне-Тавд. Свердл., Колым. Якут. [СРНГ 7: 163]; *котельник* и *рукотельник* 'то же' Крестец. Новг., Волог., Яросл., Свердл., Башк. АССР, Вост.-Казах., Новосиб., Кемер., Том., Забайкалье, Бурят. АССР [СРНГ 35: 266]. Надо полагать, что при ограниченной географии бытования единицы второго рода (типа *рудный*), при отсутствии исходного слова в говоре, имеют высокую степень устойчивости в системе.

¹ Здесь и далее указан номер тома.

Ярким примером лексикализации эпентезы в говорах костромской группы являются слова с преобразованным корнем *груст-*. Компактно в ростовских говорах Ярославской области представлены слова этой группы с сохранением ударного гласного исходного слова: *гору́сть* 'грусть', *гору́стный* 'грустный, скучный', *гору́стно* 'грустно, скучно' Ростов. Яросл. [СРНГ 7: 72]. В этом же узком ареале отмечены глагольные лексемы с передвижкой ударения на предшествующий слог: *гору́ститъ* 'досаждать чем-л.; наводить на кого-л. уныние, грусть', *гору́ститься* 'печалиться, унывать, грустить', Ростов. Яросл. [СРНГ 7: 72]. Ср. также: *сгороу́ститься* 'загрустить' Костром., *сгорості́ться* 'взгрустнуть' Костром., Кинеш. Костром. [СРНГ 37: 39].

Более широкий ареал в пределах костромской группы говоров представлен словами, в которых безударный гласный [о] первого слога переходит в [а]: *гару́сть* 'тоска' Переслав., *гару́сь* Гавр.-Ям. Яросл., *гару́ститься* 'грустить, печалиться, быть в угнетенном состоянии' Борисоглеб., Гавр.-Ям., Первомайск., Переслав. Яросл., Ильин.-Хован. Иван., Нерехт. Костром., *гару́стно* 'грустно, скучно на душе', *гару́стный* 'грустный, печальный', Борисоглеб. Яросл., *гару́сно* Ростов. Яросл. [ЯОС 3: 70]¹. Данная группа дополняется собственно диалектными образованиями *гару́стко* 'грустно, тяжело на душе' Гавр.-Ям., Переслав., Ростов. Яросл., Ильин.-Хован. Иван. [ЯОС 3: 70], *нагару́ститъ* 'надоест, опротиветь' Борисоглеб., Ростов. Яросл., Ильин.-Хован. Иван. [ЯОС 6: 88]. Основанием для представления этой группы слов с лексикализированным безударным гласным *-а-* является, по всей вероятности, перенос ударения на первый слог, в связи с чем гласный *-а-* становится ударным. С компонентом 'грусть, печаль, тоска' зафиксированы слова *га́русть*, *га́русь*, *га́рустный*, *га́руский* Ростов., *га́русный* Гавр.-Ям., Углич., *га́рустно* Борисоглеб., *га́рус* Курб. Яросл. [ЯОС 3: 70].

В говорах смежных территорий отмечена межслоговая метатеза гласных [а] и [у]. Сема 'грусть, печаль, тоска' содержится в лексике, функционирующей в тульских говорах: *гурасливый* Тул., в саратовских говорах: *гура́сно* Ряз., Петров., *гура́сный* Ряз., Петров., *гура́сничать* и *гура́ститься* 'грустить, скучать' Петров. Саратов., в казанских говорах: *гура́стно*, *гура́стный* Лапшев. Казан. [СРНГ 7: 237]. Ср. также: *сгура́ститься* 'взгрустнуться' Костром., Варнав., Кологр. Костром. [СРНГ 37: 49].

¹ Отметим существенную разницу в подаче слов с исходным корнем *груст-*, преобразовавшимся в *гору́ст-*, *гару́ст-*, в СРНГ и ЯОС. Составители ЯОС переход *о > а*, по всей вероятности, считают лексикализированным, примеры с безударным *-о-* в данной корневой группе в ЯОС отсутствуют.

Отпечатки иноструктурного влияния бывают столь сильны, что известное слово становится неузнаваемым, так как внешним обликом отличается от исконно родственных лексем, становится изолированным, ср.: *дес* 'бревенчатый настил для въезда на сарай' Медв. Карел. [СРГК 1: 456] и *езд* 'наклонный настил из бревен, ведущий на второй этаж хозяйственной части дома' Кондоп., Медв., Пуд. Карел., Выт. Волог. [СРГК 2: 23]. Слово *езд* могло возникнуть в результате упрощения сочетания согласных *cj*- в анлауте не без влияния соседних прибалтийско-финских языков, в которых отсутствуют консонантные сочетания в данной позиции [Лыткин 1974: 119]. В необычном слове *дес* отражен известный русскому языку фонетический переход *-zd > -ct* в слабой позиции с последующим изменением *-ct > -c* в конце слова [Кузнецов 1954: 69] и незакономерная мена *j- ~ d'*. Последнее явление, вероятно, возникло как результат предшествующего преобразования среднеязычного согласного в мягкий заднеязычный *z'* перед гласным переднего ряда: *j > z' > d'* в начале слова. В целом преобразование лексемы *езд* (< *сьезд*) представляется следующим образом: (*сьезд* >) *езд* > *езд* > *дезд* > *дест* > *дес*.

Мену начальных *j- ~ d'*- допустимо квалифицировать как признак воздействия фонетических особенностей вепсского языка. И. И. Муллонен и В. С. Суханова, исследовавшие факты перехода начального звука *j* в *z'*, рассматривают данное явление «как следствие взаимодействия русских говоров Заонежья с языком прибалтийско-финского населения, возможно вепсского» [Суханова, Муллонен 1986: 43]. В качестве свидетельства авторы приводят факты живой речи русскоговорящих вепсов, а именно: *гесли* (если), *ящик* (ящик), *гюбка* (юбка), *Гюрьев день* (Юрьев день), отмечая, что здесь четко выступает *z'* протетический¹, «причем это правило распространяется и на те диалекты и говоры, которые на вепсской почве характеризуются протезой *d'*» [Там же]. В вепсском языке данное явление отражено и в географической терминологии, ср. обозначение реки и озера в вепсских говорах: *jogi* и *järv* Озера Подпорожского района Ленинградской области, *dögi* Куя Бабаевского района Вологодской области, Шокша Прионежского района КАССР и *gögi* Пондала Бабаевского района и Шимозеро Вытегорского района Вологодской области, *därv* и *gärv* Шимозеро Вытегорского района Вологодской области [СВЯ: 96, 98]. Подобная мена

¹ Появление *z'* на месте *j*, находящегося в начале слова, на наш взгляд, правомее определять как мену звуков, как переход одного звука в другой, а не протезу. Безусловное наличие протетического *z'* представлено в названии реки *Генуя* в верховьях Капши. «Вепсский вариант – *Enoja ~ Jenjogi*. <...> Неустойчивость *e* в начальной позиции отображает характерную для вепсских говоров тенденцию к наращению *j* в начале слова, которую принято связывать с влиянием русской фонетики» [Муллонен 2002: 57].

представлена и в вепсской топонимии. Устойчивый характер начального *d'* на месте исходного прибалтийско-финского *j* ярко отражается в вепсской и карельской топонимии. 1. Алфавитный указатель прибалтийско-финских названий водных объектов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь) содержит примерно одинаковое количество названий с *j* и *d'*, например: *Järvi*, *Järvikod*, *Hiiñjärv*, *Därvensuo*, *Ahvuudärv*, *Harbujogi*, *Karniždogi* и многие другие [Муллонен, Азарова, Герд 1997: 167–188]. 2. Примеры северновепсской топонимии: *Pergadärv* озеро, *Därv* озеро, *Krikundärv* озеро, *Mustdärv* озеро, *Sareidärv* озеро, *D'ogi* река, угодье, *D'ogi* река, *D'asand'ogi* река, *D'ogiladv* урочище, *D'oginiit* угодье, *Segand'ogi* река, *Jogiladv* урочище [Муллонен 2014]. Небезынтересно, что в списке северновепсских топонимов преобладают именованья с *därv* и *dögi*, отмеченное наименование с *jogi* единично [Муллонен 2014].

В итоге подчеркнем, что экстенциальные лексические единицы занимают разное положение в русской диалектной лексической системе. Одни из них выступают в качестве фонетических вариантов к исходному слову, отличаясь каким-либо одним признаком и функционируя одновременно на какой-либо ограниченной территории. Если исходному слову соответствует один вариант такого рода, то можно с определенной долей уверенности предполагать среднюю степень устойчивости ЭЛЕ. Если же в говоре представлено два или более фонетических варианта, то степень их устойчивости следует расценивать как слабую. Изолированность экстенциальной лексической единицы, ее функционирование в отдалении от основного ареала исходного слова переводит ее в статус основной лексической единицы в микросистеме говора, даже если отличие представлено каким-либо одним признаком, ср. *болкáться* ‘часто менять местожительство, переезжая с места на место’ Дем., Дор. Смол. [ССГ 1¹: 213] и вышеприведенное *блѣкáться*. Наличие двух или более отличительных от исходного фонемного состава признаков делает единицу неузнаваемой и при отсутствии в говоре других лексем с той же семантикой ставит в ряд системных (*гáрусный*, *гурáсливый*, *котельник*). Такие единицы приобретают, естественно, самую высокую степень устойчивости. Разрушение цельнооформленности корневой морфемы за счет перестройки начального слога также приводит к возникновению сильной, устойчивой лексической единицы. Представляется возможным рассматривать вопрос о степени устойчивости вариантов именованья различных объектов и на ономастическом уровне.

¹ Указан номер выпуска.

Литература

- АОС – Архангельский областной словарь. Вып. 1. М., 1980.
- Глускина С. М. Мена звонких и глухих согласных в псковских говорах // Псковские говоры. III. Псков, 1973. С. 35–51.
- Кузнецов П. С. Русская диалектология. Изд-е 2-е. М.: Учпедгиз, 1954. 156 с.
- Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1959. 423 с.
- Ларин Б. А. Инструкция Псковского областного словаря // Псковские говоры. Труды 1-ой Псковской диалектологической конференции. Вып. 1. Псков, 1962. С. 252–271.
- Лыткин В. И. Сравнительная фонетика финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М.: Наука, 1974. С. 108–213.
- Матвеев А. К. Фонетические особенности субстратной топонимии РС и фонетическая адаптация // Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера Ч. I. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. С. 123–151.
- Михайлова Л. П. Словарь экстенциальных лексических единиц в русских говорах. Петрозаводск: Изд-во КГПА; М.: ООО «Вариант». 2013. 352 с.
- Михайлова Л. П. Возможности использования экстенциальных лексических единиц при составлении карт «Лексического атласа русских народных говоров» // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования). 2013. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 527–536.
- Михайлова Л. П. Экстенциальные и исконные фонетические диалектизмы в русских говорах // XLIII Международная филологическая конференция, Санкт-Петербург, 11–16 марта 2014 г.: Избранные труды. СПб.: СПб ун-та, 2015. С. 278–288.
- Муллонен И. И., Азарова И. В., Герд А. С. Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь) / Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1997. 224 с.
- Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 353 с.
- Муллонен И. И. Материалы по северновепсской топонимии // Истоки Карелии: время, территория, народы. Полевые исследования и архивные материалы. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. С. 29–54.
- Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб.: Наука, 2004. 492 с.
- НОС – Новгородский областной словарь / Ин-т лингв. исслед. РАН / Изд. подгот. А. Н. Левичкин и С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2010. XXVII, 1435 с.
- ОСАГ – Обратный словарь архангельских говоров / Под ред. О. Г. Гецовоой. М.: Наука, 2006. 559 с.
- ОСВГ – Областной словарь вятских говоров. Вып. 1. Киров, 1996–2016.

Очерки 2001 – Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны / А. Алквист, В. А. Булкин, И. Ю. Винокурова и др.; под общ. ред. А. С. Герда, Г. С. Лебедева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 512 с.

ПОС – Псковский областной словарь с историческими данными / Под ред. Б. А. Ларина, И. С. Лутовиновой, М. А. Тарасовой [и др.]. Вып. 1. Л.; СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1967–2013.

СВГ – Словарь вологодских говоров / Ред. Т. Г. Паникаровская, Л. Ю. Зорина. Вып. 1–12. Вологда: Русь, 1983–2007.

СВЯ – Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972.

СГРС – Словарь говоров Русского Севера / Под ред. А. К. Матвеева. Т. 1. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001–2014.

СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. Вып. 1–6. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1994–2005.

СРГП – Мызников С. А. Словарь русских говоров Поволжья // Мызников С. А. Русские говоры Среднего Поволжья: Чувашская Республика, Республика Марий Эл. СПб.: Наука, 2005. С. 255–467.

СРГСУ 2 – Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. 2. Свердловск, 1971. 215 с.

СРГСУ-Доп. – Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения / Под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1996. 580 с.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965.

ССГ – Словарь смоленских говоров / Под ред. А. И. Ивановой. Вып. 1–11. Смоленск: СГПИУ, 1974–2005.

ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка: Т. 1–17. М.; Л., 1948–1965.

Суханова В. С., Муллонен И. И. О «г» протетическом в русских говорах Карелии // Севернорусские говоры в иноязычном окружении. Сыктывкар, 1986. С. 38–45.

Шахматов А. А. К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях // Изв. Императорской Академии Наук. 1911. Санкт-Петербург. № 9. С. 707–724. № 10. С. 791–812.

Шумкин В. Я. Древнейшее население Фенноскандии // Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Славяне и финны / Под общ. ред. А. С. Герда, Г. С. Лебедева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. С. 17–22.

ЯОС – Ярославский областной словарь / Отв. ред. Г. Г. Мельниченко. Вып. 1–10. Ярославль: ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, 1981–1991.

Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki: Société Finno-ougrienne, 1919. 265 s.

Mikkola J. J. Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura, 1938. 113 s.

Veenker W. Die Frage des finnougrischen Substrate in der russischen Sprache. Bloomington, 1967. 329 s.

О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВЕПСОВ В СВЕТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ*

1. Введение

Диалектологические и тесно связанные с ними лингвогеографические исследования в настоящее время исключительно популярны в науке, в том числе и в финно-угорском языкознании. Выходят диалектологические атласы с подробными комментариями, которые позволяют высказывать суждения о распространении тех или иных языковых фактов, их отражении на лингвистической карте, формировании диалектных ареалов.

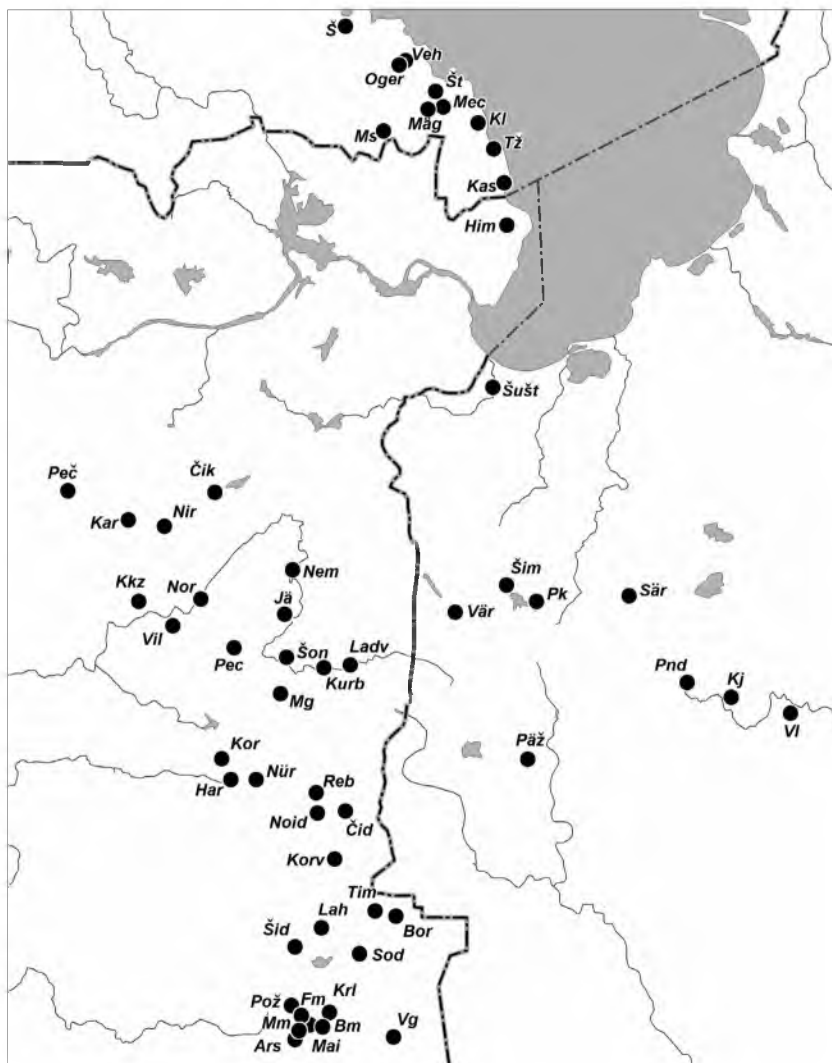
Для подобного рода исследований исключительно важно накопление диалектного материала по языкам, что является длительным процессом. Ради него совершались и совершаются многочисленные экспедиции в места проживания народов, проводятся записи текстов, издаются образцы речи, создаются диалектные словари и электронные ресурсы, которые становятся базой для исследований формирования диалектных ареалов.

Накопление диалектного материала вепсского языка также было непростым. Поездки в места расселения вепсов стали предприниматься достаточно поздно, лишь в XIX в. Первопроходцами здесь выступили финские ученые, ими введены в научный оборот солидные издания образцов вепсской речи, которые содержат сведения практически по всем диалектам вепсского языка. В России первые поездки были предприняты в начале 1930-х гг. в связи с решением о создании вепсской письменности, которое потребовало сбора лингвистического материала. Регулярные экспедиционные выезды стали осуществляться сотрудниками Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН с начала 1950-х гг., благодаря чему в фонограммархиве института содержится значительный фонд вепсских диалектных материалов, который составляет более 400 часов магнитофонных записей (карта № 1)¹. Издан диалектный словарь вепсского языка, книги образцов вепсской речи, содержащие как бытовые рассказы, так и фольклорные тексты различных жанров: сказки, причитания, частушки. В настоящее время многие из этих материалов представлены в созданном усилиями сотрудников института при поддержке различных

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 15-04-00063 «Формирование диалектных ареалов вепсского языка».

¹ Здесь и далее в статье карты составлены Н. Л. Шибановой.

грантов электронном ресурсе «Корпус вепсского языка» [vepsian.krc.karelia.ru], доступном для всех желающих и содержащем поисковый аппарат, облегчающий поиск текстов из любого диалекта и пункта.



*Карта № 1. Маршруты диалектологических экспедиций сотрудников ИЯЛИ
КарНЦ РАН по сбору материала вепсского языка*

Все эти наработки привели к идее создания «Лингвистического атласа вепсского языка». Следует отметить, что идея возникла еще в 1930-е гг., после приезда Д. В. Бубриха в Карелию, когда началась работа по составлению программы сбора материала для диалектологического атласа карельского языка. К этой работе в последующем были привлечены и специалисты по вепсскому языку: исследователь вепсского языка М. М. Хмяляйнен был редактором первого издания программы, а в работе над вторым изданием принимал участие вепсолог Н. И. Богданов. Работа захватила обоих исследователей, и они приступили к созданию вопросника по сбору материала для диалектологического атласа вепсского языка. В 1958 г. был одобрен вариант вопросника, составленный Н. И. Богдановым и М. М. Хмяляйненом, однако работа по сбору материала по вопроснику в силу ряда обстоятельств была отложена.

К идее атласа вернулись лишь в 2012 г., когда при поддержке РГНФ был одобрен проект «Лингвистический атлас вепсского языка». На основе имевшегося, принятого во внимание варианта вопросника Н. И. Богданова и М. М. Хмяляйнена был составлен его новый вариант, который учитывал исследованность вепсского языка уже на данный период¹. В вопроснике содержится 395 вопросов по фонетике, грамматике, лексике.

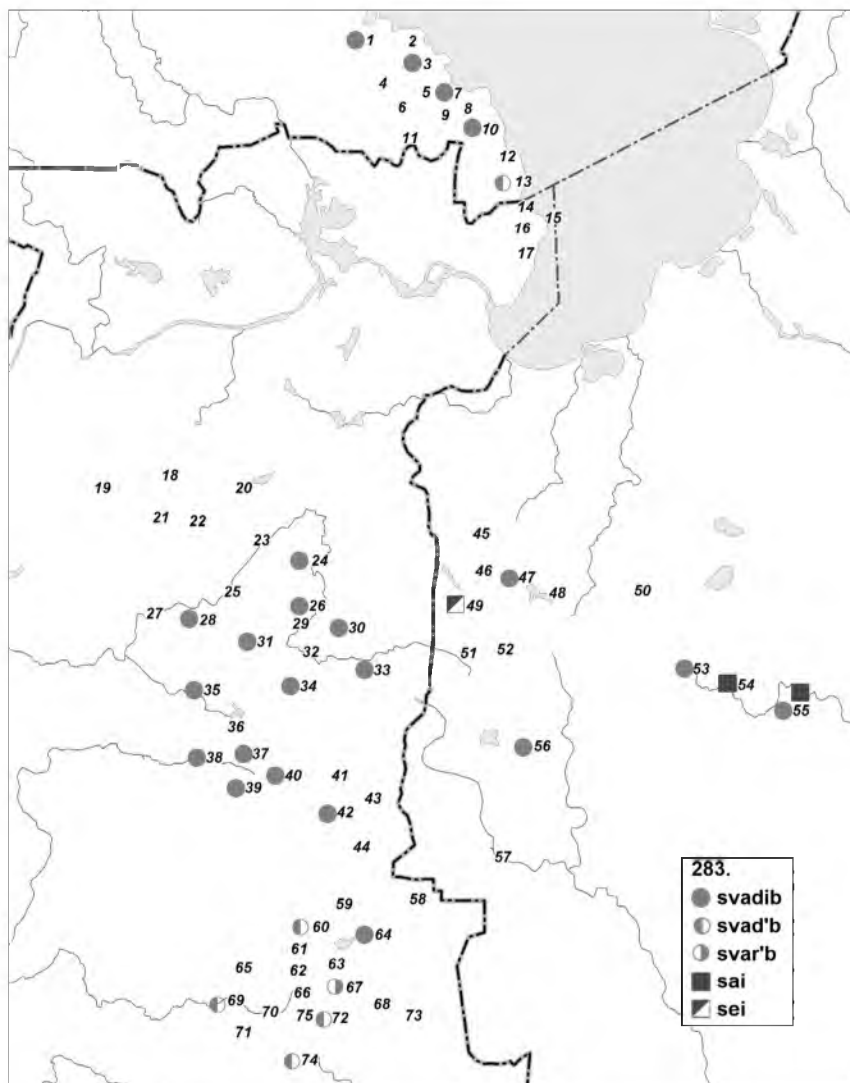
В 2012–2013 гг. состоялись экспедиции по сбору языкового материала в 30 населенных пунктах. К настоящему времени составлена опись всего диалектного материала, избраны пункты, которые будут представлены на картах, подготовлена карта-основа для нанесения языкового материала, составлено более полусотни пробных лингвистических карт.

Как свидетельствует список пунктов (75), нанесенных на лингвистическую карту, начатая по составлению атласа работа обещает быть самой обширной по охвату диалектного материала, призванного высветить достаточно полно картину вепсской диалектной речи. Для настоящей статьи отобраны лишь три термина, отражающих духовную культуру вепсского народа.

2. Именования понятия «свадьба» (вопрос 283) (карта № 2)

Свадебный ритуал, относящийся к обрядам семейного цикла, играл важную роль в жизни вепсской деревни. Свадьбы раньше проводились преимущественно зимой, в промежуток между двумя постами (от Крещения до Масленицы) [Винокурова 1986: 54], а также осенью, когда заканчивались сельскохозяйственные работы. Летом свадьбы играли значительно реже [Колмогоров 1913: 375].

¹ Составителями нового варианта вопросника выступили специалисты из Петрозаводска и Санкт-Петербурга: Н. Г. Зайцева, И. И. Муллонен, С. А. Мызников, И. В. Бродский [Вопросник 2013: 7–46].



Карта № 2

В вепском языке зафиксированы две лексемы, обозначающие понятие «свадьба». Широко используемое русскоязычное заимствование *svadib* характерно для северновепского диалекта, западных говоров

средневепского диалекта, в вариантах *svad'b* ~ *svar'b* – для южновепского диалекта. Это русское заимствование с его фонетическими вариантами представлено на карте несколькими знаками, входящими в одну серию, которая отражает разные возможности преобразования лексем при их заимствовании, а также дает сведения об источнике заимствования: общелитературная лексика или народные говоры. Если варианты *svadib* / *svad'b* возникли в ходе заимствования лексемы, имеющей общерусское бытование, то вариант *svar'b* – это русское диалектное заимствование. Диалектная лексема *сварьба* и ее словообразовательные варианты широко представлены не только в севернорусских народных говорах (вологодских, псковских, новгородских, тверских, костромских), но и в говорах Сибири и как существительное, и как прилагательное, и как глагол: *сварьба*, *сварбишный-сварбеиный*, *сварьбовать* и т. д. [СПНГ 2002: 215], что сделало ее довольно известной и за пределами русского языка, например, в вепском. М. Фасмер включает вариант *сварьба* в этимологическую статью лексемы *свадьба*, полагая, что на ее появление в русских народных говорах оказал воздействие диалектный глагол *свариться* ‘ссориться’ [Фасмер 1971: 569], и мы имеем в этом случае своеобразную контаминацию двух лексем.

В восточных говорах средневепского диалекта употребительна лексема *sai*, напр.: *väta sai* ‘сыграть свадьбу’, *kucta saiha* ‘пригласить на свадьбу’ [СВЯ: 494]. Из близкородственных языков сходное существительное *saajad* с пометой «фольклорное» в значении ‘свадьба; свадебный поезд; гости на свадьбе’ отмечено в эстонском языке [EVSR: 318]. По данным этимологического словаря финского языка, вепс. *sai* и эст. *saajad* являются производными существительными от глагола *saada* ‘получить, добыть’ [SKES: 933–934]. Однако новый этимологический словарь финского языка эти слова в данном гнезде уже не рассматривает [SSA]. Этимологический словарь эстонского языка вепскую лексему *sai* также не привлекает к соответствующей этимологической статье [EESR: 453], оставляя вопрос о ее истоках открытым, хотя данный материал укладывается в ряд других известных науке вепско-эстонских параллелей, свидетельствуя о древних эстонско-вепских взаимосвязях.

Таким образом, лексема *sai*, принадлежащая войлахотскому говору восточной группы средневепских говоров, может считаться в языке некой лексической инновацией. Она исторически представляет собой форму причастия презенса (т. е. причастия агента) с суффиксом *-i* (*sa+i*) от глагола *sada* ‘получать, добывать’. Впоследствии причастное значение слова *sai* ‘добывающий, получающий, загладевающий’ нивелировалось, приобретя субстантивное значение ‘свадьба’. Перенос в значении в данном случае вполне закономерен и понятен.

Лексема *sai* в говоре восточновепсской деревни Кривозеро (Vär) получила фонетическую огласовку *sei* ($a > e$), что свойственно и многим другим говорам в подобной фонетической ситуации в вепсском языке. Является ли лексема *sai* / *sei* вепсской инновацией или все-таки обладает прибалтийско-финскими корнями, почему она распространена так узко в той части вепсского ареала, которая находится в зоне особо плотного русского влияния, трудно судить. Отметим лишь, что в названном восточновепсском ареале имеются и другие достаточно редкие явления и фонетики, и грамматики, а также лексики, где отмечаются слова, неизвестные в других диалектных ареалах и даже отсутствующие в «Словаре вепсского языка» [СВЯ], например, *koržota* ‘хоронить’, *prüub* ‘кухня’, что подтверждает идею об особом стремлении говоров, находящихся в зоне интенсивных контактов, сохранить свое исконное наследие.

Таким образом, широкое функционирование русского заимствования (*svadib*, *svad'b*), очевидно, свидетельствует о русском влиянии не только в области языка, но и в целом данного обряда на региональные группы вепсов. В южновепсском ареале слово *svar'b* указывает на воздействие на него местных русских народных говоров.

Восточновепсская инновационная лексема *sai* / *sei* демонстрирует свою собственную свадебную терминологию и наследие древневепсского языка, которое, будучи в названном регионе в значительной степени растерянным, тем не менее проявляется в отдельных моментах, сказываясь на особенностях формирования диалектного ареала. Любопытно, что восточные куйско-пондальские вепсы девушку называют русским заимствованием *döoč* (в других диалектах *neižne*, *neidiine* ‘девушка’), закрепив за исконной лексемой *niižne* значение ‘невеста’, которое попало в поле зрения авторов СВЯ и показано в нем в качестве второго значения слова [Зайцева, Муллонен 1972: 358]. Отметим, что фонетический облик этого слова в куйско-войлахотских говорах, имеющий вид *neičiine* ~ *niičiine*, в словаре не отражен. Этот облик (*niičiine*) мог появиться в результате контаминации лексем *neičukaine* ‘девушка’ + *neižne* ‘девушка’. Не является ли это своеобразным стремлением образовать новую лексему для понятия «невеста»? Или же таким образом в восточных говорах представлена лексема *neidiine* ‘девушка’, которая отмечена в СВЯ как северновепсская? [Зайцева, Муллонен 1972: 355]. Кроме того, именно в восточных говорах вепсского языка жениха именуют лексемой *oluh*, этимология которой пока не установлена, но которая вряд ли имеет отношение к русскому *олуху*. Здесь же, по свидетельству СВЯ и по нашим наблюдениям, наиболее часто употребляются лексемы *kozita* ‘сватать’, *mānda kozile* ‘идти сватать’, *kozimehed* ‘сваты’, тогда как в других вепсских ареалах в этом случае чаще используются русские заимствования *nevest* ‘невеста’, *ženih* ‘жених’.

svataida ‘сватать’, *mānda svathuzile* ‘идти сватать’. Все это отражает стремление именно восточной группы вепсов сохранить свадебную терминологию, что, очевидно, может свидетельствовать о более длительном сохранении у них и самого вепского свадебного обряда.

3. Именования понятия «плакать» (вопрос 256) (карта № 3)

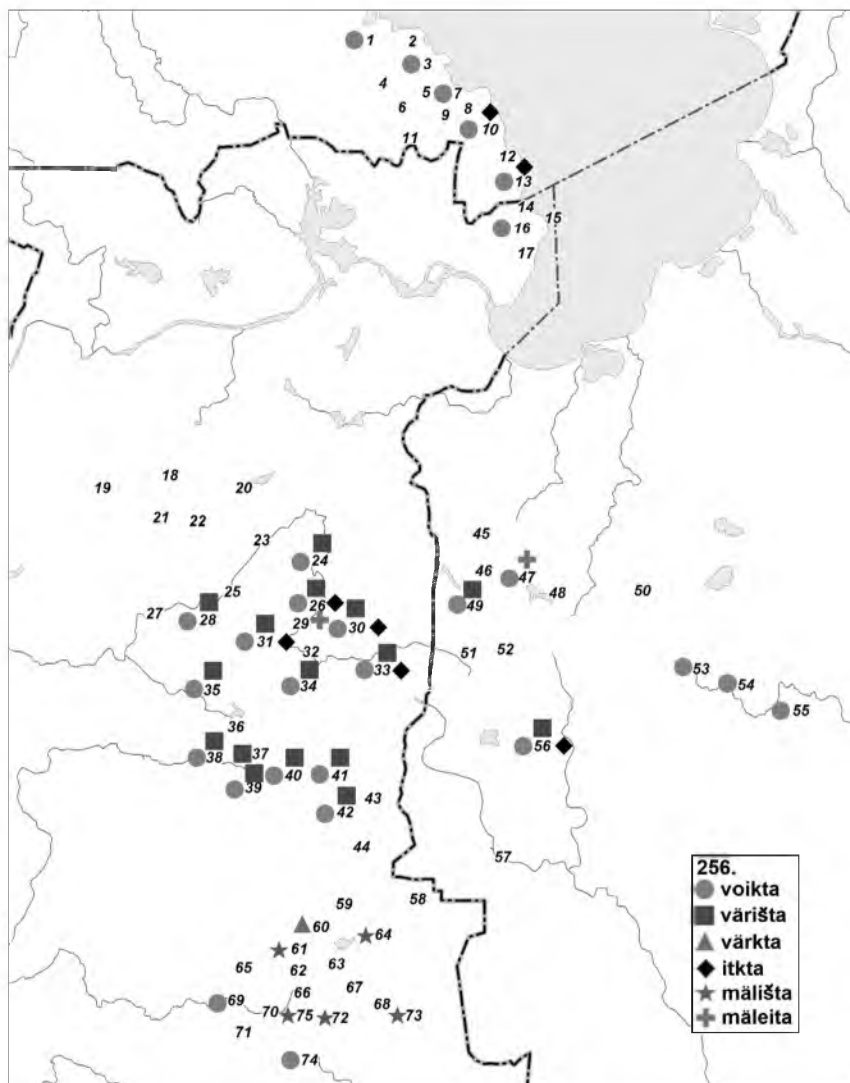
Понятие «плакать» в целом обладает, если так можно выразиться, физиологической семантикой и связано с действиями человека. Однако лексемы, которые выступают в вепском языке для обозначения данного понятия, обладают также семантикой «причитывать, оплакивать», что связано тесным образом со свадебным и похоронным обрядами. Поэтому именования данного понятия рассматриваются в статье как особые культурологические термины, имеющие отношение в данном случае именно к свадебному обряду.

В диалектах вепского языка понятие «плакать» представлено несколькими лексемами. Наиболее распространенным является глагол *voikta*. Этимологи полагают, что глагол возник на почве междометия *voi* ‘ох, ой!’, которое широко распространено во всех прибалтийско-финских языках [SSA III¹: 467; Häkkinen 2007: 1509]. Рассуждая об этимологии этого слова, исследователи предполагают также его оноματοпэтический характер, одновременно сравнивая с вепским глаголом *voivotada*, фин. *voivottaa* ‘охать’ [SKES: 1804] и возможной параллелью с эстонским *uigutada, uikeajada* со значением ‘петь плача, исполнять свадебную песню’ [Салве 1986: 255].

В западных говорах средневепского диалекта глагол *voikta* приобрел более узкое значение и употребляется лишь как ‘причитывать, исполнять причитание’. Для уточнения иногда добавляют: *voikta änel (änüü)* ‘плакать голосом’. Причитывали вепсы на похоронах, при проводах на воинскую службу, во время свадебных ритуалов, а также в быту, повествуя о горестях жизни: *Edou svad’bas voikiba* ‘Раньше на свадьбе причитали’ (Jä) [СВЯ: 639]. Подчеркнем, что причетная традиция наиболее развита у средних вепсов, поэтому, очевидно, именно здесь произошло закрепление значения ‘причитывать’ за указанным глаголом и его своеобразная терминологизация, что потребовало для обозначения понятия «плакать» иного глагола.

Нейтральным глаголом со значением «плакать» в западных средневепских говорах стало выступать слово *värišta* (напр.: *laps’ värižeb* ‘ребенок плачет’). Глагол *värišta*, вероятнее всего, имеет дескриптивное происхождение [SSA III: 483].

¹ Здесь и далее указан номер тома.



Карта № 3

В Прокушеве (Šid), на южновепской территории, зафиксирован более редкий глагол *värkta*, который отсутствует в СВЯ [Зайцева, Муллонен 1972]. В этом же пункте при сборе материала для «Лингвистического ат-

ласа вепского языка» удалось обнаружить и существительное *värkand* ‘плач’ (вопрос № 255). Очевидно, что эти два глагола *värišta* / *värkta* связаны между собой по происхождению, но обладают особыми словообразовательными суффиксами, а при словоизменении – разными основами (ср.: *väriže-b* ~ *värka-b* ‘(он) плачет’), что позволяет поставить их отдельными символами на лингвистической карте.

В северновепском диалекте глагол *voikta*, широко распространенный в западновепских говорах со значением ‘причитывать’, обладает семантической нейтральностью; он же характерен и для восточных говоров средневепского диалекта, которые часто объединяются с северновепскими говорами при выявлении лингвистических реалий, демонстрируя общность в формировании диалектных ареалов.

Для южновепского диалекта свойственно слово *mälišta*, которое, по всей видимости, также ономотопозитического происхождения. В финском языке глаголы *mälistä*, *mälätä* имеют значение ‘говорить быстро и непонятно’ [SKES: 358–359]. В южновепском диалекте (Sod) глагол *mälišta* нейтрален, напр.: *Mäližin, mäližin, da tehta ii mida* ‘Плакала я, плакала, да делать нечего’ [СВЯ: 344].

Из этого же этимологического гнезда исходит глагол *mäleita* [SSA II: 192] также в значении ‘плакать’, который в подобной форме известен диалектам вепского языка менее широко. В нашем случае он был зафиксирован в СВЯ всего в двух средневепских пунктах: Jä, Šim. Он поставлен на карте особой единицей, как и в случае *värišta* / *värkta*, поскольку имеет совершенно иную словоизменительную основу (ср.: *mäliže-b* ~ *mäleida-b* ‘(он) плачет’).

Во всех родственных прибалтийско-финских языках в значении «плакать» широко распространен глагол, который в вепском языке обладает формами *itkta*, *it'kta*, *it'ktä*. В этимологических словарях отмечается его прибалтийско-финское происхождение [SKES: 110; SSA III: 229–230], хотя, по мнению этимолога К. Хяккинена [Häkkinen 2007: 229–230], само происхождение лексической основы глагола не совсем понятно. Любопытно, что глагол *itkta* отчасти объединяет северновепский диалект и западные средневепские говоры, что проявляется довольно редко. В настоящее время в бытовой речи его используют реже других вариантов (напр., Kar: *Laps' minai itkob öl i pejal* ‘Ребенок у меня плачет ночью и днем’).

Можно предположить, что все три глагола изначально функционировали в языке вепсов в разных сферах. Возможно, глагол *itkta*, широко распространенный в родственных языках, был ранее наиболее употребительным. Глагол *voikta* терминологизировался и был закреплен в сфере свадебного обряда, а также в устном народном творчестве. Дескриптивные же глаголы типа *mälišta* / *mäleita*, *värišta* / *värkta*,

скорее всего, чаще встречались ранее при общении с детьми, но постепенно сфера их употребления значительно расширилась, и они даже потеснили в языке более нейтральный глагол *itkta*.

4. Именования понятия «мифическая болезнь, исходящая от леса» (вопрос 254)

В мифологии существуют поверья о получении человеком болезни от леса, лесного духа, лесовика и т. д. В вепсском языке отмечено несколько вариантов наименований этого мифического заболевания, которые практически все обладают исконными корнями, кроме существительного *dum* 'дума' (Jä), пришедшего из русского языка. В русском литературном языке и его диалектах у однокоренных с существительным *дума* глаголов *думаться*, *думить* зафиксировано значение 'казаться, представиться, чудиться, мниться' [Даль 1955: 500]. Мифологическая семантика спровоцировала подобный оттенок значения и в заимствованной вепсской лексеме *dum*: в лес следовало ходить с хорошими мыслями, не размышляя ни о чем плохом, иначе мысль материальна, и плохие «думы», нехорошее поведение в лесу могли наслать некую болезнь. У вепсов одна из наиболее распространенных пословиц гласит: *Mecas kaikutte pu-ki nägeb i kuleb* 'В лесу и каждое дерево слышит и видит'. Этим, очевидно, было вызвано появление в вепсском языке у заимствованного из русского языка слова *dum* подобного семантического сдвига.

Остальные лексемы *meca/nena* ~ *mecan/nena*, *mec/kibu*, *mec/kibuine*, *mec/pagan*, *mec/tegend*, *meca/išketiž* являются сложными словами, первой частью которых выступает слово *mec* 'лес; древесина'. Оно употреблено или в форме номинатива (*mec/kibu*, *mec/kibuine*, *mec/tegend*), или в полной форме генитива (с окончанием *-n*: *mecan/nena*), а также в усеченной форме генитива без окончания *-n* (*meca-*: *meca/nena*, *meca/išketiž*).

Западным говорам вепсского языка известно слово *meca/nena* (*mecan/nena*) – букв. 'лесной нос; нос леса; болезнь, которую лес или лесной напускает на человека': *Mecas lajitoi, ka tartub mecanena, mecamehid ala johtutele* 'Если в лесу ругаешься, так пристанет лесная болезнь, лесных не вспоминай' [СВЯ: 323]. Такое же поверье встречается и у карелов. Кроме сходного названия, у вепсов и карелов идентичны и причины ее объяснения: 'Болезнь, которая случается от гнева лесного духа' [KKS IV¹: 297]. Истоки подобного объяснения, на наш взгляд, идентичны для карельского и вепсского мировосприятия. Мир человека и чужой, другой мир – лес, сосуществовали по своим правилам, и когда человек нарушал их, лес или его хозяева, по представлениям людей, насылали на человека болезнь [Иванова 2012: 68].

¹ Здесь и далее указан номер тома.

В СВЯ [Зайцева, Муллонен 1972: 323] в словарной статье *tes* приводится значительное количество фразеологически связанных выражений типа: *must mec* ‘черт, дьявол’, *mäne mecale* ‘иди к черту’, *ni mecad en kule* ‘ничего (ни черта) не слышу’ и т. д. В этом случае лексема *tes*, кроме своего основного значения ‘лес’, приобретает вторичную семантику ‘черт, леший, лесной дух, лесовик’. Этот семантический сдвиг для других прибалтийско-финских языков (прежде всего, карельского) засвидетельствован этимологическим словарем финского языка: *metsä* ‘лесной дух, лесовик, хозяин леса’ [SSA II: 163].

В материалах первой половины XX в., собранных финским лингвистом Л. Кеттуненом [VVS] и доступных в настоящее время в электронном виде, фиксируется как лексема *metsan'ena* с пометой Рес (средние вепсы) без пояснения значения слова, так и более длинное наименование данной болезни, состоящее из трех частей *metsa/m(e?)hen/n'ena*. Последнее слово не содержит указания на пункт записи и переведено просто как ‘ругательное слово’, где в первой части сложного слова вместо слова *tes* выступает сложное слово *meca/mez*, т. е. буквально ‘лесной человек’ или ‘лесовик; лесной дух’ в форме генитива *metsam(e?)hen*. Слово *metsames(-z)* Кеттуненом дано и как отдельное слово ‘черт, леший’ в пунктах En (средние вепсы), Per (северные вепсы), Ars (южные вепсы). Можно предположить, что вначале хозяин леса, лесовик мог называться сложным словом, затем основное значение для его называния сосредоточилось на части слова *tes*.

В наименовании мифологической болезни *mecanena* любопытным является и второй компонент сложного слова *-nena*, который в его прямом значении есть не что иное, как обыкновенный ‘нос’. Сама лексема *nenä* является по происхождению прибалтийско-финской, главное значение которой ‘нос’, а также ‘острие, кончик и т. д.’. В новой замечательной книге, построенной по принципу энциклопедии, известной исследовательницы вепсской мифологии И. Ю. Винокуровой слово *nena* не включено в перечень лексем, обладающих самостоятельной мифологической семантикой. Здесь упор сделан на сложных словах (напр., *mecanena*), в которых употреблено слово *nena* [Винокурова 2015: 279]. Думается, что такие выражения, как *kanтта nena* ‘таить зло’, *panda nena* ‘заупрямиться’, *pidada nena* ‘упрямиться’ [Зайцева, Муллонен 1972: 356] и т. д., упомянутые и в книге И. Ю. Винокуровой, свидетельствуют о самостоятельной мифологической семантике лексемы *nena*. В этимологическом словаре финского языка у лексемы *nenä* даже особо отмечено это мифологическое значение ‘некая болезнь от плохой силы’ [SSA 1995: 213].

Исследовательница карельских народных названий болезней Т. В. Пашкова при объяснении появления в сложном наименовании данной болезни части *-nenä* склонна присоединиться к исследователям славянских древностей

[Пашкова 2008: 11–12]. В славянской мифологии считалось, что «нос – часть лица, которая в традиционной культуре выступает важным каналом связи с внешним миром и напрямую соотносится с материально-телесным низом. Как и через другие отверстия человеческого тела, через нос внутрь тела может проникать нечистая сила и ее ”агенты”» [Славянские древности 2004: 435], и таким образом возникает болезнь.

Конечно, подобное объяснение вполне применимо и к возникновению вепского именованной болезни, поскольку культуры издревле соприкасались, взаимодействовали и взаимопроникали на всех уровнях. Однако на почве вепского языка при рассуждении по поводу употребления в названии болезни слова *nena* ‘нос’ (*meca/nena* ~ *mecan/nena*) хочется привлечь и вепский отыменный глагол *nenagata* (< *nena* ‘нос’), обладающий значением ‘сердиться, рассердиться; упрямиться’. Таким образом, в языке вепсов нос связан непосредственно с проявлением сердитости, и в этом контексте *mecan/nena* может восприниматься как ‘сердитость, рассерженность духа леса, лесовика’. Вместе с тем этот глагол мог возникнуть и благодаря воздействию именно древней мифологической семантики лексемы *нос*.

Менее распространена лексема *mec/pagan*, где вторая часть слова – русское заимствование *pagan* – имеет семантику ‘нечистый; зараза, зуд’. *Pagan* выступает вторым компонентом сложных слов, именую разные болезни, которые сопровождаются кожным зудом, а первый компонент называет то, от чего, по мнению носителей языка, пришла эта болезнь к человеку, напр.: *vezi/pagan* ‘болезнь от воды’, *soba/pagan* ‘болезнь от одежды’, *kul’bet/pagan* ‘болезнь, полученная в бане’ [СВЯ: 388]. Можно предположить, что вторая часть данных сложных слов *-pagan* – это своеобразная дань христианству, поскольку является древнерусским заимствованием в прибалтийско-финских языках. В языке-источнике *поганый* – это не только ‘нечистый, грязный’, но также и ‘языческий’ [Фасмер 1987: 294–295; SSA II: 294]. Лексема *pagan* как отдельное слово широко известна всем говорам вепского языка и как прилагательное, и как существительное, обладая многими значениями [Зайцева, Муллонен 1972: 388], среди которых и ‘поганый’, и ‘несъедобный’, и ‘плохой, дурной’, и ‘зуд, чесотка’, поэтому появление ее в составе сложного слова в названии болезни вполне закономерно. Видимо, в составе подобного наименования болезни она встречается в вепском ареале значительно чаще, нежели представлена на карте, однако по каким-то причинам оказалась не зафиксированной.

В восточновепском и северновепском ареалах представлен термин *mec/kibu*, *mec/kibuine* ‘болезнь, боль от лесного духа’, где слово *kibu* ‘боль; болезнь’ (< *kipeä* ~ *kipi* ‘больной; боль’) этимологи связывают с *kipakka* ‘вспыльчивый; жестокий; строгий’, считая эти слова дескриптивными [SSA III: 368].

В южновепсском регионе бытует именование *meca/išketiž*, где во второй части сложного слова выступает отглагольная лексема *-išketiž*. Семантика производного глагола *iškta* 'ударить' проявилась и в отглагольном существительном *išketiž* 'удар'. В языке южных вепсов за данным словом закрепилось также мифологическое значение 'удар, болезнь от нечистой силы' [СВЯ: 150]. В данном случае обе части сложного слова *meca/išketiž* связаны с мифологией, указывая на отрицательное воздействие на человека, своеобразный «удар лесного духа».

Название болезни *meca/išketiž* ранее использовалось чаще. Оно было отмечено и Л. Кеттуненом, правда, как и другое слово (*mecanena*), без толкований и переводов.

Сложное слово *mec/tegend* (отглагольное существительное *tegend* < *tehta* 'делать, сделать') также отражает ситуацию, в которой лесной дух *делаet* что-то отрицательное, наказывает отрицательным воздействием.

Разнообразие именовании понятия, особым образом характеризующего отношение человека к природе и наказание болезнью за непослушание, за отрицательное поведение и отношение к природе, позволило составить две лингвистические карты.

Карта 254А (карта № 4) иллюстрирует все разнообразие именовании мифической болезни, где первым, определяющим компонентом выступает слово *mec-*, оно именует самого хозяина леса, т. е. ту силу, которая, по поверьям, наказывает или милует.

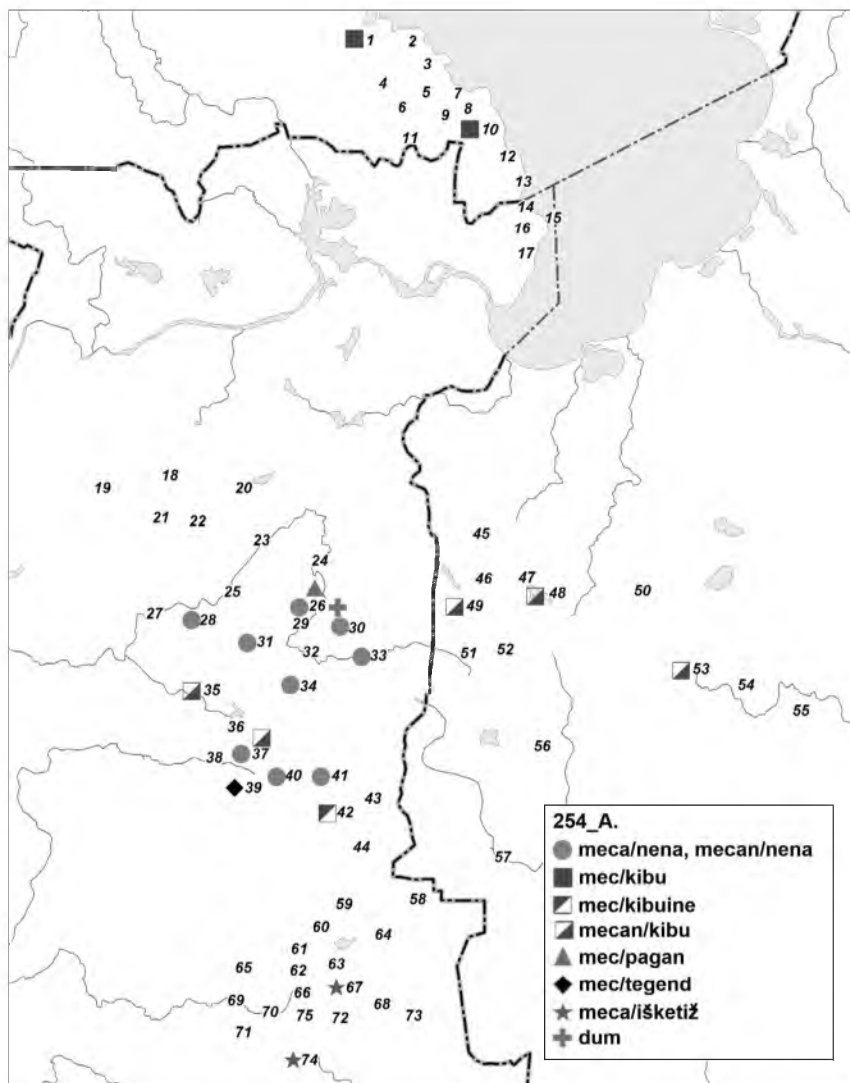
Карта 254В (карта № 5) демонстрирует бытование вторых элементов сложных по структуре терминов с определяющим компонентом *mec-*, которые обладают следующей семантикой:

1) боль или какая-то болячка, называемая вепсами словом *kibu*, *kibuine* 'боль';

2) болезнь, характеризующаяся словом *-nena*, в которой проявляется 'сердитый нрав' сил природы;

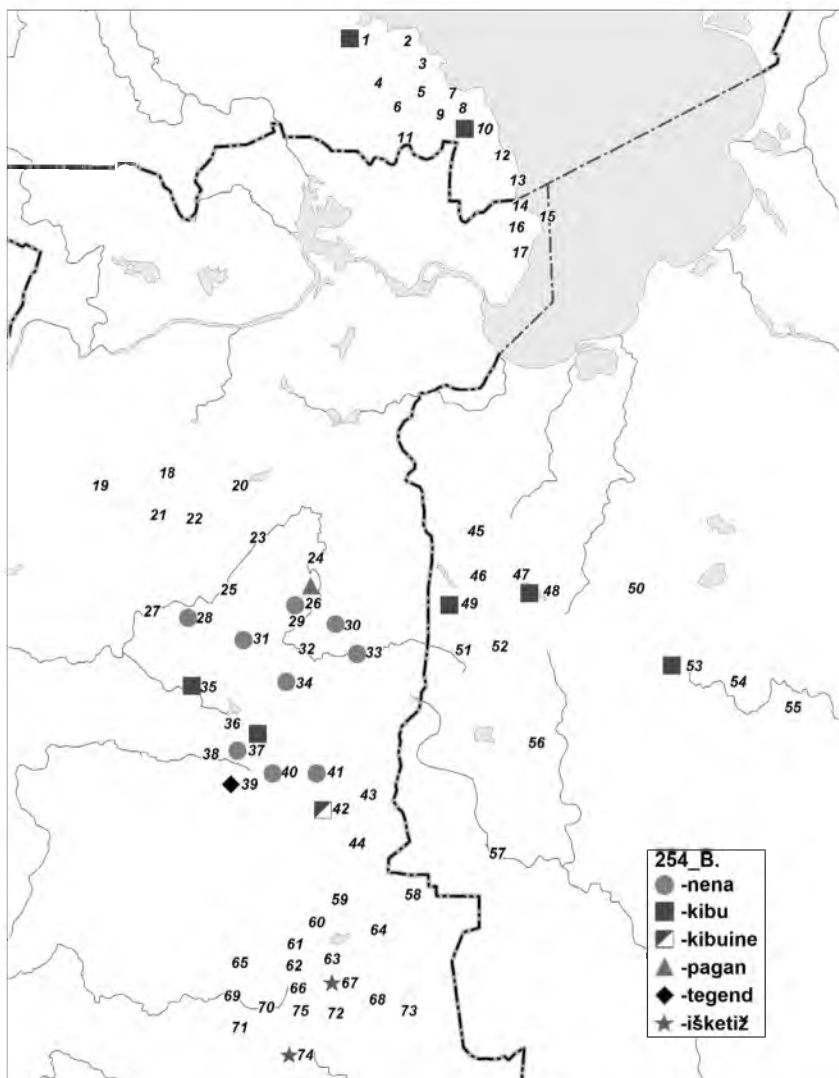
3) болезнь, называемая отглагольными именами *-išketiž* (< *iškta* 'ударить, ударять') или *-tegend* (< *tehta* 'делать, сделать'), которая демонстрирует, каким образом воздействовала на человека лесная сила.

Отметим, что, хотя именовании данной, связанной с мифологией болезни, не столь широко распространены в среде вепсов, их присутствие на вепсской территории исключительно важно с точки зрения истории развития духовной культуры вепсов. Прежде всего, они характеризуют отношения человека и леса, проливают свет на особые правила поведения в лесу, а также на силу народных поверий. Очевидно, эти лексемы возникли еще в дохристианское время, а в дальнейшем замещались именовании, которые включали в свой состав слово *pagan* < *поганый*, что размывало мифологическую составляющую семантики.



Карта № 4

Таким образом, все зафиксированные лексические единицы, не обладая какой-то существенной привязкой к диалектным ареалам, тем не менее позволяют сделать некоторые выводы: лексема *sai* ‘свадьба’ может



Карта № 5

свидетельствовать о возможных контактах вепсов и эстонцев; лексемы *svadib* / *svad'b* / *svar'b* констатируют влияние русского языка и его диалектов, которое отразилось в этом случае почти на всем вепском регионе.

Картографирование глаголов со значением ‘плакать’, являющихся прибалтийско-финским наследием, проливает свет на распределение их по диалектам и сферам употребления: нейтральный глагол *ikta*, вытесняемый, однако, постепенно из речи; терминологизированный глагол *voikta* ‘причитывать’; различные дескриптивные образования: *mälišta*, *mäleita*, *värišta*, *värkta* со значением ‘плакать’, являвшиеся ранее по большей части, очевидно, принадлежностью детской речи. Именования же своеобразной болезни, появившейся, по поверьям, как следствие плохого поведения в лесу, на природе, важны как языковое отражение традиционной культуры и верований вепсского народа, указывая отчасти как на тесную связь вепсов с карелами в этой сфере культуры, так и на очевидное влияние русской и славянской культуры.

Литература и источники

Винокурова И. Ю. Некоторые итоги изучения вепсского народного календаря // Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск, 1986.

Винокурова И. Ю. Мифология вепсов. Энциклопедия. Петрозаводск, 2015.

Вопросник – Вопросник «Лингвистического атласа вепсского языка» // Вепские ареальные исследования. Петрозаводск, 2013.

Иванова Л. И. Лесной нос: архаические представления карелов о болезни и магические локусы ритуала исцеления // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4. С. 68–73.

Колмогоров А. И. Чухарская свадьба (Черты обрядовой жизни у чухарей) // Сборник в честь 70-летия Д. М. Анучина. М., 1913.

Макаров Г. Н. Словарь карельского языка (ливвиковский диалект). Петрозаводск, 1990.

Папкова Т. В. Народные названия болезней в карельском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Петрозаводск, 2008.

Пунжина А. В. Словарь карельского языка (тверские говоры). Петрозаводск, 1994.

Салве К. О функциях, поэтике и способах исполнения средневепсских свадебных причитаний // Музыка в свадебном обряде финно-угров и соседних народов. Таллинн, 1986. С. 253–271.

СВЯ – Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л., 1972.

Славянские древности. Этнолингвистический словарь под редакцией Н. И. Толстого. Т. 3. М., 2004.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 36. СПб., 2002.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. I–IV. М., 1971.

EESR – Eesti etümologia-sõnaraamat / Koostanud ja toimetanud I. Metsmägi, M. Sedrik, S.-E. Soosaar. Tallinn, 2012.

EVSR – Eesti-vene sõnaraamat, 4. Tallinn, 2006.

Häkkinen K. Nykysuomen etymologinen sanakirja. Juva, 2007.

KKS – Karjalan kielen sanakirja. I–VI. Helsinki, 1968–2005.

LMS – Lyydiläismurteiden sanakirja. Helsinki, 1944.

- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. I–VII / Toimittaneet Y. H. Toivonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola. Helsinki, 1955–1981.
 SSA – Suomen sanojen alkuperä. I–III. Helsinki, 1992–2000.
 VV – Vepsa vanasõnad. I–II. Tallinn, 1992.
 VVS – Vepsän verkkosanasto // <http://kaino.kotus.fi/sanat/vepsa/>

**Алфавитный список сокращенных и полных названий пунктов
с закреплённой нумерацией, представленных на картах,
на вепском и русском языках¹**

- 74. Ars – Arskaht’ (Радогощ), Бокситогорский р., Ленинградская обл.**
 58. Bor – Bor (Саньков Бор), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
 66. Buš – Bušak (Бошаково), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
 61. Čai – Čaigl’ (Чайгино), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
 43. Čid – Čidoi (Чидово), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 20. Čik – Čikl (Чикозеро), Подпорожский р., Ленинградская обл.
35. En – Enar’v (Вонозеро), Тихвинский р., Ленинградская обл.
 4. Nar – Naršom (Габшема), Прионежский р., Республика Карелия
39. Har – Haragl (Харагеничи), Тихвинский р., Ленинградская обл.
 16. Him – Himd’ogi (Гимрека), Подпорожский р., Республика Карелия
 2. Iš – Išan’ (Ишанино), Прионежский р., Республика Карелия
38. Jog – Jogens (Усть-Капша), Тихвинский р., Ленинградская обл.
26. Jä – Järved (Озера), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 17. Kal’l’ – Kal’l’ (Целейки), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 21. Kar – Karhil (Каргиничи), Подпорожский р., Ленинградская обл.
13. Kas – Kaskesoja (Каскесручей), Прионежский р., Республика Карелия
 18. Kek – Kekar’ (Кекозеро), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 57. Ker – Kerčak (Керчаково), Бабаевский р., Вологодская обл.
54. Kj – Kuja (Куя), Бабаевский р., Вологодская обл.
10. Kl – Kaleig (Рыбрека), Прионежский р., Республика Карелия
37. Kor – Korbäl (Корбиничи), Тихвинский р., Ленинградская обл.
 44. Korv – Korval (Корвала), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 27. Kos – Koskenpä (Надпорожье), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 5. Krik – Krik (Крюкова Сельга), Прионежский р., Республика Карелия
 67. Krl – Kortlaht (Кортлахта), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
 14. Kuk – Kukagd’ (Володарская), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 23. Kuz – Kuzta (Кузта), Подпорожский р., Ленинградская обл.
33. Ladv – Ladv (Ладва), Подпорожский р., Ленинградская обл.
 59. Lah – Laht (Ляхта), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
72. Mai – Maigär’ (Боброзеро), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
69. Mas – Maslagj (Маслово), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
 8. Mec – Mecantaga (Залесье), Прионежский р., Республика Карелия
34. Mg – Mäggär’ (Мягозеро), Подпорожский р., Ленинградская обл.

¹ П/ж шрифтом указаны пункты, в которых материал по вопроснику коллективом исполнителей атласа был собран в 2012–2013 гг. в полевых условиях.

11. Ms – Matvejansel'g (Матвеева Сельга), Прионежский р., Республика Карелия
9. Mäg – Mägi (Горнее Шелтозеро), Прионежский р., Республика Карелия
51. Naž – Nazangärv (Нажмозеро), Бабаевский р., Вологодская обл.
- 24. Nem – Nemž (Немжа), Подпорожский р., Ленинградская обл.**
22. Nir – Nirgl (Ниргиничи), Подпорожский р., Ленинградская обл.
- 42. Noid – Noidal (Нойдала), Тихвинский р., Ленинградская обл.**
25. Nor – Norj (Ногрина), Подпорожский р., Ленинградская обл.
- 40. Nür – Nürgl (Нюрговичи), Тихвинский р., Ленинградская обл.**
36. Ovr – Ozroil (Озровичи), Тихвинский р., Ленинградская обл.
- 31. Pec – Pecoil (Пелдуши), Подпорожский р., Ленинградская обл.**
19. Peč – Pečal (Печеницы), Подпорожский р., Ленинградская обл.
63. Pel – Peloo (Пелдуши), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
15. Per – Pervakat (Урицкая), Подпорожский р., Ленинградская обл.
- 48. Pk – Pütkask (Пелкаска), Вытегорский р., Вологодская обл.**
- 53. Pnd – Pondal (Пондала), Бабаевский р., Вологодская обл.**
75. Pož – Požarišš (Пожарище), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
- 56. Päß – Päßar' (Пяжозеро), Бабаевский р., Вологодская обл.**
- 41. Reb – Rebaj (Ребов Конец), Тихвинский р., Ленинградская обл.**
- 30. Rih – Rihaluine (Подовинники-Азмозеро), Подпорожский р., Ленинградская обл.**
12. Tž – Tožeg (Другая Река), Прионежский р., Республика Карелия
62. Sar – Sar' (Остров), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
68. Sir – Sirj (Перелесок), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
29. Sj – Sarjärv (Сарозеро), Подпорожский р., Ленинградская обл.
- 64. Sod – Sodjärv (Сидорово), Бокситогорский р., Ленинградская обл.**
50. Sär – Särjärv (Сяргозеро), Бабаевский р., Вологодская обл.
- 1. Š – Šokš (Шокша), Прионежский р., Республика Карелия**
46. Šat – Šatjärv (Шатозеро), Вытегорский р., Вологодская обл.
- 60. Šid – Šidjärv (Прокушево), Бокситогорский р., Ленинградская обл.**
- 47. Šim – Šimgär' (Шимозеро), Вытегорский р., Вологодская обл.**
32. Šon – Šondjal (Шондовичи), Подпорожский р., Ленинградская обл.
- 7. Št – Šoutarv (Шелтозеро), Прионежский р., Республика Карелия**
65. Žar – Žarad (Жары), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
71. Ted – Tedroo (Тедрово), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
45. Tj – Torazgärv (Торосозеро), Бабаевский р., Вологодская обл.
70. Tut – Tutuk (Стапково), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
52. Vah – Vahtkär' (Вахтозеро), Бабаевский р., Вологодская обл.
6. Van – Vanhimsel'g (Вангимова Сельга), Прионежский р., Республика Карелия
- 3. Veh – Vehkoja (Вехручей), Прионежский р., Республика Карелия**
73. Vg – Vaagedjärv (Белое озеро), Бокситогорский р., Ленинградская обл.
- 28. Vil – Vil'häl (Ярославичи), Подпорожский р., Ленинградская обл.**
- 55. Vl – Voilaht (Войлахта), Бабаевский р., Вологодская обл.**
- 49. Vär – Värjärv (Кривозеро), Вытегорский р., Вологодская обл.**

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ И СЕВЕРНОРУССКИХ ГОВОРОВ)

Оленеводство – традиционная сфера хозяйственной деятельности у многих северных народов, например, на территории Фенноскандии первое упоминание об оленеводстве относят к 892 г. [Niemiinen 2006: 1]. Тан-Богораз выделял несколько типов оленеводства на севере Евразии, в частности, «так называемое избяное, оседлое оленеводство, разбросанное весьма небольшими группами на Севере европейской части СССР и в северо-западной Сибири. Олени весьма ручные и крупные, постоянно держатся у дома, подкармливаются отбросами домашнего хозяйства» [Тан-Богораз 1932: 28].

Специфической отраслью скотоводства у коми-ижемцев было также оленеводство, заниматься которым они стали не ранее конца XVII в. Причем, заимствовав оленеводческий комплекс у ненцев, ижемцы внесли в него ряд усовершенствований и к концу XIX в. по праву считались крупнейшими оленеводами Европейского Севера. Отличительной чертой ижемского оленеводства была его высокая товарность, хорошо поставленная селекционная работа, оптимальный половозрастной состав стада. Выпас производился крупными стадами численностью около 2 тысяч голов с помощью оленегонных собак и при круглосуточном надзоре пастухов.

Манси заимствовали оленеводство у ненцев в XV–XVI вв., и оно получило широкое распространение сравнительно поздно. Занималась им небольшая часть манси, главным образом в верховьях рек Лозьва, Северная Сосьва и Ляпин, где имелись благоприятные условия для содержания крупных стад. В целом же количество оленей было невелико, их использовали в основном в транспортных целях [Онина 2003].

Оленеводство как одна из форм хозяйства характерно для всех территориальных групп лесных ненцев, но различные географические условия, в которых обитают эти группы, и контакты с соседними народами, очевидно, отразились в вариативности их оленеводческой системы [Козьмин 1986: 45; Бармич 1988]. С середины XIX в. нганасаны также начали заниматься оленеводством. До коллективизации количество оленей по хозяйствам энцев распределялось неравномерно. Так, например,

одна семья имела 3470 оленей, другая – 992, в то же время 10 семей имели по 169 оленей, 5 – по 21. Домашние олени в жизни энцев играли главным образом транспортную роль [Мухачев 2001: 179].

Естественно, что перечень приведенных народов, практикующих оленеводство, не исчерпывается этими данными и может быть продолжен и развит.

У русского населения оленеводство в широких масштабах не практиковалось, однако, по материалам экспедиций в Беломорье, нам удалось зафиксировать ряд рассказов о содержании оленей. Например, в селе Княжая Губа на Кольском полуострове рассказывали о наличии оленей в хозяйстве, о заготовке ягеля и т. п.:

*В ка'ждом дворе' почти', почти', кто не лени'лся была' коро'ва обяза'тельно и бы'ли о'фцы, а у не'которых **оле'ни** бы'ли. Вот у де'да у моево' бы'ли **оле'ни** ищѐ'. Бы'ли постро'йки специа'льны деревь'нные, о'коло до'ма. Заготовля'ли я'гель, заготовля'ли сено, листь'я берѐ'зовые там, э'то и'вовые там. Ста'да не держа'ли, не держа'ли, два оди'н, вот так вот, и то не у ка'ждово. А коро'вы-то почти' што бы'ли, ну бо'лее-ме'нее така'я хозя'йка как говори'тся дак и коро'ву держа'ла, и ове'чек стара'лись держа'ть и кур да'жэ держа'ли. На **оле'нях** вые'зж'я'ли в лес, наприме'р дрова' вы'тащить из ле'су, вот, на рыба'лку да'жэ, здесь фсѐ вет'ь замерза'ло ра'ньшэ, зали'ф, на рыба'лку ту'да на то'ню е'здили, са'ни таки'е специа'льные бы'ли, вот. Лошаде'и почти' што не у ково' ф хозя'йстве не' было, то'лько пото'м ужэ ф колхо'зе бы'ли ло'шади, там на них и паха'ли и се'но вози'ли. Но ф колхо'зе **оле'ней** не' было. Ягель, я сама', я ещѐ сама, я сама держа'ла коро'ву-то. Э'то дом мои'х роди'телей. Я вот подде'ржываю хожу'. Та'кие там. Э'то я'гель, белый' я'гель, бе'лый мох, как бы мох. Вот он растѐт, где-то вот, такими большы'ми площа'дями. Я и своей коро'ве заготовля'ла. Пойдѐшь да рука'ми рвѐшь ево', ево' не сушы'ть ничево', он так вот ля'жэт он не гниѐт. Да'жэ на ра'ну кла'ли вме'сто ва'ты и'ли там што. И коро'ва ест еѐ' и о'фцы едя'т ево' прекра'сно, у коро'вы да'жэ молоко' тако'е обы'чно тако'е не заболе'ет ни чим. Ну во'тцем оно'. Та'ко щас **оле'ней** да ко'рмят да э'тим я'гелем где-то, ну вот, так и коро'вы едя'т ево' прекра'сно, а **оле'ни** тем бо'лее. Заготовля'ли в лесу', вот как мы, мешки' набье'м да и привезѐ'м, кто на ло'тке, кто на чѐм домо'и из ле'су, мы навози'ли с му'жэсэ на та'чке наприме'р. Из ле'су, там щас доро'к полно' понаде'лано так, мешок набье'м привезѐм. Сло'жым, оно так ле'жыт, или можно в куче, а пот кры'шэи так ещѐ лу'чшэ, вот так и. У фсех бы'ло жэс хозя'йство, тут щас не у ково' не'ту, ма'ло кто чево' де'ржыт. А тог'да ф ка'ждом дворе', бы'ло како'е-то и помеще'ние. У моево' де'да дак большо'и был вот тако'и вот двор, и там отде'льны как бы ко'мнаты, там о'фцы, коро'вы, там **оле'ни**, а с осталь'но'и сторо'ны' наво'с.*

В восточной части Беломорья оленей не содержали, однако русское население было знакомо с оленеводством от ненцев. Таков, например, рассказ, записанный в селе Большая Кудьма (окрестности г. Северодвинска):

Пи'хталы – старинное название озера и избушки, сено заготавливали, избушка была. Лес возили оттуда, берега там хоро'шые и лес хоро'ший. Мир'нова Гора', где кла'дбище, Синяя Гора по ту сторону Солзы. Хранилище, возили трубы. Шофери'в всех знал в двадцатом цэ'хе, кто вози'л – все у'мерли, оди'н вы'жыл. Ста'нцыя бортово'во размагни'чивания. Оле'ни ра'ньшэ бы'ли, учи'лись да'жэ с не'нцами, до сорока, до пятидесяти кило'метров оленей кормили белым мо'хом. Лосей набыю'т, мясом торгова'ли. Не'нцы промысловики' сто'ящие. В чума'х жыли, я бывал у них в чуму'.

Значительная часть русских диалектных лексем, относящаяся к оленеводству, представляет собой заимствование из финно-угорских и самодийских языков. Многие из этих единиц имеют довольно давние фиксации в лексикографических и других источниках. Среди них, например, лексема **ган** – «легкие на высоких подпорках сани у самоедов для езды на оленях» Мезен. [Подвысоцкий 1885: 30], при ненец. *haan* 'сани' [Фасмер 1¹: 391].

Проблема исследования оленеводческой лексики на материалах различных языков уже не раз находила свое разрешение на страницах диссертационных исследований, статей, книг. Причем нередко данные прибалтийско-финских языков рассматривались вне широкого контекста, ср. фин. *liivikkä, liivikkö* 'исхудавший, обессиливший (олень)', которое авторы SKES ошибочно возводят к саам. норв. *livāk* 'измотанный на работе олень', саам. лул. *livāk* 'тощий человек, животное' [SKES: 294], при обширных балто-славянских данных: др.-чеш. *libivý*, кашуб. *leby* 'худой'; рассматривается как родственное литов. *liebas* 'хилый, тощий (о лошади)' [Фасмер 2: 492], русск. диал. **ли'би'вый, либиво'й** 'тощий, слабый' Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885–1898. Прионеж. Ли'бива скотина была у нас. Медвежьегор. КАССР. Лодейноп. Олон., 1852; **лебиво'й** 'тощий, слабый' Тихв. Новг., 1906 [СРНГ 17¹: 40].

В настоящее время в Институте народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена на кафедре уральских языков, фольклора и литературы начата работа над Лингвистическим атласом оленеводческих народов. На начальном этапе речь идет о создании Программы-вопросника для сбора данных по уральским языкам: саамскому, коми-ижемскому, ненецкому, хантыйскому, мансийскому. На наш взгляд, чем меньше территория обследования, тем большим числом вопросов должен оперировать коллектор, и, наоборот, при значительной территории следует выявлять ареалообразующие вопросы, с тем чтобы интерпретация полученных материалов не была

¹ Здесь и далее указан номер тома.

словарем на карте. Исследование, в котором основная задача – показать специфику лексической манифестации генетически тождественных или сходных концептов, во многом должно отличаться от атласов, которые направлены на показ ареалов, образуемых исконной лексикой, и нередко игнорируют иноязычный материал, не включая его в перечень картографируемых лексем, поскольку последний характеризуется единичными фиксациями. Таким образом, нам кажется весьма важной идея начать осуществление лингвогеографического проекта (или ряда проектов), работа над которыми была бы возможной за сравнительно короткий промежуток времени. К настоящему времени в ходе пробных экспедиций уже собраны некоторые данные. Так, например, по ижемскому диалекту коми языка были получены следующие сведения:

самка оленя – *важэнка*;
олень-самец по второму году – *нам'уку*;
телёнок у годовалой важенки – *н'авута*;
важенка, отелившаяся в возрасте одного года – *н'адко*;
годовалый теленок оленя – *н'алуку*;
осенний теленок – *н'эбл'уй*;
шкура олененка 2–3-недельного возраста – *пэндук*;
двухгодовалая важенка – *сырича*;
теленка оленя до одного года – *т'эл'а*;
новорожденный теленок оленя – *пежгу*;
телёнок 2–3-недельного возраста – *пэндук*;
олёнок от 4-х месяцев до года – *мал'ча вол'*;
годовалый самец оленя – *хорейко*;
бесплодная важенка – *хатторка*;
некастрированный олений самец в возрасте свыше 2-х лет – *хора*.

Следует отметить, что оленеводческая лексика требует анализа на широком фоне, с привлечением материалов родственных и территориально смежных языков. В ряде случаев доминирующим, этимологически первичным, является ненецкий материал. Ср., например, коми-ижем. *н'эбл'уй* восходит к ненец. *няблуй* – олений теленок трех-четырёх месяцев, причем слово *няблуй* восходит к ненец. *нялуй* ‘круглый’. По свидетельству М. Я. Бармич: «У теленка этого возраста меняется шерсть, она становится гладкой, ровной, и ненцы ласкательно называют теленка *нялуйко* ‘кругленький’. Словом *няблуй* называется и шкура, снятая с такого телёнка» [Бармич 2014: 154].

В этом же ряду может быть рассмотрена коми-ижем. *хатторка* ‘яловая самка оленя, бесплодная важенка’ [ССКЗД: 402], вероятно, из ненец. *хатторка* ‘бесплодная важенка, которую дрессируют для езды’ [Терещенко: 709], ‘бесплодная самка животного’, ‘бесплодная женщина’ [Lehtisalo 1956: 172; Матвеев 1996: 77]. Причем из коми вошло и в русские говоры:

хапта'рка, хайтарка 'яловая самка оленя' Печор. [СРГНП 2¹: 394, 395]; **ха'пторка, ха'птурка** 'яловая самка оленя' Терск. [КСРГК]; **ха'птарга, ха'пторга, ха'птарка** 'работающая женщина' Лешукон. [Матвеев 1996: 77].

Сюда можно отнести коми *нялуку* 'годовалый теленок оленя' [ССКЗД: 254], *хора* 'некастрированный олений бык в возрасте свыше двух лет' [ССКЗД: 403], на коми почве рассматривается как ненецкое заимствование [КЭСКЯ: 201]. Имеются обширные русские диалектные данные: **ня'лука** 'самка оленя на втором году жизни' Печор. [СРГНП 1: 486]; **ня'лука** 'олень-самец на втором году жизни' Печор. [СРГНП 1: 486]; **ня'луку** 'олень на втором году жизни' Печор. [СРГНП 1: 486]; **ня'луку** 'олень-самец по второму году' Арх., 1940. Печор.; **ня'луку важенка** 'самка оленя от 1 года до 1 года 2 месяцев' Печор., 1930. **Ня'луку хор** 'молодой некастрированный олень от 1 года до 1 года 2 месяцев' Печор., 1930 [СРНГ 21: 332]. Следует отметить, что семантически данные русских говоров разнятся с источниками коми-ижем., например: *намн'уку* 'олень-самец по второму году' и русск. диал. **ня'мнуку** 'самка оленя с первой беременностью' Арх., 1940. Печор. [СРНГ 21: 332].

В некоторых случаях коми данные можно сопоставить с русскими источниками, ср. коми *сырича* 'самка оленя двух лет, двухгодовалая важенка' [ССКЗД: 353], при русск. диал. **сыри'ца** 'нетелившаяся самка оленя первых двух лет жизни' Печор. Печор. [СРГНП 2: 336].

В русских говорах Кольского полуострова, при наличии там оленеводов коми-ижемцев доминируют данные саамского происхождения:

ва'лма 'грудь оленя' Терск. (Чаваньга) [КСРГК]. **Валмы** – «выпуклости на груди оленя между передними ногами» Терск. (Кашкаранцы) [Меркурьев 1979: 25]. **Ва'лмы** – «часть груди у оленя между передними ногами, где проходит сса (постромка), нередко растирающая кожу в этом месте; в этом случае говорят, что у оленя валмы стерты» Кольск. [Подвысоцкий 1885: 14]. **Ва'лма** – «часть тела у оленя»: – *Где у нас ключица, там у оленя валма*. Терск. [СРГК 1¹: 139]. Ср., саам. лул. *valme* 'место хомута' [Itkonen 1932: 63], при фин. *valma(s)* 'шейный мускул' [Kalima 1915: 81].

Вонделва'женка 'самка оленя на третьем году жизни' Кольск. [Подвысоцкий 1885: 21]. **Вонделва'женца** 'самка оленя на третьем году жизни' Терск. (Кашкаранцы) [Меркурьев 1979: 29]. **Вандельва'женка** 'самка оленя на третьем году жизни' Кем. (Поньгома) [КСРГК]. **Вондел-ва'женка** 'оленья самка от двух до трех лет' Кольск., 1932. **Вондил-ва'женка**: *Оленья самка до 1 года зовется «лопанкой», до 2-х «вондилкой», до 3-х лет «вондил-важенкой» и с 4-х лет просто «важенкой»*. Арх., 1909. **Вондел-ва'женка** 'оленья самка в возрасте от трех до четырех лет' «употребляется

¹ Здесь и далее указан номер тома.

среди поморов» Кольск. [СРНГ 5: 90–91]. **Воннелваженка** ‘оленья самка по третьему году’ [Itkonen 1932: 50]. В КСРГК представлена лексема **вандельва’женка**, в СРГК две единицы: **вандель** и **важенка** [СРГК 1: 160]. Имеется саамский композит, соответствующий русским данным, ср. саам. *vuonelovaadin* ‘оленья самка по третьему году’ [Itkonen 1932: 50].

Во’нделка ‘самка оленя на втором году жизни’ Северомор. (Гаврилово) [Меркурьев 1979: 29]. Кем. [КСРГК]. Кольск. [Подвысоцкий 1885: 21]. ‘Годовалая самка оленя’ Терск. [КСРГК]. **Во’нделка** ‘оленья самка в возрасте от одного года’: «Олень-самка годичного возраста (важенка по мезенским тундрам), который в женском поле не переменяет уже более название, а в мужском с каждым годом получает новое». Арх. [СРНГ 5: 91]. **Во’нделка** ‘оленья самка в возрасте от года до двух лет’: *О прошлом годе мы двух вонделок сыну подарили*. Кольск. [СРНГ 5: 91]. **Вонде’лка** ‘оленья самка в возрасте от года до двух лет’ Арх. [Доп. Опыт]. **Во’нделка** ‘оленья самка в возрасте от двух до трех лет’ Кольск. [СРНГ 5: 91]. **Во’нделица** ‘самка оленя на втором году жизни’ Кем. [КСРГК]. **Во’ндель** ‘самка оленя на третьем году жизни’ Терск. [КСРГК]. **Ва’нделица** ‘отелившаяся олениха’ Кем. (Поньгома) [КСРГК; СРГК 1: 160]. **Воннелка** Печенгск. [Itkonen 1932: 50]. Восходит к саамским источникам, ср. саам. печенгск. *vuonhal* ‘самка оленя на втором году’ [Itkonen 1932: 50; Фасмер 1: 348].

В восточной части Беломорья фиксируются данные, напрямую восходящие к ненецкому воздействию, например, **бе’ндя** ‘пучок волос под шей оленя’ Мезен. [Матвеев 1996: 73]; ср. ненец. *пемдя* ‘длинная шерсть под шей у оленя’ [Терещенко 1965: 457; Матвеев 1996: 73].

Таким образом, оленеводческая лексика в ряде случаев на материале различных языков довольно часто представляет собой неисконный пласт, ср., например: саам. *тяйши* из русск. *тяж* ‘длинный ремень из тюленьей шкуры, соединяющий упряжь с саними’ [Эрштадт 2014: 3]. Оленеводческая лексика требует всестороннего анализа на широком фоне с привлечением данных этнографии, а также материалов родственных и территориально смежных языков; в свою очередь, лингвогеографическое исследование таких данных может пролить свет не только на формирование подобной лексической группы, но и на этногенез этих народов, их миграции и контакты.

Литература

Бармич М. Я. Названия оленей по масти в самодийских языках // Вопросы лексикологии языков народов Крайнего Севера. Межв. сб. науч. тр. JL, 1988. С. 23–38.

Бармич М. Я. Лексическая характеристика языка канинских ненцев // Вопросы уралистики 2014. Научный альманах. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 148–299.

Бутылева А. М. Лексика нартенного оленеводства кильдинского диалекта саамского языка // Диалог культур: культурные стереотипы в эпоху глобализации: сб. статей / Мурман. гос. пед. ун-т. Мурманск: МПГУ, 2008. С. 30–34.

Доп. Опытг. – Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». СПб., 1858.

Иванищева О. Н. Полевые исследования оленеводческой лексики саамского языка: сопоставительный анализ западных и восточных диалектов (к обоснованию темы) // Диалог культур: культурные стереотипы в эпоху глобализации: сб. статей. Мурманск: МПГУ, 2008. С. 25–30.

Козьмин В. А. Традиции и развитие современного оленеводства тасжной зоны Западной Сибири // Культурное развитие народов Сибири. СПб., 1986. С. 42–57.

КСРГК – Картоотека «Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей».

Куликова И. В. Лексико-семантическая группа чукотских названий северного оленя по форме рогов // Лексико-грамматические исследования языков народов Севера СССР. Л., 1980. С. 79–82.

Куликова И. В. Словосложение как основной способ образования названий оленей в чукотском языке // Лексико-грамматические исследования языков народов Севера СССР: сб. науч. тр. Л., 1980. С. 67–71.

Куликова И. В. Оленеводческая лексика в современном чукотском языке. Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984. 250 с.

Куулар Е. М., Сувандии Н. Д. Половозрастные названия оленей в диалектах тувинского языка // Новые исследования Тувы. 2011. № 4. С. 146–150.

КЭСЯ – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1999.

Лукина Н. В. Некоторые вопросы происхождения оленеводства хантов // Этнография народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 10–16.

Матвеев А. К. Новые данные о ненецких заимствованиях в севернорусских говорах // Этимологические исследования. Екатеринбург, 1996. Вып. шестой. С. 72–79.

Меркурьев И. С. Живая речь кольских поморов. Мурманск, 1979.

Мухачев А. Д. Путешествие в мир оленеводов. Новосибирск, 2001. 400 с.

Онина С. В. Оленеводческая лексика в хантыйском языке. Дис. ... канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 2002.

Онина С. В. Отраслевая лексика хантыйского языка: словарный состав, связанный с оленеводством. Йошкар-Ола, 2003. 154 с.

Петров А. А. Оленеводческая лексика долганского языка. Этнолингвистический словарь. СПб., 2015.

Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994–2005. Т. 1–6.

СРГНП – Словарь русских говоров Низовой Печоры / Под ред. Л. А. Ивашко. СПб., 2003–2005. Т. 1–2.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Т. 1–48. М.; Л., СПб., 1965–2015.

ССКЗД – Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961. 489 с.

Тан-Богораз В. Г. Северное оленеводство по данным хозяйственной переписи 1926–1927 гг. // Советская этнография. 1932. № 4. С. 26–62.

Терещенко Н. М. Ненецко-русский словарь. М., 1965.

Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973.

Элрика В. С. Лексика, связанная с оленеводством, в эвенском языке // Вопросы лексики и синтаксиса языков народов Севера СССР. Л., 1988. С. 39–49.

Элрика В. С. Лексико-семантическая группа названий оленей по масти в эвенском языке // Лингвистические исследования. Структура языка и его эволюция. М., 1989. С. 204–208.

Эрпштадт А. М. Лексика упряжного и вьючного оленеводства в кильдинском диалекте саамского языка // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 1–8.

Южаков А. А., Мухачев А. Д. Этнические особенности оленеводства ненцев. СПб.: Изд-во Банки и Кредит, 2000. 84 с.

Южаков А. А., Мухачев А. Д. Этническое оленеводство Западной Сибири: Ненецкий тип. Новосибирск, 2001. 112 с.

Itkonen T. I. Lappische Lehnwörter im Russischen // STT. B. XXVII. Helsinki, 1932. S. 45–65.

Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsingfors, 1915.

Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch // LSFU, XIII. Helsinki, 1956.

Nieminen Mauri. Suomen poronhoidon historia ja kehitys // Poropäivät 2006. Kooste Poropäivien esitelmäviestelmistä Kaamanen 27.–28.4.2006. Riistantutkimuksen tiedote 206. Helsinki, 2006. S. 1–39.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja, 1–7. Helsinki, 1955–1981.

Петр Мефодьевич Зайков

*Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск*

МЕЖДИАЛЕКТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОБЛАСТИ ВОКАЛИЗМА КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

В различных языках изменения гласных и согласных звуков делят на спонтанные, происходящие самостоятельно, и комбинаторные, причины которых невозможно или сложно определить. Примером спонтанных изменений могут быть изменения, происходящие под влиянием других языков. Среди комбинаторных изменений наиболее типичными являются различного рода ассимиляции. При анализе изменений гласных необходимо принимать во внимание структуру слова и слога, ударение и интонацию.

Обычно во всех языках мира вокализм лучше всего сохраняется в ударном слоге слова. В раннем прибалтийско-финском языке-основе главное ударение падало на первый слог, в силу чего в этой позиции гласные сохранились наилучшим образом.

В данной статье мы задались целью проследить презентацию и изменения монофтонгов в диалектах карельского языка. При этом анализ гласных будем проводить сначала для первого слога, затем середины и абсолютного конца слова. Особое внимание будем уделять исключениям из правил.

Гласные первого слога слова

Как уже отмечалось, в первом слоге слова гласные, как правило, сохраняются в неизменном виде.

1. /a/: с.-кар. *akka*, ливв. *akku*, люд. *akk(e)* ‘жена’, *kala* ‘рыба’.

В диалектах карельского языка исторический монофтонг /a/ отражается в дифтонге *ua* (< *oa* < *aa*), который развился из долгого *aa* в результате выпадения спiranта *y*: с.-кар. *šuarva* ‘выдра’ (< *šoarva* < *saarva* < **saayarva*), ср. ливв., люд. *sagarvo*; *juan* ‘я делю’ (< *joan* < *jaan* < **jayan*), *puata* ‘сбежать’ (< *poata* < *paata* < **payatak*) [Ojansuu 1918: 89].

2. /ä/: с.-кар., люд. *käki*, *kägi*, кнд *käge*, ливв. *kägöi*, люд. *kägyöi* ‘ку-кушка’ [СОСД 2007: 57].

Указательное местоимение ливв. *net*, люд. *ned* ‘те’ возникло из формы **näyet*, в котором в первом слоге выступал гласный /ä/ [Ojansuu 1918: 90].

3. /o/: *oja* ‘ручей’, *oma* ‘свой’:

а) исторический /o/ отражается также в имени существительном *ahavaini* ‘висок’ (< **ohavainen*), объяснение которому опирается на народную этимологию слова *ah(a)va* ‘сухой весенний ветер’ [Ojansuu 1918: 89];

б) на месте первоначального гласного /o/ выступает /u/ в слове *čuhmuri* ‘деревянная колотушка для колки дров’, ср. сев.-кар. *čohmuri* ‘Ibid’ [ССГ 2009: 23].

В паданском диалекте зафиксирована форма *umbelen* ‘я шью’ вместо ожидаемой *ombelen*. Х. Оянсуу полагает, что она возникла под влиянием слова *umbi* ‘закрытый’, что вполне вероятно, поскольку «шитье» так или иначе связано с закрыванием [Ojansuu 1918: 90].

4. /ö/: с.-кар. *pölkky*, ливв., люд. *pölky* ‘чурбак’ [СОСД 2007: 235–236].

5. /u/: *uni*, кнд *une* ‘сон’; *tuli*, кнд *tule*, држ *tul* ‘огонь’ [СОСД 2007: 144, 268].

6. /y/: *yksi* ‘один’, *kyly* ‘баня’.

а) В отдельных случаях /y/ > /i/: с.-кар. *pisyö*, *pizyö* ‘держаться’, ср. ливв., пдн *pyzyö*, *pyžyö*; клт *idimet* ‘мозг’ [Ojansuu 1918: 91; СОСД 2007: 177] (ср. фин. *udin*); люд., смз *likkeä* ‘толкать’ (ср. с.-кар. *lykätä*, *l'ykät'ä* ‘Ibid’) [Ojansuu 1918: 91; СОСД 2007: 113];

б) в наречии *siiričči* ‘мимо’ долгий гласный первого слога *ii*, по всей видимости, развился из /y/, т. е. *ii* < y (ср. фин. *syrjiitse* ‘Ibid’).

7. /e/: с.-кар. *repo, rebo*, држ *reb*, кнд *rebuo*, ливв. *reboi*, люд. *rebuoi* ‘лиса’;

а) гласный /e/ может переходить в /o, õ/, если за ним следуют согласные /л, н/: сев.-кар. *põläštyö*, пдн, тлч, ливв. *põlläštyö*, люд. *põlgäštyö* ‘испугаться’ (ср. фин. *pelko* ‘боязнь’); влз, вдл, ктк, олн *võnyö* ‘тянуться’ (ср. с.-кар. *venyö* ‘лежать’) [СОСД 2007: 114];

б) на месте первоначального /e/ выступает гласный переднего ряда /ä/: ливв., срв, слм, тлм *hätki* (ср. клв *hetki*) ‘момент’; ливв. *mennä*, с.-кар. *männä* ‘уйти’; с.-кар. *elä*, ливв. *älä* ‘ты не’ (повелит. накл. 2 л. ед. ч.);

в) /e/ > /i/. Этот и следующий звукопереход произошел в результате отпадения спирантов *ð, ɣ* во втором слоге: *viän* (~ *vejän*) ‘я тяну’ < *veän* < **vedän*; *miän* (~ *meijän*) ‘наш’ < **medän*; *tiän* (~ *teijän*) ‘ваш’ < **tedän*; *hiän* (~ *heijän*) ‘их’ < **hedän*;

г) /e/ > *ie*: с.-кар. *šieš* (*šekehe-, šegehe-*) ‘погода’ < **šeyeš*; *ieššä*, *ies* ‘впереди’ < **edeşšä*;

д) /e/ > *ei*: с.-кар. *einuštua* ‘предсказать’ (ср. фин. *ennustaa* ‘Ibid’).

8. /i/: с.-кар. *šilmä, silmä*; всг *s’il’m’ä*, ливв. *silmy*, кнд *silmö*, люд. *silme* ‘глаз’ [СОСД 2007: 101–102];

а) /i/ > /y/: с.-кар., вдл, вдл, тлм *kyven*, онд, пдн, тнг, рбл, слм, ливв. *kyben* ‘искра’ (ср. фин. *kipinä* ‘Ibid’);

б) /i/ > /e/: с.-кар. *pirtti*, ливв., тлм, тхв *perti*, люд. *pert* ‘изба, комната’. Звукопереход, возможно, произошел под влиянием ижорских диалектов, где *ir* > *er* фонетически обусловлен [Porkka 1885: 47; Ojansuu 1918: 93].

Таким образом, в карельском языке в первом ударном слоге монофтонги стабильно сохранились. Лишь в отдельных случаях произошли следующие изменения: *a* > *ua*; *ä* > *e*; *a, u, y* > *i, ii*; *e* > *o, õ, ä, i, ie, ei*; *i* > *y, e*.

Гласные второго и последующих слогов слова

Гласные монофтонги второго и последующих слогов подвержены существенным изменениям. При этом причиной изменений являются следующие за ними согласные и определенные словообразовательные суффиксы.

1. /a/ > /o/, /ä/ > /õ/:

а) в начальной форме имен существительных и прилагательных перед согласными *m* и *v*: сев.-кар. *muutoma* ‘некий, другой’, рбл, ргз, крб, срв *muudama* ‘Ibid’; тхв *kirjova*, с.-кар. *kirjava*, пдн, люд. *kir’d’ava*, ливв. *kirjavu*, *kird’avu*, олн, кнд *kirjau* ‘пёстрый’; клв, вкн *huokomat*, вдл *huogomat*, рбл, пдн *huogamat* ‘ноздри’ [СОСД 2007: 103]; с.-кар. *niärävö*, рбл, тнг *n’iärövä* [ССГ 2009: 180], ливв. *niäräv(y)* ‘пах’;

б) в именах существительных перед суффиксом коллективности *-veh*: *poikoveh, poigoveh* ‘выводок (утят)’ (< *poika-, poiga-* ‘утёнок’) (исключе-

ние: тнг *poigaveh*); *pešoveh*, *pezoveh* ‘выводок птиц’ (< *pešä-*, *pezä-* ‘гнездо’); *heinöveh*, тлм, смз *heinoveh* ‘косари’ (< *heinä-* ‘сено’).

В ливвиковском наречии встречаются, однако, формы слов с гласным /u, y/: слм *linnuveh* ‘горожане’, *kolatselgyveh* ‘жители д. Колатсельга’.

2. /a, ä/ > /e/

Изменения звуков происходят в следующих случаях:

а) перед суффиксом имен существительных *-huš*, *-hys*, *-vus*, *-vys*, имеющих значение качества или свойства: ливв., ргз, тлм *lujehuš* ‘твёрдость’ (< *luja-* ‘твёрдый’); ливв. *hoikkehuš* ‘тонкость’ (< *hoikka-* ‘тонкий’); ливв. *kylmevus* ‘холод’ (< *kylmä-* ‘холодный’);

б) перед рефлексивным суффиксом глаголов *-utu*, *-yty*, *-udu*, *-ydy*: *arkeutuo*, *argeuduo* ‘перестать поститься, испугаться’ (< *arka-*, *arga-* ‘повседневная еда, боязнь’); *tuškeutuo*, *tuškeuduo* ‘измучиться’ (< *tuška-* ‘муча, боль’);

в) в отдельных наречиях: ливв. *aiven* ‘совсем’ (< *aivan*).

3. /a, e/ > /u/

Изменения гласных происходят перед диминутивным суффиксом существительных *-kkaini*, *-kkäini*: *vuarukkaini* ‘горушка’ (< *vuara-* ‘гора’), *lapšukkaini* ‘ребёночек’ (< *lapše-* ‘ребёнок’) [VKK 2013: 104].

4. /e/ > /o, ö/

Данные изменения характерны для слов с переднерядной и заднерядной огласовкой перед губно-губным согласным /m/:

а) в именах существительных перед словообразовательными суффиксами *-ma*, *-mä*, *-mini*, *-mine*: сев.-кар. *kuoloma* ‘смерть’ (< *kuolen* ‘умру’); *lähtömä* ‘нетель’ (< *läh(t)en* ‘пойду’); *ompelomini*, ливв. *ombelomine* ‘шитьё’ (< *ompelen*, *ombelen* ‘шью’);

б) в формах 3. инфинитива: *kulkomah* ‘идти’ (< *kulen* ‘иду’); *lukomah*, *lugomah* ‘читать’ (< *luven* ‘читаю’); *itkomäh* ‘плакать’ (< *it(k)en* ‘плачу’);

в) /e/ > /i/ в именах существительных и причастиях перед суффиксом *-ja*, *-jä*, ливв., люд. *-i*: *juokšija*, *juoksii* ‘бегун, бегущий’ (*juokšen*, *juoksen* ‘бегу’), *tulija*, *tulii* ‘приходящий’ (*tulen* ‘приду’).

5. /o/ > /u/

Данный переход характерен только для людиковского наречия: *anupr* ‘тёща’; *kacup* ‘смотрю’, *samup* ‘скажу’ (ср. с.-кар., ливв. *anoppi*, *kačon*, *sanon*).

6. В раннем прибалтийско-финском языке-основе гласный /ö/ в непрерывных слогах не выступал. Он развился в период позднего прибалтийско-финского языка-основы первоначально в формах иллатива ед. числа в таких словах, как **töð* ‘работа’, **vöð* ‘пояс’, **öð* ‘ночь’ > **töðhön*, *vöðhön*, *öðhön*. Позднее этот гласный стал употребляться в таких словах, в которых в первом слоге были переднерядные гласные *ä*, *ö*, *y*, например, **näko*, *nägo* > *näkö*, *nägö* ‘зрение’; **pyuto*, *pyudo* > *pyutö*, *pyudö* ‘ловля’.

На позднее появление гласного /*ö*/ указывает то, что в ливвиковском и людиковском наречиях частицы *-bo* и *-go* до сих пор не имеют вариантов с переднерядным гласным, присоединяясь к словам с переднерядной и заднерядной огласовкой: *tuletgo?* ‘придешь ли?’, *minägo* ‘я?’, *sanotbo* ‘скажешь ведь’, *midäbo* ‘что же’ [Ojansuu 1918: 113, 150]. Отрицательный глагол имеет только формы 1, 2 л. мн. числа *emmo* ‘мы не’, *etto* ‘вы не’, не имея форм **emmö*, **ettö*.

Таким образом, гласные монофтонги второго и последующих слогов подвержены более существенным изменениям, по сравнению с гласными первого слога. Практически все гласные, за исключением *ö*, могут изменяться следующим образом: /*a*/ > /*o*/, /*ä*/ > /*ö*/; /*a*, *ä*/ > /*e*/; /*a*, *ä*/ > /*i*/; /*a*, *e*/ > /*u*/; /*e*/ > /*i*/; /*o*/ > /*u*/. Чаще всего изменяются гласные /*a*, *ä*/ и реже всего /*u*, *o*/.

Выпадение и вставка гласных

Выпадение гласных из середины слова, называемое синкопой, не является типичным для диалектов карельского языка. Тем не менее некоторые случаи синкопы имеют место практически во всех диалектах. В севернокарельских диалектах синкопированные формы встречаются редко, однако по мере продвижения на юг их становится все больше. Выпадать могут все гласные, кроме /*o*, *ö*/.

	сев.-кар.	с.-кар.	ливв.	люд.
1. / <i>a</i> /:	сев.-кар. <i>pellavaš, pellovaš</i> <i>viip(a)lo</i>	с.-кар. <i>pelvaš</i> <i>viib(a)lo</i>	ливв. <i>pelvas</i> <i>viiblo</i>	люд. <i>pelvaz</i> ‘лен’ <i>viiblo</i> ‘ломоть’
2. / <i>ä</i> /:	<i>teräväh</i> <i>kekäleš</i>	<i>terväh, -ä</i> <i>keg(ä)leš</i>	<i>terväh</i> <i>kegäleš</i>	<i>terävai</i> ‘быстро’ <i>kegäleš</i> ‘головешка’
3. / <i>e</i> /:	<i>huomeneš</i> <i>kymmenen</i>	<i>huomlneš, -uš</i> <i>kymmenen</i>	<i>huondes</i> <i>kymmene</i>	<i>huonduz</i> ‘утро’ <i>kymne</i> ‘десять’
4. / <i>i</i> /:	<i>ativo</i> <i>kuhilaš</i>	<i>ad'(i)vo</i> <i>ku(hi)ilas,</i> <i>kuhl()aš</i>	<i>ad'vo</i> <i>kuhl'as</i>	<i>ad'vo, adiv</i> ‘гость’ <i>kuhläs</i> ‘суслон’
5. / <i>u</i> /:	<i>pakkuli</i>	<i>pakkula</i>	<i>paklu, paglu</i>	<i>pakkul'(i)</i> ‘гриб-трутовик’
6. / <i>y</i> /:	<i>šykšy</i>	<i>sygyvs, sygyžy</i>	<i>sygyzy</i>	<i>šygyz, sygyz</i> ‘осень’

Выпадение гласных в середине слова – типичное явление для михайловского диалекта: *kainlon* ‘подмышки’ (< *kainalon*), *kaivda* ‘копать’ (< *kaivada*), *painmaha* ‘давить’ (< *painamaha*), *peiglod* ‘большие пальцы руки’ (< *peigalod*). Х. Оянсуу считает, что они возникли под влиянием вепсского языка, в котором синкопированные формы распространены достаточно широко [Ojansuu 1918: 127].

В тверском диалекте дёржа также находим большое количество слов с выпавшими гласными в середине слова: *I lähet hebzen* (< *hebozen*)

seiztat (< *seizatat*) [NKK I: 258] ‘и пойдешь, лошадь остановишь’.
Noššatmaa (< *noššattamaa*) *tuloo* [NKK I:256] ‘будить приходит’.

В некоторых случаях, напротив, происходит вставка гласного в середину слова, например, тлм *kahava* ‘волокуша’ < *kahva*, клв, тлм *mahala* ‘древесный сок’ < *mahla*, ливв. *mähändy*, люд. *mähänd(ë)* < с.-кар. *mähnä* ‘рыбья икра’ [СОСД 2007:63]; тнг, ргз, пдн, сст, смз *laihna*, сев.-кар. *laihina* [KKS] ‘долг’; всг, влд, тлм *šulahan’e*, ливв. *sulaha(i)ne*, сев.-кар. *šulhani* ‘жених’ [СОСД 2007: 283]; *kirikkö* ‘церковь’ (ср. фин. *kirkko*).

Итак, выпадение гласных из середины слова в целом не является типичным для карельского языка. Имеется лишь ограниченное количество синкопированных форм практически во всех диалектах, при этом выпадать могут все гласные, кроме /o, ö/. В михайловском и дёржанском диалектах обнаруживается наибольшее количество слов с выпавшими гласными. В некоторых случаях, напротив, происходит вставка гласного в середину слова.

Гласные абсолютного конца слова

Если в начальной форме двухсложных существительных, прилагательных, наречий и причастий (на *-jä, -jä, -va, -vä*) конечным гласным в собственно карельском наречии являются /a, ä/, то в ливвиковском на их месте выступают /u, y/, в кондушском – /o, ö/, в святозерском диалекте – /e/ в случаях, когда первый слог слова был исторически долгим, т. е. если в настоящее время он является закрытым (оканчивается на согласный) или в нем имеется дифтонг или долгий гласный. Подобное распределение конечных гласных происходит также в падежных формах партитива и эссива (за исключением людиковского наречия). В многосложных словах все зависит от структуры предпоследнего слога. Если он закрытый, то изменения конечных гласных те же, что и в двухсложных словах.

с.-кар.	ливв.	кнд	свт
<i>ruota, ruoda</i>	<i>ruodu, ruadu</i>	<i>riado</i>	<i>ruode</i> ‘рыбья кость’
<i>liävä</i>	<i>liävy</i>	<i>liävö</i>	<i>liäve</i> ‘хлев’
<i>kieltä</i>	<i>kieldy</i>	<i>kieldö</i>	<i>kielde</i> ‘языка’
<i>kielenä</i>	<i>kielemy</i>	<i>kielemö</i>	<i>kielemne</i> ‘языком’
<i>vaskičča</i>	<i>vaskičču</i>	<i>vaskiččo</i>	<i>vaskiče</i> ‘медянка (змея)’
<i>viikatehta</i>	<i>viikatehtu</i>	<i>viikatehto</i>	<i>viikatehte</i> ‘серпа’
<i>viikattehena</i>	<i>viikatehennu</i>	<i>viikattehenno</i>	<i>viikatehenne</i> ‘серпом’

Однако если первый слог двухсложного слова был исторически кратким, т. е. в настоящее время он является открытым (оканчивающимся на краткий гласный), то конечные гласные /a, ä/ во всех без исключения диалектах остаются без изменения: *pala* ‘кусок’, *oja* ‘ручей’, *ota* ‘свой’, *nenä* ‘нос’, *perä* ‘корма’, *häätä, hädä* ‘беда’.

Многосложные существительные и причастия на *-ja*, *-jä* сократились в ливвиковском и людиковском наречиях таким образом, что сначала отпал конечный гласный /*a*, *ä*/, затем согласный *j* перешел в *i* (*j* > *i*)

с.-кар.	ливв.	люд.
<i>apaja, abaja</i>	<i>abai</i>	<i>abai</i> ‘тоня’
<i>tietäjä, tiedäjä</i>	<i>tiedäi</i>	<i>tiedäi</i> ‘знающий, знахарь’
<i>kuččija</i>	<i>kuččui</i>	<i>kuččui</i> ‘зовущий’
<i>eččija</i>	<i>eččii</i>	<i>eččii</i> ‘ипущий’

Изменение конечных гласных *a* > *u*, *ä* > *y* является характерной особенностью ливвиковского наречия, на которую обращают внимание многие исследователи. Они, прежде всего, считают, что названный переход не мог происходить напрямую, переходной стадией было *a*, *ä* > *o*, *ö* [Ojansuu 1918: 132; Itkonen 1971: 172]. Что же послужило причиной изменения конечных гласных в ливвиковском наречии? Л. Кеттунен предположил, что на это решительным образом повлиял вепсский язык, в котором предпосылки отпадения конечных гласных *a*, *ä* те же самые, что и в ливвиковском наречии: в двухсложных словах, если первый слог был исторически долгим, а также и во всех многосложных словах *mec* ‘лес’, *izänd* ‘хозяин’, *harag* ‘сорока’ [Kettunen 1940: 17]. Терхо Итконен задается вопросом, каким образом происходил процесс изменения конечных гласных в ливвиковском наречии? По его мнению, отпадение конечных гласных в вепсском языке не было одномоментным, это был длительный процесс, связанный с редукцией гласных. По всей видимости, полагает он, когда в вепсском языке происходила редукция конечных гласных (*a* > **ä*, *ä* > **a*), то именно в этот период вепсский язык частично ассимилировался карельским. Продолжительное и достаточно интенсивное влияние карельского языка привело к тому, что формы с редуцированными гласными стали замещаться формами с конечными гласными полного образования [Itkonen 1971: 172].

Представляется, что первоначально редуцированный */*ä/* перешел в гласный */o/* (**ä* > *o*), на что указывают многочисленные примеры из кондушского диалекта (*hamaro* < *hamara* ‘обух топора’, *homehto* < *homehta* ‘плесени’, *paimenepno* < *paimenena* ‘пастухом’). Позднее, в силу гармонии гласных, наряду с */o/*, появился гласный переднего ряда */ö/*. В более поздний период конечные гласные */o*, *ö/* развились в ливвиковском в аудитивно близкие им гласные */u*, *y/*.

Редуцированный же */*a/* изменился в переднерядный гласный полного образования */e/*, который утвердился в святозерском диалекте в абсолютном исходе слова: *päive* ‘день’ [см.: Itkonen 1971: 173].

Покажем возможные варианты изменения конечных гласных в разных диалектах карельского языка.

1. В двухсложных и многосложных словах: ливв. *a, ä* > *u, y*; кнд. > *o*, *ö*; свт. > *e*

с.-кар.	ливв.	кнд	свт
<i>vihma</i>	<i>vihmu</i>	<i>vihmo</i>	<i>vihme</i> ‘дождь’
<i>meččä</i>	<i>mečču</i>	<i>meččö</i>	<i>mečče</i> ‘лес’
<i>kurnikka</i>	<i>kurnikku</i>	<i>kurnikko</i>	<i>kurnikke</i> ‘рыбник (пирог)’
NB! <i>paha</i>	<i>paha</i>	<i>paha</i>	<i>paha</i> ‘плохой’

2. Нижеследующие изменения гласных происходят редко и лишь в отдельных диалектах:

/a/ > */i/*: ргз *kukkuri* < *kukkura* ‘верхушка, холм’ [ССГ 2009: 115];

/ä/ > */i/*: клт, свт *kypši, kypsi* (< *kypsä*) ‘спелый, зрелый’; всг, тлч, влз, вдл, олн *hämäri* < *hämärä* ‘сумерки’ [СОСД 2007: 196, 59];

/u, y/ > */o, ö/*: кнд *lindo* (< *lindu*) ‘птица’; *vilo* (< *vilu*) ‘холод’; *čuppo* (< *čuppu*) ‘угол’; *käbö* (< *käby*) ‘иглица’ [СОСД 2007: 55, 154, 256, 230];

/ol/ > */il/*: клт, влз, вдл *bokki* (< *bokko*) ‘баран’; влз, вдл, олн *kukk* (< *kukko*) ‘петух’ [СОСД 2007: 208, 211];

/el/ > */il/*: онд, всг, влд, тлч *ruožmi* (< *ruožme*) ‘ржавчина’ [СОСД 2007: 196];

/il/ > */el/*: кнд *kaske* (< *kaski*) ‘подсека’, *save* (< *savi* ‘глина’), *veičče* (< *veičči* ‘нож’), *polve* (< *polvi*) ‘колени’, *vere* (< *veri*) ‘кровь’, *suone* (< *suoni*) ‘жила, сухожилие’ [СОСД 2007: 191, 29, 220, 95, 101, 101].

В кондушском диалекте в формах 3 л. ед. числа имперфекта изъявительного наклонения произошло расширение гласного *i* (*i* > *e*): *tule* (< *tuli*) ‘он пришел’, *men’e* (< *meni*) ‘он ушел’ [Зайков 2000: 110].

Таким образом, менее типичными изменениями конечных гласных являются */a/* > */i/*, */äl/* > */il/*, */u, y/* > */o, ö/*, */ol/* > */il/*, */el/* > */il/*.

Выпадение конечных гласных слова

Конечный гласный стабильно сохраняется в севернокарельских и тверских диалектах (кроме држ).

1. Выпадение конечных гласных */a, ä/* происходит в следующих случаях:

а) в начальных формах двухсложных слов в людиковском наречии (за исключением святозерского) и в дёржанском диалекте, при долгом или закрытом слоге

/a, ä/ > *Ø*:

с.-кар.	држ	ливв.	люд.
<i>halla</i>	<i>hall</i>	<i>hallu</i>	<i>hall</i> ‘заморозок’
<i>hántä, händä</i>	<i>händ</i>	<i>händy</i>	<i>händ</i> ‘хвост’

б) в многосложных словах ливв., люд., држ, если предпоследний слог имеет структуру CV:

<i>karšina, karžina</i>	<i>karžin</i>	<i>karzin</i>	<i>kuarzin</i> ‘подполье’
<i>sakara, šagara, zagara</i>	<i>sagar</i>	<i>sagar</i>	<i>sagar</i> ‘петля двери’
<i>räččinä</i>	<i>räččim</i>	<i>räččim</i>	<i>räččim</i> ‘рубашка’

В кондушском диалекте в этих случаях может сохраняться гласный /o/, *öl: lähtemö* ‘нетель’, *käbälö* ‘лапа’, *kurnikko* ‘рыбник’, *sul’čino* ‘сканец’ [СОСД 2007: 207, 51, 155].

в) в падежных окончаниях инессива -s, адессива -l, в людиковском также партитива -t, -d и эссива -n:

сев.-кар.	с.-кар.	ливв.	люд.
<i>järveššä</i>	<i>järves(sä)</i>	<i>järves</i>	<i>järves</i> от <i>järvi</i> ‘озеро’
<i>pellolla</i>	<i>pellol(la)</i>	<i>pellol</i>	<i>pellol</i> от <i>pelto</i> ‘поле’
<i>kieltä</i>	<i>kieltä, kieldä</i>	<i>kieldy</i>	<i>kield</i> от <i>kieli</i> ‘язык’
<i>miehenä</i>	<i>miehenä</i>	<i>miehenny</i>	<i>miehen</i> от <i>mies</i> ‘мужчина’

г) в глагольных формах 1 и 2 л. мн. числа изъявительного и сослагательного наклонений в людиковском наречии: *tulemm* (< *tulemma*) ‘мы придем’, *tulimm* (< *tulimma*) ‘мы пришли’, *tulett* (< *tuletta*) ‘вы придёте’, *tulitt* (< *tulitta*) ‘вы пришли’, *tulizimm* (< *tulizimma*) ‘мы пришли бы’, *tulizitt* (< *tulizitta*) ‘вы пришли бы’;

д) в наречиях и послелогах: ливв., люд. некоторые диалекты с.-кар. *ker* ‘с’ (< *kera*), *rinnal* ‘рядом’ (< *rinnalla*), *tagan* ‘за’ (< *takana*), *peräs* ‘следом’ (< *perässä*), *keskel* ‘посреди’ (< *keskellä*), *täs* ‘здесь’ (< *tässä*), *loitton* ‘далеко’ (< *loittona*).

2. *li/* > *Ø*:

а) в номинативе и транслативе людиковского наречия и дёржанского диалекта

сев.-кар.	држ	ливв.	люд.
<i>hiiri</i>	<i>hiir</i>	<i>hiiri</i>	<i>hiir</i> ‘мышь’
<i>šäiki, šängi</i>	<i>šäng</i>	<i>šängi</i>	<i>šäng</i> ‘стергия’
<i>veičči</i>	<i>veičč</i>	<i>veičči</i>	<i>veičči</i> ‘нож’
<i>talokši</i>	<i>talokš</i>	<i>talokse</i>	<i>talokš om talo</i> ‘дом’

б) в людиковских и дёржанском диалектах наблюдается выпадение суффикса имперфекта изъявительного наклонения глаголов:

män’ < *mäni* ‘(он) ушёл’, *tul*’ < *tuli* ‘он пришёл’, *kuol*’ < *kuoli* ‘он умер’;

в) в первой части сложного слова: рбл *appukko* [СОСД 2007: 292] < *appiukko* ‘тесть’; тлч *ris’tuatto*, влд *ris’toatto*, држ *ris’toatt*, всг *ris’tiatto* < *ristituatto* ‘крёстный отец’ [СОСД 2007: 292, 285–286].

г) в глагольных формах 3 л. ед. числа презенса (имперфекта) сослагательного наклонения:

läksis’, *lähtis* ‘он пошёл бы’, *ottais*’, *ottas* ‘он взял бы’ (ср. фин. *lähtisi*, *ottaisi*).

3. /e/ : држ *lat* ‘пол’, *perž* ‘зад’, *pär* ‘лучина’ [СОСД 2007: 257, 97].

4. /o/ > *Ø*:

а) в начальной форме имен в дёржанском диалекте: *loukk* (< *loukko*) ‘дыра’, *heim* (< *heimo*) ‘племя’ [СОСД 2007: 169, 301];

б) в некоторых сложных словах, особенно в топонимах: *Heboja* (< *Hebo-oja*), *Sagarvoja* (< *Sagarvo-oja*);

5. /u, y/: люд., држ *lampp* (< *lamppu*) ‘лампа’, *höyr* (< *höyry*) ‘пар’.

Конечный гласный стабильно сохраняется в севернокарельских и тверских диалектах (кроме држ).

1. Выпадение конечных гласных /a, ä/ происходит в следующих случаях:

а) в начальных формах двухсложных слов в людиковском наречии (за исключением свт) и в дёржанском диалекте;

б) в многосложных словах (ливв., люд., држ), если предпоследний слог имеет структуру CV;

в) в глагольных формах 1 и 2 л. мн. числа изъявительного и сослагательного наклонений (люд., мхл);

г) в наречиях и послелогатах (ливв., люд., некоторые диалекты с.-кар);

д) в некоторых сложных словах, в том числе в топонимах, в которых конечный гласный выпадает в первом компоненте слова.

2. Выпадение аусляутного /i/ происходит в людиковских и дёржанском диалектах в начальных формах имен, в падежном окончании транслатива -*ks*, -*kš*, в формах имперфекта изъявительного наклонения глаголов, в глагольных формах 3 л. ед. числа презенса (имперфекта) сослагательного наклонения, в первой части сложного слова.

3. Выпадать также могут следующие гласные: /e/ (држ), /o/ (држ), /u/, /y/ (люд., држ).

Схема диалектов карельского языка

Собственно карельское наречие		Ливвиковское наречие	Людиковское наречие
севернокар. диал.	южнокар. диал.		
кестеньгский	ругозерский	сямозерский	севернолюдиковский диал.
тихтозерский	тунгудский	тулмозерский	
вокнаволоцкий	ребольский	ведлозерский	среднеподиковский диал.
ухтинский	паданский	видлицкий	
контокский	поросозерский	коткозерский	южнолюдиковский диал.
юпкозерский	мяндусельгский	рыпушкальский	
панозерский	суоярвский	неккульский	михайловский диал.
подужемский	корбисельгский	кондушский	
	суйстамский	салминский	
	импилахтинский		
	итомантсийский		
	тихвинский		
	толмачевский		
	весьегонский		
	валдайский		
	дёржанский		

Список сокращений

фин. – финский язык

с.-кар. – собственно карельское наречие карельского языка

ливв. – ливвиковское наречие карельского языка

люд. – людиновское наречие карельского языка

Диалекты

вдл – видлицкий	рбл – ребольский
вкн – вокнаволоцкий	ргз – ругозерский
влз – веддозерский	свт – святозерский
всг – весьегонский	сев.-кар. – севернокарельские
држ – дёржанский	слм – салминский
имп – импилахтинский	смз – сямозерский
клв – калевальский	срв – суоярвский
клт – колатсельгский	сст – суйстамский
крб – корбисельгский	тлм – тулмозерский
ктк – коткозерский	тлч – толмачевский
мхл – михайловский	тнг – тунгудский
олн – олонецкий	тхв – тихвинский
пдн – паданский	

Литература

Зайков П. М. Глагол в карельском языке. Петрозаводск, 2000.

СОСД – Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепского и саамского языков. Петрозаводск, 2007.

ССГ – Федотова В. П., Бойко Т. П. Словарь собственно карельских говоров Карелии. Петрозаводск, 2009.

Itkonen T. Aunuksen äänneopin erikoispiirteet ja aunukselaismurteiden synty // Virittäjä 2. Tartu, 1971.

Kettunen L. Suomen lähisukukielten luonteenomaiset piirteet // Virittäjä. Helsinki, 1940.

NKK – Näytteitä karjalan kielestä. I. Petroskoi, 1994.

Ojansuu H. Karjala-aunuksen äännehistoria. Helsinki, 1918.

Porkka V. Über den Ingrischen Dialekt. Helsinki, 1885.

VKK – Zaikov P. Vienankarjalan kielioppi. Helsinki, 2013.

СЛУЧАИ АФФИКСАЛЬНОГО ПЛЕОНАЗМА В КАРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

(по результатам исследования именной словоизменительной системы
тверских карельских диалектов)*

Как и все прибалтийско-финские языки, карельский по своему происхождению и характеру относится к агглютинативному типу языков, в которых словоизменение происходит путем агглютинации, т. е. механическим присоединения однозначных стандартных аффиксов к неизменяемым основам или корням [Ахманова 2007: 31].

Выделяются следующие основные признаки агглютинативных языков: развитая система прогрессивной суффиксальной агглютинации; единый тип склонения; отсутствие у лексем каких-либо грамматических значений, кроме частеречных; грамматическая однозначность аффиксов; их иерархическая последовательность; четкость границ между морфемами; отсутствие на их стыках значительных звуковых изменений, а также фонетически не обусловленного алломорфизма; наличие звуковых вариантов аффиксов, являющееся результатом действия сингармонизма; отсутствие значимых чередований при возможном наличии позиционной альтернации; твердый порядок слов в словосочетании [ЛЭС 1990: 17; Гузев, Бурькин 2007: 109–117]. Прибалтийско-финские языки в большей или меньшей степени соответствуют данному описанию, однако во многих из них в процессе развития большое значение приобрели флективные способы словоизменения: чередования гласных и согласных основ, геминация, чередования конечных гласных основы [ОФУЯ 1975: 48, 52–53], а также ступеней согласных. Не является исключением и карельский язык. В настоящей статье предлагается рассмотреть один из признаков отступления карельской словоизменительной системы от агглютинативного идеала – случаи аффиксального плеоназма или грамматической избыточности.

Аффиксальным плеоназмом «чистого» типа принято называть случаи удвоения аффиксов одного и того же (или близко сходного) грамматического значения в пределах слова [Благова 1968: 83]. По степени материальной идентичности аффиксов выделяют две основные группы аффиксальных плеоназмов:

* Статья подготовлена по проекту МК-3594.2015.6 «Исследование грамматической системы диалектов карельского языка Центральной России», грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых.

1) точное повторение форманта, обычно живого и регулярно функционирующего в языке, при выражении одного и того же грамматического значения;

2) одновременное выражение одного и того же грамматического значения двумя разными аффиксами с одинаковой функцией, т. е. случаи контаминации аффиксов [Благова 1968: 83–87; Тутаришева, Тутаришева 2013: 65].

В ходе исследования именной словоизменительной системы, а точнее, процесса образования форм множественного числа, в тверской группе собственно карельских диалектов (толмачевского, весьегонского и дёржанского) были выявлены оба вида аффиксального плеоназма, которые и предлагается рассмотреть в рамках настоящей статьи.

К словоизменению имен в прибалтийско-финских языках относится образование грамматических форм падежа и числа, в то время как категории притяжательности и сравнения все чаще рассматриваются как пограничные случаи словоизменения и словообразования. Иерархическая последовательность показателей в системе склонения карельского языка выглядит следующим образом: лексическая основа – число – падеж (напр., *peldo-loi-lla* (адесс. мн.) от *peldo* ‘поле’, где *peldo-* – лексическая основа слова, *-loi-* – показатель множественного числа, *-lla* – показатель адессива). При этом показатель числа, присоединяясь к лексической основе слова, образует вместе с ней словоизменительную основу (*peldoloi-*) [Зайцева 2002: 23].

Прежде чем перейти к анализу образования форм множественного числа карельского языка, необходимо обратить внимание на функционирующие в нем виды основ. Важно учитывать такую (восходящую к языку-основе) особенность прибалтийско-финских языков, как наличие одно- и двухосновных имен [ОФУЯ 1975: 51]. Лексемы, обладающие только гласной основой, называются одноосновными, а лексемы, имеющие гласную и согласную основы, соответственно, – двухосновными. У одноосновных лексем при словоизменении грамматический показатель присоединяется к единственно возможной гласной основе, т. е. заканчивающейся на гласный звук. Одноосновные имена и глаголы представлены одно-, дву- и многосложными гласными основами. Кроме того, гласные основы карельского языка, в связи с наличием явления альтернации согласных, принято разделять на сильную, слабую и основу, не содержащую чередования. При словоизменении же двухосновных лексем в одних формах выступает согласная основа, заканчивающаяся на согласный звук, остальные же формы образуются путем присоединения показателей к гласной основе. Фонологические особенности двухосновных имен объясняют наличие в согласной основе слабой ступени чередования, а в гласной – сильной.

Итак, для тверских диалектов карельского языка, как и для всех остальных, характерна бинарная структура категории числа, т. е. противопоставление единственного и множественного числа.

Форма единственного числа в карельском языке не маркирована, т. е. не имеет специального показателя, в данном случае падежный формант присоединяется напрямую к лексической основе слова. Напр., тлм.: *El'et't'ih ukko i akka. Kirvotettih karžinah hernehyön.* 'Жили старик и старуха. Уронили в подвал горошину' [ПМЗ: 13]; всг.: *Bajar'i el'i omašša koissa.* 'Помещик жил в своем доме' [ОКР: 24]; *A per'eh šuur'i...* 'А семья большая...' [NKK: 239]; држ.: *Mie olen jo vahn, i puamet't' miwl om viäl' huv.* 'Я уже старый, и память у меня еще хорошая' [СКГ: 9]. Множественное же число выражается несколькими показателями, каждый из которых употребляется в определенных фонетических и морфологических условиях. Речь идет о словоизменительных показателях *-i*-, *-loi*- / *-löi*- и *-t*.

Аффикс *-t*, возводимый исследователями к финно-волжскому или даже уральскому праязыку [Hakulinen 1979: 9; ЯН СССР III: 180, 326, 340], используется для образования форм множественного числа номинатива и аккузатива, являясь, таким образом, одновременно показателем и числа, и падежа. Аффикс присоединяется к слабой гласной основе одноосновных имен и сильной гласной основе двухосновных. Напр., тлм.: *A šuwret pyhät mittyöt oldih pyhät pität.* 'А Великие посты какие долгие были' [КПКС: 91]; всг.: *Kn'iigat kar'ielaz'et oldih.* 'Книги карельские были' [ОКР: 14]; држ.: *L'ehmät ejj jol yhemmuaz'et.* 'Коровы не одинаковые' [NKK: 261]; *A to br'iužat old'ii muaz'et.* 'А то цепи были такие' [NKK: 257].

В данном случае один показатель объединяет в себе два разных грамматических значения. Если в агглютинативных языках подобные случаи совмещения считаются вполне возможными, то обратное явление, т. е. выражение одного грамматического значения двумя аффиксами, исключается. В идеале в одной словоформе возможно наличие лишь одного словоизменительного показателя соответствующей грамматической категории [ISK 2010: 85]. Анализируемый процесс образования форм множественного числа имени в тверских карельских диалектах позволил выявить некоторые отступления от этого правила.

Словоизменительная основа слова, используемая в процессе образования в карельском языке форм множественного числа косвенных падежей, формируется путем присоединения к лексической основе показателей *-i*-, *-loi*- / *-löi*-, напр., тлм.: *Kavel'emmä omilla kalmoilla, muistelemma.* 'Ходим по могилкам своих (родственников), поминаем' [КПКС: 91]; *Peity l'eht'ilöin alla.* 'Спрячься под листьями' [ПМЗ: 29]; всг.: *Moiz'ie pert'ilöidä miän paikoissa ei ollun.* 'Таких изб в наших местах не было' [ОКР: 12]; *Otetah bogatoista taloloista.* 'Берут из богатых домов' [NKK: 237]; држ.: *Ruadoim kaikki ruadloi káz'löil'.* 'Мы все работы руками делали' [СКГ: 9]; *Lapšii ris'tittim kir'ikeš.* 'Детей крестили в церкви' [ДКТ: 88].

Первый из перечисленных показателей множественности *-i-*, развившийся в систему в прибалтийско-финско-саамском языке-основе, возводится языковедами к уральскому праязыку [Hakulinen 1979: 91; Häkkinen 1985: 75]. Аффикс *-i-* используется при образовании форм множественного числа одноосновных и двухосновных имен с основой, заканчивающейся на гласные *a*, *ä*, *e*, напр., тлм.: *kanoilla*¹ (адесс. мн.) от *kana* ‘курица’, *ikkunoilla* (адесс. мн.) от *ikkuna* ‘окно’, *hambahilla* (адесс. мн.) от *hammas* ‘зуб’ (гл. осн. *hambaha-*); *naiz'ih* (илл. мн.) от *naine* ‘женщина’ (гл. осн. *naize-*), а также многосложных одноосновных и двухосновных имен с основой на дифтонг, напр., тлм.: *kondeilla* (адесс. мн.) от *kondie* ‘медведь’, *näreidä* (парт. мн.) от *näre* ‘ель’ (осн. *närie-*), *šuappaida* (парт. мн.) от *šuapaš* ‘сапог’ (гл. осн. *šuappua-*), *keväillä* (адесс. мн.) от *keviä* ‘весна’. Как наглядно показывают примеры, показатель присоединяется к гласной основы (при этом выбор ступени чередования одноосновных имен зависит от следующего далее падежного показателя) и входит в ее последний слог, вызывая определенные изменения конечного гласного компонента. Речь идет о выпадении конечного гласного основы или об изменении его качества. Приведем также примеры из других тверских карельских диалектов: **всг.**: *šoržilla* (адесс. мн.) от *šorža* ‘утка’, *s'il'missä* (инесс. мн.) от *s'il'mä* ‘глаз’; **држ.**: *šobih* (илл. мн.) от *šob* ‘рубашка’ (осн. *šoba-*), *kaikkill* (адесс. мн.) от *kaik* ‘все’ (осн. *kaikke-*); **всг.**: *aigoih* (илл. мн.) от *aiga* ‘время’, *räččinöih* (илл. мн.) от *räččinä* ‘сорочка’, *kiwgaida* (парт. мн.) от *kiwga* ‘печь’; **држ.**: *kyl'ist* (элат. мн.) от *kyl* ‘деревня’ (осн. *kylä-*), *vuatteis* (инесс. мн.) от *vuate* ‘одежда’ (гл. осн. *vuattie-*).

Следует отметить, что во всех анализируемых диалектах, наряду со случаями выпадения конечных гласных основы *a*, *ä*, *e*, в результате присоединения показателя множественного числа *-i-* достаточно часто встречаются случаи «удвоения» аффикса и в итоге образования дифтонга *-ii-*, напр., тлм.: *kaikkiih* (илл. мн.) от *kaikki* ‘весь’ (осн. *kaikke-*), *kyl'iissä* (инесс. мн.) от *kylä* ‘деревня’, *l'ehmiin* (ген. мн.) от *l'ehmä* ‘корова’, *šarvuz'iissa* (инесс. мн.) от *šarvun'e* ‘рожок’ (гл. осн. *šarvuze-*); **всг.**: *meččäz'iissä* (инесс. мн.) от *meččän'e* ‘лесок’ (гл. осн. *meččäz'e-*), *ruošilla* (адесс. мн.) от *ruoška* ‘кнут’, *pit'iillä* (адесс. мн.) от *pit'ka* ‘длинный’, *pordahiin* (ген. мн.) от *pordahat* ‘лестница’; **држ.**: *hebz'iil* (адесс. мн.) от *hebon* ‘лошадь’ (гл. осн. *hebze-*).

¹ Примеры приведены из сборников образцов карельской речи, расшифровок магнитофонных записей, произведенных в местах компактного проживания тверских карелов, диалектных словарей карельского языка.

С одной стороны, здесь могут иметь место позиционные чередования гласных *a : i, ä : i, e : i*, характерные для южнокарельских периферийных диалектов и некоторых южных диалектов ливвиковского наречия [Зайков 2000: 116], в таком случае первый гласный *-i-* следует отнести к альтернантам. С другой – речь может идти о первом виде аффиксального плеоназма, т. е. использовании удвоенного аффикса для выражения одного и того же грамматического значения, в таком случае нет основания для выделения особого аффикса множественности *-ii-*. Очевидно, рассматриваемое явление архаично, поскольку довольно редко встречается в системе именного словоизменения, формы подобного рода удастся обнаружить в основном в фольклорных текстах. Аналогичное явление характерно для диалектов вепсского языка [Зайцева 1981: 155], а также ижорского [Junus 1936: 42]. Наличие удлинения показателя *-i-*, отмеченное и в диалектах финского, эстонского и водского языков, дало основание Э. Сетяля и Э. Тункело для выделения в прибалтийско-финском языке-основе признака множественности *-i-* [см.: Tunkelo 1938]. Вероятно, показатель *-ii-* тверских карельских диалектов восходит именно к этому прибалтийско-финскому аффиксу, образование которого, однако, может также являться следствием аффиксального плеоназма.

Мнения исследователей относительно показателя *-loi-* / *-löi-* расходятся. Согласно точке зрения одних, аффикс был сформирован метаналитическим путем или путем переразложения элементов основы *-l* и *-O* [см.: ОФУЯ 1975: 54]; согласно Х. Лескинену, формант получил распространение от форм множественного числа имен на *-lO* [Leskinen 1998: 365]; Т. Туоми же возводит его к древнему суффиксу **-lA*, претерпевшему закономерные фонетические изменения в позиции перед гласным *i* (*-lA-* + *-i-* > *-lOi-*) [Tuomi 1990: 195]. Мнения сходятся в одном: показатель был образован в древнекарельском языке, т. к. встречается во всех его дочерних языках. Аффикс *-loi-* / *-löi-* закономерно присоединяется к сильной гласной основе одноосновных имен с основой на краткий гласный *o, ö, u, y, i*, к двухосновным именам с гласной основой на *de-*, напр., тлм.: *kandoloilla* (адесс. мн.) от *kando* ‘пень’, *kujoloissa* (инесс. мн.) от *kujo* ‘прогон’, *peldoloilla* (адесс. мн.) от *peldo* ‘поле’, *koivuloissa* (инесс. мн.) от *koivu* ‘береза’, *käbülöistä* (элат. мн.) от *käby* ‘шишка’, *purdiloloissa* (инесс. мн.) от *purdilo* ‘блюдо’, *karbaloloinke* (ком. мн.) от *karbalo* ‘клюква’, *hämähikkölöis’tä* (элат. мн.) от *hämähikkö* ‘паук’, *kaz’iloilla* (адесс. мн.) от *kaz’i* ‘кошка’, *sver’ez’ilöissä* (инесс. мн.) от *sverez’i* ‘ферязь’, *pert’ilöidä* (парт. мн.) от *pert’i* ‘изба’, *käz’ilöillä* (адесс. мн.) от *käde-* ‘рука’, *vez’ilöih* (илл. мн.) от *vede-* ‘вода’, а также к односложным и некоторым двусложным именам, заканчивающимся на дифтонг, напр., тлм.: *yölöidä* (парт. мн.) от *yö* ‘ночь’, *vyölöidä* (парт. мн.) от *vyö* ‘ремень’,

mualoissa (инесс. мн.) от *mua* ‘земля’, *piälöistä* (элат. мн.) от *piä* ‘голова’, *puwloissa* (инесс. мн.) от *puw* ‘дерево’, *tanhuoloissa* (инесс. мн.) от *tanhuo* ‘скотный двор’. В фольклорных текстах встречаются случаи, когда в сложных лексемах, вторым компонентом которых является односложное слово с дифтонгами *ua*, *iä*, *ie*, образование формы множественного числа происходит при помощи показателя *-i-*, напр., тлм.: *kangaš|maissa* (инесс. мн.) от *kangaš|mua* ‘бор’, *heinä|mailla* (адесс. мн.) от *heinä|mua* ‘покос’. Для иллюстрации в данном случае были приведены примеры из толмачевского диалекта карельского языка, поскольку распределение показателей множественности в весьегонском диалекте не обнаруживает существенных отличий. Однако в держанском диалекте возможно использование показателей *-loi-* / *-löi-* и в именах с основой на гласные *a*, *ä*, напр., држ.: *l'epplöis's* (инесс. мн.) от *l'epp* ‘ольха’ (осн. *l'eppä-*), *meččlöi* (парт. мн.) от *mečč* ‘лес’ (осн. *meččä-*), *kalloi* (парт. мн.) от *kal* ‘рыба’ (осн. *kala*), *kežlöl'l* (адесс. мн.) от *kež* ‘лето’ (осн. *kežä-*), *kyl'löi* (парт. мн.) от *kyl* ‘деревня’ (осн. *kylä-*), *huabloist* / *huaboist* (элат. мн.) от *huab* ‘осина’ (осн. *huaba-*), *hän'd'löi* (парт. мн.) от *hän'd* ‘хвост’ (осн. *hän'dä-*), что, очевидно, является результатом явления апокопы, широко распространенного в данном диалекте.

Работа с диалектными материалами показала, что во всех тверских диалектах карельского языка проявляется тенденция к использованию сразу двух показателей множественного числа. Речь идет об одноосновных и двухосновных именах с гласной основой на *e*, который выпадает перед показателем множественного числа *-i-*, однако за ним довольно часто выступает еще и показатель *-loi-* / *-löi-*. Особо ярко данная тенденция выражена в держанском диалекте, где она затрагивает также многосложные одноосновные имена на дифтонг. Напр., тлм.: *täht'ilöillä* (адесс. мн.) от *täht'i* ‘звезда’ (осн. *täht'e-*), *lumiloida* (парт. мн.) от *lumi* ‘снег’ (гл. осн. *lume-*), *šuoŋ'iloissa* / *šuoŋ'issa* (инесс. мн.) от *šuoŋ'i* ‘сосуд’ (гл. осн. *šuoŋe-*), *käz'ilöillä* / *käz'illä* (адесс. мн.) от *käz'i* ‘рука’, *mez'ilöissä* (инесс. мн.) от *mez'i* ‘мед’; всг.: *hahniloista* (элат. мн.) от *hahni* ‘гусь’ (осн. *hahne*), *huol'iloista* (элат. мн.) от *huol'i* ‘забота’ (гл. осн. *huol'e-*); држ.: *olgloi* (парт. мн.) от *olg* ‘солома’ (осн. *olge-*), *šarviloid* (парт. мн.) от *šarv* ‘рог’ (осн. *šarve-*), *šuappailoi* (парт. мн.) от *šupaš* ‘сапог’ (осн. *šuappua-*), *kiwgailoiss* (инесс. мн.) от *kiwgu* ‘печь’ (осн. *kiwguä-*). Одновременное использование здесь сразу двух генетически однородных аффиксов можно объяснить аналогией с образованием форм множественного числа от одноосновных имен с основой на гласный *i*. Подобного рода случаи являются типичным примером аффиксального плеоназма второго вида, когда одно и то же грамматическое значение, а в нашем случае множественное число, выражено одновременно двумя разными аффиксами.

Сравнение процессов образования именных форм множественного числа в тверских диалектах карельского языка позволило выявить наличие в них двух видов аффиксального плеоназма: повторение одного и того же форманта и одновременное использование двух разных аффиксов с одинаковой функцией для выражения одного и того же грамматического значения. И если примеры одновременного употребления двух аффиксов *-i-* и *-loi-* / *-löi-*, выражающих значение множественного числа, встречаются, наряду с тверскими, и в других карельских диалектах и наречиях (напр., в ливвиковском: *argiloih* / *argih* (илл. мн.) от *argi* ‘будний день’ (осн. *arge-*), *vezilöis* / *vezis* (инесс. мн.) от *vezi* ‘вода’), что может свидетельствовать о незавершенности становления системы показателей множественности и, как следствие, грамматической избыточности еще в древнекарельском языке, то случаи двойного употребления одного и того же форманта, выражающего множественное число (*-ii-*), характеризуют группу периферийных диалектов карельского языка (тверские и валдайский диалекты). Уменьшение количества случаев употребления представленных видов аффиксального плеоназма и стремление к разграничению функций формантов, используемых для выражения множественного числа, что удалось выявить в процессе анализа именного словоизменения тверских карельских диалектов, свидетельствуют о действии в языке закона экономии языковых средств, а это, в свою очередь, позволяет выработать для развивающегося на основе тверских диалектов младописьменного карельского языка рекомендации об избавлении от случаев грамматической избыточности.

Литература и источники

- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: КомКнига, 2007. 572 с.
- Благова Г. Ф. Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально-лингвистическом освещении // Вопросы языкознания. Вып. 6. 1968. С. 81–98.
- Гузов В. Г., Бурькин А. А. Общие строевые особенности агглютинативных языков // Acta linguistica Petropolitana. Труды ИЛИ РАН. Т. 3. Ч. 1. СПб., 2007. С. 109–117.
- Зайцева Н. Г. Именное словоизменение в вепсском языке. Петрозаводск: Карелия, 1981. 218 с.
- Зайцева Н. Г. Вепсский глагол. Петрозаводск: Периодика, 2002. 288 с.
- Зайков П. М. Глагол в карельском языке. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 294 с.
- КПКС – Расшифровки экспедиционных материалов А. В. Пунжиной 1966–1973 гг. по Тверской Карелии // Культура повседневности карельской семьи. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. С. 84–154.
- ЛЭС 1990 – Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.

ОКР – Образцы карельской речи: Калининские говоры. М., Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. 196 с.

ОФУЯ 1975 – Основы финно-угорского языкознания: Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М.: Наука, 1975. 346 с.

РМЗ – Расшифровка магнитофонных записей, произведенных М. И. Мулло-нен, Г. Н. Макаровым, В. П. Тарасовым в 50–60-е гг. XX в. в Тверской области. Рукопись. Петрозаводск, 2011. 50 с.

СКГ – Слушаю карельский говор / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск: Периодика, 2001. 208 с.

СКЯ – Словарь карельского языка: Тверские говоры / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск: Карелия, 1994. 396 с.

Тутаришева М. К., Тутаришева М. К. Аффиксальный плеоназм при выражении грамматических значений (на материале разносистемных языков) // Вестник Майкопского государственного технологического университета. Вып. 3. 2013. С. 64–69.

ЯН СССР III – Языки народов СССР: Финно-угорские и самодийские языки. III. М.: Наука, 1966. 462 с.

Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki; Otava, 1979. 634 s.

DKT – Öispuu J. Djorža karjala tekstid. Tallinn: Tallinna pedagoogiline instituut, 1990. 198 s.

Häkkinen K. Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa. Turku: Abo Akademi, 1985. 132 s.

ISK 2010 – Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS, 2010. 108 s.

Junus V. I. Izoran keelen grammatikka: Morfologia. Moskova; Leningrad: Riikin ucebno-pedagogiceskoi izdatel'stva. 1936. 140 s.

Leskinen H. Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta // Karjala: historia, kansa, kulttuuri. Helsinki: SKS, 1998. S. 352–382.

NKK – Näytteitä karjalan kielestä. I. Joensuu; Петрозаводск, 1994. С. 236–270.

Tunkelo E. A. Pääpainottoman tavun lyhyen ja pitkän i:n vaihtelusta itämerensuomalaisissa kielissä // Suomi. 1938. 5.

Tuomi T. Itämurteiden loi-monikosta ja eräistä sekundaareista monikon merkeistä // Laatokan piiri. Helsinki: Vap-kustannus, 1990. S. 94–99.

Öispuu J. Djorža karjala vormisõnastik. Tallinn, 1995. 128 s.

Список сокращений

адесс. – адессив

всг. – весьегонский диалект

ген. – генитив

гл. осн. – гласная основа

држ. – держанский диалект

илтл. – иллатив

инесс. – инессив

ком. – комитатив

мн. – множественное число

осн. – основа

парт. – паритив

тлм. – толмачевский диалект

элат. – элатив

ПОЧЕМУ ВСЕ-ТАКИ КИЖИ?

Попытки объяснить происхождение названия острова Кижы предпринимались в прошлом неоднократно. Наиболее известной стала этимологическая версия, предложенная известными карельскими топонимистами Г. М. Кертом и Н. Н. Мамонтовой. Согласно их гипотезе, свое название легендарный остров получил от древних языческих игрищ (ср. карел. *kižat* 'игрища'), что устраивались здесь в дохристианский период [Керт, Мамонтова 1976: 52].

В 1993 г. нами была предложена новая расшифровка заонежского топонима [Агапитов 1993: 52]. Если принять во внимание тот факт, что большинство названий островов (а в Кижском архипелаге их более четырехсот) имеет в своей основе имена растительного или животного происхождения, то наши поиски шли именно в этом направлении.

Остров Кижы выделяется среди других островов архипелага особой разновидностью водного мха, название которого представлено в говорах южной Карелии, особенно в ливвиковском и людиковском наречиях, словом *kiidžin*. Так, у северных людиков в районе Мунозера водный мох *kiidžin* издавна используется для мшения построек. Такое же название у водного мха в ливвиковских деревнях на Сямозере. В вепсских говорах название мха не сохранилось, но оно представлено в местной топонимии (*Kižidärv, Kižiso*).

Еще в начале XX в. в заливе Мошгуба (северная часть острова Кижы) местные жители активно занимались заготовкой водного мха. Длинные пучки мха поднимали из воды в лодки граблями или особыми крюками, изготовленными из ольхи. Привезенный на берег мох расстилали на пожнях или на каменных грудовицах. Весной высохший мох собирали в небольшие стога. Водным мхом конопатили не только стены домов, но и лодки-кижанки.

Интерес к местам произрастания водного мха, видимо, берет свое начало с древнейших времен, когда люди, охотившиеся на лося, стали замечать те участки на водоемах, где встречался водный мох. Лоси, как известно, охотно поедают мох, растущий на дне озер. При этом животное вынуждено опускать голову в воду, что упрощает задачу охотника.

Использовался водный мох у карелов и в любовной магии – для повышения славутности (*lembi*) у девушек. Мох *kiidžin* служил одним из атрибутов в обряде, который проводился в бане под присмотром пожилых женщин.



Рис. 1. ◆ - Ареал топонимов с основой Kiidzi(n) - Киж(и)м)
 ▲ - Места бытования былины "Корольичи из Крякова"
 ■ - Места записи преданий о панах

Есть основания считать, что карельская форма названия водного мха *kiidžin* преобразовалась в русских топонимах Обонежья в *кижи*. Эту фонетическую метаморфозу легко проследить по примерам из то-

понимии людиковской области, где аффриката *dž* в русском употреблении меняется на *ж*: ср. карел. *Pädžünselg'* и рус. *Пяжиева Сельга*, карел. *Liidžmi* и рус. *Лижма*.

И. И. Муллонен в статье «Заонежье на топонимической карте российского Северо-Запада» предлагает считать слово *kiidžin* «карельской инновацией в прибалтийско-финском мире», отмечая при этом, что истоки самого слова не вполне ясны [Муллонен 2014: 223].

Нам представляется, что карельское название водного мха *kiidžin* ведет свое начало со времени контактов передовых групп балтийских славян с финно-угорским населением Европейского Севера. В силу того что лексема *kiidžin* отмечена лишь в говорах южной Карелии и Присвирья, можно предположить, что именно вепское (чудское) население первым восприняло изначально славянское слово. В одном из современных западнославянских языков Германии – нижнелужицком – сохранилась лексема *kicyna* (ср. прасл. **kytčina* из *kyta*, пол. *kicz*, *kiczka*, чеш. *kyč*, *kyčka*) в значении ‘связка, моток’. В нижнелужицком языке имеется и второе значение слова *kicyna* ‘соединение наподобие креста; крестовидное скрепление бревен деревянного дома’. Нижнелужицкий глагол *kicys'* также имеет два значения: 1) связывать лозами и лентами; 2) связывать брусья и бревна [Muka 1966: 593]. Примечательно, что мох, поднимаемый из воды, действительно напоминает моток пряжи темно-коричневого цвета с чуть зеленоватым оттенком. Применение водного мха при мшении деревянных строений словно подтверждает венедский (славянский) первоисточник южнокарельской лексемы *kiidžin*. Нельзя также не отметить, что топонимы на *-kiidžin*, *-kiž*, *-киж* фиксируются в том же регионе, где прежде были записаны предания о панах, которые, вероятно, связаны с памятью аборигенного населения края о раннем славянском проникновении в Обонежье. Наличие аффрикаты в заимствованном слове явно указывает на южнобалтийское побережье, на севернолехитские языки, в большинстве своем, к сожалению, уже исчезнувшие. Арсал основ топонимов на *kiidžin*, *кижи(м)* соответствует тем местам, где были записаны не только предания о панах, но и былина «Королевичи из Крякова». Распространение заимствованного слова *kiidžin* на запад в людиковско-ливвиковское пограничье и в говоры Суоярви объясняется наличием двух главных миграционных потоков по рекам южной Карелии – Суне и Шуге. Наибольшее количество сопряжений топонимических и фольклорных явлений имеется в районе деревни Горка, села Вегорукса, а также Кижского архипелага. Возникает устойчивое впечатление, что «пань», проникнув в Заонежье, надежно перекрыли выходы из онежских заливов, где до этого возникли первые чудские (вепские) колонии промышленников – охотников на пушного зверя. В результате произошло подчинение чудских промышленников вооруженным отрядам панов, сумевших в итоге стать активными посредниками на северном участке волжско-балтийского транзита.

Укрепленные городища (гарды) сооружались в Заонежье согласно традиции гардов (бургов) славянского Полабья: на низких, затопляемых участках речных пойм и островах на озерах [Михайлов 2009: 285]. Действительно, и «замки» панов на Коневце близ Горки и Гардак в Вегоруксе полностью соответствуют топографии гардов славянского Мекленбурга и Поморья. К тому же топонимические параллели отдельным названиям Обонежья обнаруживаются в польском и немецком Поморье. Ср. заон., прион. Повежа Горская и Повежа Павловицкая, Повежа (близ устья Суны), Повежа (Уница) и пол. *powódź*, пол. диал. *powóž*, верх.-луж. *powodź* ‘большой стремительный разлив воды на значительной площади, затопление, половодье’; Жехова Губа (ныне Горская Губа) и пол. *Żechów*, *Żechowo*, нем. *Zechowsee*; Брусно и нижн.-луж. *Brusne*; Сопот и кашуб. *Sopot*.

С исчезновением волжско-балтийской торговли наступил конец вепским поселениям и городищам панов, а часть чуди и славян, вероятно, растворилась в мощном потоке новгородской крестьянской колонизации XIII–XV вв.

Литература

Агапитов В. А. Кижь: что в имени твоём? // Родные сердцу имена (Топонимика Карелии). Петрозаводск, 1993.

Керт Г. М., Мамонтова Н. Н. Загадки карельской топонимики. Петрозаводск, 1976.

Михайлов К. А. Анализ первых оборонительных сооружений Киева и Новгорода на фоне фортификационных традиций раннесредневековой Европы // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород, 2009.

Муллонен И. И. Заонежье на топонимической карте российского Северо-Запада // Церковь Преображения Господня на острове Кижь: 300 лет на заонежской земле. Петрозаводск, 2014.

Muka A. Słownik dolnosorbskeje rěcy a jeje narěcow, I. Budyšin/Bautzen, 1966.

Надежда Владимировна Кабинина
Уральский федеральный университет,
г. Екатеринбург

К ЭТИМОЛОГИИ ГИДРОНИМА МЕЗЕНЬ

Прежде всего хотелось бы пояснить, что данная работа имеет пока статус небольшой заметки, появившейся в результате личной переписки автора с краеведом К. П. Вольским. Будучи одним из энтузиастов изучения субстратной топонимии Русского Севера, не столь давно К. П. Вольский предложил этимологию, согласно которой гидроним *Мезень*, называющий

известную крупную севернорусскую реку, возник на основе топонима **Metsäniemi* – от приб.-фин. *metsä* ‘лес’ и *niemi* ‘мыс’. Все те соображения К. П. Вольского, которые сопровождают данную гипотезу, выглядят несколько фантастическими, однако сама мысль о возможности сопоставления названия *Мезень* с приб.-фин. *metsä* ‘лес’ и родственными ему словами показалась нам интересной и заслуживающей рассмотрения¹.

Исследователи русской топонимии считают гидроним *Мезень* одним из самых загадочных. В частности, М. Фасмер, включивший это название в свой известный этимологический словарь, указал лишь его коми-зырянскую форму *Мозын*, не приводя никаких гипотез о структуре гидронима и его возможных толкованиях [Фасмер II²: 593]. А. И. Туркин предложил для названия *Мезень* ~ *Мозын* угорскую этимологию, сопоставив его с хант. *мосым* ‘полезный’, ‘важный’ [Туркин 1986: 69–70]; А. П. Афанасьев отметил малоубедительность этой версии, поскольку «ни одна крупная река не является бесполезной или непригодной» [Афанасьев 1996: 103]. При этом, по его мнению, поиски этимологии гидронима *Мезень* из угорских языков все же перспективны, и он предполагает, что название *Мезень* ~ *Мозын* восходит к субэтнониму *мось* – названию одной из фратрий обских угров. Формант *-ын* исследователь связывает с известным в топонимии обских угров суффиксом *-нг*: *Мозын* из др.-уг. *мосьнг* – буквально «Река моси», «Река, принадлежащая фратрии мось» [Афанасьев 1996: 103].

Рассматривая параллельные этим гипотезам новые версии, прежде всего следует отметить, что река *Мезень* и прилегающие к ней земли, в силу суровых природных условий и географической удаленности от центров восточнославянского ареала, осваивались русским населением позднее, чем другие крупные реки Русского Севера (далее – РС). Однако вряд ли приходится сомневаться в том, что аборигенное финно-угорское население РС к приходу славян уже знало богатую в промысловом отношении крупную реку, протекающую восточнее Пинеги. Поэтому первые сведения о реке *Мезень* русские, скорее всего, получили не в то время, когда они достигли берегов Мезени, а гораздо раньше. Разумно полагать, что узнать об этой реке, освоить пути к ней и перенять ее название они могли при посредничестве тех финно-угорских групп, которые проживали западнее Мезени. К западу же от Мезени, согласно имеющимся данным, проживали пермские, саамские и прибалтийско-финские этнические сообщества [Матвеев 2004: 330]. Именно по этой причине имеет смысл рассмотреть возможности происхождения названия из соответствующих языков.

¹ Сам К. П. Вольский, настаивая на собственной версии, не принял те соображения, которые далее излагаются в статье.

² Указан номер тома.

На первых ступенях этимологического поиска нельзя не обратить внимания на то, что в севернорусской гидронимии название *Мезень* не одиноко¹. Фонетически идентичная основа представлена также в речных гидронимах *Мезень* (Влг. Кирил.), *Мезенда* (левый приток р. Кострома), *Мезеньга Карочская* (правый приток р. Кострома), *Мезовка* (басс. р. Кокшеньга; Арх. Вель); в Архангельской области есть и фонетически близкие гидронимы *Меженга* (басс. р. Вель) и *Меженьга* (басс. р. Верхняя Тойма). Как можно видеть, почти все эти названия фиксируются западнее Северной Двины. Это, безусловно, снижает вероятность их пермского происхождения, однако возможные пермские версии все же следует рассмотреть.

Как уже отмечалось, коми-зырянская форма *Мозын* (~ рус. *Мезень*) убедительной этимологии в коми языке не имеет. Единственная, на наш взгляд, «пермская» этимологическая возможность, пока не рассматривавшаяся исследователями, состоит в сопоставлении основы *Мез-* с перм. *тез* или с устаревшим к.-зыр. *мёс* ‘источник’, ‘истоки’, ныне сохранившимся в коми языке только в составе дериватов и топонимов, напр. *Ошмёс* (басс. р. Вымь), *Чермёс* (басс. р. Верхняя Вычегда) [Афанасьев 1996: 194; КЭСК: 213]. А. П. Афанасьев не исключает, что это древнее пермское слово отражено и в названии реки *Мёсью*, которое по-русски передается как *Месью* [Афанасьев 1996: 104]. Передача коми-зырянского *ё* русским *е* известна и по другим примерам [КРС: 833, 835], поэтому интересующая нас основа *Мез-* с учетом ассимилятивного озвончения конечного согласного вполне может возводиться к к.-зыр. **Мёс-*. Однако в коми языке форма гидронима – не **Мёсын*, а *Мозын*, и при фонематическом статусе коми-зырянских *ё* и *о* различие этих форм является довольно существенным. Связать их возможно только в том случае, если предполагать многоступенчатость исторических переходов топонима из языка в язык – например, к.-зыр. **Мёс-* > рус. *Мез-* / **Моз-*² > к.-зыр. *Моз-*.

В рамках этой версии трудно объяснить эн-овый формант, который в коми языке характерен для отглагольных форм: соответственно, приходится допускать былое существование глагола типа **мёссны* ‘течь, брать начало (об источнике, истоке)’ – тогда **МёсVн* может рассматриваться как его причастная форма («Текущая»). Таким образом, коми этимология выстраивается только на основе сразу нескольких чисто гипотетических допущений, что в целом делает ее слабой, хотя и не отменяет полностью.

Более убедительно, на наш взгляд, название *Мезень* объясняется из прибалтийско-финских и саамского языков. В частности, основу *Мез-*

¹ Географические названия приводятся по двум источникам: картотеке Топонимической экспедиции УрФУ и личной топонимической картотеке К. П. Вольского.

² Коми-зырянский *ё* в русском языке может передаваться не только звуком *е*, но и звуком *о* [см.: Лыткин 1952: 93].

можно сопоставить с прибалтийско-финскими и саамскими лексемами со значением ‘лес’, ср. фин. *metsä*, карел. *mettšä*, люд. *metš*, *metš*, *mettše*, вепс. *metš*, эст. *metš*, вод. *mettsä*, ижор. *metsä* ‘лес’ [SSA 2¹: 163]; приоб.-фин. > прасаам. **mecce*, саам. сев. *mæcce*, ин. *mecci*, колт. *mejcc*, кильд. *miecc*, тер. *miejce* ‘лесная область’ [YS: 74–75].

С фонетической стороны это сопоставление обладает необходимой точностью, поскольку в окружении сонорных глухие согласные финно-угорских основ при русском усвоении обычно подвергаются ассимилятивному озвончению, а при отсутствии в русском языке звонких аффрикат последние столь же обычно передаются одним звуком: приоб.-фин. *ts*, саам. *c* > рус. *з*, приоб.-фин. *tš* > рус. *ж* [см.: Матвеев 2001: 142–143; Кабинина 2011: 49]. С учетом этих закономерностей приведенные выше прибалтийско-финские и саамские лексемы могут отражаться в топонимии в фонетических формах *Мез-*, *Меж-*.

При отсутствии условий для озвончения указанные прибалтийско-финские и саамские апеллятивы дали бы топооснову *Метс-* / *Мец-* / *Меч-* / *Мяч-*, которая, как оказывается, представлена на Русском Севере достаточно широко, причем не только в гидронимии, ср.: *Меуна*, гора – смеж. *Метсовское Болото*, бол. (Влг. Белоз.), *Худой Меч*, покос (Арх. Леш.), *Мечева* / *Метчева*, р. (Арх. Пин.), *Мечегда*, покос (Арх. Пин.), *Мечка*, р. / истор. *Мячка* (Арх. Прим.), *Мечкиска*, ур. (низовья Северной Двины, истор.), *Мечполе*, поле (Арх. Мез.), *Мечуга*, р. / истор. *Мячуга* (Арх. Вель). Таким образом, с фонетической стороны названия на *Мез-*, *Меж-*, *Метс-*, *Мец-*, *Меч-*, *Мяч-* допустимо поставить в один этимологический ряд. Как можно видеть, в целом этот ряд не только весьма широк, но и почти универсален с точки зрения объектной отнесенности основы, что хорошо согласуется с ее предполагаемым прототипом (ср.: в исконно русской топонимии Русского Севера названия типа *Лесная*, *Лесное*, *Лесной* могут относиться практически к любым объектам).

При такой трактовке формант *-ень* в названии *Мезень* может быть сопоставлен с приоб.-фин. *epo* ‘большая река, поток’ [SKES: 39] или с соответствующим ему прасаам. **ēpō*, саам. диал. *jäänn*, *jān* ‘большая река’ [YS: 32–33; KKLS: 52]. Не исключена и другая возможность: рус. *Мезень* из генитивной прибалтийско-финской формы **Metsänjoki* «Лесная река», если предполагать эллипсис речного детерминанта, который для названий крупных рек весьма характерен.

Тем самым, согласно изложенной этимологической версии, название *Мезень* может толковаться либо как «Большая Лесная река» (приоб.-фин. / саам.), либо просто как «Лесная» (приоб.-фин., с утратой гидроформанта).

¹ Здесь и далее указан номер тома.

Семантико-типологическая сторона данного сопоставления проблем не вызывает, но все же заслуживает отдельного комментария. Прежде всего, казалось бы, признак «лесной», «протекающий по лесу» не является на Русском Севере дифференцирующим, поскольку по лесу здесь протекает едва ли не каждая река. В то же время устойчивость подобных номинаций позволяет полагать, что в части гидронимов, толкуемых как «лесные», скрыт комплексный топонимический смысл: так могут именоваться реки, протекающие в глухих, отдаленных, «диких», не освоенных человеком лесах. На это по-своему указывает и семантика соответствующих апеллятивов: например, прибалт.-фин. *metsä*, наряду с основным значением 'лес', имеет значения 'леший', 'медведь', 'черт, дьявол', 'преисподняя' [SSA 2: 163]; похожая семасиологическая картина в рамках гнезда «лес» наблюдается и в русском языке. Иначе говоря, названия рек типа *Лесная* способны выражать не относительный, а качественный смысл: своеобразно «впитывая» широкую языковую семантику апеллятива *лес*, в топонимии они становятся близкими к 'дикая', 'девственная', 'неосвоенная' и представляют собой один из емких вариантов номинации подобных объектов. С учетом этих обстоятельств семантическая сторона предлагаемой этимологии представляется вполне убедительной. Немаловажно, что она прекрасно поддерживается и географическими данными: девственные леса сохранились на многих участках Мезени до наших дней, а в прошлом этот край долгое время был одним из самых малозаселенных на Русском Севере.

Наконец, веским аргументом в пользу предлагаемой нами этимологии является то, что в значительной своей части – в среднем течении, где река Мезень поворачивает с востока на север, – она протекает по территории *Лешуконья* (Лешуконского р-на Архангельской обл.). Это название со всей очевидностью является либо собственно русским – от *Леший конец*, либо полной русской калькой более раннего финно-угорского топонима. Интересно, что топоним *Лешуконье* упомянут в этимологической статье о *Мезени* А. П. Афанасьевым, однако исследователь привел его не в связи с финно-угорскими данными, а в связи с балт. *mezs* 'лес', видимо, считая возможным наличие на РС балтийского пласта¹. Кроме того, А. П. Афанасьев, на наш взгляд, не вполне верно объяснил топоним *Лешуконье*, связав его с рус. *леший* 'человекообразное сказочное существо, живущее в лесу' [Афанасьев 1996: 103]. С учетом отмеченных выше семантических дериватов от 'лес' такая трактовка не вступает в глубокое противоречие с нашей этимологией, но все-таки от-

¹ В свое время «балтийская гипотеза» разделялась и некоторыми другими учеными, однако углубленные исследования севернорусского субстрата показали ее несостоятельность.

метим, что слово *леший* в названии *Лешиконье* имеет, скорее, значение ‘лесной’ ~ ‘дикий, глухой, неосвоенный’ (ср. *леший* ‘лесной, дикий’ [Даль П¹: 279]). Думается, в рамках обсуждаемой нами этимологии семантическую параллель *Мезень* («Лесная река») – *Лешиконье* («Лесной конец») нельзя считать случайной.

Кратко обобщим сказанное выше. Согласно рассмотренной версии, русское название реки *Мезень* в языке аборигенов Русского Севера могло звучать как **Metsä-eno* (приб.-фин.), **Meäcc-jäänn* (саам.) «Большая Лесная река» или **Metsän* «Лесная» (приб.-фин.), что не вызывает ни фонетических, ни морфологических, ни семантико-типологических, ни лингвогеографических, ни физико-географических возражений. Для названия *Мезень* ~ *Мозын* полностью не исключены и пермские истоки, однако «пермская» гипотеза имеет пока мало обоснований.

Литература

Афанасьев А. П. Топонимия Республики Коми. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1996.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. М.: Русский язык, 1988–1991.

Кабинина Н. В. Субстратная топонимия Архангельского Поморья. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2011.

КРС – Коми-русский словарь / Под ред. В. И. Лыткина. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961.

КЭСК – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. М.: Наука, 1970.

Лыткин В. И. Древнепермский язык. М.: Изд-во АН СССР, 1952.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 1. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2001.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 2. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2004.

Туркин А. И. Топонимический словарь Коми АССР. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1986.

Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4-х т. / Ред. Б. А. Ларин. СПб.: Азбука, 1996.

KKLS – Itkonen T. I. Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja. I–II. LSFU, XV. Helsinki, 1958.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa I–VII. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1974–1981.

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992–2000.

YS – Lehtiranta J. Yhteissaamelainen sanasto. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1989.

¹ Указан номер тома.

Сокращения

В названиях языков и диалектов

балт. – балтийские языки	перм. – пермские языки
вепс. – вепсский язык	прасаам. – прасаамский язык
вод. – водский язык	приб.-фин. – прибалтийско-финские языки
др.-уг. – древнеугорский язык	рус. – русский язык
ижор. – ижорский язык	саам. – саамский язык
ин. – диалект Инари саамского языка	саам. сев. – северносаамский язык
карел. – карельский язык	тер. – терский диалект саамского языка
к.-зыр. – коми-зырянский язык	фин. – финский язык
кильд. – кильдинский диалект саамского языка	хант. – хантыйский язык
колт. – диалекты колтта саамского языка	эст. – эстонский язык
люд. – людиковский диалект карельского языка	

В названиях географических объектов

басс. – бассейн	р. – река
бол. – болото	ур. – урочище

В названиях областей и районов

Арх. – Архангельская область	Прим. – Приморский район
Вель. – Вельский район	Влг. – Вологодская область
Лепш. – Лепуконский район	Белоз. – Белозерский район
Мез. – Мезенский район	Кирил. – Кирилловский район
Пин. – Пинежский район	

Прочие

диал. – диалектный
истор. – историческая форма топонима
смеж. – смежный объект

KARJALAINEN JA VEPSÄLÄINEN EI-KRISTILLINEN HENKILÖNNIMIKANTAINEN PAIKANNIMISTÖ

Artikkelissa käsittelen karjalaisten ja vepsäläisten leksikaalisesti samankantaista henkilönnimistöä. Tarkoituksena on tutkia, mitä yhteisiä eikristillisiä nimikantoja on löydettävissä vepsäläisistä ja karjalaisista henkilönnimistä, ja miten ne esiintyvät näiden alueiden paikannimistössä ja varhaisimmissa kirjallisissa dokumenteissa. Lisänimet ja sukunimet avaavat edelleen näiden henkilönnimien alkuperää ja merkitystä. Tutkimuksessa nojaudun erilaisiin toisiaan täydentäviin lähdeaineistoihin: 1) henkilönnimikantainen paikannimistö, lähinnä *-l(V)*-tyyppiset talon- ja kylännimet, joihin sisältyy vanha henkilönnimi; 2) omaperäiseen henkilönnimistöön pohjautuvat viralliset sukunimet; 3) epäviralliset sukunimet eli sukupolvea toiseen periytyvät lisänimet; 4) vanhojen asiakirjojen henkilönnimiaineisto. Vanhan henkilönnimistön rekonstruointi ja sen etymologinen analyysi on toteutettu ottaen huomioon kantasuomalainen henkilönnimisysteemi kokonaisuutenaan nimeämismalleineen ja ominaisuuksineen, jotka ovat luonteenomaisia koko perinteiselle (eikristilliselle) itämerensuomalaiselle nimijärjestelmälle.

Lähdeaineiston esittely

Ennen kuin käsittelen varsinaista vepsäläis-karjalaisen henkilönnimistön analyysia, esittelen tarkemmin yllämainittujen nimistön lähteiden taustoja.

1. Esikristilliset henkilönnimet rekonstruoituvat mm. *-l(V)*-loppuisten paikannimien pohjalta. Itäsuomalaisessa paikannimistössä *-la*, *-lä*-johtimiset asutusnimet ovat pääasiallisesti henkilönnimikantaisia. Vanhojen kantatalojen nimet ovat syntyneet usein perustajan nimestä (etu-, suku- tai lisänimestä), johon on liittynyt *-l(V)*-johdin: esim. *Jyrgil* (< rn. Jyrgi, Aunuksen Karjala), *Kukkoilu* (< ln. Kukoi, Aunuksen Karjala), *Remšul'a* (< sn. Remšu, Vienan Karjala), *Mustal* (< ln. Must, keskivepsä), *Korvoil* (< ln. Korv, etelävepsä). Ajan kuluessa kantatalon asukasmäärä kasvoi, ja siitä lohkesi eri perheitä, jotka rakensivat uusia taloja vanhan ympärille. Kantatalon nimestä tuli kylännimi. Mainitun nimimallin kylännimistöä Suomessa tutkinut Jouko Vahtola toteaa, että *-la*, *-lä*-nimet ovat vanhimpia kylännimiä ja esiintyvät varhaisimmin asutetuilla alueilla. Sen sijaan myöhään asutetuilla alueilla tämän nimimallin nimet puuttuvat melkein kokonaan [Vahtola 1980: 23, 137].

Karjalan *-l(V)*-nimimallin kylännimistön tutkimus osoittaa, että Aunuksen seudun livvinkarjalaisten asuma-alueelle kyseinen nimitystyyppi oli tullut käyttöön varhaisemmin kuin Karjalan pohjoisosissa sijaitseville varsinaiskarjalaisten seuduille. Tähän viittaa livviläisten *-l(V)*-kylännimissä heijastuvien kantasuomalaisten henkilönnimien runsaus sekä se, että monet paikannimien kantana olevat henkilönnimet ovat etymologisesti epäselviä. Sen sijaan Vienan Karjalan *-la* / *-lä*-nimistön semanttinen pohja on suurimmalta osaltaan läpinäkyvä. Tällä seudulla *-la*-tyyppi näyttää olleen produktiivinen vielä 1900-luvun alkupuolella, jolloin oli syntynyt lukuisia *-la*-loppuisia talonnimia. Livvin talonnimistöstä *-l(V)*-tyyppi puuttuu melkein kokonaan. Tverin ja Tihvinän karjalaisten asuma-alueen paikannimistöstä löytyy vain yksittäisiä *-la*-nimiä, ja niitten pohjana on kristillisperäinen henkilönnimi. Lyydiläisalueella *-l(V)*-nimimalli esiintyy eräissä Syväri-joen pohjoispuolella sijaitsevilla kylännimissä. Nimistötutkimukset osoittavat, että täällä *-la*-tyypin nimistö on esilydiläistä, sillä on selkeät vepsäläislähteet [Nissilä 47: 13; Mullonen 2002: 168–170]. Keski- ja pohjoislydiläiseen nimistöön sisältyy vain pari *-la*-loppuista kylännimeä, mikä kertoo todennäköisesti siitä, että tämä seutu ei kuulunut vepsäläisten varhaiseksiansiointi-alueeseen. Toisaalta kyseisen nimimallin puuttuminen on kuvaava esimerkki siitä, että tämä lyydiläisten asuttama seutu oli jäänyt karjalaisten uudisasukkaiden suurien muuttoliikkeiden ulkopuolelle, sillä heidän mukanaan *-l(V)*-nimimalli levisi laajalti Aunuksen Kannaksen livviläisalueelle [Karlova 2004].

Vepsäläisten alueella *-l(V)*-nimimallin paikannimet ovat levinneet epäsäännöllisesti. Tyypin produktiivisuus kuvastuu ennen kaikkea keskivepsäläisten kylännimistössä (Syvärin seudun lounaisosassa Ojatin, Kapšan ja Pašan alajuoksuilla). Äänis- eli pohjoisvepsäläiset eivät tunne *-l(V)*-loppuisia paikannimiä.

Vepsäläisten *-l(V)*-nimien ikä on huomiota herättävä; varhaisin asiakirja, jossa kyseisen nimimallin kylännimiä esiintyy, on 1200-luvulta. Siinä mainitaan *Vinitsa* (veps. Vingl), *Tervinitsi* (veps. Terl) ja *Juksola* (nykyään Juksovitiši) [Mullonen 2005: 51]. Venäläistyneellä alueella vepsän alkuperäistä *-l*-suffiksia vastaavat tavallisesti *-itsy* / *-itši*-nimiformantit (ven. *-ицы*; *-ичи*): Mustinitši (**Mustal*), Kurikinitši (**Kurikal*), Valdanitšy (**Valdal*), Imotšenitsy (**Himačal*). Vepsäläisten *-la*-tyyppisten kylännimien perustana on melkein poikkeuksetta ollut esikristillinen antroponyymi. Vepsäläisen paikannimistön tutkija Irma Mullonen osoittaa vain kaksi mahdollista vepsäläisten ortodoksispohjaista *-l*-kylännimeä: Jerl (< *Jera, *Jerk < ven. Ера, Ерка < Ерофей, Ераст) ja Kikoil (< *Kikoi < Кико, Кикин < Кирилл). Samalla hän epäilee myös näitten kristillistä alkuperää viitaten siihen, että nykyinen vepsäläinen ristimänimistö ei tunne edellä mainittuja hypokorismeja [Mullonen 1994: 79].

Karjalassa ja vepsässä *-la* / *-lä*-johdinta vastaavat seuraavat foneettiset variantit: vepsä *-l* (*Terl, Korval, Karhil*), lyydi *-l* (*Nuamuoil, Kaččal, Sagil*), livvi *-l* ja *-lu* (*Jyrgil, Lumbil, Kokkoilu, D'essoilu*), varsinaiskarjala *-la* / *-lä* ja liudentunut *l'a* (*Iutala, Närhilä, Mikkol'a, Rebol'a*).

Muista henkilönnimikantaisista paikannimityypeistä mainittakoon sellaisia kuten kylännimet *Tollo, Präkky, Turha* (karjala), *Habuk, Hybjoi, Kukoi* (vepsä), jotka ovat rakenteeltaan yhdistämättömiä yksiosaisia kylännimiä ja yhdyspaikannimiin kuuluvat *Jänöiagju, Kurikanselgä, Kotanpiä, Brällinvuara, Tuhkanniitud* (karjala), *D'änimättas, Habukankal'l', Haragomm'ättaz, Kall'anpuusta, Kil'tšunagd', Kukagd', Kurikanmägi* (vepsä).

2. Seuraavaksi esitellen eräitä vepsäläisten ja karjalaisten käytössä olevia nykyisiä virallisia sukunimiä, joiden taustalla on näkyvissä vanha omaperäinen lisänimi. Valtaosa karjalais-vepsäläisistä sukunimistä on *-ov, -ev-* ja *-in*-loppuisia, jotka ovat venäläiselle sukunimistölle ominaisia antroponymijohtimia. Alkuperäiset karjalan ja vepsän kielessä käytössä olevat lisänimet ovat vuorostaan joko *-hiin'e ~ -hn'e* (veps.), *-(i)n'e ~ -(i)n'i* (karj.) -loppuisia (vrt. suom. *-nen*) tai kokonaan suffiksittomia sisältäen pelkän lisänimen. Vepsäläiset sukunimet: ven. sn. *Kukojev* (Кукоев) < veps. In. *Kukoihiin'e* < app. *kuk, kukoi* 'kukko'; ven. sn. *Paskatšev* (Паскачев) < veps. In. *Paskačuhn'e* < app. *paskač* 'varpunen', ven. sn. *Kjarzin* (Кярзин) < veps. hn. *Kärz* < app. *kärz* 'rumat kasvot'; ven. sn. *Gabukov* (Габуков) < veps. In. *Habukah'n'e* < app. *habuk* 'haukka'; ven. sn. *Bošakov* (Бошаков) < veps. In. *Bošakohn'e* < app. *bošak* 'pässi'; ven. sn. *Kil'tsov* (Кильцов) < veps. Is. *Kil'č* < app. *kilč* 'esiin työntyvä hammas; toisen hampaan eteen kasvanut' [Mullonen 2007: 850–852]. Eräitten karjalaisten sukunimien mahdollisia etymologioita: ven. sn. *Kokkov* (Кокков) < karj. In. *Kokkon'i* < app. *kokko* 'kotka'; ven. sn. *Kekšojev* (Кекшоев) < karj. hn. *Kekšoi* < app. *kekšoi* 'suuri maha'; ven. sn. *Rjuppijev* (Рюппиев) < karj. In. *Ryppin'e* < app. *ryppi* 'ryppy, kurttu'; ven. sn. *Burtsin* (Бурцин) < karj. In. *Burčat* < app. *burččapiä* 'isopäisestä, paksupäisestä; nuppipäisestä', vrt. *burčča* 'kurikka, nuija' (toisaalta suu on *burčalleh* 'murtussa' (esim. mielipahan vuoksi); ven. sn. *Šoržin* (Шоржин) < karj. In. *Šorža* < app. *šorža* 'sorsa'; ven. sn. *Kjapijev* (Кяпиев) < karj. In. *Käppin'e* < app. *Käppi* '1. kadetön t. käsipuoli ihminen (vrt. käppä, käppi 'vesilinnun räpylälajka'); 2. pienikokoisesta, laihasta t. rumasta ihmisestä' [Karlova 2011].

Vienan Karjalassa osa karjalaisesta sukunimistöstä on virallisellakin tasolla *-nen*-loppuista: *Vatanen* (< karj. rn. *Vata* < ven. *Fadej*), *Kuikkanen* (< karj. In. *Kuikka* < app. *kuikka*), *Lesonen* (< karj. rn. *Leso* < ven. *Jelisej*). Mainittakoon tässä, että niin kansanomaisessa käytössä, kuin virallisessa venäläisessäkin nimistössä leksikaalisesti samankantaisella henkilönnimellä saattaa olla monta muunnelmaa, esim. karj. *Kuikka, Kuikku, Guikku, Guikke ~ Kuikkazet, Kuikkazet* (< *Kuikkan'e*), *Kuikkaset* (< *Kuikkan'i*) > ven. *Kuikka, Kuikin,*

Kuikkanen; karj. *Kurgi*, *Kurki* > ven. *Kurgin*, *Kurgijev*; karj. *Lesoni* > ven. *Ležojev*, *Lesonen*; karj. *Törhöni* ~ *Törhözet* > ven. *Tergujev*. Kansanomaisessa puheessa pelkän henkilön nimen sisältäviä sukuun viittaavia nimiä käytetään tavallisesti genetiivimuotoisina: *Kuikan Peša*, *Riigoin Hil'oi*, *Trošoin Simana* (karjala) ja *Tor'akon Potaš*, *Kägen Samson*, *Savan Ondrei* (vepsä). -Nen-loppuisista sukunimistä käytetään samoin genetiivimuotoa sekä myös hyvin tavanomainen muoto on monikon nominatiivi, silloin kun puhutaan ylipäätään perheestä ja suvusta. Sama systeemi näyttää toimivan talonnimistössä.

3. Epäviralliset sukunimet tai ns. periytyvät lisänimet. Tähän ryhmään kuuluvat kansan käytössä olevat sukupolvesta toiseen periytyvät lisänimet, jotka eivät ole päässeet viralliseen venäläiseen sukunimistöön. Näitä on tallennettu nimistön keruumatkojen aikana ja ne säilyvät parhaiten sukutalojen nimissä, esim. *Riekunkodi* (Kolatselkä, Aunuksen Karjala): suvun epävirallinen sukunimi on *Riekkuzet* (vir. sn. *Makkojev*, vrt. talon rinnakkaisnimi *Makkozenkodi*). Samoin vastaava vepsäläinen nimiesimerkki siitä, että usein virallinen venäläinen sukunimi ei vastaa periytyvää lisänimeä, joka tiedetään kansanomaisessa nimistössä: ln. *Rusteihiin'e* (vrt. veps. app. *rusked* 'kaunis; punaposkinen') – vir. sn. *Levojev* (Kalajoki, Äänisvepsä).

Luultavasti samaan ryhmään on syytä laskea ns. käännessukunimet, joiden lähtökohtana on kansanomainen patronyminen lisänimi. Tällaista henkilönnimiaineistoa saa kerätä vain rahvaan suusta, siis nimimestareita haastattelemalla. Nämä esittelevät karjalasta ja vepsästä suoraan venäjään käännettyjä nimi-ilmaisuja: karj. ln. *Sorzu* > ven. sn. *Utkin* (karj. *sorzu*, ven. *utka* 'sorsa'); karj. ln. *Bokko* > ven. sn. *Baranov* (karj. *bokko*, ven. *baran* 'pässi'); tn. Härkimenkodi < karj. ln. *Härkin* > ven. sn. *Mutovkin* (karj. *härkin*, ven. *mutovka* 'härkin, hierin; kirmun mäntä'); karj. ln. *Kaži* > ven. sn. *Koškin* (karj. *kaži*, ven. *koška* 'kissa'); tn. Hämärinkodi < karj. ln. *Hämäri* > ven. sn. *Sumerkin* (karj. *hämäri*, ven. *sumerki* 'hämärä'); karj. ln. *Oravu* > ven. sn. *Belkin* (karj. *oravu*, ven. *belka* 'orava'); veps. ln. *Rämhiin'e* > ven. sn. *Gromov* (veps. *rämä-*, *rämeg-* 'jyristä; pauhata', ven. *gremet* 'jyristä; pauhata'); veps. ln. *Kondihiiin'e* > ven. sn. *Medvedev* (veps. *kondi* 'karhu', ven. *medved* 'kondi'); veps. ln. *Kägi* > ven. sn. *Kukuškin* (veps. *kägi* 'käki', ven. *kukuška* 'kägi').

4. Vanhojen asiakirjojen henkilönnimiaineisto. Vanhin säilyneistä asiakirjoista on Karjalan – Korelan (myöh. Käkisalmen) – linnanläänin henki- ja verokirja eli venäjänkielinen Novgorodin vatjalaisen viidenneksen verokirja vuodelta 1500. Tutkija J. V. Ronimus on tehnyt sen pohjalta väitöskirjan [1906], jonka päätehtäviin kuului asiakirjan suomentaminen ja Karjalan silloisen asutuksen analysointi. Asiakirja on karjalaisen kansan syntymäalueen nimistön vanhin tiedossa oleva lähde, josta tulee esiin kylä- ja henkilönnimistö. Väitöskirjassaan Ronimus käsittelee mm. "aitosuomalaisia" yksilön- ja sukunimiä. Esitellen seuraavaksi eräitä verokirjassa esiintyviä henkilönnimiä: *Селюга Пуккыев* [c. 58]

< patronyymi Pikkujev < karj. *Pikku, Игнатко Игалов [с. 71] < patr. Igalov < karj. *Ihala, Оверкей Лембитов [с. 125] < patr. Lembitov < karj. *Lemmitty, Олексейко Вихтуй [с. 127] < patr. Vihtui < karj. *Vihtui, *Vihta, Федко Ускалов [с. 138] < patr. Uskalov < karj. *Uskali; Игандуй Захаров [с. 135] < yksilönnimi Igandui < karj. *Ihantui, *Ihanta, Ускал Иголин [с. 144] < yksn. Uskal < karj. *Uskali, Вихтуйко Микитин [с. 145] < yksn. Vihtui < karj. *Vihtui, *Vihta. Ronimuksen teoksesta ei kuitenkaan selviä alkuperää suurimmalle osalle nimistöstä. Kiinnostusta herättävät varsinkin sellaiset verokirjassa mainitut kylännimet, joissa rekonstruoituu vanha henkilönnimi.

Aunuksen, Vienan ja Vepsän vanhaa nimiaineistoa sisältyy 1400–1500-lukujen Äänisen viidenneksen verokirjoihin (Pistsovyje knigi Obonežskoj pjatiny 1496, 1563 ja 1582/83 gg.). Irma Mullosen tekemien poimintojen mukaan mainitut asiakirjat sisältävät noin viitisenkymmentä patronyymiä / lisänimeä ja yhtä monta vepsäläiseen ei-kristilliseen henkilönnimeen perustuvaa asutusnimeä, esim. Иванко Оксентьев Мохтой (1563): *mahtai* ‘mahtaja’; Прошко Тимофеев Рянжа (1563): *ränž* ‘lörpö’; Михалко Кушкыев: *kiškaitada* ‘syödä ahneesti’, vrt. *kišk/koda* ‘ahmatti’; Фомка Бурундаев: *buru* ‘helisevä kello, tiuku’, *burundab* ‘helisee’, kuvaannollisesti lörpöstä; Прока Тугыев: vrt. veps. *tuhoi/pä* ‘pörröpää’; Васюк Кярзин: *kärz* ‘rumat kasvot’; Михалка Корбеев: *korb* ‘kaurajauhoista saatu sekoite’, kuvaannollisesti tyhmästä [Mullonen 2015].

Kaikkien yllämainittujen asiakirjojen isona puutteena on se, että verollisten nimiluetteloa laatineet kirjurit eivät tunteneet paikallista kieltä ja oloja, joten nimiaineisto näissä on suuremmalta osaltaan venäläistetty. Esimerkiksi, vuonna 1500 tehdyssä Korelan ujestin verokirjassa 4000 merkitystä nimestä vain 150 henkilönnimeä viittaa sen kantajan karjalaisuuteen.

Kantasuomalaiset yksilönnimet

Käsitellen seuraavaksi *-I(V)*-paikannimissä rekonstruoituvia vepsäläisten ja karjalaisten henkilönnimiä, joita itämerensuomalaisessa nimistötutkimuksessa katsotaan todennäköisiksi muinaisiksi yksilönnimiksi:

Hima, Himo(i), Himottu, Himač, Himačču

Vepsä: *Hima < veps. kn. *Himal (ven. Имолово, Ража-joen keskijuoksu, venäläistynyt alue), *Himač < veps. kn. Himačal (ven. Имоченицы, Ojatin varrella, venäläistynyt alue).

Varsinaiskarjala: *Himo < Himol’a, kylä (ven. Гимолы, Porajärvi); Himol’antalo, talo (Soutojärvi, Mäntyselkä).

Paikannimien pohjana on laajalti itämerensuomalaisessa henkilönnimistössä tunnettu antroponyymi Himo(i), vrt. Himottu ‘toivottu, haluttu (lapsi)’ [Forsman 1894: 167; Nissilä 1975: 124]. Himottu esiintyy yksilönnimenä virolaisia ja liiviläisiä koskeissa varhaiskeskiaikaisissa 1200- ja 1300-luvun asiakirjoissa [Kiviniemi 1982: 36].

1300-luvun alkupuolella Novgorodin tuohikirjeissä mainittu *Gymuj-henkilönnimi on tulkittu alkuaan Himo-antroponyymiksi [esim. Janin, Zaliznjak 1986: 257], mutta Janne Saarikivi [2007: 217] olettaa sen palautuvan Huima, Uimi -nimiin (> sn. Uimonen, Uima, Huima), vrt. *huima* ‘hurja, villi; hullu’.

Äänisen viidenneksen asiakirjoissa v. 1496 ja 1563 on useampia Гимой, Гимоев henkilönnimien mainintoja. Inkeröisalueelta mainitaan kylännimet Himola (v. 1634) ja Himakkala (v. 1500) ja myös on todisteita, että asutusnimien takana olevaa henkilönnimeä on käytetty etunimenä, vrt. Himui Mihalev (v.1539) [Kepsu 2010].

Iha, Ihak, Ihakka, Ihačču, Ihačča, Ihanta

Vepsä: **Ihak* < kn. *Ihakkal (ven. Игокиничи, Alehovštšina, venäläistynyt alue)

Livvi: **Ihačču* < kn. Ihaččal (ven. Игаччала, Alavoinen, Aunus); **Ihakku* < kn. Ihakkal (rinnakkaisnimi Kiidžal, Palalahti, Tulemajärvi).

Kylännimien takana on vanha itämerensuomalainen antroponyymi Iha < suomen app. *iha* ‘iloinen, hyvä (mieli)’, viron *iha* ‘mielihalu, kaipaus; himo’ [Kiviniemi 1982: 38], karjalan *ihala*, *ihalaine* ‘hyvänluontoinen, hyvännäköinen, kaunis, ihana, rakas’ ja *ihalmo* ‘ilo, mielihyvä; hyväilynimenä: lemmitty, kulta’ [KKS]. Suomen esikristillisaikaista henkilönnimijärjestelmää tutkineet A. V. Forsman [1894: 155] ja D.-E. Stoebe [1964: 84] pitävät Iha-henkilönnimeä varmana kantasuomalaisena yksilönnimenä.

Iha-vartalon esiintymistä Suomen henkilö- ja paikannimissä käsitellyt Päivi Rintala tuli päätökseen, että suuri osa nykyisistä iha-alkuisista suku- ja paikannimistä perustuu juuri esihistoriallisiin yksilönnimiin [Rintala 2008].

Affrikaatatallinen -č(V)-johdin (veps. -č, karj. -čču / -čča) palautuu todennäköisesti vanhaan itämerensuomalaiseen -tsa, -tsu-henkilönnimijohtimeen, vrt. suom. Viljatsa ~ Viljatsu, Ihatsu [Forsman 1894: 163, 218]. Denominaalista -kka-johdinta on käytetty myös esihistoriallisten henkilönnimien muodostuksessa, esim. Viljakka [Forsman 1894: 163, 184; Stoebe 1964: 121].

Novgorodin tuohikirjeiden henkilönnimistöä käsitellyt venäläinen tutkija Popov mainitsee Iha-antroponyymin Igatko, Igai, Igamui, Igaltas, Igatša yms. -nimimuotoja [Popov 1958: 98].

Korelan linnanläänin v. 1500 verokirjassa esiintyy myös lukuisia Iha-kantaisia henkilönnimiä: *Iha, *Ihanta, *Ihala, *Ihamieli < Ивашко Иголин [с. 53], Микифорик Игандуев [с. 56], Игнатко Игалов [с. 71], Якуш Игалин [с. 130], Ивашко Игалов [с. 132], Спирко, Федко, Лоривонко Васьковы дети Игамелева [с. 137], Ускал Иголин [с. 144], Июдка Игалин [с. 149], Патрекейко Игалкин [с. 151], Микитка Иголкин [с. 152], Степанко да Онкифко Игаловы [с. 175], Куземка да Игалко Ивановы [с. 175].

Samankantaisia pääosin lisä- ja sukunimien tehtävissä olleita henkilönnimiä mainitaan myöhemmissäkin keski- ja uuden ajan asiakirjoissa: esim. *Игла Павлов* [Vatjan viidenneksen verokirja v. 1568: 165] < *Igla Pavlov* < **Ihala* (Rautu, Käkisalmi); *Иванко Игалов* [Lapin pogostain valvontakirja 1597: 213] < hn. *Igalov* < **Ihala* (Vienan Karjala); *Семенко Ihaleij* [s. 484] < **Ihala*; *Гриска Ihalemben* [s. 484] < **Ihalempi*; *Ондруска Ihandioff* [s. 488] < **Ihanta* [Liperin pogosta, Käkisalmen läänin maakirja 1631].

Joitakin Iha-alkuisia henkilönnimiä voisi katsoa kuitenkin kristillisperäisiksi nimimuunnelmiksi, esim. *Ihanus*, *Ihanta* (< *Johannes*, *Ivan*).

Lemb(oi), *Lemmitty*, *Lempi*

Vepsä: **Lemb(oi)* < kn. **Lemboil* (ven. Лембовичи, Kapša-joen varrella, venäläistynyt alue).

Rekonstruoidun vepsäläisen **Lemboil*-kylännimen pohjana on vanha itämerensuomalainen yksilönnimi *Lemb(oi)*, jolla arvellaan olevan kaksi etymologista selitystä: *Lempi*, *Lempeä*, *Lemmitty* (< *lempi* ‘rakkaus’) ja *Lempo* (suom. *lempo*, veps. *lemboi* ‘paholainen’). Vepsäläisten asuma-alueita kuvaavissa vanhoissa asiakirjoissa mainitaan Lembojev-henkilönnimi, joka palautuu nähtävästi veps. *lemboi* ‘paholainen’-appellatiiviin. Samaan sanasemanttiseen ryhmään kuulunevat itämerensuomalaisessa henkilönnimistössä laajalti tunnetut mytologiset *Rahkoi*, *Hiito*, *Kouko*, *Peikko*. Tällä perusteella pidetään mahdollisena selittää vepsäläisen henkilönnimen alkuperää kahdelta näkökulmalta [Mullonen 1994: 96]. Rakkautta merkitsevä *lempi*-sana on kadonnut pois nykyvepsästä, sen sijaan karjalan – vepsän lähisukukielen – kaikissa murteissa tässä merkityksessä käytössä oleva *lekseemi* ei ole säilynyt henkilönnimenä Karjalan paikannimistössä, vaikka sen jälkiä löytyy nykyisestä karjalaisesta sukunimestä, vrt. *Lembojev* (ven. Лембоев). Se mainitaan Lemmitty-muotoisena myös vanhimmassa karjalaisten ydinaluetta kuvaavassa verokirjassa vuodelta 1500, vrt. **Lemmitty* < Оверкей Лембумов [с. 125], Степанко Лембумов Вихтуй [с. 175].

D.-E. Stoebe pitää *Lempi*, *Lemme*, *Lempa*, *Lempo* -antroponymia (< app. *lempi*, *lempeä*) varmana muinaisena kantasuomalaisena yksilönnimenä sillä perusteella, että se on yksi useimmiten vanhoissa asiakirjoissa esiintyneistä nimistä [Stoebe 1964: 95–97]. Eero Kiviniemi epäilee kaikkien suomalaisessa nimistössä esiintyvien *Lempi*-nimien olevan omaa perua, hänen mukaan ainakin osa niistä on vieraisperäisiä [Kiviniemi 1982: 39].

Rahkoi

Vepsä: **Rahkoi* < kn. *Rahkoil* (ven. Раховичи, Kapšan yläjuoksulla).

Livvi: **Rahkoi* < tn. *Rahkoilu* (Lahti, Säämäjärvi).

Rahkoi-henkilönnimestä on lukuisia mainintoja Suomen keskiaikaisissa asiakirjoissa [Forsman 1894: 129], nimi löytyy myös 1600-luvun Karjalan aluetta käsittelevistä kirjallisista lahteista [Popov 1949: 54]. Suomalaisessa

nimitutkimuksessa nykyinen Rahkonen-sukunimi katsotaan lähinnä savokarjalaiseksi sukunimeksi, joka osaksi saattaisi olla yhdistettävissä Rahikaiseen: Rahikka < saksalaisesta Raho, Raholf, Rachimbald jne. Nimen alkuperäksi arvellaan myös Agricolan mainitseman hämäläisten pakanallisten jumalien joukossa olleen Rahko-nimen: “Rahcoi, Cuun mustaxi iacoi”, uskomusolento ‘joka hävittää kuun’ [Sukunimet 2000: 516–517]. Vertaa myös *rahko* vepsässä ‘uuminhaltia’ [SSA].

Henkilönnimen etymologian kannalta samankaltaisia saattavat olla myös karjalaiset sukunimet *Lembojev* (lempo), *Gižijev* (hiisi) ja *Kurkojev* (kurkoi), joiden taustalla arvellaan olevan mytologisen olennon nimi [Mullonen 2008a: 163]. Lyydiläisen Munjärven Kurhanat-suvulla voisi olla sama alkuperä: In. Kurhan < Kurho, Kurko < app. *kurko* ‘hiisi, lempo, paholainen, kummitus’. Verrattavissa on myös samalta alueelta oleva kylännimi Kurhanansel’g (ven. Курганова Сельга) ja vepsäläinen Kurganov-sukunimi sekä aunuksenkarjalainen Kurkojev-sukunimi.

Suomalaisten muinaisuskoon viittaaviin mytologisiin nimiin on luettu myös vanhoja yksilönnimiä kuten Ahti, Kaleva, Tapio, Väinö [Kiviniemi 1982: 43; Nimistöntutkimuksen perusteet 2008: 208].

On mielenkiintoista, että kyseisen Rahkoi-antroponyymin jälkiä on löydetävissä venäläistyneen Äänisen pohjoisrannikon paikannimistöistäkin, esim. kylännimessä Rohkatševskaja ~ Rovkatševskaja (ven. Рохкачевская ~ Ровкачевская) < hn. **Rahkač*. On säilynyt tieto myös kylän ensimmäisestä asukkaasta, jonka sukunimessä piilee rekonstruoitu henkilönnimi: Zaharka *Rahkatšev* (ven. Захарка Рахкачев) [Mullonen 2008: 153–154]. Karjalaiseen nykysukunimistöön kuuluu todennäköisesti samaa taustaa oleva *Rahkojev*-sukunimi (ven. Рахкоев).

Kaib(oi), Kaibas, Kaipa, Kaipo

Vepsä: **Kaib(oi)* < kn. **Kaibol* (ven. Кайбола ja ven. Кайбоницы, kumpikin kylä on Syvärin vepsäläisten entisiä asutuksia).

Varsinaiskarjala: **Kaibas* < kn. Kaibas, Kaibahanpiä (Suojärvi). Venäjänkielisissä vanhoissa kirjallisissa lähteissä samalta Raja-Karjalan alueelta v. 1500 mainitaan Kaibalskoi navolok, jonka alkuperäinen muoto lienee **Kaibalanniemi*.

Irma Mullonen yhdistää vepsäläisessä kylännimessä rekonstruoituvan **Kaib(oi)*-antroponyymin verbiin *kaivata* ‘havitella; odotella’ (‘haluttu; odotettu lapsi’) [Mullonen 2007: 848]. Henkilönnimi oli käytössä suomalaisten, karjalaisten, eestiläisten ja liiviläisten keskuudessa. Raja-Karjalan kylännimen takana on näkyvissä Kaibas-nimimuunnelma. Viljo Nissilä huomauttaa, että muinaissuomalaiseen henkilönnimistöön kuuluvat monet erijohtumiset antroponyymit (vrt. Kaipa, Kaipia, Kaipio, Kaivas, Kaipo), joihin sisältyvien nimien yhteenkuuluvuudesta ei jokaisessa tapauksessa voi olla varma [Nissilä 1975: 124].

Vald(oi), Valta

Vepsä: **Vald* < kn. **Valdal* (ven. Валданицы, Ojatin entinen vepsäläisen alue).

Karjala: **Valdoi* < kn. Waldoila [Nissilä 1975: 127]. Nyky-Karjalan *-la*-loppuisesta paikannimistöstä ei löydy Valta-kantaista paikannimeä. Henkilönnimen todelliseen olemassaoloon viittaa karjalaisen heimon ydinalueelta vuonna 1589 merkitty kylännimi Waldoila (Hiitola). Epävirallisena sukunimenä Valtonen on merkitty vuonna 1894 Venäjän Keski-Karjalan Repolassa ja Rukajärvessä [SNA, Itä-Karjalan kokoelma].

Kyseistä Valta, Valto-nimeä Stoecke pitää varmana muinaissuomalaisena yksilönnimenä [1964: 130–135, 140]. Keskiaikaisissa asiakirjoissa Suomen ja Eestin alueilta on lukuisia Valta, Valto, Valtari, Valtama-nimien mainintoja, joiden pohjana on germaaninen lainasana *valta* ‘voima, mahti, herruus; valta-alue, pitäjä’. Vanhaan itämerensuomalaiseen yksilönnimistöön oli kuulunut kaksiosaisia nimiä, joissa *valta* esiintyy useimmiten jälkiosana: Vihavalta, Ikävalta, Kaukavalta, Lempivalta. Kiviniemen mukaan viimeksi mainitut saattavat perustua vieraaseen nimimalliin, vrt. esim. Harjavalta on suora laina germaanisesta nimistöstä [Kiviniemi 1982: 40]. Edellä käsiteltyjen *-l(V)-*nimimallin paikannimien kantana esiintyy todennäköisesti vanha itämerensuomalainen yksilönnimi: *Hima, Himoi, Himač, Ihač, Ihačču, Ihakku; Lemboi; Rahkoi; Kaibo(i), Kaibas; Vald, Valdo(i)*. Kantasuomalaisten henkilönnimien pohjana on tavallisesti rakkautta, iloa, hyväntahtoisuutta ja rauhaa osoittavaa leksikaalista ainesta. Monet näistä palautunevat kaksiosaisiin henkilönnimiin tyyppiä Ikäheimo, Lempivalta, Kaukamieli.

Eläinaiheiset henkilönnimet

Hyvin useassa karjalaisessa ja vepsäläisessä kylännimessä on näkyvissä ns. eläinaiheinen henkilönnimi. Suurimmalta osaltaan nämä ovat vanhoja perinteisiä lisänimiä. Eläinten nimityksiä sisältävien henkilönnimien nimeämisperusteet eivät ole aivan selviä. Aikaisimmissa nimistötutkimuksissa erilaisia luontoon viittaavan ilmauksen sisältäviä nimiä katsottiin muinaissuomalaisten varsinaiseen yksilönnimityyppiin kuuluviksi [esim. Forsman 1894]. Näin, varsinkin suurimpien petojen nimityksiä sisältäviä eläinaiheisia henkilönnimiä on yhdistetty toteemiuskoon, minkä mukaan ihmisellä tai suvulla, johon hän kuului, oli tietty suojelutoteemieläin. Myöhemmissä tutkimuksissa [esim. Nissilä 1975; Kiviniemi 1982; Mullenen 1994] näitä on pidetty usein lisäniminä, joilla olisi selvä funktio – nimettävän luonnehtiminen. Hyvin monia eläinten nimiä käytetään hyväksi metaforissa ja vertauksissa, siksi niitä voi pitää vertailuniminä, esim. karjalan kielessä *lokka* ‘suuresta olennosta tai laiskasta’, *kuikka* ‘pienestä ja laihasta; nälkäisestä ja janoisesta; väärsäärisestä’, *kiiski* ‘vastahakoisesta’, *ahmo* ‘syömäri; ahmatti,

alneesta esim. ruoalle'; *harakka* 'kevytmielisestä; lavertelijasta, lörpöttelijästä'; *härkä* 'vetelehtivästä'; *meččo* 'liian nöyrästä'; *koppala* 'vanhasta raihnaasta ihmisestä'. Huomiota ansaitsevat monilukuiset lintujen nimityksiä sisältävät karjalaisten lisänimet ja sukunimet. Suuressa suosiossa ne ovat myös vepsäläisten – karjalaisten lähisukulaisten – keskuudessa, kun taas savolaisessa sukunimistöissä lintunimistö ei ole tavallista. Voisi olettaa, että ne ovat suhteellisen myöhäissyntyistä nimikerrostumaa, sillä esimerkiksi kansanrunoudessa ja Kalevalassa lintujen nimityksiä käytetään naisten ja lapsien hellittelynimityksinä [Häkkinen 2002: 53], kun taas karjalainen lintusukunimistö sisällöltään vaikuttaa negatiiviselta. Tämmöset nimet ovat olleet luultavasti henkilökohtaisia epävirallisia lisänimiä, jotka myöhemmin ajan kuluessa ovat siirtyneet sukunimien tehtävään. Nimenantomotiiveista puhuessa pitää ottaa huomioon myös se, että eläinaiheiset henkilönnimet saattavat viitata nimenkantajan metsästyks- ja kalastusharrastuksiin, pyyntitaitoon, sekä erilaisiin tapahtumiin.

Harag, Harakk(a)

Vepsä: **Harag* < kn. Haragal (ven. Харагиничи, Kapša-joen yläjuoksu). Myös Haragonmäätz, kylä (ven. Сорокина Гора, Šoutjärvi, Äänisvepsä).

Raja-Karjala: **Harakka* < tn. Harakkala (Suojärvi).

Vienan Karjala: **Harakka* < kn. *Harakkala < Harakkalanjärvi (Jyskyjärvi)

Tverin Karjala: **Harakka* < Harakanpelto (Zalazino).

Lyydi: **Harakk* < tn. Harakankodi (Pyhäjärvi); **Harag* < Haragouštšin, peltomaa (Munjärvi, Ješšu).

Paikannimien pohjana on antroponyymi, joka tunnetaan lisänimenä kaikissa karjalan kielen murteissa, lyydissä sekä vepsässä, esim. veps. lisänimi *Haragohn'e* (vir. sn. Sorokin); lyydi *Harakke* (vir. Sorokin, Peldoine); livvi *Harakku* (Uhmoila, Säämäjärvi); varsinaiskarjala *Harakka*, lisänimi (Salmi, Suojärvi, Mäntyselkä). Henkilönnimi pohjautuu linnunnimeen *harakka*, jota niin karjalassa kuin vepsässäkin käytetään kuvaannollisesti, esim. 'tyhjää nauravasta', 'kevytmielisestä', 'lörpöttelijästä'. Toisaalta nimien takana osaksi voisi arvella ortodoksista perua olevaa Hariton-ristimänimeä, vrt. karj. Hari, Harja (< Haria), Harikka, Haroi < ven. Hariton [Nissilä 1976: 60].

Hybjoi, Hyybii, Hyybie

Vepsä: **Hübjai* (app. *hybj* 'hyypiä; huuhkaja') < kn. Hübjoil (ven. Юбеничи, Ojatin yläjuoksu).

Livvi: **Hyybii* < kn. Hyybii (Prääsä).

Raja-Karjala: **Hyybie* < Hyybienvuara (Suojärvi).

Vienan Karjala: **Huuhka* (app. huuhkaja) < kn. Huuhkala (Vuonainen).

Lisänimenä Hyypiä, Huuhkaja voisi selittää tämän pohjana olevan appellatiivin kuvaannollisesta merkityksestä 'yksinäinen, muita vierova, hiukan omituinen ihminen' [SSA].

Habuk, Havukka, Haukka

Vepsä: **Habuk* (app. *habuk* ‘haukka’) < kn. *Habuk* (Šoutjärvi, Äänisvepsä).

Lyydi: **Habuk* < *Habukann’iemak*, -mägi, -peldniitud, -peldonpol’ankad (Kuujärvi).

Raja-Karjala: **Haukka* < kn. *Haukanvuara* (Suojärvi). Perimätiedon mukaan kylän perustaja oli Haukka-niminen mies.

Vienan Karjala: **Haukka* < *Haukankodi* (Lehto, Tunkua, Suikujärvi).

Paikannimien kantana oleva Haukka, Habuk-lisänimi on jättänyt jälkiään vepsäläisten, lyydiläisten ja karjalaisten viralliseen venäläiseen sukunimistöönkin: vepsä *Gabukov* (< ln. *Habukah’n’e*, Šokšu, Äänisvepsä); lyydi *Gabukov* (< ln. *Habuk*, Kuujärvi), varsinaiskarjala *Gavkin* (< ln. *Haukka*, Lehto, Suikujärvi, Tunkua). Vrt. myös suomalaisessa sukunimistössä: Haukka(nen), Havukka, Havukainen [Sukunimet 2000].

Haukka, Havukka, Hyypiä-antroponyyminä esiintyy Laatokan Karjalan ja Kannaksen aluetta koskevissa 1500–1600-luvun vanhoissa asiakirjoissa [Nissilä 1975: 135].

Näin ollen nimiaineiston analysointi viittaa siihen, että linnusto on jättänyt huomattavat jäljet karjalaisten ja vepsäläisten henkilönnimistöön (*veps.* ln. *Kukoihiin’e* < app. *kukoi* ‘kukko’, ln. *Kägehn’e* < *kägi* ‘käki’, ln. *Variz* < app. *variz* ‘varis’; *lyydi* ln. *Kajag I. Gajag* < app. *kajag* ‘kajava, lokki’, ln. *Habuk* < app. *habuk* ‘haukka’; *karj.* ln. *Šorža* < *šorža* ‘sorsa’, ln. *Närhizet* < app. *närhi*, ln. *Lokku* < app. *lokku* ‘lokki’; ln. *Meččoset* < app. *meččo* ‘metso’).

Ruokasanat pejoratiivisissa henkilönnimissä

Karjalainen ja vepsäläinen nimiaineisto osoittaa sitä, että ruokasanat esiintyvät hyvin usein epävirallisten lisänimien pohjana. Niiden avulla itäsuomalaisessa nimistössä on kuvattu nimettävän henkilön tyhmyyttä ja muita vastaavia henkisiä ominaisuuksia. Tällaisten nimien lähtökohtana ovat olleet puurojen sekä jauhoista tehtyjen leivonnaisten nimitykset.

Kokko, Kokoi

Vepsä: **Kokoi* < kn. *Kokoil* (Ojatin alue).

Livvi: **Kokoi* < kn. *Kokkoilu* (Suuri Kokkoilu, Pieni Kokkoilu, Aunus), (Vieljärvi, Prääsä).

Raja-Karjala: **Kokoi* < kn. *Kokoinniemi*; kn. *Kokoinpesä* (Hyrssylä, Suojärvi).

Vienan Karjala: **Kokko* < tn. *Kokkol’a* (Paanajärvi).

Keskiaikaisten asiakirjojen henkilönnimistöaineisto osoittaa, että Kokko antroponyyminä oli suosittu laajalti itämerensuomalaisessa nimistössä: suom. Kokko, Kokkoi, eest. Koeck, Cock(e), liiv. Kocke, Cokes [Forsman 1894: 127; Stoebe 1964: 38–39]. Kyseinen henkilönnimen on uskottu palautuvan

linnunimeen *kokko* ‘kotka’. Appellatiivisella tasolla sanaa kokko ei kuitenkaan tunneta vepsässä eikä livvissä, vaan niissä tästä linnusta käytetään nimitystä *kotka*. Karjalan kielen murteissa tunnetaan myös erästä leivonnaista merkitsevä sana *kokko*, *kokoi* (vrt. esim. ‘leipäkakkara’, ‘ruis- ja kaurajauhoista tehty leipä’), jonka pohjalta mm. Raja-Karjalan Hyrsylän karjalaiset selittävät Kokoinniemi-nimisen kylännimen: “lapset leikkivät hietikössä rannalla ja tekivät kokoida” [SNA, pitäjäkokoelmat].

Patronymisen lisänimen tehtävissä Kokko-nimi on ollut aktiivisessa käytössä koko nykyisten karjalaisten asuma-alueella (livvi, varsinaiskarjala sekä pohjoislyydi), se on kytkeytynyt myös viralliseen sukunimistöön: vir. sn. *Kokkov* ja *Kokkojev* (ven. Кокков, Коккоев; Vienan Karjala), *Gokkojev* (ven. Гоккоев, Aunuksen Karjala). Osaa nimistä voi tulkita ortodoksiseen ristimänimistöön kuuluvan Foka-miehennimen pohjalta, vrt. livv. *Gokkojev* < Hokkazet < karj. rn. Hokka < ven. Foka (Hokanmägi, Vuohtajärvi).

Kak(k)oi, Kak(k)i

Vepsä: **Kak(k)oi, Kak(k)i* < kn. Kakoil ~ Kakiil (ven. Каковичи, Syväri-Ojatin vedenjakajalla).

Varsinaiskarjala: **Kakki* < tn. Kakkila (Suuluasaari, Lentiera).

Paikannimissä on havaittavissa antroponyymi Kak(k)o, Kak(k)i, jota Stoebe käsittelee varmaksi kantasuomalaiseksi yksilönnimeksi muiden vanhan itämerensuomalaisen 23 kantanimen luettelossa [Stoebe 1964]. Myöhemmissä tutkimuksissa kyseistä antroponyymiä arvellaan ainakin osaksi olevan ruotsalaista perua, esim. sukunimi Kakki(nen) perustunee ruotsalaiseen lisänimeen Kagg(e) ‘nassakka (pieni tynnyri)’, vrt. kuv. ‘pienestä ja lihavasta’ [Nissilä 1975; Kiviniemi 1982]. Toisaalta samankantaista Suomen nykynimistöön kuuluvaa Kakkinen-sukunimeä pidetään selvästi itäsuomalaisena ja sen mainitaan 1500–1600-luvun kirjallisissa lähteissä olleen käytössä Karjalankannaksella ja Savossa [Sukunimet 2000].

Kentänimiaineistomme osoittaa, että kyseessä oleva henkilönnimi sisältyy varsinaiskarjalan eteläkarjalaisten murteiden alueen epäviralliseen karjalaisperäiseen sukunimistöön: *Kakkizet* (Vuoziemi, Repola), *Kakkozet* (Čolkka, Repola), *Kakkozet* (Kl’uššinvuara, Porajärvi), *Kakkizet* (Jängjärvi, Mändyselgä), *Kakkizet* (Niikananvuara, Suikujärvi). On merkittävä, että Kakkizet epävirallisena sukunimenä tunnettiin myös mainitussa Lentieran Suuluasuaren kylässä, josta löytyy Kakkila-niminen talo. Viralliseen venäläiseen sukunimistöön antroponyymi on päässyt *Kakkojev* ja *Kakkin-*muotoisina.

Henkilönnimen mahdolliseksi omaperäiseksi taustaksi esitetään laajalti itämerensuomalaisissa kielissä tunnettua lekseemiä *kakko*, *kakku*, jonka merkitys on ‘leivonnainen; leipä, limppu’; myös suom. *kaakku*, karj. *koakku*, *koakko* ‘paakku, kokkare’ [SSA] [Mullonen 1994: 89].

Hörpö(i)

Vepsä: **Hörpoi* < kn. **Hörpöil* (ven. Герпиничи, venäläistynyt Ojatin alue) [Mullonen 1994: 94; Mullonen 2007: 849].

Livvi: **Hörpö* < kn. *Hörpöl* (ven. Гerpеля, Aunus).

Kylännimissä rekonstruoituu lisänimi Hörpö(i), joka vuorostaan palautunee appellatiiviin *hörppö*, *hörppä* ‘lörppö; vetinen lihavelli’ [SMS], vrt. veps. *hörpötada* ‘lörpöttää, sanoa tyhjänpäiväisyyksiä’ [SVJ] tai sama karj. *hörpötyä*, sekä karj. *hörpötteä* ‘lerpattaa (huulista)’ ja *hörppö*, *hörpoi* ‘löysä ruispuuro’ [KKS]. Merkittävää on se, että sekä vepsäläinen että livviläinen nimistö on säilyttänyt samankantaisen lisänimen, mikä viittaa todennäköisesti näitten yhteisiin alkulähteisiin tai samojen nimeämismallien käyttöön.

On mielenkiintoista huomata, että erilaisten yksinkertaisten leivonnaisten sekä puuroruokien käyttäminen karjalaisten ja vepsäläisten perinteisessä henkilönimistössä on hyvin yleistä. Tutkiessaan suomen murteiden sanastoa kielitieteilijä Veikko Ruoppila oli jo 1950-luvulla kiinnittänyt huomiota siihen, että ‘pehmeää, löyhää, huokoista’ merkitseviä sanoja käytetään myös kuvaannollisesti ‘vajaaälyisistä’ ihmisistä [Ruoppila 1955]. Nykyisin tätä samaa käsitystä on artikkeleissaan kehittänyt petroskoilainen nuori etnolinguisti Jelizaveta Loginova. Näin, suomen murteissa vähä-älyistä ihmistä kuvataan lukuisilla pehmeää hunta, maata, vanhoja juureksia, voita tai taikinaa merkitsivillä leksemeillä: auhto / hauhto, hohelo, hohka, hohko, hupsakka, hupsakko, höppä, höppänä, höppö, pöherö, pöperö / pöpperö. Samoin vähämielisyyttä osoittavat kuvaannolliset ilmaukset, jotka pohjautuvat huokoista ainetta merkitseviin sanoihin: hapera / hapero / haperi, höttelö / hötterö, haplakka / haplakko / huplakko, kohelo / koheli, kohmo / kohmu [Loginova 2012: 197–200]. Esitellen seuraavaksi muutaman esimerkin leivonnaisten ja puurojen nimityksiä sisältävistä karjalaisista ja vepsäläisistä lisänimistä, jotka kuvaavat nimettävän vähämielisyyttä ja tyhmyyttä. Jotkut näistä henkilönnimistä ovat kytkeytyneet paikannimistöönkin.

Pudr(oi), Putro

Vepsä: In. **Pudr* < kn. **Pudrol*. Sekä myös In. *Pudr*, esim. *Pudrohn’e* Maksim (etelävepsä Čaigla) [SNA, vepsäläinen kokoelma]. Nimien takana on todennäköisesti veps. *pudr* ‘rukiisista tai ohrajuauhoista keitetty puuro’ [SVJ].

Karjala: In. **Pudroi* < tn. Pudroinkodi (Veškelys, Aunuksen Karjala) < karj. *putro* ‘(vars. eril. piirakoiden täytteeksi tarkoitettu) suurimo- t. ryynipuuro’ [KKS]. Vrt. myös *Putro-Hilippä* ~ *Putrosen* Hilippä (Raja-Karjala). Mainintoja 1600-luvun asiakirjoissa: *Putro* Sergi, Ignata Jormananoika *pudro* [1618], Ignatko *Pudroieff* [1631].

Korboi

Vepsä: In. *Korb(oi)* < kn. Korbal ~ Korbol (ven. Korbinitši). Vepsäläisessä nimistöntutkimuksessa pidetään mahdollisena selittää kyseinen henkilönnimi *korboi*-lekseemin pohjalta: ‘kaurajuauhoista saatu sekoite’ [Mullonen 2015].

Čupukka

Karjala: vir. sn. Чупуков – Čupukov < In. Čupukku (Aunuksen Karjala), karj. app. čupukku, čupoi ‘piirakka, jonka ohuelle kaura- t. ohrataikinasta tehdylle ja paistinpannussa kypsennetylle kuorelle levitetään puuroa ja joka taitellaan kolmikulmaiseksi syötäväksi’ [KKS].

Vrt. myös Suomen raja-karjalaisten käytössä oleva sukunimi Tschupukka (2 Salmi). Salmin Mantsinsaaren Oritselässä tunnettu ja vuonna 1930 muutetun Tsupukka-nimen kantajilla on pitäjänkokoelmaan talletetun tiedon mukaan aiemmin ollut sukunimi Blinkoff (Salmin pk.) [Patronen 2009: 144–145]. Viimeinen näyttäisi suoralta käännökseltä, vrt. ven. *blin* ‘blini’, siis karjalaksi *čupukka*.

Huomiota herättää pejoraatiivisten eli väheksyvien karjalaisten ja vepsäläisten henkilönnimien runsaus. Näitä ovat ns. epäviralliset lisänimet (liikanimet, köllit), jotka saattavat myös periytyä sukupolvelta toiselle. Ajan kuluessa lisänimi oli usein kadottanut halventavan merkityksensä ja siirtyi myöhemmin virallisen sukunimen tehtäviin, eli osoittamaan nimettävän henkilön kuulumista tiettyyn sukuun, hänen yksilöintinsä. Jotkut näistä lisänimistä ovat tulleet monien vuosisatojen takaa henkilönnimikantaisen paikannimistön ansiosta, kuten esim. *Kurik*, *Kurikka*:

Vepsä: **Kurik* < kn. **Kurikal* (ven. Курикиничи, Kapša-joella), sekä Kurikmägi ~ Kurikanmägi (kylä, etelävepsä).

Lyydi: **Kurik(k)e* < pellonnimi Kurikouštšin (Munjärvi, Kortašši, pohjoislyydi).

Karjala: **Kurikka* < kn. Kurikanselgä (Mäntyselkä).

Paikannimissä on havaittavissa lisänimi Kurik, Kurikke, Kurikka, jonka vastineita löytyy esim. suomalaisesta ja virolaisesta vanhasta henkilönnimistöstä. Antroponyymien pohjana on kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä esiintyvä appellatiivi *kurikka* ‘nuija; kurikka’. Lisänimen nimeämisperusteeksi sopisi hyvin sanan kuvaannollinen merkitys, vrt. karj. *kurikkapää* ‘isopäisestä’ [KKS], vepsä ‘isopäisestä, ei hyvin viisaasta’ [Mullonen 2007: 849]. Viljo Nissilän mukaan henkilönnimi Kurikka palautuu työkalun nimeen kurikka ‘lyöntipuu’ ja viittaa nimettävän ammattiin tai harrastuksiin [Nissilä 1975: 152–154]. Nimen ensimmäinen selitys näyttää todennäköisemmältä, vaikka tämän lisäksi ainakin osalla itäsuomalaisista Kurikka-nimistä voisi olla kristillinen alkuperä. Näin viitaten siihen että Kurikka-nimi on merkitty muistiin v. 1582 Jaakkimassa ortodoksin yksilönnimenä – Kwricka Onikifarason – suomalaisen sukunimistön tutkijat Pirkko Mikkonen ja Sirkka Paikkala pitävät mahdollisena tulkita kyseistä henkilönnimeä ortodoksisperäiseksi: vrt. ven. m. Gurij, Gurja, Gura > karj. Kurikka. Suomen puolella Kurikka-sukunimisiä asuu maan länsi- ja eteläosissa. Nimestä on vanhoissa asiakirjoissa sekä läntisiä että itäisiä tietoja [Sukunimet 2000: 266].

On mainittava, että livvinkarjalaisen Säämäjärven Lietteen kylän talonnimistö on säilyttänyt kyseisen lisänimen: *Kurikantalo*, kun talon asukkaiden virallisena sukunimenä on *Kurikov* < ln. *Kurikku* [KNA, Petroskoi]. Tällä tavoin vanha lisänimi on näkyvissä nykyisessä sukunimistössä.

Yhteenvedo

Karjalainen ja vepsäläinen ei-kristillinen henkilönnimistö näyttää kehittyneen samojen nimimallien mukaisesti. Karjalaisissa ja vepsäläisissä henkilönimissä on huomattava määrä yhteisiä esikristillisiä nimikantoja. Perinteisten henkilönnimien takana on hyvin usein samat nimeämisperusteet ja rakenteet. Vanhojen yhteistä perua olevien itämerensuomalaisten henkilönnimien (esim. Iha, Lempi, Himo) lisäksi erottuvat ns. eläinaiheiset nimet (Rebo(i), Harakk(a), Kondi(e)) ja sisällöltään selvästi pejoratiiviset lisänimet (esim. Hörpö(i), Pudr(o), Kurikk(a)). Kylännimistön ja vanhojen dokumenttien lisäksi aineistoa löytyy myös nykyisistä henkilönnimistä. Osa vanhoista perinteisistä henkilönnimistä on säilynyt virallisissa karjalaisten ja vepsäläisten sukunimissä sekä kansan käytössä olevissa epävirallisissa lisänimissä, jotka kertovat vuorostaan monen muinaisen nimen todellisesta olemassaolosta.

Kirjallisuus

Forsman A. V. Tutkimuksia Suomen kansan persoonallisen nimistön alalla I. Helsinki, 1894.

Häkkinen K. Eläin suomen kielessä // Eläin ihmisen mielenmaisemassa / Toim. Henni Ilomäki ja Outi Lauhakangas. SKS. Helsinki, 2002. S. 26–62.

Janin V. J., Zaliznjak A. A. O pribaltijsko-finskom jazykovom materiale v Novgorodskih berestjanyh gramotah // Novgorodskije gramoty na bereste iz raskopok 1977–1983 godov. Moskva, 1986. S. 257–259.

Karlova O. L. -L-ovaja model’ v toponimii Karelii (avtoreferat). Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU. 2004. 23 s.

Karlova O. L. “Uličnyje” familii karelov v natšale XX veka (po ekspeditsionnym materialam E. V. Ahtia) // Bubrihovskije tštenija: Voprosy istoričeskogo razvitija i sovremennoje sostojanije jazykov i kul’tury pribaltijsko-finskih narodov. Sb. nautšnyh statej. Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU, 2011. S. 36–43.

Kepsu S. Inkerin pogostat. Vanha nimistö ja asutus. Käsikirjoittajan haltuussa oleva. 2010.

Kiviniemi E. Rakkaan lapsen monet nimet. Suomalaisten etunimet ja nimivalinta. Espoo, 1982.

Loginova E. Formirovanije jazykovogo obraza intellektual’no nepolnotsennogo čeloveka v finskih narodnyh govorah // Trudy Karel’skogo nauchnogo tsentra RAN. N 4. Petrozavodsk, 2012. S. 197–201.

Mullonen 2015 – <http://blogs.helsinki.fi/personal-name-systems/files/2015/11/Perinteistä-vepsäläistä-hlönnimistöä-asutusnimissä-Mullonen.pdf> Henkilönnimisysteemit – seminaari, 11–12.11.2015, Helsinki.

- Mullonen I. I. Otšerki vepsskoj toponimii. Sankt-Peterburg: Nauka, 1994.
- Mullonen I. I. Toponimija Prisivir'ja: problemy etnojazykovogo kontaktirovanija. Petrozavodsk, 2002.
- Mullonen I. I. Das wepsische Personennamensystem // Eropäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Herausgegeben von Andrea Brendler und Silvio Brendler. Hamburg, 2007.
- Mullonen 2008 – Mullonen I. I. Toponimija Zaonežja: slovar' s istoriko-kul'turnymi kommentarijami. Petrozavodsk, 2008.
- Mullonen 2008a – Mullonen I. I. K istokam vepsskih familij prionežskih vepsov // Istoriko-kul'turnoje nasledije vepsov i rol' muzeja v žizni mestnogo soobsh'estva. Sbornik nautšnyh trudov. Petrozavodsk, 2008.
- Mullonen I. Vepsän etnisen alueen muodostuminen paikannimistön perusteella // Vepsä. Maa, kansa, kulttuuri / Toim. Lassi Saessalo. SKS. Tampere, 2005.
- Nimistöntutkimuksen perusteet 2008 – Ainiala Terhi, Saarelma Minna ja Sjöblom Paula. Tietolipas 221. SKS. Helsinki, 2008.
- Nissilä V. Kuujärven paikannimistöstä // Virittäjä. 1947. N 1. S. 13–19.
- Nissilä V. Suomalaista nimistötutkimusta. SKST 272. Helsinki, 1962.
- Nissilä V. Suomen Karjalan nimistö. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön julkaisuja. Joensuu, 1975.
- Nissilä V. Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö // Viipurin Suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita I. Helsinki, 1976. S. 43–172.
- Patronen O. Rajakarjalainen sukunimistö ja sen muuttuminen. Lisensiaatintyö. Helsingin yliopisto, 2009.
- Prinen K. Savon historia II-1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534–1617. 1982.
- Popov A. I. Materialy po toponimike Karelii // Sovetskoje finno-ugrovedenije. Petrozavodsk, 1949. S. 46–66.
- Popov A. I. Pribaltijsko-finskije litšnyje imena v Novgorodskih berestjanyh gramotah // Pribaltijsko-finskoje jazykosnanije. Vypusk XII. Petrozavodsk, 1958. S. 95–100.
- Rintala P. Ihalasta Ihaviljankorpeen. Iha-vartalo Suomen henkilön- ja paikannimissä. SKS. Suomi 194. Helsinki, 2008.
- Ronimus J. V. Novgorodin vatjalaisen viidenneksen verokirja v. 1500 ja Karjalan silloinen asutus. Yliopistollinen väitöskirja. Joensuu, 1906.
- Ruoppila V. Vajaaälyisen kuvaannollisia nimityksiä // Virittäjä. 1955. S. 150–170.
- Saarikivi J. Finnic Personal Names on Novgorod Birch Bark Documents. Slavica Helsingiensia 32. Helsinki, 2007. S. 196–246.
- Stoebe D.-E. Die alten ostseefinnischen Personennamen in Rahmen eines urfinnischen Namensystems. Hamburg, 1964.
- Sukunimet 2000 – Mikkonen Pirjo, Paikkala Sirkka. Sukunimet. Helsinki, 2000.
- Vahtola J. Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Rovaniemi, 1980.

Sanakirjat

- KKS – Karjalan kielen sanakirja. 1–5. LSFU XVI. Helsinki, 1968–1997.
- SMS – Suomen murteiden sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 36.
- SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1–3. SKST 556 – KKTKJ 62. SKS–KKTK. Helsinki, 1992–2000.

SKJ – Slovar’ karel’skogo jazyka (livvikovskij dialect) / Sost. G. N. Makarov. Petrozavodsk, 1990.

SVJ – Slovar’ vepsskogo jazyka. Zaitseva M. I., Mullonen M. I. 1972.

Asiakirjalähteet

Käkisalmen läänin maakirja 1618 // Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Joensuu; Petroskoi, 1987.

Käkisalmen läänin maakirja 1631 // Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Joensuu; Petroskoi, 1987.

Käkisalmen läänin verokirja 1590 // Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Joensuu; Petroskoi, 1987.

Lapin pogostain valvontakirja vuodelta 1597. = Дозорная книга лопских погостов 1597 // Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Joensuu; Petroskoi, 1987.

Novgorodin vatjalaisen viidenneksen verokirja v. 1500 = Переписная окладная книга Водской пятины Корельского уезда 7008 (1500) года. Временник императорского московского общества истории и древностей российских. Книга 12. М., 1852.

Suojuojen volostin valvontakirja vuodelta 1598. = Дозорная книга Шуерепокой волости 1598 г. // Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Joensuu; Petroskoi, 1987.

Vatjan viidenneksen vuosien 1539 ja 1568 maakirjojen Korelan lääninä käsittelevät osat. = Писцовая книга Водской пятины 1539 г. Писцовая книга Водской пятины 1568 г. // Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta. История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Joensuu; Petroskoi, 1987.

Äänisen pogostien maakirjat 1496 ja 1563. = Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563. Материалы по истории народов СССР под общей ред. М. Н. Покровского. В. 1. Материалы по истории Карельской АССР, издательство Академии наук СССР. JL, 1930.

Lähteet

SNA – Suomen Nimiarkisto. Kotimaisten kielten keskus. Helsinki

KNA – Karjalan Nimiarkisto. Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti. Petroskoi.

Oma kenttämatoilla poimittu henkilönnimistöaineisto.

Lyhenteet

app. – appellatiivi	pn. – paikannimi
eest. – eesti	rn. – ristimänimi
esim. – esimerkiksi	sn. – sukunimi
hn. – henkilönnimi	suom. – suomi
karj. – karjala	tn. – talonnimi
kn. – kylännimi	v. – vuosi
kuv. – kuvaannollisesti	ven. – venäjä
liiv. – liivi	veps. – vepsä
livv. – livvi	vir. – virallinen
ln. – lisänimi	vrt. – vertaa
patr. – patronyymi	yksn. – yksilönnimi
pk. – pitäjänkokoelma	

ЛАНДШАФТНЫЙ ТЕРМИН *PURO* В ТОПОНИМИИ КАРЕЛИИ*

Географические названия традиционно используют в качестве источника по истории заселения того или иного региона. Не является исключением в данном случае и Республика Карелия. Исследования последних лет, проводимые в Институте ЯЛИ КарНЦ РАН под руководством Ирины Ивановны Муллонен, показали, что топонимия является важным источником в изучении истории этого региона.

В топонимии важную роль играет местная географическая лексика, которая представлена в огромном количестве географических названий. Ее ареальное изучение является, как нам представляется, одним из перспективных направлений как в рамках исследований по самой топонимии, так и в работах этноисторической направленности. Обусловлено это тем, что распространение целого ряда местных географических терминов может указывать на связи той или иной территории с другими языковыми и диалектными зонами. Таким образом, появление в топонимии и апеллятивной лексике исследуемого региона некоторых географических терминов может быть увязано с освоением Карелии представителями различных этнических групп, например, саами, вепсами, финнами, русскими.

Явным восточнофинским (саволакским¹) типом на территории Карелии является топонимическая модель с детерминантом *-puro*. Об этом свидетельствует, например, карта-схема распространения названий данного типа. На топографической карте Финляндии представлено на сегодняшний день 9700 названий с детерминантом *-puro*, из которых 8600 – это названия ручьев [Suomalainen paikannimikirja: 354].

Основной ареал распространения данной топонимической модели – это центральные и восточные части современной Финляндии, главным

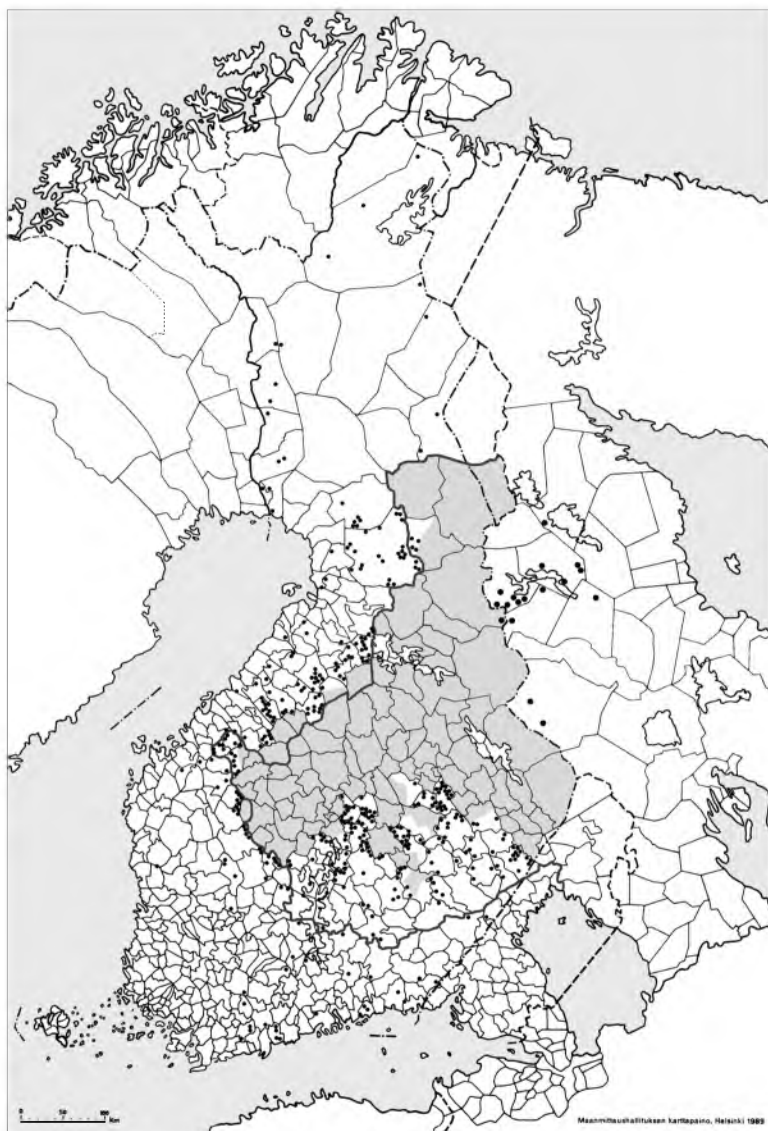
* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта РГНФ № 14-04-00243а «Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте».

¹ Саволаксы являются одним из ответвлений древней корелы, связь с которой они стали утрачивать после передачи Швеции трех карельских погостов (Саволакс, Яяски и Эвяряя), согласно условиям Ореховецкого мирного договора 1323 г. В результате вхождения древних карелов в сферу влияния шведской короны на территории этих погостов была принята шведская система административного управления и католичество, что, в свою очередь, повлекло за собой принятие населением западноевропейских культурных норм и постепенное обособление их от приладожских карелов.

образом, территория бытования восточнофинских саволакских говоров. На этой территории широко представлен и апеллятив *puro* в значении ‘маленькое озеро на болоте; яма на болоте, родник’, а также *puri* ‘ручей; сырое топкое место (на дороге)’, *purakko* ‘сырая низина или перелесок; грязная лужа; маленькая болотистая ламба’, *purakka* ‘топкое место на болоте’ [SKES]. В то же время обращает на себя внимание факт непродуктивности модели на коренных саволакских территориях вокруг озера Саймаа.

Апеллятив *puro* фиксируется и в карельском языке. Он представлен как на юге Карелии, например, в Сямозерье и в финляндской приграничной Карелии (Салми, Суйстамо, Суоярви), так и в средней (Ругозеро) и северной Карелии (Контокки, Ухта, Вокнаволок). Необходимо, правда, отметить, что лексема фиксируется все же в волостях, находящихся не так далеко от границы с восточнофинскими говорами, на территории которых бытует и апеллятив, и представлены названия на *-puro* в топонимии. Лексема *puro* в карельском языке известна в значении ‘ручей; небольшая речка (большая по размеру, чем *oja* ‘ручей’)’. На севере Карелии в кестеньгском говоре в значении ‘ручей’ фиксируется также апеллятив *purakko*. Кроме этого, в Ухте зафиксировано прилагательное *purokas* ‘ручьистый’, а в суоярвском говоре имеется слово *puromia* в значении ‘земля, изрезанная ручьями’ [KKS].

В карельской топонимии модель представлена 32 топонимами. На карте распространения названий мы видим, что ареал бытования топонимов данного типа несколько шире, чем у апеллятива. Топонимы на *-puro* представлены двумя примерами в Ребольской волости: ср. *Haikanlamminpuro* (Гафостров) и *Tuuzarvenpuro* (Лужма), а также в Кестеньгской и Панозерской волостях: *Hetepuro* (Тунгозеро) и *Mustapuro* (Сопосалма). Наиболее широко модель представлена на западе Беломорской Карелии, особенно в пограничных деревнях: Ладвозеро (напр., *Hamarapuro*, *Hoikanpuro*, *Kuikanpuro*, *Nakrispuro*, *Puatolaisenspuro*, *Siltapuro*, *Ukonpuro*) и Каменное Озеро (напр., *Kokkopuro*, *Kylmäpuro*, *Lippipuro*, *Mal'opuro*, *Vijankinpuro*), а также находящейся на территории Финляндии в непосредственной близости от границы карельской деревне Хиетаярви (*Aronpuro*, *Autivopuro*, *Karsikkopuro*, *Losopuro*). Кроме этого, топонимы на *-puro* фиксируются в деревнях Аконлакша (*Kuikkapuro*), Алозеро (*Pienipuro*), Вокнаволок (*Keltopuro*), Куйваярви (*Lössänpuro*, *Vuokinpuro*), Ухта (*Juurikkapuro*), Хайколя (*Konkeluspuro*, *Litmapuro*), Луусалми (*Kukkopuro*), Пиежунги (*Lihapuro*), Толлорека (*Caijupuro*) и Суднозеро (*Kokkopuro*) [Картотека ИЯЛИ].



● – названия с топоосновой -риго

■ – основной ареал распространения названий с топоосновой -риго в Финляндии

Рассматриваемая модель является относительно древней на коренных карельских территориях, и ее появление уходит корнями в конец Средневековья. Об этом свидетельствует, например, переписная книга Корельского уезда Водской пятины 1500 г., где в Сердобольском погосте (совр. Сортавала) упоминается деревня Пуроярва (**Purojärvi*, совр. *Purujärvi*) [Переписная книга: 151]. Деревня находится сейчас на территории Финляндии в окрестностях озера с названием *Puruvesi*, которое упоминается, в свою очередь, в XV в. в форме *Pwrowäsi* ja *Puroijvesi* [Gallén: 212, 213]. Других, более ранних сведений о бытовании данной модели пока обнаружить не удалось, и по этой причине крайне сложно что-либо говорить о распространении данной лексемы на средневековых карельских территориях и, соответственно, о времени появления самой модели. В 1618 г. деревня упомянута уже в форме *Puri Osero* [АКН II: 266]. Нужно все же отметить, что данный топонимический тип слабо представлен на коренных карельских территориях в Приладожье, что, вероятно, может свидетельствовать о том, что данная модель могла быть принесенной сюда с запада, с территории финляндской провинции Саво. На это может указывать и тот факт, что деревня Пуроярви располагалась до подписания Столбовского мирного договора 1617 г. в непосредственной близости от границы со Швецией, на карело-саволакском пограничье.

Следует также заметить, что на территории самой Финляндии тип названий с детерминантом *-puro* является, видимо, относительно поздним. Если иметь в виду, что рассматриваемая топонимическая модель в Финляндии имеет саволакские истоки, то обращает на себя внимание немногочисленность названий данного типа на коренных саволакских территориях в окрестностях Сайминской водной системы.

Здесь, в южном Саво, а также на сопредельных территориях фиксируется большое количество названий с детерминантом *-puri*, где *-puri* 'ручей, небольшая речка; сырое топкое место (на дороге)'. Таким образом, можно думать, что появление лексемы *-puro* могло стать языковым новшеством, которое появилось в языке новопоселенцев благодаря термину *-puri* на освоенных саволаксами территориях к северу от своей прародины. Новые топонимические модели, как известно, появляются часто именно в среде новопоселенцев при освоении новых территорий, когда потребность в наименовании новых географических объектов резко увеличивается. Можно отметить здесь, что тип с детерминантом *-puri* фиксируется и на российских территориях, в частности, на территории проживания карелов-ливвиков: ср. *Purioja* (Рогокоски) и *Purusuo* (Видлица) [Картотека ИЯЛИ].

Можно предположить, что свою популярность модель на *-puro* стала набирать только на территориях, освоенных саволаксами в XVI в. Например, на территории Пиен-Саво данная модель уже хорошо известна в середине XVI в., о чем свидетельствует целый ряд топонимов с детерминантом *-puro*,

фиксирующихся документами: *Kolkonpuro*, *Kurenpuro*, *Lehmäpuro* (Rantasalmi), *Kukkaropuro*, *Kylmäpuro*, *Sulkavapuro* (Tavisalmi), *Närvinpuro*, *Puronaho* (Sääminki) [Alanen]. Следует напомнить, что современный основной ареал бытования данного типа – это центральные и восточные территории современной Финляндии. Таким образом, появление названий рассматриваемого типа за пределами основного ареала бытования саволакских говоров указывает, без сомнения, на освоение саволаксами новых территорий, которое происходило, главным образом, с середины XVI в. и продолжалось на всем протяжении XVII в.

Возвращаясь к карельским территориям, обратим внимание на то, что в ряде случаев не наблюдается единства в употреблении детерминантов *-puro*, поскольку на его месте выступает традиционно карельский термин *-oja*, что, возможно, свидетельствует о недавнем появлении некоторых из рассматриваемых названий на *-puro*. Данное явление может быть связано, например, с преподаванием финского языка как родного в школах Карелии. В финском литературном языке именно лексема *puro* используется в качестве обозначения ручья, в то время как апеллятив *oja* имеет значение ‘канавы; ров’. Например, в Карелии: *Pienioja* = *Pienipuro* (Алозеро), *Konkelušoja* = *Konkelušpuro* (Хайколя), *Muštaoja* = *Muštapuro* (Сопосалма), *Lihaoja* = *Lihapuro* (Пиежунги) и др. Названия с детерминантом *-oja* зафиксированы и в топонимии деревень, где в наименовании ручьев преобладает детерминант *-puro* – в Ладвозере их четыре, при этом в одном названии детерминанты фиксируются параллельно: ср. *Hamaraoja* = *Hamarapuro* (Ладвозеро). В Кивиярви таких два, при этом один из них также бытует параллельно с детерминантом *-puro*: *Kylmäoja* = *Kylmäpuro* (Каменное Озеро).

Вышеуказанный факт касается, главным образом, территории северных и центральных частей Беломорской Карелии, а также северных частей бывшей Олонецкой губернии, где рассматриваемая модель имеет единичные фиксации. В западных частях северной или Беломорской Карелии, в свою очередь, тип имеет все же более длительную историю. Согласно, например, архивным данным, названия с детерминантом *-puro* зафиксированы в топонимии деревни Ладвозеро Вокнаволоцкой волости уже в 1876 г.: ср. *Хойканпуро* и *Куйканпуро* [ГААО: 147], что позволяет говорить о том, что рассматриваемый географический термин бытовал в карельском языке местного населения еще до начала преподавания финского языка в школах. В топонимии деревень западных частей карельского Беломорья фиксируются и названия с детерминантом *-oja*, но они все же представлены намного реже. Например, в Ладвозере фиксируется четыре подобных случая, при этом один из ручьев на *-oja* выступает в качестве варианта названия с детерминантом *-puro* (*Hamarapuro* = *Hamaraoja*). Два названия на *-oja* зафиксированы и в окрестностях сосед-

ней деревни Каменное Озеро, где одно из названий также представлено в качестве варианта на *-puro* (*Kylmäpuro* = *Kylmäoja*).

Таким образом, большинство названий с детерминантом *-puro* фиксируется на территории западной Беломорской Карелии, что, возможно, указывает на влияние восточнофинского населения на определенном этапе истории Карелии в среду карельского населения. Подтверждением этому могут быть и другие модели финского (саволакского) происхождения, зафиксированные в топонимии упомянутых выше деревень, а также родовые предания жителей населенных пунктов, которые повествуют о переселении населения с территории соседней Финляндии. Такие предания бытуют в деревнях Пахомова Гора, Каменное Озеро, Ладвозеро, Лапукка, Толлорека, Нильмогуба, Тетерनावолок, Ухта, Суднозеро, Вокनावолок и Тунгозеро, в топонимии которых фиксируются названия интересующего нас типа.

Нельзя также исключать, что часть названий рассматриваемой модели в западных районах карельского Беломорья могла появиться и в результате только языкового влияния, распространившегося с сопредельной территории восточной Приботнии, где названный тип имеет широкое бытование, другими словами, без подселения в среду карельского населения выходцев из Шведского королевства. Результатом данного влияния могло стать частичное вытеснение традиционного термина *oja* и замена его синонимичным *puro*. Способствовать этому могло и указанное выше преподавание финского языка в школах Карелии, а также проживание коренного карельского населения западных частей Беломорской Карелии на занятых финнами территориях во время Второй мировой войны. Все вышеперечисленное могло дать толчок для более широкого использования данного языкового новшества наряду с традиционным карельским *oja* 'ручей'.

Подводя итог, отметим, что Карелия на протяжении многих веков являлась регионом давних межэтнических связей, которые отчетливо проявляются в языке и топонимии современного карелоязычного населения. Дальнейшее выявление и изучение заимствованной лексики будет только способствовать более глубокому пониманию происходивших на территории Карелии языковых и этнических процессов, которые привели в конечном счете к формированию здесь карельского населения.

Литература и источники

- ГААО – Государственный архив Архангельской области, ф. 6, оп. 15, д. 37.
Картотека ИЯЛИ – топонимическая картотека Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН.
Переписная книга – Переписная окладная книга Водской пятины 7008 (1500) года. Корела с уездом // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. Книга 12, материалы 1–188. М., 1852. Кн. 11.

AKH II – Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. II. Joensuun yliopisto, 1991.

Alanen Timo. Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki, 2009.

Gallén Jarl. Nöteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors, 1968.

KKS – Karjalan kielen sanakirja 1–6 / Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI. Helsinki, 1968–2005.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja 1–6 / Toimittaneet Y. H. Toivonen, Aulis J. Joki, Reino Peltola. Helsinki, 1974–1987.

Suomalainen paikannimikirja / Toimittanut Sirkka Paikkala. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki, 2007.

Анна Андреевна Макарова

*Уральский федеральный университет,
г. Екатеринбург*

Екатерина Владимировна Захарова

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ОППОЗИЦИЯ ТОПОНИМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ КАК МАРКЕР ГРАНИЦЫ: НАЗВАНИЯ ОСТРОВОВ ЛЕСА НА БОЛОТЕ В БЕЛОЗЕРЬЕ*

Летом 2015 г. состоялась совместная экспедиция сотрудников Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (И. И. Муллонен, Е. В. Захарова) и Уральского федерального университета (А. А. Макарова) в юго-западное Белозерье. Зона обследования включала в себя территории Панинского и Визьменского сельских поселений Белозерского района Вологодской области, расположенных к северу и югу от озера Андозеро соответственно.

В 1960–2000-е гг. в обозначенном ареале работала Топонимическая экспедиция Уральского университета, в 1980-х – начале 2000-х гг. – экспедиции ИЯЛИ КарНЦ РАН (полевые материалы хранятся в картотеке ТЭ УрФУ и в научной топонимической картотеке ИЯЛИ и насчитывают несколько тысяч

* Статья подготовлена в рамках реализации программы конкурентоспособности УрФУ (2013–2020), научная группа «Народная языковая традиция как источник историко-культурной информации (Русский Север, Средний Урал, Верхнее Поволжье)» и в рамках выполнения плана НИР, тема «Прибалтийско-финские языки Северо-Западного региона России: интерпретация результатов исследования применительно к практике языкового строительства (карельский и вепсский языки)», № 0225-2014-0017.

единиц хранения). Целью экспедиции 2015 г., помимо сбора топонимического и лексического материала с применением усовершенствованных методик, была проверка имеющегося в картотеках материала, его соотнесение с картой (для привязки топонимов к местности использовались карты масштаба 1:50 000 и 1:100 000), а также выявление изменений, произошедших в топонимической системе региона за прошедшее время.

Выбор территории окрестностей Андозера обусловлен тем, что именно здесь, судя по некоторым косвенным свидетельствам, могла проходить граница, разделяющая зону субстратной топонимии прибалтийско-финского (вепсского) происхождения и субстратной топонимии волжско-финского типа (определяемой предварительно как «мерянская» / «весская»). В свою очередь, такое пограничное положение было обусловлено местоположением озера Андозеро, с одной стороны, в верховьях реки Андоги, входящей в волжский бассейн, с другой – в соседстве с вепсской территорией. Ближайшие вепские поселения располагаются в 70 км на северо-запад от Андозера.

При анализе собранного топонимического материала обращает на себя внимание значительное количество названий островов леса на болоте (обозначаемых также как лес на болоте, покос на болоте, урочище, место и т. п.) как русского, так и субстратного происхождения. В данной статье предлагается рассмотреть бытующие в Белозерье субстратные названия данного вида объектов, ареалы которых свидетельствуют о разных языковых истоках топонимов и/или о разных хронологических периодах освоения территории.

В исследуемом ареале зафиксирован целый ряд названий островов на болоте с детерминантом *-солово* (рис. 1): о-в леса в бол. *Андосолово*, лес на бол. *Баксолово* (*Бассолово*), о-в леса в бол. *Ваньгасолово* (*Вангосово*), пок. *Воросолово*, о-в на бол. *Карсолово*, о-в на бол. *Катсолово*, о-в на бол. *Ке(й)басолово*, о-в леса на бол. *Корсолово* (*Коршелево*), о-в леса в бол. *Кудьмасолово*, о-в леса в бол. *Ку(л)масолово* (*Куммосолово*), о-в леса в бол. *Маньшолово остров*, пок., поле, уроч. *Матвослово* (*Матрослово*), о-в леса в бол. *Норносолово* (*Норсолово*): «Остров на болоте, гористый сухой остров, его пахали и сеяли. На краю острова выкопан колодец и там, говорят, было золото. Раньше на нем, говорят, жили люди, они же и сделали сруб колодца» (Баб, Пожара); лес, уроч. *Обсолово*, пок. *Обсолова суша*, о-в леса в бол. *Патсоловик* (*Паксоловик*), о-в, лес, оз., пок. *Руссолово*, о-в на бол. *Рыксолово*, о-в леса в бол. *Сниксолово*, о-в леса в бол. *Хобарсолово* (*Хобосолово*), д. *Чёлсолово*, б. д., о-в на бол. *Чёпосолово*, о-в леса в бол., пок. на бол. *Шаймасолово* (*Шаймашолово*), о-в леса в бол. *Шаньшолово*, оз., пок., поле *Ярсолово*. Возможно, к группе рассматриваемых названий примыкает также и название о-ва леса в бол. *Московец* (*Москоловец*), если предположить в нем метатезу (**Моксоловец*), во всяком случае, на русской почве это

название интерпретировать затруднительно. В основе представленного детерминанта – ландшафтный термин, имеющий соответствия в ряде прибалтийско-финских и саамских языков: ср. фин. *salo* ‘большой лес, тайга’, ‘островок леса’, ‘большой остров’, ливв. *šalo, salo*, люд. *salu* ‘глухой лес’, эст. *salu* ‘лесок, роща; островок на болоте’, ‘холм, находящийся на болоте’ = саам. Луле *suolō, suolōv*, норв. *suolo*, кильд. *suel* ‘остров’ (в саам. норв. и диалекте Луле также ‘островок на болоте’, ‘островок леса’) < балт. [SKES: 956].

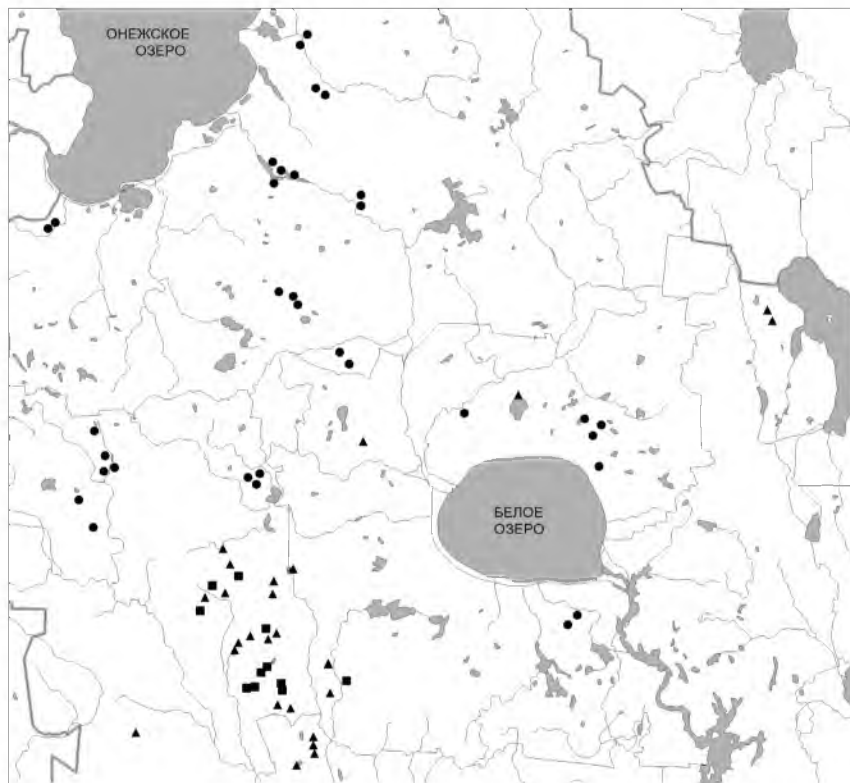


Рис. 1. Топонимические модели на -солово, -сарь и -мень в Белозерье

● – топонимы с детерминантом -сарь; ▲ – топонимы с детерминантом -солово; ■ – топонимы с детерминантом -мень

Рассматриваемая группа топонимов представляет собой наиболее значительное скопление названий на -солово на территории Русского Севера. Отдельные топонимы отмечены поблизости от обозначенного ареала: западнее –

погост *Ваксолово* в бассейне р. Вандица (> р. Суда), к северу – северо-западу от Белого озера – бол., оз. *Рихасолово* (в басс. Шолы) и лес, уроч. *Полсолово* (в басс. Кемы). Пара названий обнаруживается на берегу оз. Воже (Кир.): пок. *Боксолово* (*Воксолово*), бол. *Рыксолово*. Кроме того, несколько единичных названий зафиксировано за пределами Белозерья (рис. 2).

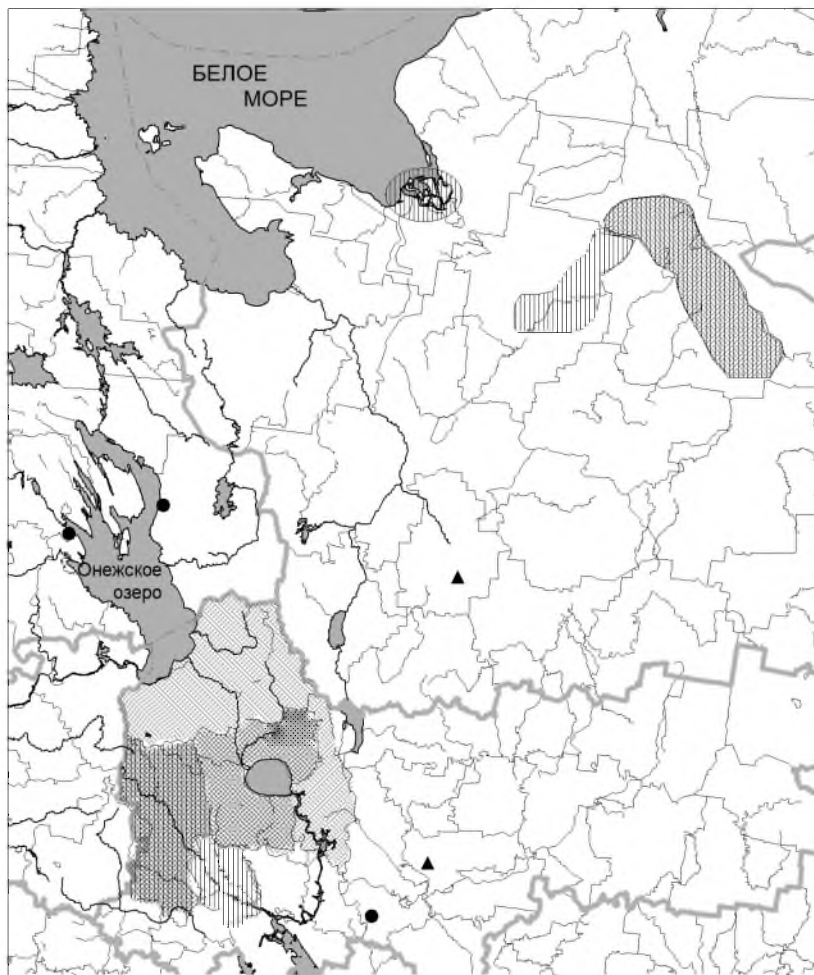


Рис. 2. Ареалы топонимических моделей на Русском Севере

▨ ▲ – -солово; ▨ ● – -сарь; ▨ ▨ ▨ – -мень

Что касается основ рассматриваемых топонимов, этимологическую интерпретацию можно предложить лишь для нескольких: *Патсоловик* (*Паксоловик*), ср. фин., карел. *pato*, вепс. *rado* ‘плотина, запруда’ [SSA 2: 324]; *Шаймасолово*, ср. *шайма* ‘топкое, заросшее мхом болото’ (Бел., Ваш., Кир.) [КСГРС], ‘болотистое пространство, покрытое чахлым мхом’ (Бел.) [Тихомирова 2009: 358], олон. *шайма* ‘низкое болотистое место’ [Куликовский: 135]; ср. вепс. *šaim* ‘болото с мелким лесом’ [СВЯ: 542], причем слово не имеет параллелей на прибалтийско-финской почве и у него нет четкой этимологии (см. об этом: [Мызников 2003: 301–302]), *Ярсолово*, ср. вепс. *järv* ‘озеро’ [СВЯ: 97]. Кроме того, для части названий мотивирующими основами могли выступать названия рек, по берегам которых расположены эти острова на болоте (ср. *Андосолово* на берегу р. *Андоги*, *Кудьмасолово* на берегу р. *Кудьмы*).

В системе именовании географических объектов исследуемой территории в названиях островов леса на болоте присутствует и русский ландшафтный термин *остров*: лес на бол. *Андожский остров*, о-в леса в бол. *Афанасьев остров*, о-в леса в бол. *Долгий остров*, о-ва в бол. *Липные острова*, о-в леса в бол. *Поднарожный остров*, о-ва на бол. *Огорелые острова*, место в лесу *Осинов остров*, о-в на бол. *Плоской остров*, место *Сухой остров*, о-в леса в бол. *Чёрный остров*, о-в на бол. *Чукинский остров* и др. Ареал названий данного типа накладывается на ареал названий на *-солово*. Это обстоятельство позволяет предположить, что, по крайней мере, часть из них является кальками названий с детерминантом *-солово* [Макарова 2007: 181].

Примечательно, что на смежной территории, расположенной к северу – северо-западу от территории исследования, в названиях островов на болоте представлена модель прибалтийско-финского происхождения с детерминантом *-сарь*, ср. вепс. *sar* ‘остров (в озере, реке)’; ‘отдельно стоящий лес (обычно хвойный)’ [СВЯ: 497]: *Койсарь*, *Персарь*, *Палансарь*, *Пиксарь*, *Сосарь* и др. Выявление ареала указанного детерминанта сопряжено с определенными трудностями, поскольку он оказывается фонетически близок хорошо известному на этой территории в названиях рек детерминанту *-сара* со значением ‘ответвление реки’, ср. вепс. *sara* ‘разветвление’ [СВЯ: 497], распространяющемуся благодаря метонимии и на другие виды объектов. Тем не менее после исключения названий, имеющих параллели в речной гидронимии, вырисовывается определенный ареал названий на *-сарь* (см. рис. 1). В отличие от детерминанта *-солово*, который употребляется только в названиях участков суши, расположенных в лесном массиве или на болоте, детерминант *-сарь* также может использоваться в этимологически первичном значении ‘остров суши в воде’, ср. фин. *saari*, ливв. *soari*, *suari*, люд. *suar*, вепс. *sař*, эст. *saar* ‘остров’ [SKES: 938], ср. названия озерных островов

и мысов: *Пушунсарь*, *Папенсарь*, *Чираксарь*, и сельскохозяйственных угодий, расположенных на речных мысах: пастб. *Кивоясарь*, пок. *Рудансарь*. Все эти названия фиксируются в окрестностях озер Пяжозеро и Шимозеро на границе Бабаевского и Вытегорского районов Вологодской области и имеют прозрачные вепские этимологии: *Пушунсарь*, ср. вепс. *Jiś* 'Иван'; *Папенсарь*, ср. вепс. *par* 'поп' [СВЯ: 400] и т. п. К примерам того же рода относятся следующие названия: мыс *Токсарь* на оз. Лозско-Азатское (Бел.), мыс *Ёнаксарь* и о-в *Терсарь*, расположенные на Лухтозере (Выт.); о-в, д. *Суйсарь* в Прионежье (Прион.) [КТК].

По данным И. И. Муллонен, в вепской топонимии детерминант *-sar*' (наравне с детерминантами *-mättaz* и *-sel'g*) использовался для обозначения возвышенных сухих мест, на которых разделялись подсечные участки [Муллонен 1994: 30]: уроч. *Habsar*', уроч. *Sar*', уроч. *Madasar*' (топонимы этого типа фиксируются у прионежских вепсов, в окрестностях с. Шелтозеро, а также у средних вепсов – в д. Пондала и д. Куя [КТК]), что получает отражение и в субстратной топонимии вепского типа в Белозерье. Выделяется четыре ареала, в которых представлены названия на *-сарь* в этом значении: зона от верховий р. Ножемы до верховий р. Суды в Бабаевском районе (поле *Пексарь*, бол. *Пиксарь*, лес *Сосарь*); зона юго-восточного побережья Онежского озера (в том числе на территории Карелии, ср. уг. *Габсарь*) и частично низовий р. Вытегры в Вытегорском районе (преимущественно в названиях сельскохозяйственных угодий: поле *Гавсарь*, пок. *Емасарь*, уроч. *Кисарь*, пок. *Кондусарь*, пок. *Пилосарь*, бол. *Суласарь* и др.); а также бассейн Кемы ниже места впадения р. Индоманки в Вашкинском районе (только в названиях болот: *Касарь*, *Лансарь*, *Литосарь*, *Тарпасарь*). Примыкающим к названиям на *-солово* является четвертый (островной) ареал, представленный несколькими названиями объектов, расположенных в окрестностях д. Кийно (Баб.): о-в *Ваксинсарь*, о-в на бол. *Палансарь*, пок. *Хансарь*.

Ареальная оппозиция моделей на *-солово* и *-сарь* позволила И. И. Муллонен предположить, что южная граница бывшего вепского расселения проходит в верховьях р. Суды, где фиксируется довольно обширный пласт вепских субстратных топонимов [Муллонен 2012: 17–19], в то время как на юго-западном побережье Белого озера, вокруг Андозера и на прилегающих территориях, вепский субстрат выражен не столь ярко на фоне довепского финно-угорского топонимического пласта. Картографирование материала и выделение ареалов топонимических моделей наглядно подтверждают это предположение (см. рис. 2).

В топонимии рассматриваемой территории обнаруживается еще один нетипичный способ номинации островов на болоте – при помощи детерминанта *-мень*, исходным значением которого является 'мыс'. Указанный

детерминант широко известен в топонимии Русского Севера и неоднократно обсуждался в этимологических трудах (см., напр.: [Матвеев 2001: 203–206]), однако чаще рассматривался в ряду других многочисленных вариантов детерминанта *-нем(ь)*, соотносимых с фин. *niemi*, ливв. *ñiemi*, люд. *ñiet*, *ñiemi*, вепс. *ñet*, вод. *nēmi*, эст. *neet* ‘мыс’ [SKES: 376]. В контексте нашего исследования интересно, что *-мень* распространен на ограниченной территории: во-первых, это многочисленные названия мысов и расположенных на них угодий в бассейне р. Пинеги и в дельте Северной Двины; во-вторых, это сравнительно небольшой ареал в Белозерье, состоящий частично из названий озерных (*Веромень*, *Пыжемень*, *Чагомень* на Андозере) и речных мысов (*Остромень* на р. Илексе, *Падомень* на р. Андоге), а частично из названий островов леса на болоте: пок. *Ваносмень*, о-в на бол. *Дальний Ваносмень*, ср. прасаам. **venes*, сев. *vânâs*, ин. *voonas*, колт. *võnnâs*, кильд. *vēn,s*, тер. *wns* ‘лодка’ [YS: 142–143], о-в на бол. *Вашкомень*, ср. фин., карел. *vehka* ‘белокрыльник’, вепс., люд. *vehk* ‘вахта трехлистная’ [SSA 3: 421], лес *Келдомень*, лес *Кызгомень*, о-в на бол. *Полосмень*, о-в леса в бол. *Шундомень*, ср. фин. *sunta*, саам. норв. *sud'de*, прасаам. **suntē* (< приб.-фин.) ‘талый’ [YS: 126–127], бол. *Ягломень*. Вероятно, к названиям этого же типа относятся и следующие, адаптированные к русскому употреблению топонимы: о-в леса *Верумянка* (*Вырумянка*) (< **Веромень*), ср. карел. *vieri*, люд. *vier*, вепс. *veŕ* ‘бок, край, сторона’ [SSA 3: 434] и пок. *Устомянка* (< **Устомень*). Эти топонимы расположены в бассейнах рек Андога и Шогда. (Отметим, что названия на *-нем* в этом ареале также встречаются: мыс, пок., уроч. *Воз(ь)нем*, о-в *Вышнем*, б. д. *Сюрнем*.) За пределами обозначенного ареала (но в непосредственной близости к нему) отмечены только названия леса *Кургомень* в верховьях Колошмы, ср. карел. *kurki*, *kurgi*, вепс. *kuŕg*, *kuŕg* ‘журавль’ [SSA 1: 448], и д. *Пелемень* неподалеку от места впадения р. Шульма в Андогу в Кадуйском районе.

Русским соответствием к вышеприведенному ряду является, вероятно, лес на бол. *Вешкарный Мыс* (где *мыс* также использовано в значении ‘остров леса на болоте’). Что касается основы топонима, то ее можно сравнить с диал. *вешкарь* ‘гриб подосиновик’ (Баб., Бел., Кад., Кир.) [СГРС 2: 94].

В топонимии исследуемой территории зафиксированы и другие субстратные географические термины, выступающие в качестве детерминантов в названиях островов на болоте. Так, отмечены случаи номинации островов на болоте при помощи детерминанта *-бой*: о-в в бол. *Кузебой* (*Кузубай*, *Кузево*, *Кузебово*), о-в на бол. *Лёдбой*. В данном случае представляется, что мы имеем дело с метонимическим переносом: возможно, изначально название прилагалось к ручью, ср. саам. *uoij*, *oj*, *vuoi*, *uaj*, *vuai*

‘ручей’ [KKLS: 765] (название руч. *Ледбой* также было записано при полевом сборе; большинство топонимов с детерминантом *-бой* относится к ручьям), а затем было перенесено на смежные объекты (болото, остров леса на болоте, угодья, находящиеся в этом месте, и т. п.). Наиболее многочисленны названия с детерминантами *-бой*, *-буй* именно в Белозерье, а также между озерами Воже и Лача.

Часть названий островов на болоте представлена топонимами с детерминантом *-гумузь*. Большинство этих названий в белозерской зоне прилагается к населенным пунктам, однако регулярность переноса названий с населенных пунктов на острова в болоте может, вероятно, указывать на специфическое географическое расположение этих поселений и их сельхозугодий (с учетом первоначального значения детерминанта, ср. фин. *halme*, карел., люд. *halmeh*, вепс. *haimeh*, *haimez*, *houimeh* ‘пожог (поле в лесу)’ [SSA 1: 133]): о-в леса на бол. *Лугумузь*, о-в на бол. *Редумузь*, б. д. *Фекумузь*, лес на бол. *Ближний Фегумузь*, *Дальний Фегумузь*. Плотный ареал названий на *-гумузь* находится юго-западнее и южнее Белого озера.

Присутствие на определенной территории нескольких моделей именования одного вида объекта свидетельствует о том, что острова на болоте использовались в разное время и/или различными в этническом и языковом плане группами населения, кроме того, разные топонимические модели могли характеризовать различные по своим физико-географическим особенностям объекты.

Ареальная оппозиция моделей именования одного вида объектов может свидетельствовать о природной и/или культурной границе (которые часто совпадают). Так, оппозиция моделей *-солово* и *-сарь*, вероятно, маркирует границу прибалтийско-финского (вепсского) и финно-угорского топонимического субстрата. В качестве основной причины отсутствия интереса у носителей модели *-сарь* к территории среднего и нижнего течения рек Лиди и Суды И. И. Муллонен называет неблагоприятные для земледельческого освоения условия [Муллонен 2012: 18]. Видимо, по этой же причине (заболоченная местность вдоль русла рек) население финно-угорского типа не продвинулось к северу и северо-западу от оз. Андозеро, а осваивало территории вокруг Белого озера. Выявленные вепсские элементы в топонимии Белозерья представлены, главным образом, в микротопонимии, что характеризует этот пласт названий как достаточно поздний, сложившийся не ранее XVI–XVII вв., в то время как основной массив субстратной топонимии (в т. ч. более древней гидронимии) имеет довепсские истоки (р. Визьма, р. Иштома, р. Ухтома, оз. Андозеро, оз. Воже и др.), более точная этноязыковая характеристика которой требует дальнейшей разработки.

Литература и источники

КСГРС – Картотека Словаря говоров Русского Севера (хранится на кафедре русского языка и общего языкознания УрФУ, г. Екатеринбург).

КТК – Картотека топонимов Карелии (хранится в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН).

Куликовский Г. И. Словарь областного олонекского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1898.

Макарова А. А. Из материалов экспедиции Уральского университета в Кадуйский район Вологодской области // Вопр. ономастики. 2007. № 4. С. 179–184.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера: в 4 ч. Ч. 1. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001.

Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994.

Муллонен И. И. Природные и культурные факторы формирования вепсской этнической территории // Труды КарНЦ. 2012. № 4. Серия: Гуманитарные исследования. Вып. 3. С. 13–24.

Мызников С. А. Русские говоры Обонежья: ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. СПб.: Наука, 2003.

СВЯ – Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972.

СГРС – Словарь говоров Русского Севера / Под ред. А. К. Матвеева (т. 1–5); М. Э. Рут (т. 6–). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. Т. 1.

Тихомирова Н. П. Диалектные основы белозерских гелонимов // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2009. СПб.: Наука, 2009. С. 354–359.

KKLS – Itkonen T. I. Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1958. O. I–II. (Lexica societatis Fenno-ugricae, XV.)

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. 1–7 / Toim. E. Itkonen, A. J. Joki, R. Peltola. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1955–1981. (Lexica societatis Fenno-ugricae, XII.)

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3 / Toim. E. Itkonen, U.-M. Kulonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992–2000. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 556.)

YS – Lehtiranta J. Yhteissaamelainen sanasto. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1989.

Сокращения

В названиях языков и диалектов

балт. – балтийские языки

вепс. – вепсский язык

вод. – водский язык

ин. – диалект Инари саамского языка

карел. – карельский язык

прасаам. – прасаамский язык

саам. – саамский язык

саам. Луле – диалект Луле саамского языка

саам. норв. – норвежско-саамский язык

саам. сев. – северносаамский язык

(=норвежско-саамский язык)

кильд. – кильдинский диалект
саамского языка
колт. – диалекты колтта саамского
языка
ливв. – ливвиковский диалект
карельского языка
люд. – людиковский диалект
карельского языка

тер. – терский диалект саамского языка
фин. – финский язык
эст. – эстонский язык

В названиях географических объектов

б. д. – бывшая деревня	пастб. – пастбище
басс. – бассейн	пок. – покос
бол. – болото	р. – река
д. – деревня	руч. – ручей
о-в – остров	уг. – угодье
оз. – озеро	уроч. – урочище

В названиях районов

Баб. – Бабаевский район Вологодской области	Кад. – Кадуйский район Вологодской области
Бел. – Белозерский район Вологодской области	Кир. – Кирилловский район Вологодской области
Выт. – Вытегорский район Вологодской области	Прион. – Прионежский район Республики Карелия

Прочие

ТЭ УрФУ – Топонимическая экспедиция Уральского федерального университета

Антон Игоревич Соболев

*Институт лингвистических исследований РАН,
г. Санкт-Петербург*

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА В ЗЕРКАЛЕ СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ

Обонежье – историко-культурный регион, расположенный на побережье оз. Онежское и в бассейнах впадающих в него рек, зона многовекового контактирования прибалтийско-финского и славянского населения, а на более ранних этапах истории – доприбалтийско-финских и прибалтийско-финских групп.

Юго-Восточная часть Обонежья (далее – ЮВО) включает в себя бассейны рек Андома, Вытегра, оз. Тудозеро и Муромское (юг Пудожского района Республики Карелия и север Вытегорского района Вологодской области). В XVI–XVIII вв. обозначенная территория входила в состав Никольского Андомского погоста и Покровского Вытегорского погоста Обонежской пятины Новгородской земли.

Основными источниками материала для настоящей работы послужили издания писцовых книг XV–XVII вв., топографические карты и планы XVIII–XX вв., документы Российского государственного архива древних актов [РГАДА], Национального архива Республики Карелия [НАРК] и электронной документальной коллекции «Олонецкая воеводская изба», данные научной топонимической картотеки Карельского научного центра РАН [ТКК]¹, опубликованные археологические материалы, а также полевые материалы автора, собранные им в 1996–2008 гг. на территории Вытегорского района Вологодской области и Пудожского района Республики Карелия [ПДА].

В целом в топонимии данного субрегиона можно выделить следующие слои: доприбалтийско-финский (древний слой финно-угорского типа), прибалтийско-финский и восточнославянский. По данным И. И. Муллонен, доприбалтийско-финский слой топонимии Обонежья и Присвирья можно разделить на саамский, прибалтийско-финско-саамский и волжский пласты, границы между которыми размыты [Муллонен 2002: 182].

Согласно археологическим данным, первые поселения на территории края появились не ранее VII тыс. до н. э. – в период мезолита (Тудозеро-V, Пустошь-I и др.) [Иванищев 1997: 18]. Топонимы этого периода, по всей видимости, не сохранились до настоящего времени.

По результатам сопоставления топонимических и археологических данных бассейна Тудозера можно сделать вывод о том, что, хотя самые древние топонимы могут восходить к населению бронзового века с сетчатой керамикой (не ранее II тыс. до н. э.), в основном топонимы доприбалтийско-финского пласта возникли не раньше эпохи железного века, т. е. не ранее I тыс. до н. э. [Соболев 2011].

О наличии в ЮВО ранних доприбалтийско-финских **сезонных поселений** свидетельствуют следующие географические названия с топоосновой *Чекш*:-

¹ Автор выражает искреннюю благодарность Институту языка и литературы Карельского научного центра РАН (ИЯЛИ КарНЦ РАН) за предоставленную возможность работы с научной топонимической картотекой и архивными материалами КарНЦ РАН.

– в бассейне р. Андома: *Чекша*, р., вытекает из оз. *Чекшезеро*, впадает в р. Андома, на р. Чекша находилась д. *Чекша-речка*, на озере – д. *Чекшезеро* (Чекш); *Чекша*, д. на противоположном от впадения р. Чекша берегу р. Андома (Маль);

– в бассейне р. Вытегра: *Чекша*, р. и д., *Чекшозеро*, оз. (КЧП).

С лингвистической точки зрения топонима *Чекш*- может восходить как к прасаам. лексеме **čekće* ‘осень’, в топонимии указывающей на осеннюю стоянку, так и к прасаам. **čēkće* ‘скопа, орел-рыболов’ [Матвеев 2004: 100]. Однако, учитывая, что именно в районе устья р. Чекша – на Мальянских порогах р. Андома и именно в осенний период (с 25 сентября по 14 октября) происходит нерест самой ценной рыбы оз. Онежское – атлантического лосося [Смирнов 1971: 43, 73, 78], следует отдать предпочтение первой из указанных этимологий. При этом у атлантического лосося очень сильно развит хоминг – инстинкт, позволяющий вернуться в водный объект рождения [АПР: 97] (в данном случае – в р. Андома, в которой имеется локальное стадо, привязанное к ней по месту размножения [БОО: 98–99]). Следовательно, можно утверждать, что данный водоток являлся местом обитания лосося в Средневековье и ранее. Отметим, что нерестовый лосось заходил и в р. Вытегра [БОО: 107].

Охотничье-рыболовное хозяйство и подвижный образ жизни населения первоначально были характерны и для проникших в X–XI вв. в Оонежье носителей курганной культуры Юго-Восточного Приладожья. В последних археологи видят предков современных вепсов. Они занимались главным образом охотой на пушного зверя, что было обусловлено интенсивным развитием меховой торговли на Волжско-Балтийском водном пути [АК: 267, 272–273], проходящем в т. ч. через р. Вытегра.

На исследуемой территории поселения с керамикой приладожского типа имелись на озерах Муромское (Муромское-III, IV, VI, VIII, VIII, IX) (Гак) и Тудозеро (Тудозеро-V) (Туд) [АК: 275; Иванищев 1997: 38].

Несмотря на то что у носителей приладожской курганной культуры могли быть сезонные поселения, топонимы с основой *Чекш*- все же восходят к доприбалтийско-финскому пласту, поскольку в приоб.-фин. языках ‘осень’ обозначается иначе, хотя и родственным словом: ср. вепс. *sügüz*, карел. *sykysy*, *syys*, фин. *syksy*, *syys*, эст. *sügis*, лив. *si'kš*, *sü'kš* [SSA 3: 229].

В свою очередь, след языка носителей приладожской курганной культуры X–XIII вв. представляет собой вепсская *-l*-овая топонимия, передаваемая через русскую модель *-ичи* / *-ицы*. Появление названий **поселений**, оформленных вепским суффиксом *-l*, связано с **переходом вепсов от охотничьего промысла к стабильному земледелию** [Муллонен 1994: 75, 122].

В ЮВО, по данным письменных источников XVII и XIX в., имелись 3 подобных топонима:

Гонгиницы, местн. (Туд) < вепс. **Hong(oi)l*, в основе – древнее вепсское личное имя **Hong(oi)* < вепс. *hong* ‘сосна (обычно сухая, высокая), высохшая на корню сосна’¹. См.: «д. в *Сосновицах*, на усть ручейка Елисеевской, в *Гонгиницах*», 1628/1629 гг. [ПК 1628, 1850, № 44];

Степовичи / Степковичи, местн., 1563 г. (Тал) [ПКОП: 207], позднее также Степановичи, 1583 г. [ПКЗ: 271] < вепс. **Stepoil*, где вепс. *Stepoi* – рус. Степан;

Юбеничи, покос (МакВ: Альчино) [НАРК, ф. 27, оп. 3, д. 74/664, л. 16] < вепс. **Hübjoil*, в основе – древнее вепсское личное имя **Hübjo* < вепс. *hüb* ‘сова, филин’ (антропоним **Hübjo* восстановлен И. И. Муллонен как основа названия вепсской д. Юбеничи / вепс. *Hübjoil* [Муллонен 1994: 87]).

Присутствие данных топонимов говорит о наличии в X–XIII вв. поселений древних вепсов на оз. Тудозеро (Туд), на р. Андома в районе современного с. Макачёво (МакВ) и в бассейне р. Вытегра (Тал).

Согласуется это и с археологическими данными: средневековые (IX–XII вв.) древности поселения Тудозеро-V (в т. ч. горшки ладожского типа) археолог А. М. Иванищев относит к финским древностям [Иванищев 1997: 38].

Отметим также, что, по всей видимости, названия *Гонгиницы* и *Юбеничи* были перенесены древними вепсами с бассейна р. Оять, где имеются деревни с аналогичными названиями: *Гонгиничи* (Лод; Подп) и *Юбеничи* / вепс. *Hübjoil* (Лод; Подп), что свидетельствует о вепсских истоках *-l*-овых топонимов ЮВО, передаваемых через русскую модель *-ичи/-ицы*.

С появлением оседлого земледельческого населения начинают формироваться различные **типы поселений**, получившие отражение в следующих топонимах ЮВО:

– вепс. *lidn* ‘город’: *Линдручей*, 2 одноименных ручья (Сам: Берег; МакВ: Желвачёво). Ручьи протекают в с. Самино и с. Макачёво рядом с ур. *Городок* [Гусельникова 1999: 17; 2000: 173]. Приводимая этимология подтверждается топонимическими кальками, письменными источниками и данными археологических раскопок (см. подробнее: [Соболев 2010]). Однако следует учитывать, что в иных случаях топооснова *Линд-* может восходить также к вепс. *lind*, карел. *linda, lindu* ‘птица’ [СОСД: 55];

– вепс., карел. *külä* ‘деревня, село’: д. на *Кюле*, 1563 г. (Гак) [ПКОП: 188; Муллонен 1994: 104]; *Тюлянос*, мыс оз. Муромское (Гак) [ТКК], где *Тюля-* восходит к указанному термину *külä, -нос* < рус. *нос* ‘мыс’²;

¹ Здесь и далее данные вепсского языка приводятся по словарю [СВЯ], собственно карельского наречия карельского языка – по словарю [ССКГК], тверских говоров собственно карельского наречия карельского языка – по словарю [СКЯТ], если не указано иное.

² Переходы *t' < k'*, *k' < t'* известны местным русским говорам.

– вепс. **kond* ‘крестьянский двор с прилегающим участком земли’, карел. *kondu* ‘крестьянский двор; хозяйство; земельный участок’ [Муллонен 1994: 59]: *На Конде*, ур., 1885 г. (Таг: Горшкова Гора) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, л. 8]; *На Конде*, пк., 1885 г. (Илек: Илекса) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/20, л. 1]; *Кондушка*, д., 1563 г. (Дев) [ПКОП: 209]; *Кондушки*, ур., 1885 г. (Таг: Житное) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, л. 66]; *Минаконда*, пк., 1885 г. (БелР) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/22, л. 4]; *На Минакондах*, подсечная пашня, 1885 г. (БелР) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/23, л. 18] < вепс. **Mina/kond*¹, карел. **Miina/kondu*, где вепс. л. и. *Mina*, карел. л. и. *Miina* соответствует рус. л. и. *Мина*; *Себряная Пядчиконда*, поляна (Анд) [ТКК] < вепс., карел. **Päčči/kond(u)*, где в первой части отражено карельское прозвище *Päčči* < *päčči* ‘печь’ [см.: Карлова 2004: 90]. Согласно И. И. Муллонен, вепсский термин *kond* семантически эквивалентен русскому *деревня* в его первоначальном значении ‘крестьянский двор с прилегающим к хозяйству участком земли’ [Муллонен 1994: 106]. Действительно, согласно самым ранним сохранившимся данным, в XV–XVI вв. деревни ЮВО были малодворными. Так, количество дворов на 1 деревню составляло: в Вытегорском Покровском погосте 1,28 (ок. 1478 г.), 1,56 (1496 г.), 1,83 двора (1563 г.), в Никольском Андомском погосте 2,16 двора (1563 г.) (сведения по количеству дворов и деревень приводятся по: [Витов 1962: 115]).

В свою очередь, о включении географических объектов в культурное пространство и возникновении отдельных **усадеб, жилищ, хозяйственных построек и строений** свидетельствуют топонимы со следующими основами:

Гомнус, однодворная д., 1873 г. (Ляд) [СНМ 1873: 58] < вепс. *honuz* ‘большой дом’, при карел. *huoneh*, *huonehus* ‘постройка, дом’ [SSA 1: 187];

Гумбар- < вепс. *humbar* ‘ступа для полоскания белья’ (такие ступы располагались на берегах водных объектов), при карел. *huhmar(i)*, *huu(h)mar* ‘ступа’ [СОСД: 264]; *Гумбаручей*, руч. (Туд: Раньково) < **Гумбарручей*;

Курнаний, ур. (Осин) < вепс. **Kurnin/oja* или карел. **Kiurnan/oja*, где топооснова восходит к вепс. *kurn* (ген. *kurnin*) ‘желоб, лоток для стока воды’, карел. *kuurna* (ген. *kuurnan*) ‘желобок’, ‘канавка’, ‘паз’, а детерминант представлен вепс., карел. *oja* ‘ручей’. Этимология подтверждается метонимической калькой: рядом с ур. Курнаний находится ур. Лоточное [Гусельникова 1999: 17]. Передача приб.-фин. детерминанта *-oja* в фонетическом варианте *-ия* отмечена также в названиях ручьев Присвирья [Муллонен 2002: 126];

¹ Здесь и далее в сложных прибалтийско-финских названиях, переданных в латинской графике, для удобства читателя между основой и детерминантом ставится знак / (слеш).

Перт- < вепс. *per't*', карел. *pertti* 'изба': *Пертручы*, руч. (Гак) [ТКК], *Пертручей*, руч., исток – *Пертозеро*, оз. (Осин: Пертозеро); *Пертручей*, руч., исток – *Пертозеро*, оз. (АнР: Мастерово).

Риг- < вепс. *r'ih*', *r'ih*, *r'iih* 'рига', карел. *riihi* 'гумно, овин, рига'; *Ригач-* < вепс. *rihač* 'овин, рига': *Ригачсельга* (Айн: Кельи) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 3/33, л. 21] < вепс. **Rihač/sel'g*, где *-sel'g* < вепс. *selg*, карел. *selgä* 'кряж, возвышенность, холм, гора' [ПФГЛК: 86]; *Ригачручей*, *Ригачозеро* (Айн: Кельи) [ПДА]; *Ригачи*, пк. (Таг: Ряпсина и Сперово) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 21]; *У Ригачевской дороги*, ур., 1885 г. (Таг: Сперово) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, л. 71]; *Ригручей*, ур., 1885 г. (КЧП: Чекша и Анх: Анхимово) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/29, л. 36; НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/28, л. 42]¹;

Стан- < вепс. *stan* 'стан в лесу': *Стансельга*, покос, 1913 г. (Таг: Дальняя Карданка) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/485, л. 39] < вепс. **Stan/sel'g*, где *sel'g* < вепс. *selg*, карел. *selgä* 'кряж, возвышенность, холм, гора' [ПФГЛК: 86]².

Запущение ранее обжитых угодий и появление новых поселений на старых местах отражает вепсский термин (древне)русского происхождения *puust* 'пустошь'. В топонимии ЮВО он закрепился в названии *Пусторской Обой*, залив р. Самина у д. Пустошь < вепс. **Puust/ar*', где *-ar*' – рудимент детерминанта *jär'v* 'озеро'.

Относительно близкими к населенным пунктам были и **места летнего выпаса скота**, маркируемые географическими названиями со следующими основами:

Ебо- / *Ёбо-* < вепс. *hebo*, *höbo* 'лошадь', карел. *hebo* 'кобыла', 'лошадь': *Ебологи*, бол. (Туд: Паньшино) [ТКК] < *вепс. *Hebo/logad*, где *loga* (мн. ч. *logad*) 'ложбина, овраг; сырое болотистое место'; *Ебонаволоок* / *Ёбонаволоок*, ур. (Чекш) [ПДА], *Ебонос*, ур. (Маль) < вепс. **Hebo/n'em*' / **Höbo/n'em*' или карел. *Hebo/n'ietä*, где вепс. *n'em*', карел. *n'ietä* 'мыс', 'полуостров';

Ев- < карел. *hepo* (ген. *hevon*) 'кобыла', 'лошадь': *Евручей*, второе название ручья Ноздручей (МакВ: Рубцово); *Евручей* (ЛобР: Сорочье Поле). Этимологию подтверждает метонимическая калька: рядом с лобегским руч. *Евручей* протекает руч. *Кобылий*. Утрата начального согласного в топонимах *Ебо-* / *Ёбо-*, *Ев-* объясняется тем, что приб.-фин. *h*, в силу отсутствия точного русского аналога, при интеграции географических названий в русскую топонимическую систему мог исчезать [см.: Муллонен 2002: 51];

¹ Не исключено и русское происхождение части названий: ср. рус. олон. *ригач* 'большой крытый сарай для сушки снопов и обмолота' [СРГК 5: 528].

² Возможно русское словосложение по вепсскому типу: рус. олон. *стан* 'избушка в лесу, устроенная для привала охотников, или на берегу озера – для рыбаков' [СООН: 112].

Ламбас- / Ламбаз- < вепс. lambaz ‘овца’, при карел. lammas, lammaš ‘то же’ [СОСД: 208–209]: Ламбасозеро, оз., 1885 г. (Таг: Сперово) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, л. 10], позднее – Ламбаз, оз. [СОГБ: 438].

В топонимии отмечено название еще одного **домашнего животного**: *Койрозеро, оз. (Сой), где Койр- < вепс. koir, карел. koir(ä) ‘собака’ [СОСД: 49].*

Появление географических названий, содержащих наименования **домашних животных**, может иметь различную мотивацию (например, связанную с местом гибели скота или, как в случае с основой *Койр-*, возможно, отражающую негативные коннотации). Кроме того, указанные топонимы могут также восходить к прозвищам, именам или обозначениям групп людей, образованных от соответствующих апеллятивов. Однако все они подтверждают как минимум знакомство населения с указанными животными.

О занятии населения **скотоводством** косвенно свидетельствуют топонимы со следующими топоосновами:

Ейн- / Эйн- < вепс. hein, карел. heinä ‘трава’, ‘сено’: Ейнозеро / Эйнозеро, оз. (ЛадвК);

*Хийн- < вепс. hiin ‘трава’, ‘сено’: Хийнозеро, оз., 1885 г. (Илек: Пустынька) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/20, л. 1]. Топоним восходит к вепсской лексеме, содержащей поздний переход *ei > ii*, характерный для большинства говоров северновепсского и средневепсского диалектов вепсского языка. Ср. аналогичные топонимы на современной вепсской территории: *Hiin’järvi*, оз., (5 в басс. р. Оять), из них 4 имеют параллельные русские названия *Сенное* (2), *Сеннозеро*, *Сенозеро* [СГЮВП: 33, 39, 54, 55];*

Поскольку в качестве сенокосов зачастую использовались приручьевые участки, даже небольшие ручьи получали собственные названия. Так, например, длина руч. *Сеничевых Карежручей* (Слоб) [ПДА] и руч. *Тёручей* (Курж) [ПДА] – ок. 1 км, руч. *Чивкоев* (Сам) – ок. 500 м. Часть незначительных водотоков после момента номинации иссякла, и память о них сохраняется лишь в названии ближайшего сельскохозяйственного угодья. Это, к примеру, произошло с *Силистручьем* (Курж: Тикачево) [ПДА] – его имя носит поляна. Наличие водотоков поблизости отрицают информанты и не подтверждает крупномасштабный картографический материал.

Закрепление в названиях некоторых ручьев фамилий – *Сеничевых Карежручей* (Слоб), *Сеничевых Митручей* (Слоб), *Баженькиных Габручей* (Цим) [ПДА] указывает на владельцев сенокосов. Причем имя одного такого владельца – карел. *Mitro(i)* (аналог рус. л. и. *Димитрий*, *Митрофан*) [USN: 557] или вепс. **Mitroi* сохранилось как в топониме *Сеничевых Митручей* < **Mitppучей* < **Mitr(o)i/oja*, так и в названии покоса *Митрово* (Слоб) [ПДА], расположенного у данного ручья.

О тесной связи ручьев и покосов свидетельствуют топонимические микрогнезда: *Лепручей* и *Леппожня*, *Сястручей* и *Сястпожня* (Анд: Со-рочье Поле) [ПДА].

На места произрастания культурных растений указывают следующие топонимы:

Нижумы, пк., 1913 г. (Таг: Сперово) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 34/485, л. 127] < вепс. **Nižu/ma*, где *nižu* ‘пшеница’, *ma* ‘поле, участок земли под какой-либо культурой’ или карел. **Nižu/maa*, где *nižu* ‘пшеница’ [СОСД: 43], *maa* ‘сельскохозяйственное угодье, поле’ [ПФГЛК: 60];

Озручей, руч., 1886 г. (Осин: Мироново) [НАРК, ф. 24, оп. 2, д. 3/41, л. 3], где *Оз(р)-* < вепс. *ozr*, карел. *ozra* ‘ячмень’.

Названия видов сельскохозяйственных угодий, в т. ч. отражающие практиковавшееся населением вплоть до 1930-х гг. подсечное земледелие, отразились в топонимах со следующими топоосновами и топоформантами:

Галм- и *-галм* < **halm* (ген. **halman*) – ранняя форма вепс. *haum(eh)* (ген. *halmhen*) ‘подсека, пожог’: *Галманское* / *Гарманское*, оз. (Ляд: Кондрахино) < вепс. **Halman/jär'v*; *Кигалма* [СНМ 1905: 164], она же – *Тугал(о)ма*, д. (Ляд) [ПДА] < вепс. **Kiv/halm*, где вепс. *kivi* ‘камень’. При этом озеро и деревня расположены в ур. *Лядины* (бывш. куст деревень *Лядины*) < рус. олон. *лядина* ‘подсека’, ‘участок в лесу, расчищенный под посев’ [СРГК 3: 175]. Таким образом, названия озера и куста деревень образуют метонимическую кальку, а названия куста деревень и отдельной деревни – топонимическую микросистему. При наличии карел. *halmeh* ‘зброшенная пожога’, использование фонетической формы **halm* > *hoim* выявлено только в вепсской топонимии;

Каск- < вепс. *kas'k* ‘подсека’, карел. *kaski* ‘подсека, пожог’: *Каскручей*, руч., 1885 г. (ТагК: Кудомозеро) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/17, л. 2]; сюда же, вероятно, *Кадакасью*, ур. (Анх: Поджа) [ОГВ 1874 № 63: 767]. *Козокаска*, ур. (Марковское с/о) 1885 г. [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, л. 74] (различия в написании одного топонима могут являться ошибкой распознавания рукописного текста – смещения «а» // «о», «д» // «з») < вепс. *Kadak/kas'k*, где *Kadak* < *kadag*, *kadak-* ‘можжевельник’, при карел. *kadaja* ‘то же’;

Кед(о)- < карел. *kedo* ‘заросшая подсека, поляна, залежь’ [ПФГЛК: 38], *keto* ‘поляна, заросшее поле’: *Кедозеро*, оз. и *Кедручей*, руч. (Тал: Талица); *Кедручей*, руч. (Курж: Тикачево); *Кедручей*, руч. (Таг: Дальняя Карданка) [ОГВ 1874 № 70: 842], он же *Кед-ручей*, 1885 г. (Дев. с/о Дев. вол.) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/22, л. 2]; *Кедручей*, пок., 1913 г. (Таг: Дальняя Карданка) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 40];

Палан- / *Пал(о)* < вепс. *palo* (ген. *palon*) ‘огнище, сожженная подсека’, карел. *palo* (ген. *palon*) ‘пожар, пепелище’, ‘сожженная подсека’: *Палангора*, ур., г., быв. нивы, *Паланручей*, руч., быв. нивы, пк. (ЛобР) [ТКК];

Перг- < вепс. **perg* ‘раскорчеванный, расчищенный участок земли’ [Муллонен 1994: 68], карел. *pergo* ‘расчищенный, раскорчеванный для покоса участок в лесу, на болоте, новина’ [ПФГЛК: 71]; *Перги*, покос, 1913 г. (Марк: Савино) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 30];

Раек, Раяк, -раяк < вепс. *rajak*, карел. *rajakko* ‘заброшенная, заросшая лесом лесная подсека’ [ПФГЛК: 77]; *Красный раек*, пк., 1885 г. (ПлН: Плоские Нивы и Хвошевики) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, л. 81; НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 34/485, л. 49], ур., 1885 г. (Анх: Крюково) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/14, л. 74], *Ниже Красного райка*, ур., 1885 г. (КлС: Саража) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/18, л. 1]²; *Кялий Раяк*, пк. (Таг: Карово) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 10] < *Kälü/rajak*, где *Kälü* < вепс. *kälü* ‘невестка (жена одного брата по отношению к жене другого брата)’ или карел. *kälü* ‘золовка, сестра мужа’ [СОСД: 291]; *Мягадрага*, починок, 1563 г. [ПКОП: 210], позднее – *Магадраяк*, починок, 1583 г. (Вытегорский погост) [ПКЗ: 271] < вепс. **Magad/rajak*, где *tagad* ‘змея’ (в карельском языке подобное обозначение змеи отсутствует); *Сухой Раек*, поле, 1885 г. (Таг: Житное) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, л. 66];

-раски < вепс. *razagat* ‘подсека, оставленная на второй год не спаленной и не очищенной’, карел. *rasi* ‘подсека, оставшаяся неспаленной; лес с большим количеством вырубленных или упавших деревьев’ [ПФГЛК: 79]; **Савераски*: *На Саверасках*, подсечная пашня, 1885 г. (Дев: Парфиевская) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/23, л. 18] < вепс. **Savi/razagat* или карел. **Savi/rasi*, где вепс., карел. *savi* ‘глина’ [СОСД: 29];

Сард- < **Сарг-* < вепс. *sarg* ‘полоса (участок обрабатываемой земли)’, при карел. *šarga* ‘полоса, участок [поля]’: *Сардуики*, покос, 1913 г. (Анх: Поджа) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 31/483, л. 134].

Возможно, что к вепс. *purte* ‘открытое место в лесу, поляна’ восходит вторая часть названия поляны *Соронрут* (Слоб) [ПДА]. Однако для такого утверждения требуется наличие дополнительных данных.

На тип сельскохозяйственного угодья указывают русские термины, представленные во второй части топонимов-полукалек:

-нив(к)а: *Гангаснива*, ур., 1886 г. (Айн: Кельи) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 3/33, л. 20], где *Гангас-* < карел. *hangas* ‘развилка, развилина’ (подробнее об этой топооснове [см.: Муллонен 2008: 74]); *Иланивки*, пк., 1913 г. (ПлН: Илларучей) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 34/485, л. 17], где *Ила-* (ср. название д. *Илларучей* / *Иларучей*) < вепс., карел. *Il'a* – рус.

¹ Часть топонимов может содержать хорошо известное местным говорам рус. олон. *раек*, *раяка* ‘молодой лес, поросель’, ‘густой лес, чаща’, ‘лес (любой)’ [СРГК 5: 391], вошедшее в русскую речь из прибалтийско-финских языков.

² Наиболее близким территориально к ур. *Красный Раек* н. п., судя по картографическому материалу, являлась д. Саража (КлС).

Илья; Прокинивы, поля, 1885 г. (Алм: Старцево) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/25, л. 57], где Проки- < карел. л. и. *Prokki* – вариант рус. л. и. *Проконий* [SKN: 118]; Чурнивки, 1885 г. (НижВ: Шестово и Осипов Порог) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/29, л. 1], где Чур- < вепс. *čuur*, *čuri*, карел. *čuiuri* ‘крупный песок’, ‘гравий’, ‘дресва’ [ПФГЛК: 25];

-пожня: Лептожня, пк. (Анд: Сорочье Поле) [ПДА], где Леп- < вепс. *l’er*, карел. *leppä* ‘ольха’ [СОСД: 39]; Сястпожня, пк. (АнС: Сорочье Поле) [ПДА], расположенная у руч. Сястручей < *Сястпручей, где Сяст(р)- < карел. тивв. *sästrikkä* ‘красная смородина’, при вепс. *sestrikaine*, *sestrikeine* ‘то же’ [СОСД: 40];

-поляна: Келтой-поляна, поляна, 1911 г. (АнГ: Гневашевская) [НАРК, ф. 27, оп. 3, д. 23/216, л. 73 об.], где Келто(й)- восходит к утраченному карельским языком термину, соответствующему фин. *keltti*, *keltto*, *kelttu* ‘о неплодородном участке земли, например, песчаном’ [SMS 6: 746] (подробнее: [Соболев 2015: 56]); Крестполяна, поляна (Слоб) – название – полная калька с прибалтийско-финского оригинала или образованный по прибалтийско-финской модели русский топоним;

-полек < рус. олон. заполек ‘пожня, поляна, участок леса, расположенные за полем’ [СРГК 2: 179]; Чивполек / Чифполек, ур. (Сам: Мишино) [ПДА]. Вероятно, топоним связан с расположенной на противоположном берегу р. Самина д. Чивкоев Ручей, 1905 г. [СНМ 1905: 134] (совр. – Ручей, часть д. Никулино), ранее – Чивков Ручей, д., конец XVIII в. [ГП], Чехкова на ручью, 1678 г. [ПК 1678, ч. 2, л. 197 об.–213 об.], Чецкова, д., 1563 г. [ПКОП: 192]. Возможно, в основе обоих топонимов лежит приоб.-фин. антропоним **Čihkoi* < карел. *čihka*, люд. *čihko(i)*, *čihkuoi*, *čihk* ‘норка [пушной зверек]’ [СОСД: 53] либо контаминация карел. *čihoi* и вепс. *čičik* ‘черная смородина’ [СОСД: 40] (откуда, вероятно, форма Чецкова);

Одно из названий полей при переходе на русский язык подверглось суффиксальной адаптации: Корбино, поле (Слоб) [ПДА], где Корб- < вепс. *kor’b* ‘глухой лес, сырая низина’, карел. *korbi* ‘глухой лес, обычно еловый, растущий на низком сыром месте’ [ПФГЛК: 41].

Косвенным свидетельством занятий населения земледелием является топоним Галентручей / Галентей, руч. и д. (Чекш) < карел. **Hallant(o)/oja*, где *hallanto* ‘место, подверженное заморозкам’ (подробнее: [Соболев 2015: 56]).

Следующие топонимы прямо или косвенно свидетельствуют о прочих хозяйственных занятиях жителей:

1) добыча болотной руды и кузнечное ремесло:

Равдручей, руч. (Курж: Каньшино), где Равд- < вепс. *raud*, карел. *rauda*, карел. твер. *rawda* ‘железо’. Притоком ручья является руч. Коль-

чег¹, на крупномасштабных картах обозначаемый как *Кивизручей*, раннее – *Кирьвез ручей*, 1645–1676 гг. [Челобитная, 1645–1676], где *Кирьвез* < вепс. *kirvez*, карел. *kirves* ‘топор’. При этом бывш. жителям с. Слобода, рядом с которой протекает ручей, известно ур. или руч. *Кирвиз*, которое они характеризуют как «топкие *ржавые* места». Сохранились и смутные сведения о добыче здесь железной руды [ПДА]. Обработка сырья, добытого в районе данных водотоков, могла производиться жителями д. Фешево, смежной с д. Каньшино (Курж) (обе деревни расположены возле устья Равдручья) и д. По(д)бережье (Слоб) (у истоков Равдручья). Об этом может свидетельствовать топоним *Ковали*, ур., 1886 г. (Курж: Фешево) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 3/41, л. 58] и фамилия *Кузнецов* (Курж: Фешево; Слоб: Подбережье), образованная от наименования соответствующей профессии;

2) добыча прочих полезных ископаемых:

Саверьга, холм (Слоб) < вепс. **Sav/sel'g*, где *Sav-* < вепс., карел. *savi* ‘глина’, *-sel'g* < вепс. *selg*, карел. *selgä* ‘кряж, возвышенность, холм, гора’ [ПФГЛК: 86]. Взаимозаменяемость р // л может быть как связана с особенностями севернорусских говоров, так и объясняться на прибалтийско-финской почве. Ср. топонимы Присвирья: *Лунсерья* < **Ленсельга*, *Саосерья* < **Саосельга* [Муллонен 2002: 65–66]. Местные жители подтверждают, что на Савсельге раньше добывали глину для собственных нужд [ПДА];

Еньговда, ур. с залежами чугунной руды (Чекш: Багулы) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 3/39, л. 34] < вепс. **Enä/houd*, где *Enä-* < вепс. *enä* ‘большой’ [Муллонен 1994: 57], *houd* ‘яма’, при карел. *hauda* ‘впадина; выбоина; углубление; яма’. Яма, давшая название урочищу, вероятно, образовалась в результате добычи железной руды;

3) смолокурение:

Тервомах, бол. (Чекш: Чекшезеро), где *Терво-* < *t'erv* ‘смола’, карел. *terva*, *t'erva* ‘дёготь’, ‘смола’;

4) полоскание белья:

Соборанда, оз. (АнГ) < вепс. *sobarand* ‘место на берегу, где обычно полощут белье’;

В субстратной топонимии территории отразились также обозначения людей и социальных отношений. Существенную группу географических названий составляют отантропонимные, т. е. образованные от **личных имен**. В силу значительного объема топонимов данной группы, которые должны быть предметом отдельного исследования, заметим лишь, что

¹ Источники по-разному определяют главный ручей после слияния: согласно картографическим материалам в р. Самина впадает Кивезручей, согласно [ПДА] – Равдручей.

отантропонимные основы субстратного (прибалтийско-финского) происхождения встречаются в микротопонимии и ойконимии. Они представлены как древними прибалтийско-финскими именами и прозвищами (например, *Ребуево*, д., 1563 г. (АнС) [ПКОП: 191], совр. – *Ребово*, в основе вепс. л. и. *Reboi* < вепс. *reboi* ‘лиса’), так и прибалтийско-финскими вариантами христианских имен (например, *Тероевская*, д., конец XVIII в. (АнС) [ГП], совр. – *Терово*, в основе вепс. и карел. л. и. *Teroi* – рус. *Терентий*).

Этническая принадлежность группы населения закрепились в топонимах с основой *Вепс-* / *Вепси-*: *Вепсимох*, бол., *Вепсручей*, руч. (ЛобР: Ранина Гора), *Вепшезеро*, 2 одноименных озера (АнР: Варино; Речное Озеро), засвидетельствованных в местах достоверного проживания карел и восходящих к карел. *vepsä*, *vepšä* ‘вепс’. С учетом времени основания деревень, указанные топонимы маркируют районы вепско-карельских контактов, причем довольно поздних, относящихся ко второй половине XVII–XVIII вв. (подробнее: [Соболев 2015]).

На **коллективные работы** при расчистке в лесу земли для сельхозугодий может указывать название поляны *Тайгуша* (Слоб), которое мы с осторожностью возводим к вепс. *tauguh* ‘толока, помочь’.

Обозначение человека по его **социально-демографической роли** отразилось в уже упоминаемом топониме *Кялий Раяк*: вепс. *kälü* ‘невестка (жена одного брата по отношению к жене другого брата)’, карел. *kälü* ‘золовка, сестра мужа’.

Пути и используемые на них средства **передвижения** маркируют следующие географические названия:

Венег- / *Венех-* < вепс., карел. *veneh* ‘лодка’: *Венегручей*, руч. (АнС: Сорочье Поле); *Веняручей*, руч. (Айн: Кельи), ранее – *Венех-ручей*, д., ок. 1719 г. [Соколовская 1978: 158]; *Веня*, оз. (Сой), исток руч. *Веняручей*, ранее – *Венезерко*, конец XVIII в. [ГП];

Силдручей, руч. (Слоб), где *Силд-* < вепс. *sild* ‘мост’, ‘настил (через болото)’, карел. *silda* ‘мост’, ‘гать, настил через болото’;

**Шильти*: *В Шильтях*, ур., 1885 г. (Дев: Пильчина) [НАРК, ф. 24, оп. 5, д. 2/23, л. 19] < карел. *šilta* ‘мост’, ‘гать, настил через болото’.

Волоковые пути, используемые для перетаскивания плавательных средств из одного водного объекта на другой или для преодоления препятствий на реках, неоднократно встречаются в субстратной топонимии:

Маткажи, ур. (Анх. с/с) [Рут 1982: 22] < вепс. *matkažed* ‘дорожки, пути’, в раннем значении ‘волоки’, при карел. *mataset* ‘то же’;

Мат(к)-, *-матк(а)* < вепс. *matk*, карел. *matka* ‘путь, дорога; расстояние’ [ПФГЛК: 59], в раннем значении ‘путь посуху, волок’ [Муллонен 2002: 91]: *Маткручей*, руч., исток – *Маткозеро*, оз. (АнР) – ручей и озеро находятся на пути с р. Андома (басс. Балтийского моря) на р. Янишевка (басс.

Каспийского моря); *Маткозеро*, оз. (Руб: Маткозерский выселок) – находилось на пути с р. Вытегра (басс. Балтийского моря) на р. Ковжа (басс. Каспийского моря); *Маткручей*, пк, 1913 г. (Таг: Сперово) [НАРК, ф. 27, оп. 2, д. 34/485, л. 127] – очевидно, в районе ручья находился волок, по которому преодолевали пороги на р. Тагажма; *Матпручей*, 2 одноименных руч. (Гак: Подмонастырская; Курж: Тикачево); *Сусматка*, ур. (Гак) [ТКК], *Сусматское*, поле (Гак) [ТКК], где *Сус-* < **Sus-* < вепс. *suks* ‘лыжа’, ‘полоз (еловый) с загнутым концом для перевозки воды зимой’, т. е. участок пути для перевозки груза на лыжах или при помощи особого полоза.

Границы водных бассейнов на территории Присвирья и Обонежья, как показывают исследования И. И. Муллонен, маркируют топонимы с основой *Пиг-*, *Пух-* и *Свят-*. Они относятся к раннему вепсскому топонимическому наследию, датируемому временем не позднее XI в., и восходят к вепс. *pühä* ‘святой’ в раннем значении ‘изгородь, ограда, граница’. На то, что названия с основой *Свят-* являются русскими кальками вепсских оригинальных топонимов, указывает географическое положение объектов [Муллонен 2002: 145–155].

На исследуемой территории нами выявлены следующие топонимы с данными основами:

Пухболото, бол. (АнР: Никола) < вепс. **Pühä/so*, где *so* ‘болото’. Болото расположено на водоразделе Балтийского (басс. р. Андома) и Каспийского морей (басс. р. Сойда);

Святая Вода, руч., конец XVIII в. (ПлН: Хвощевники) (ГП) – название маркирует границу между бассейнами рек Андома и Вытегра;

Святое, оз. (ЛадвК: Куржинская пустынь) – одно из самых верхних озер в истоках р. Андома. Топоним обозначал границу между бассейнами рек Андома и Водла, а также Балтийского (р. Андома) и Каспийского морей (р. Сойда).

В свою очередь, сформировавшуюся в бассейне р. Андома **границу освоения** обозначали следующие топонимы:

Пихнос, ур. (Слоб) < вепс. **Pühä/n'em*’, где *n'em* ‘мыс’;

Свят-ручей, руч. (Зам: Носовая) [НАРК, ф. 27, оп. 3, д. 51/463, л. 43] < вепс. **Pühä/oja*, где *oja* ‘ручей’. Это, очевидно, современный *Укручей* (МакВ: Аркучево).

В связи с изменением значения вепс. *pühä* указанные объекты стали восприниматься как **сакральные**. Об этом свидетельствует тот факт, что замошский *Свят-ручей* имеет второе название – *Укручей*, а руч. *Святая Вода* соседствует с руч. *Укручей* (ПлН: Макридино) (последний расположен в 5 км юго-восточнее руч. Святая Вода). Топооснова *Ук-* в данном случае восходит не к современному вепс. *uk*, карел. *ukko* ‘старик’, а к имени прибалтийско-финского бога-громовержца *Ukko*.

Следовательно, судя по наличию топонимов с основой *Пих-* / *Свят-*, древним вепсам не позднее XI в. были известны водоразделы между бассейнами рек Андома (басс. Балтийского моря) и Сойда (басс. Каспийского моря), оз. Тудозеро и р. Вытегра (оба – басс. Балтийского моря), а граница освоения территории проходила в районе современных Замошья и Слободы (что, впрочем, не означает, что к этому времени поселения в Замошье и Слободе уже имелись).

Таким образом, рассмотренные в статье топонимы свидетельствуют о том, что доприбалтийско-финское население ЮВО до прихода прибалтийско-финского (древневепского) и славянского населения, очевидно, не занималось земледелием и, судя по наличию топонимов с основой *Чекш-*, проживало в сезонных поселениях. Прибалтийско-финское население было представлено вепсами и карелами. Субстратные топонимы прибалтийско-финского происхождения указывают на существование в крае укрепленных поселений (городищ) и сельских населенных пунктов, свидетельствуют о добыче полезных ископаемых, наличии земледелия и животноводства, кузнечного ремесла, смолокурения, неоднородности этнического (языкового) состава населения, использовании волоковых путей и определенных, совпадающих с природными, границ. Наличие топонимических калек указывает на бывшее прибалтийско-финско-славянское двуязычие, а адаптация топонимов в форме полукалек и хорошая сохранность микротопонимии – о постепенном обрусении местного прибалтийско-финского населения, произошедшем в довольно позднее время.

Список сокращений и условных обозначений

В названии языков и диалектов

вепс. – вепский язык

карел. – карельский язык (собственно карельское наречие)

карел.-твер. – тверские говоры собственно карельского наречия карельского языка

карел.-тихв. – тихвинские говоры собственно карельского наречия карельского языка

лив. – ливский язык

ливв. – ливвиковское наречие карельского языка

прасаам. – прасаамский язык

приб.-фин. – прибалтийско-финские языки

рус. – русский язык

рус. олон. – олонечские говоры русского языка

саам. – саамский язык

фин. – финский язык

эст. – эстонский язык

**В названиях групп и гнезд поселений ЮОВО
(по состоянию на кон. XIX – нач. XX в.)**

Историческая территория Андомского погоста-округа

Айн – Айнозеро	Ляд – Лядины
АнГ – Андома-гора (Андомогорские деревни)	МакВ – Макачево и Верховье
АнР – Андома-река (Андоморецкие деревни)	Маль – Мальян
АнС – Андома (село)	Осин – Осиновец
Гак – Гакугса / Гакукса и Муромский монастырь	Сам – Самино
Зам – Замошье	Слоб – Слобода
Илек – Илекса	Сой – Сойдозеро
КлС – Клёново и Саража	Туд – Тудозеро
Курж – Куржекса	Цим – Цимино
ЛадвК – Ладвозеро и Курженское Озеро	Чекш – Чекша-речка
ЛобР – Лобеги и Ранина Гора	

Историческая территория Вытегорского погоста-округа

Анх – Анхимово	НижВ – нижнее течение р. Вытегра
Алм – Алмозеро	ПлН – Плоские Нивы
БелР – Белый Ручей	Руб – Рубеж
Дев – Девятины	Таг – Тагажма
КЧП – Кудома, Чекша, Палозеро	ТагК – Тагажмозеро и Кудомозеро
Марк – Марково	Тал – Талица

В названиях районов Ленинградской области

Лод – Лодейнопольский район

Подп – Подпорожский район

**В географических и административно-территориальных
терминах и объектах**

басс. – бассейн	пк. – покос
бол. – болото	р. – река
вол. – волость	руч. – ручей
д. – деревня	с. – село
местн. – местность	с/о – сельское общество
н. п. – населенный пункт	с/с – сельский совет
обл. – область	ур. – урочище
оз. – озеро	

Прочие

бывш. – бывший	народн. – народная форма личного имени
ген. – генитив (родительный падеж)	совр. – современная форма топонима
л. и. – личное имя	

Литература и источники

- АК – Археология Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1996. 413 с.
- АПР – Атлас пресноводных рыб России: В 2-х т. Т. 1. М.: Наука, 2002. 379 с.
- БОО – Биоресурсы Онежского озера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008.
- Витов М. В. Историко-географические очерки Заонежья XVI–XVII вв. Из истории сельских поселений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. 290 с.
- ГП – Генеральный план Вытегорского уезда Олонецкого наместничества. РГАДА. Ф. 1356, оп. 1, д. 3262–3271.
- Гусельникова М. Л. Итоги работы топонимической экспедиции Уральского университета в Вытегорском районе Вологодской области // Финно-угорское наследие в русском языке: сб. науч. тр. Вып. 1. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. С. 171–173.
- Гусельникова М. Л. Об определении калек в топонимии Русского Севера // Русская диалектная этимология: 3-е науч. совещание 21–23 октября 1999 г. Тез. докл. и сообщ. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. С. 14–17.
- Иванищев А. М. Древности Вытегории // Вытегра: краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда: ВГПУ, изд-во Русь, 1997. С. 11–42.
- Карлова О. Л. -Л-овая модель в топонимии Карелии: дис. ... канд. филол. наук / ПетрГУ. Петрозаводск, 2004. 227 с.
- Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 2. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. 369 с.
- Муллонен И. И. Очерки вепсской топонимии. СПб.: Наука, 1994. 154 с.
- Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. 356 с.
- Муллонен И. И. Топонимия Заонежья: словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 241 с.
- НАРК – Национальный архив Республики Карелия. Ф. 24. Олонецкое губернское по крестьянским делам присутствие (1861–1909), оп. 2. Д. 3/41, оп. 5, д. 2/14, 2/17, 2/18, 2/20, 2/22, 2/23, 2/25, 2/28, 2/29, 3/33, 3/39, 3/41. Ф. 27. Олонецкий губернский статистический комитет (1765–1925), оп. 2, д. 31/483, 31/485, 34/485, оп. 3, д. 51/463, 74/664.
- ОГВ – Олонецкие губернские ведомости.
- ПДА – полевые данные автора.
- ПК 1628 – Писцовые книги 7136–7137 (1628–1629) гг. // ОГВ. 1850. № 44. 1851. № 1.
- ПК 1678 – Переписная книга Заонежской половины Обонежской пятины вотчинных и поместных земель писца Ивана Аничкова. 1678 г. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1137. Ч. 1. Цит. по: Большой Двор (центр вотчины) – Усадище (центр поместья) – погост (центр волости) (по материалам переписей Заонежских погостов конца XV – начала XVIII вв.) (проект «Разработка геоинформационного комплекса по истории системы расселения на территории Карелии», 2011–2013 г.г., рук. Жуков А. Ю. РГНФ, 11-01-12033в) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.krc.karelia.ru/project.php?id=502&plang=r>

ПКЗ – Писцовая книга Заонежской половины Обонежской пятины А. В. Плещеева и подьячего С. Кузьмина 1582/1583 г. // История Карелии в XVI–XVII вв. в документах. Т. 3. Петрозаводск; Йоэнсуу: б.и., 1993. С. 35–341.

ПКОП – Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. // Материалы по истории народов СССР. Вып. 1: Материалы по истории Карельской АССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. 254 с.

ПФГЛК – Мамонтова Н. Н., Муллонен И. И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1991. 158 с.

Рут М. Э. Вепские географические термины в русской апеллятивной лексике и топонимии Вытегорского района Вологодской области // Ономастика Европейского Севера СССР: сб. ст. Мурманск: Мурман. кн. изд-во, 1982. С. 21–23.

СВЯ – Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепского языка. Л.: Наука, 1972. 747 с.

СГЮВП – Муллонен И. И., Азарова И. В., Герд А. С. Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. 192 с.

СКЯТ – Словарь карельского языка (тверские говоры): около 17 тыс. слов. Петрозаводск: Карелия, 1994. 396 с.

Смирнов Ю. А. Лосось Онежского озера: биология, воспроизводство, использование. Л.: Наука, 1971. 143

СНМ 1873 – Списки населенных мест по сведениям 1873 г. Олонецкая губерния. СПб.: Тип. МВД, 1879. 235 с.

СНМ 1905 – Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 г. Петрозаводск: Олонецкая губерн. тип., 1907. 326 с.

Соболев А. И. Карельское наследие в топонимии Юго-Восточного Обонежья // Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18). С. 47–68.

Соболев А. И. О прибалтийско-финском компоненте в формировании населения Андомского погоста и о некоторых вопросах освоения данной территории // Вытегра: краеведческий альманах. Вып. 4. Вологда: ВГПУ, 2010. С. 185–252.

Соболев А. И. Субстратная топонимия Тудозерья и ее соотношение с данными археологии // Рябининские чтения-2011. Материалы VI научной конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. С. 502–504.

Соколовская М. Л. Северное раскольниковье общежительство первой половины XVIII века и структура его земель // История СССР. 1978. № 1. С. 157–167.

СОГБ – Макарова А. А. Словарь озерной гидронимии Белозерья // Русская озерная гидронимия Белозерья: системно-функциональный аспект: дис. ... канд. филол. наук / УРФУ. Екатеринбург, 2012. С. 315–763.

СООН – Куликовский Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1898. 151 с.

СОСД – Сопоставительно-ономастический словарь диалектов карельского, вепского и саамского языков. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 348 с.

СПГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 6 вып. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994–2005.

ССКГК – Федотова В. П., Бойко Т. П. Словарь собственно карельских говоров Карелии = Karjalan Varšinaismurtehien šanakirja. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. 349 с.

ТКК – Топонимическая картотека Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск).

Челобитная крестьянина Андомского Никольского погоста Савки Андреева об отводе сенных покосов, 1645–1676 // Полнотекстовая электронная документальная коллекция «Олонецкая воеводская изба» [Электронный ресурс]. URL: <http://illmik.petr-su.ru/illmik/IZBA.html>

SSA – Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja. O. 1–3. Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1992–2000.

SKN – Nissilä V. Suomen Karjalan nimistö. Joensuu: Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, 1975. 172 s.

UEW – Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Uralische und finnisch-ugrische Schicht. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. 593 s.

USN – Uusi suomalainen nimikirja. Helsinki: Otava, 1988. 1031 s.

*Этнография
и фольклористика*



НЕБЕСНЫЙ ПУП *TAIVAZNAVA* И НЕБО В ВЕПСКОЙ НАРОДНОЙ КОСМОГРАФИИ*

Предисловие

Мое знакомство с Ирмой Муллонен произошло в 1981 г., когда я была принята на работу в ИЯЛИ на должность старшего лаборанта и планировала в дальнейшем заниматься этнографией вепсов. Ирма Ивановна в это время заканчивала аспирантуру. Тема ее диссертационной работы была посвящена вепсской топонимии. Таким образом, по объекту изучения и горячему желанию заниматься полевой и исследовательской деятельностью мы совпали, и с того времени начались наши многочисленные экспедиции по сбору материалов у вепсов. Мы ездили вдвоем или в составе экспедиционных отрядов. Во время наших первых экспедиций мы часто ходили вместе к информанту и по очереди вели с ним опросы по темам наших интересов. Такие объединяющие опросы занимали много времени, зачастую вызывали усталость у собеседника и интервьюеров, но, в конечном счете, были очень



*Рис. 1. Ирма Муллонен с Е. П. Медведевой
(1908 г. р.) – жительницей д. Другая Река
РК. (Фото автора, 1982 г.)*

полезными, поскольку расширяли кругозор исследователя относительно изучаемого народа и его культуры, не давали ему замыкаться только на своей теме.

Одной из наиболее ярких, непохожих на другие, была наша первая совместная экспедиционная поездка к южным вепсам в июне 1982 г. Целью ее был сбор материала в Радогощинском кусте деревень Бокситогорского района Ленинградской области. Деревни Радогощинского куста находятся друг от друга на значительном расстоянии. Для такой экспедиции

* Работа выполнена по программе фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Евразийское наследие: новые смыслы», проект «Вепсы и карелы в Евразийском полиэтничном пространстве: общность и различие исторических судеб и культурных ценностей».

нужна была машина, но в те годы в институте транспорт для экспедиционных исследований на летнее время могли предоставить только наиболее нуждающимся – археологам. Поэтому в Радогощь мы добирались двумя видами транспорта: поездом от Петрозаводска с пересадками в Волховстрое и Ефимовском (с остановкой в местной гостинице) и утренним рейсовым автобусом Ефимовское – Радогощь. Прибыли в Радогощь 22 июня. В Радогощи нас устроили в комнате какого-то общежития барачного типа, выделили одно койко-место на двоих, но этим жильем нам почти не пришлось воспользоваться.

На следующий день, захватив с собой тетради, фотоаппараты и магнитофон, отправились пешком в Боброзеро, находящееся от главного поселения примерно в 5 км. Работали там и в соседних деревнях (Максимова Гора и Белячиха) до глубокого вечера, устали так, что уже не было сил идти обратно, поэтому решили переночевать в Максимовой Горе у Марии Григорьевны Васильевой (1919 г. р.), которая стала нашим другом в последующих экспедициях, приезжала для записи на ТВ в Петрозаводск. Утром (24 июня) пошли дальше в д. Федорово, возвращение в Радогощь не имело смысла.

Так, работая в каждой встречавшейся на пути деревне допоздна, останавливались на ночлег где придется и шли дальше. Помню, две ночи ночевали в Пожарище у Анастасии Ивановны Веселовой (1911 г. р.). В избу залетела тьма комаров и мух, и хозяйка, чтобы мы смогли уснуть, установила над нами огромный марлевый полог. Мы заснули под писк злых насекомых, которые, как ни старались, не могли нас достать. За шесть дней мы преодолели большой маршрут: Радогощь – Боброзеро и Максимова Гора (4,7 км), Белячиха и Федорово (2,2 км), Пожарище (4,3 км), Петрово (0,8 км), Остров (0,5 км), Кортала (4 км), Пелушский погост (3,5 км), Бочево (8 км), Радогощь (2,1 км) (рис. 2). К сожалению, многие из этих деревень к настоящему времени опустели или доживают последние дни, а замечательных информантов, с которыми мы познакомились, уже давно нет в живых.

Южновепсская культура, познаваемая нами впервые, удивляла своими самобытными явлениями. Кажется, именно в этой экспедиции во время опроса, проводимого Ирмой Муллонен, я услышала о двух горах этой местности под уникальными названиями *Taivaznab(a)*, в переводе ‘небесный пуп’, и *Nabmäägi* ‘пуповая гора’, которые свидетельствуют о том, что топонимия может быть важным источником для реконструкции вепсской мифологической картины мира. Позже И. И. Муллонен посвятила этому вопросу специальную статью. Она писала: «Эти топонимы являют собой пример того, как мифологический мир накладывается на реальную картину местности» [Муллонен 1993: 6–7]. В данной

статье хотелось бы развить эту тему дальше, показать участие комплекса междисциплинарных источников в реконструкции вепсских представлений о мироздании и небе как важнейшей его части, включить в этот комплекс и южновепские названия гор, записанные Ирмой Муллонен в 1982 г., и показать их значимость.

Источники по вепсской мифологии. В вепсской традиции почти не сохранилось мифов в форме повествования, составляющих существенную часть мифологической системы. На современном этапе главными источниками реконструкции вепсской мифологии являются данные этнографии (верования, обряды, изобразительное искусство) и лингвистики (лексика, топонимия, фразеологизмы), произведения устного народного творчества, а также археологические памятники древневепсской культуры (IX–XIII вв.). Необходимый материал для реконструкции вепсской мифологии предоставляет сравнительно-историческое сопоставление имеющихся по ней данных с другими финно-угорскими и славянскими мифологическими системами.

Космография. Вепсские космографические представления сохранились в виде разрозненных фрагментов. Утраченные звенья вепсской мифологической картины мира можно компенсировать лишь с помощью привлечения аналогий из мифологических систем родственных народов. В финно-угорской мифологии представлено два взгляда на строение вселенной: по вертикали и по горизонтали. По мнению исследователей, обе модели мира были широко распространены в Европе и являются частью мировоззрения, которое в его существенных особенностях является чрезвычайно древним [Siikala 2000: 131]. Согласно вертикальной модели, космос состоит из трех основных миров: верхнего – неба с Полярной звездой в центре, среднего – земли, окруженной водой, и нижнего – подземелья. При этом земля противопоставлена потусторонним запредельным мирам – небесному и подземному. Боги неба, другие небесные существа, души предков расположены в верхнем мире. Середина – место обитания людей и существ, с которыми человек больше всего взаимодействует на земле. В нижнем мире обитают мертвые и различные хтонические существа, болезни [Пентикайнен 1990: 43]. Дерево, столб или гора служат мировой осью, связывающей три мира. Медиативная роль дерева, например, представлена в вепсских похоронных причитаниях. В них самая нижняя ветка кроны является границей между небесным (иным) и земным мирами, только на этой границе человеку можно общаться с умершим родственником, воплотившимся в кукушку-птицу: «*I kuku-ske ku sina, käbed da kägoihudem, <...> i ištte-ske ku sina keikiš alembeižele okseižele*» – «И кукуй-ка ты, милая да кукушечка, <...> и сядь-ка ты на самую нижнюю веточку» [KKK 2012: 186].



Рис. 2. Маршрут экспедиции к южным вепсам 1982 г. Радогощинский с/совет Бокситогорского района Ленинградской области

Согласно финской и карельской горизонтальной модели мира, круглая земля омывается водами. Небо – как купол закрывает землю. Финны называли крышу над землей *taivaankansi* ‘небесная крышка’, *kirjokansi* ‘вышитая крышка’ [Пентикайнен 1990: 39]. Неподвижным центром небосвода является Полярная звезда – *taivaan napa* ‘пуп неба’, *pohjan tappi* ‘центр Севера’, *pohjan naula* ‘гвоздь Севера’. Небесный купол поддерживает мировой столп или гора, вершина которой касается Полярной звезды [Петрухин, Хелимский 1997: 564]. Подобные представления о вселенной в осколочном виде отразились в некоторых сферах вепсской культуры. Вепсы считали, что земля – это круглый остров. По поверьям, записанным у белозерских вепсов, «небо – как стеклянный колпак; до неба далеко: сколько на корове шерстинок, столько до неба верстинок» [Черемхин: 1]. Упомянутые выше две горы на южно-вепсской территории под названиями *Taivaznab(a)* ‘небесный пуп’ и *Nabmägi* ‘пуповая гора’ указывают на такой ключевой элемент традиционной картины мира, как гора – опора неба [Муллонен 1993: 6–7].

В славянской мифологии небо также описывалось подобным куполу, прозрачному своду из некоего светящегося вещества. Этот купол как бы обнимал сушу и окружающую ее воду. Небо, как полагали славяне, имело не только твердую оболочку, но и огромную жидкую массу – «хлябь небесную», а под ней – воздушный слой [СДС 1998: 105]. Подобные взгляды обнаруживаются и в вепсской мифологии. Южные вепсы до сих пор рассказывают, что весной на земле можно встретить куски какого-то вещества в виде киселя или холодца, – это *taivaz* ‘небо’. По народным объяснениям, «*taivaz lanksi maha*» – «небо упало на землю». Упавшие с неба небесные куски в виде кисельной массы используются для выведения веснушек [Прокушево, ПМА¹-2002].

Рассказы подобного рода известны и вепсам Прионежья. По северновепским поверьям, осенью и весной только в утреннее и ночное время охотники часто находили в лесу упавшее с неба маленькое «небо» (*taivaz*) – небольшой комоч, мягкий, белый, как загуста или каша из муки, который зимой в снегу нельзя было обнаружить. Его приносили домой, где он таял, засыхал и от него оставалось немного воды. «Небо растаяло», – говорили. Этой водой мазали болячки на нёбе. Способ лечения так и назывался «*taivhal voita kibedad*» (букв. «небом намазать болячки») [Rainio 1973: 309]. В основе исцеления лежал принцип: подобное следует лечить подобным. Как свидетельствует вепсская лексика, нёбо во рту человека соотносилось с верхом, ипостасями которого были потолок, чердак – соответственно символы неба. В вепсском языке *lagi* – не только нёбо, но и потолок, чердак; *sulagi*, также имеющее значение нёбо, буквально переводится «ротовой потолок» [Зайцева, Муллонен 1972: 270, 526].

¹ ПМА – Полевые материалы автора.

Происхождение неба. В космогониях многих народов появление неба описывается как разделение космоса на верх и низ, т. е. небо и землю. Их первоначальная слитность часто передавалась в мифах как священный брак Неба-отца и Земли-матери, породивший все то, что есть во Вселенной [Брагинская 1997: 206]. Одно из порождений – человек. Небо и Земля некогда были нераздельны, тесно прижаты друг к другу. Первый рожденный ими сын раздвинул родителей, создав «жизненное пространство, предназначенное для заполнения его жизнями» [Топоров 2000: 261]. Позднее разделительная функция была приписана не человеку, а Богу-Творцу. Подобные христианизированные представления получили любопытное преломление в северновепсских заклинаниях, произносимых в случае тяжелых родов женщины. Например: *Vot kut Sünd om erigeitanu man i taivhan erizi, muga erigeikaha n'enedkaks' hanged erizi* 'Вот как Бог отделил врозь землю и небо, так пусть отделяться врозь эти две души' [Perttola: 676¹].

Еще одна версия происхождения неба отразилась в уникальном северновепсском фольклорном тексте. В ней небо и другие объекты космоса произошли из трех яиц, снесенных уткой на кочке в море. Яйца разбились, и из них были созданы важнейшие части Вселенной: небо, земля, солнце, луна, звезды [Винокурова 2006: 50].

Небо – загробный мир. Можно предположить, что древние вепсы, как и славяне, в IX – начале XI в. верили, что загробный мир находится на небе, поскольку, по данным археологии, у населения Юго-Восточного Приладожья и Белозерья, участвовавшего в этногенезе вепсов, была широко распространена такая форма погребения, как кремация при курганном способе захоронения [Кочкуркина 1990: 19–20]. Письменные источники по славянам запечатлели народную интерпретацию сожжения мертвых. Арабский путешественник Ибн-Фадлан приводит слова одного русича: «Мы сжигаем его в мгновение ока, так что он немедленно и тот же час входит в рай» [Волошина, Астапов 1996: 222]. Впоследствии представления о небесной обители душ были подкреплены христианским учением, которое дополнило их идеей посмертного воздаяния и изменило способ погребения. По православным представлениям, только людям, праведно проведшим жизнь, для вечного блаженства Богом уготовано Царствие Небесное (рай) [Православие 2007: 710]. По Священному Писанию, небесный рай представляет собой *жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный* [2 Кор.5: 1²]. Влияние православия заметно, например, в обряде вепсов с. Пондала. Солому, на которой омывали умершего, родственники выносили в поле и сжигали. Верили, если дым пойдет вверх, то душа покойного праведна, а если расстилается по земле, то грешна [Богословский 1865: 220].

¹ Здесь и далее указан номер единицы хранения.

² Второе послание к Коринфянам – книга Нового Завета.

Представления о небе – загробном мире – оставили следы в вепсской традиционной культуре. Например, жители вепсских деревень до сих пор во время агонии человека для облегчения его смерти дотрагиваются до матицы или конька крыши, открывают дымоход, т. е. совершают действия, символизирующие устранение препятствий для выхода души и указывающие ей путь на небо. Наступление смерти человека северные вепсы знаменовали следующим обрядом: отрубали от конька крыши одним взмахом щепку, которую клали в воду. Этой водой мыли лицо, шею, грудь умирающего со словами: *Knäz', bat'uško, anda hänele däl'gmeine ald!* 'Князь, батюшка, дай ему последнюю волну!' [Perttola: 579]. В верованиях многих народов конек крыши (князевое бревно) связывался с верхом – «небом» [Байбурин 1983: 91]. Магическое погружение щепки в воду символизировало передвижение души умершего по воде. Чтобы достичь небесного загробного мира, нужны были силы в преодолении водного пространства; нужна была последняя волна, способная прибить странствующую душу к небесному берегу.

Северновепсское название радуги *kol'l'ambembel'* (букв. «дуга мертвого») показывает, что вепсы Прионежья считали радугу своеобразным мостом, по которому души умерших переправляются на небо. В воображении вепсов, как и русских, загробное путешествие на небо могло представляться также как тяжелое преодоление большой крутой горы. Считалось, что карабкаться по ней помогают ногти. Поэтому старые люди, как правило, не стригли ногтей. Обрезанные ногти было принято прятать за пазухой, чтобы после смерти можно было найти их [Perttola: 578; ср. у русских: Генерозов 1883: 33].

Небесные божества. Первоначально обожествлялось само небо. Самым древним небесным образом вепсского пантеона, восходящим к финно-угорскому периоду, является бог Юмал – *Jumal*. Дialeктные термины: *g'utau* (Пондала), *g'utou* (Шимозеро), *jutou* (Озера), *jutā* (Сидорово, Чайгино), *d'umal* (Шелтозеро) [Зайцева, Муллонен 1972: 90]. Эти термины имеют соответствие во многих родственных финно-угорских мифологиях. У всех финно-угорских народов в древности существовал главный небесный бог с похожим именем. Дошедшие до нашего времени названия этого бога происходят от прафинно-угорского слова *ilma* или его аллитерации – *juma*, образованной в волжско-финский период, имеющей значение 'небо, небеса, воздух, погода'. Это, во-первых, фин., кар. *Ilmarinen*, удм. *Инмар*, коми *Ен*, хант. *Нуми-Торум*; во-вторых, фин., кар. *Jumala*; эст. *Jumal*; саам. *Юбмел*; коми *Йомаль*; мар. *Юмо* – *Кузу-Юмо* [Ajkhenvald, Helinski, Petrukhin 1989: 158–159; Владыкин 1994: 101]. В то же время, по версии ряда этимологов, слово *juma* могло быть заимствовано финно-уграми в древности от индоевропейских (арийских) племен. Его источником называется санскритское слово *dyumān*, имеющее перво-

начальное значение ‘небесный; сияющий, сверкающий; яркий’, которое служило постоянным эпитетом для древнеиндийского небесного бога Индры [SKES: 122; Häkkinen 2007: 289].

Некоторые данные вепсской метеорологической лексики говорят о *Jumal* как боге неба, производящем различные погодные явления. В вепсском языке названия, обозначающие гром, грозу, радугу, содержат имя этого бога: *g'umalangüru* – гром (букв. ‘божий грохот’), *g'umalansä* – гроза (букв. ‘божья погода’), *jumalanheboine* – радуга (букв. ‘божья лошадка’) или *jumalankušak* (букв. ‘божий кушак’).

Дальнейший путь развития представлений, связанных с небом, во многих мифологиях мира отличался единством: он шел от персонификации неба к его дифференциации и появлению отдельных божеств – воплощений небесных явлений, в том числе грома. Например, у славянских народов образ Неба-Отца уступил со временем свое место Перуну – «богу грозы, громовержцу, мечущему на Землю гром и молнии, как бы “окрещивающему” ее водой и огнем» [Топоров 2000: 250]. В диалектах вепсского языка также ряд сведений говорит о *Jumal* как боге грома и молнии. Так, у шимозерских и пязозерских вепсов слово *g'umou* сохранило два значения ‘бог’ и ‘гром’: *G'umou g'ureidab i lämin iškeb* – букв. ‘Бог (= гром) гремит и высекает молнию’. Судя по данным лексики оятских вепсов, слово *jumou* у них имело три значения: ‘бог; гром; молния’, например: *Jumou jureidab* ‘Бог (= гром) гремит’; *Jumal iški heboho* ‘Молнией поразило (=Бог поразил) лошадь’ [Зайцева, Муллонен 1972: 151].

Еще в дохристианское время у прибалтийско-финских народов название небесного бога и громовержца *Jumala (Jumal)* было заменено названием *Ukko*. По своему коренному значению *ukko* – это представитель мужского пола, почитаемый как старший по возрасту и званию. Первоначально термин *ukko* использовался как эпитет, выражающий благоговение и почтение по отношению к небесному богу *Jumala (Jumal)*. Когда же слово *Jumala (Jumal)* постепенно стало обозначать вообще сильного и могущественного бога, даже христианского, его громовые и небесные функции стали соединять с именем *Ukko*, т. е. праотца, старца [Кастрен 1853: 511]. В прибалтийско-финских языках термины, обозначающие гром, грозу, радугу, содержат корень *uk*, а не *jumal*, как у вепсов: *ukkonen* (фин.) ‘гром’ (уменьш. от *ukko*); *ukonilma* (кар.), *ukkossää* (фин.) ‘гроза’ (букв. ‘божья погода’); *ukonkuari* (кар.) ‘радуга’ и др. Следов перехода от *Jumal* к *Uk* в вепсской культуре не обнаружено, за исключением одного языкового примера: «*Uk jureidab*» – «Гром (= старик, Бог) гремит» [Богданов 1952: 156].

В процессе христианизации термин *jumala* (фин., кар.), *jumal* (эст.), *jumal* (вепс.) стал обозначать «бога вообще» [Петрухин, Хелимский 1997: 23]. Функции же вепсского «громовика» *Jumal* частично перешли к св. Илье (*Il'ja*).

Под влиянием библейского предания Илия Пророк у вепсов стал рассматриваться как божество, связанное с громом, дождем, водой. По народным определениям, *Il'ja oli d'umalansän d'umal* 'Илья был богом грозы' (Шелтозеро) [Valjakka: 525¹]. Среди вепсов повсеместно, как и русских, и карелов, широко распространены представления о происхождении грома и молнии от св. Ильи, который ездит по небу в огненной колеснице [Ср.: Макашина 1982: 85; Баранцев 1978: 135–136]. В XIX в. белозерские вепсы объясняли происхождение грома и молнии следующим образом: «Гром происходит от того, что Илья ездит по небу на огненной коляске, а когда он при быстрой езде наедет на камень и явится искра, то это молния» [Винокурова 1994: 23]. Илья Пророк мог не только создавать молнию, но и уничтожать ее (возможно, водой). Подобные представления об Илье Пророке были зафиксированы у вепсов Прионежья в середине – конце XX в.: *Il'ja ajab hebol, kudambal oma suugad, i lämin sambutelob* 'Илья едет на лошади, у которой есть крылья, и молнию гасит' [Valjakka: 525]. Если в Ильин день раскаты грома отсутствуют, то пажозерские вепсы объясняют это явление перемещением небесного святого на «тихом» виде транспорта – лодке: *G'umou g'üraidab, ka Il'ja telegou ajab, a konz ku ei g'üraida, ka venehuu soudab* 'Гром гремит, так Илья на телеге едет, а когда как не гремит, так на лодке плывет' [Винокурова 2006: 280].

Христианские представления о пребывании Бога-Творца на небе способствовали появлению у вепсов названия *Taival'iin'e* (букв. «небесный»), обозначающего Бога. «Бытьверху, высоко, над другими означает “править”, поэтому верховный бог – царь, правитель» [Брагинская 1997: 208]. Отсюда и название *Taival'iin'e* употребляется также в значении 'царь небесный' [Зайцева, Муллонен 1972: 558].

Таким образом, междисциплинарная методика позволила не только реконструировать представления о народной космографии и небе у вепсов, но и обнаружить их генезис.

Литература

Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 191 с.

Баранцев А. П. Образцы людииковской речи. Петрозаводск, 1978. 287 с.

Богословский Н. Материалы по истории, статистике и этнографии Новгородской губ., собранные из описаний приходов и волостей // Новгородский сборник. Вып. 1. Новгород, 1865. С. 153–223.

Брагинская Н. В. Небо // Мифы народов мира. М.: Рос. энцикл. Олимп, 1997. II. С. 206–208.

¹ Здесь и далее указан номер единицы хранения.

Винокурова И. Ю. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX – начало XX в.). СПб.: Наука, 1994. 124 с.

Винокурова И. Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов (опыт реконструкции). Петрозаводск: ПетрГУ, 2006. 448 с.

Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 383 с.

Волошина Т. А., Астапов С. Н. Языческая мифология славян. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского педагогического университета, 1996. 445 с.

Генерозов Я. К. Русские народные представления о загробной жизни на основании заплачек, причитаний, духовных стихов и т. п. Саратов: типо-лит. Киммель и К°, 1883. 48 с.

Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепского языка. Л.: Наука, 1972. 745 с.

Кастрен 1853 – О значении слов: Юмала и Укко в финской мифологии. Из лекций профессора М. А. Кастрена // Ученые записки Императорской Академии Наук по I и III отд. Т. 1, 1853. С. 491–528.

Кочуркина С. И. Сокровища древних вепсов. Петрозаводск: Карелия, 1990. 126 с.

Макашина Т. С. Ильин день и Ильин-пророк в народных представлениях и фольклоре восточных славян // Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, 1982. С. 83–101.

Муллонен И. И. О «святых» топонимах и некоторых следах древних верований в вепской топонимии // Родные сердцу имена. Ономастика Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. С. 4–12.

Пентикайнен Ю. Жизненный цикл и годичный ритм природы в финском фольклоре // Традиционная духовная культура народов Европейского Севера: ритуал и символ. Сыктывкар: СГУ, 1990. С. 39–55.

Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. Финно-угорская мифология // Мифы народов мира. М.: Рос. энцикл. Олимп, 1997. II. С. 563–568.

Православие. Словарь-справочник. М.: ДАРЪ, 2007. 960 с.

СДС 1998 – Сказания древних славян. М.: Респекс, 1998. 650 с.

Топоров В. Н. К реконструкции балто-славянского мифологического образа Земли-Матери **Zemā & *Mātē (*Mati)* // Балто-славянские исследования 1998–1999. XIV. Сб. науч. трудов. М.: Наука, 2000. С. 239–371.

Ajkhenväld A., Helimski E., Petrukhin V. On Earliest Finno-Ugrian Mythologic Beliefs: Comparative and Historical Considerations for Reconstruction // Uralic Mythology and Folklore / Edited by Mihály Hoppál and Juha Pentikäinen. Budapest; Helsinki, 1989. P. 155–159.

Häkkinen K. Nykysuomen tymologinen sanakirja. Juva: WSOY, 2007. 1633 s.

ККК 2012 – Käte-ške käbedaks kägoihudeks ‘Обернись-ка милой кукушечкой’ (Вепские причитания) / Сост. Н. Г. Зайцева, О. Ю. Жукова. Нотировки С. В. Косаревой. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. 224 с.

Rainio J. Vanhaa äänisvepsäläistä lääkintätietoa // Kalevalaseuran vuosikirja. Porvoo; Helsinki, 53, 1973. S. 289–312.

Siikala A.-L. What Myths Tell about Past Finno-Ugric Modes of Thinking // Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum 7.–13.8. 2000 Tartu. Pars I. Orationes plenariae. Tartu, 2000. P. 127–140.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja / Toivonen J. H. Helsinki, 1955. V. I. S. 1–204.

Архивные источники

Богданов Н. И. История развития лексики вепсского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1952. Машинопись // Архив Карельского научного центра (НА КарНЦ), ф. 1, оп. 43, № 204.

Черемхин – Черемхин К. Представления о мироздании. Обряды, приуроченные к празднествам. Демонология. (Новгородская губ. Белозерский у. Марковская вол. Корелы) // Архив Российского этнографического музея (РЭМ), ф. 7, оп. 1, № 702.

Perttola – Материалы Ю. Перттола // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunouden arkisto – Фольклорный архив Общества финской литературы (SKS).

Valjakka – Материалы С. Вальякка // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunouden arkisto .

Людмила Ивановна Иванова

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ЭЛЕМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ТАБУИРОВАНИЯ В ЭТИКЕТЕ БАННОГО РИТУАЛА КАРЕЛОВ

Баня у карелов считалась сакральным локусом и являлась неким семейно-родовым святилищем: «*Pyhä paikkahan se sauna ennen aikaan oli*» – «Раньше сауна была святым местом» [Лукун: 88]. Здесь проводились многочисленные ритуалы, связанные с переходными периодами в жизни человека: с рождением, свадьбой и погребально-поминальной обрядностью. В народном представлении баня была населена духами-хозяевами. В них глубоко верили, почитали и прибегали к их помощи в трудные (например, болезнь) и наиболее ответственные (например, лиминальные: рождение, свадьба) периоды жизни. В банных духах-хозяевах карелы «видели покровителей семьи, и культ их в известной мере можно рассматривать как одну из ранних форм культа предков» [Никольская 1992: 83]. При этом следует сказать, что, по мнению карела, вредоносное влияние бани и ее хозяев встречалось только в единственном случае: когда человек сам нарушал пространственно-временные границы, различные табу и правила банного этикета.

Именно в связи с этим банный ритуал карелов был строго регламентирован и включал множество запретов. Табуированы были все границы: временные, пространственные, вербальные и этические.

Карелы очень любили ритуал посещения бани. В карельском языке есть специальный глагол, обозначающий банный процесс, – *kylytellä*, то есть ‘ходить в баню’. Зимой топили баню два-три раза в неделю, традиционно по субботам, а иногда и по вторникам и четвергам. Эти два дня так и назывались *kylypäivät* ‘банные дни’. Некоторые информанты вместо четверга называют среду [НА: 34/261¹], но это, скорее, исключение из правил. Согласно народному менталитету, карелы не представляли субботу без бани, как и воскресенье без пирогов, бытовала даже пословица: «*Kylytöi suovattu da piiratoï pyhäpäivy ei maksa nimitä*» [Karjalaisia: 221] – «Суббота без бани да воскресенье без пирогов ничего не стоят». Во время летней страды (пожого, сенокос, жатва, молотба) могли ходить в баню практически ежедневно, кроме воскресенья, но всегда обязательно соблюдали одно условие: вернуться из бани до захода солнца. После этого наступало время париться духу-хозяину бани. Считалось, что после двенадцати часов (или после заката) духи-хозяева не только пугают, но и наказывают ослушавшихся и пришедших в сакральный локус во внеурочное время: превращают воду в кровь, душат нарушителей пространственно-временных границ, зажаривают их на печке, разрывают, привязывают к полкам, лишают рассудка, стегают вицами до полусмерти.

Особые временные отрезки, в которые баню топить было запрещено, так и назывались: *kylytöi aigu* ‘время без бани’. Это, например, страстная неделя перед Пасхой, по-карельски *strašnoi nedäli* ‘страшная неделя’: «*Kylytöi aigu nygöi on, kallehed päivät on, ei kylyy lämmitetä*» – «Безбанное сейчас время, драгоценные сейчас дни, не топят баню» [KKS 1974: 522]. Вероятно, эта традиция сформировалась под влиянием православия. Если обратиться к карельским духовным стихам, то можно обратить внимание на то, что три дня в неделю, в которые обычно запрещалось топить баню, – среда, пятница и воскресенье – сакрализованы. Это обусловлено христианскими воззрениями. Согласно Новому Завету, в среду Христос был предан Иудой, в пятницу распят на кресте, а в воскресенье восстал из мертвых.

Запрещалось топить баню в дни церковных праздников, в сакральное время Святков. Накануне праздника баню топили обязательно, но завершить весь банный ритуал следовало до шести часов. Позже в бане «праздник дразнит... Этого перед большими праздниками боялись, это

¹Здесь и далее указывается № коллекции / № единицы хранения внутри коллекции.

праздники Бога» [ФА: 3348/12¹]. Считалось, «кто перед воскресеньем или праздником поздно ходит в баню, того на том свете парят *tulizil vastazil* ‘огненными вениками’».

В бане нельзя оставаться на ночь. Банные духи не любят пьяниц и картежников. В мифологических рассказах хозяева, обиженные присутствием непрошенных гостей, или выгоняют их, или даже сжигают оскверненную баню.

Нельзя было ходить в баню женщине во время менструации, так как в это время она считалась «грязной» [Лукун: 88]. В крайнем случае следовало предупредить о собственной «нечистоте». Женщины очень опасались, чтобы своя кровь не смешалась с чужой. «Нечистой» нельзя было подавать пар, иначе кровотечение не остановится.

Вечером накануне Масленицы в бане надо было молчать, чтобы летом комары не кусали [Лукун: 88].

Банное пространство считалось самым чистым местом и в физическом, и в духовном плане. Здесь нельзя было мочиться, выпускать газы – иначе провалишься в воду на тонком льду и утонешь [Karjalaisia: 221]. Этим подчеркивалась взаимосвязь банных и водных духов: обижаешь хозяев бани, а наказывает водяной.

Запрещалось мыться за каменкой и на пороге, петь, использовать бранную лексику и ругаться. В Сямозерье говорили: «Если в баню идешь, тогда надо матом не ругаться. Старики ведь раньше не матерились, они шли тихо. В баню пойдет – перекрестится, из бани пойдет – перекрестится» [ФА: 3460/42–43]. Детям запрещали баловаться, плескаться водой, показывать попу, иначе на ней появятся прыщи [Virtanen 1984: 53].

В бане не стирали белье, иногда даже воду после своего мытья выливали не в бане, а на улицу. Запрещено было заниматься сексом в бане, «грех делать с женщиной», иначе «дети будут уродами» [ФА: 3324/2].

Запрещалось мыться горячей водой и лить ее на землю и на пол, так как считалось, что ею можно было обжечь банных хозяев [ФА: 3266/54].

Нельзя было идти в баню в обиде на кого-то [НА: 139/4]. Карелы говорили, что отправляясь в баню, как и посещая церковь или обращаясь к Богу, следует сначала простить всех своих обидчиков. В одной из самых известных христианских молитв «Отче наш» говорится: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Согласно народным верованиям, запрещалось входить в баню с плохими мыслями, с боязнью заболеть: «Не надо никогда по-плохому идти. Надо по-хорошему идти, молитву сказать: “Господи, благослови”. А не надо по-плохому. Плохое скажешь, тогда плохое и будет» [ФА: 3429/12].

¹ Здесь и далее указывается № кассеты / № записи на кассете.

Весь этикет прихода в баню, пребывания в ней и ухода из нее также был строго регламентирован.

Топили баню чаще всего девушки или женщины [ФА: 2390/24, НА: 34/261]. В домах побогаче это делала *piika* 'прислужница'. Согласно некоторым записям, пока топилась баня, женщины вязали [Inha 1999: 120]. Возможно, это делалось не случайно: именно в баню в сакральный период Святков приходили узнавать свою судьбу на предстоящий год. Вязание и прядение связано с удлинением жизненного цикла. В мифологиях многих народов «нить жизни» прядут особые духи, у карелов этим занималось древнее божество Кегри [Конкка 2014: 66–73].

Летом баню по-черному начинали топить часа в три, зимой – еще раньше, иногда прямо с утра, чтобы всем успеть помыться до захода солнца. После того как баня протопилась, ее продолжительное время проветривали, чтобы ушел дым.

Топили баню чаще всего березовыми дровами, они давали и самый лучший пар, и больше всего тепла. Оляха также годилась для получения хорошего пара, но баня не была такой горячей. По некоторым сведениям, сосновые дрова и любые смолянистые не использовали, так как считалось, что они придавали бане горечь. Хотя есть и иные мнения, зафиксированные, например, у святозерских людиков. В Приладожской Карелии и Сямозерье банные дрова (*kylypuu*) готовили именно из невысоких засохших на корню сосенок [KKS 1974: 520]. Об использовании сосновых дров писал и Э. Леннрот [Путешествия 1985: 208]. Для растопки часто применяли дрова с пожарищ.

Пока баня топилась, на воронцы и стены расстилали и развешивали рабочую одежду: жар и дым выгонял из них вшей [Paulaharju 1982: 98].

Особо оговаривается запрет, что в баню нельзя приносить воду накануне или поздно вечером. Иначе прогневаются духи-хозяева и воды, и бани: в таком случае во время мытья так запутаются волосы, что их придется выстричь. Волосы, как известно, в представлениях многих народов были средоточием жизненной силы и энергии, поэтому, возможно, на них и был направлен гнев банных хозяев [Hämäläinen 1920: 18–46].

После того как баню натопили и проветрили, ее хорошенько мыли, в том числе смывая (или смахивая мокрым веником) сажу со стен над лавками и полками.

Затем женщина, приготовившая баню, произносила особую заговорную формулу, как бы прося у банных духов разрешения попариться и помыться людям: «*Ristikansa kylpömäh, kylyl löyly kylvettämäh, vassah löyly valvattamah*» – «Крещеный – мыться, банным паром париться, веником пар развеивать» [KKS 1974: 520]. При этом люди в противопоставление «народу бани» названы «крещеным народом».

По одним сведениям, первыми шли мыться девушки, затем женщины с детьми, а после них мужчины [ФА: 2241/27]. Но все-таки чаще всего первыми в баню ходили мужчины. В теплое время года они шли в баню босиком, в нижнем белье.

В небольших семьях и мужчины, и женщины, и дети ходили в баню все вместе. Об этом говорили наши информанты, а также писал С. Паулахарью в своих путевых заметках по Карелии в 1907–1908 гг. [Paulaharju 1981: 49]. Это отмечали и русские собиратели народных обычаев на территории Карелии: «С малых лет дети учатся не стесняться, на посиделках, гуляниях они присутствуют и видят все; в банях, куда ходят все – свои, чужие, мужчины, женщины, девушки, парни – они там же. Все они видят, все они знают и сами делаются такими же» [Георгиевский 1880: 3–4]. Та же самая картина была и в Финляндии. Финские исследователи отмечали, что в Тампере все мылись вместе еще в 1890-х гг., а в городках поменьше – вплоть до двадцатых годов XX в., и «банный нудизм *saunanudizmi*» никого не удивлял [Viitapen 1984: 53]. О совместном мытье в бане соседей разных полов, особенно пожилого возраста, вплоть до середины XX в. вспоминали и пряжинские людики во время фольклорно-этнографической экспедиции 2015 г.

По некоторым сведениям из Муезерского района, заходя в баню, надо обязательно наступить на банный порог, чего ни в коем случае нельзя делать в избе, кроме особых случаев, например, когда проводят ритуалы исцеления.

Зафиксированы очень интересные и, по всей видимости, весьма архаичные сведения и о том, как приветствовали друг друга приходящие в баню. Согласно сообщению А. С. Степановой, в д. Колатсельга заходящий в баню произносил: «*Joučenie! Joučenie!*» – «Лебедей! Лебедей!» или «*Hoi, joučenie, joučenie!*» – «Ой, лебедей, лебедей!». Ему отвечали: «*Tule täh joudavuol!*» – «Заходи на досуге!» или «*Tule nämäl lämbimiel!*» – «Заходи на это тепло!». Как пишет Н. А. Лавонен, северные карелы также, приветствуя тех, кто мылся на озере или в бане, говорили: «*Jumal abuh joučenie!*» – «Бог в помощь лебедей!» [Лавонен 2000: 115]. Е. И. Клементьев рассказывал, что его жена, уроженка д. Тикша (а ее родственники были выходцами из Калевалы и Вокнаволока), заходя в предбанник, произносила: «*Joučenilla! Joučenilla!*» – «К лебедям! К лебедям!». А пришедший с ней отвечал: «*Pidäy! Pidäy!*» – «Надо! Надо!». И в то же время сам Евгений Иванович, уроженец д. Ондозеро того же Муезерского района, не знал этого приветствия.

Здесь следует отметить, что образ белого лебедя сакрален для карелов. Образ этой птицы, которую они называли *pyhä lintu* ‘священная птица’ и *anheli* ‘ангел’, появляется в фольклорных произведениях в лиминальные временные отрезки (похороны, свадьба) или в момент проникновения человека в иной мир мифологических духов-хозяев (воды, бани)

[Иванова 2012: 160–161]. Это символ и внешней физической чистоты, и внутренней духовной. Так, в севернокарельских плачах во время обмывания умершего просили «отбелить мной выпестованное дитя до белизны вольных лебедей», чтобы он мог попасть «к белым / светлым прародителям». В свадебных причитаниях карелов-ливвиков лебедям иногда уподобляется «девичья воля»: «С каким ветром из этих басенок белые волюшки улетят белыми лебедями» [Степанова 2004: 159].

Банный этикет карелов включал в себя огромное количество заговоров. В них олицетворена и сама баня, и пар, считавшийся в случае нарушения банного этикета одним из источников болезни. Согласно народным традициям, придя в баню, надо в первую очередь поздороваться с баней, паром и теплом.

В Поросозере рассказывали: «Когда идут в баню, надо сначала плюнуть. Затем надо сказать, чтобы другие не слышали: “Золотая банька, медовый парок, передняя стена – брат, полок – мать, стены – сестры, сам я – дуб. Затем снова надо плюнуть”. Все это надо проделать три раза, тогда ничего плохого в бане не случится» [SKVR II: 190¹].

Тверские карелы просили баню принять человека: «*Kylyzeni, löylyzeni, sammal tukkuzeni, priimi rabua Ogruo ristikanzua*» – «Банька, парочек, моховая кучка, прими рабу крешеную Огро» [SKVR II: 1354].

Чтобы порча в бане не пристала, в Поросозере заговаривали пар такими словами: «*Phu! Kylyseni, moamoseni, Löylyseni, sisarueni! Puhun suulla puhtahalla, Herran hengellä hyvällä, Läipöttelen lämpimällä. Eigä ole löylyn löytämistä, Lämpimän lähenömistä. Mänkeä, löylt, saunan sammalii Tahiga kylyn karsinaa Kibehisen kylvend aijaks!*» – «Тьфу! Матушка-банька! Сестрица-парок! Произношу чистыми устами, С духом Божьим, Шепчу теплу. Пару нечего сердиться, Жару не за что вредить. Иди, пар, в банный мох, Спрячься в банном подполе На время, пока парится хворый!» [SKVR II: 851].

Эти два древних заговора с архаичными семантическими деталями записаны в самом начале XX в., но постепенно заклинания укорачивались, к ним добавлялась краткая молитва. Во второй половине столетия, заходя в баню, произносили: «*Hospodi-syöttäi, kačo da vardoiče! Lagi – toattu, late – moamu, seinät – sizäret da vellet! Hospodi-syöttäi, kačo da vardoiče!*» – «Господь-кормилец, смотри и береги! Потолок – отец, пол – мать, стены – сестры и братья! Господь-кормилец, смотри и береги!» Как видим, даже в стадиальном плане достаточно поздний заговор второй половины XX в. вербально замыкает круг, заканчиваясь теми же словами, которыми начинался. Согласно народному менталитету, круг – один из сильнейших и древнейших оберегов.

¹Здесь и далее указан номер текста в издании.

Карелы обязательно здоровались и прощались с банными духами. «Дверь в баню открывали: "Здравствуй, хозяин бани, здравствуй, хозяйка бани, здравствуй, дорогой парок!" Уходя в дверях: "Спасибо хозяину бани, спасибо хозяйке бани, спасибо милому парку, спасибо веселой водиче, спасибо тому, кто баню топил и тому, кто дрова колол"» [SKS: 384/34¹].

Зайдя в баню, смачивали голову прохладной водой, затем распаривали веник в горячей воде (иногда он был уже приготовлен заранее), а потом на каменке, на которую бросали пар. Летом могли сразу начинать париться свежесорванным молодым веником, смочив его перед этим в озере. На полках иногда могла лежать солома или свежее сено.

При этом в старинной курной бане не столько мылись, сколько парились, так как нагреть с помощью камней большое количество воды было сложно. Паренье было особым ритуалом, особенно подолгу парились мужики постарше, младшие ждали своей очереди на нижних лавках. Пар любили погорячей. Веник, по мере его подсыхания от горячего пара, окунали в воду. Парились по несколько раз, в перерывах отдыхая в сених или купаясь.

Регулярное прогревание и паренье, в результате которого открывались поры и выделялись шлаки, глубокое насыщение кожи и всего организма влагой – все это способствовало не только очищению, но и омоложению организма. Купание в прохладной и даже холодной воде его закаливало.

Веник карелы делали из березовых веток с гладкими, блестящими листьями, у которых был острый кончик. Лист даже пробовали языком: он должен был быть скользким, ярко- или темноокрашенным и без горечи. Березы с такими листьями растут на сухих пригорках, в бору [ФА: 2253/13]. Иногда говорится, что лист должен быть шершавым, как бы с крохотными бугорочками: он очень хорошо держится на ветке и не падает во время паренья. Карелы говорили, что такие листья имеют частые зазубрины и дрожат на длинных березовых ветвях, как листья осины, даже в самую безветренную погоду [Никольская 1983: 123]. Ливвики называли такие березы *vastalehtikoivu* (букв.: березы с листвой для веников), сегозерские карелы – *ruuhmikaskoivu*, северные карелы и финны – *rauvuskoivu*. Говорилось, что на них «такой хороший, звенящий лист *on moine hyvää, helizii lehti*». Такие березы росли не везде. Чаше встречались другие виды: *pihkakoivu*, *juomiskoivu*, *lusina*, *hikikoivu*; их ветки использовались только в качестве корма для скотины [НА: 8/615]. В названиях этих берез первая часть слова является эпитетом с некоторой негативной окраской, подчеркивающей неприемлемость использования веток с такой листвой для паренья в бане: смолянистая, потная или для поила домашней скотины.

¹ Здесь и далее указано: № микрофильма / № текста.

Для банных веников ни в коем случае не ломали ветки с берез с пушистыми и мягкими листьями. Категорически запрещалось рвать ветки для веника с деревьев, стоящих на болоте. Согласно древнему мировосприятию карелов, болото считалось «иномирным» пространством, чуждым и враждебным человеку. В некоторых лечебных заговорах и свадебных причитаниях этот локус называют самым нижним, самым близким подземному миру мертвых – Манале-Туонеле. Ветки для веников рвали только с того дерева, которое росло отдельно, чтобы «вода с другого дерева не капала сверху»: иначе у парящихся не будет здоровья [Лукун: 88]. На зиму веники заготавливали строго в определенный период летних Святков *Viändöin aigu*, с Иванова до Петрова дня, когда вся природа достигала пика своего расцвета. Заготовленные на зиму веники перевязывали тонким березовым прутиком (а тверские карелы – лыком), затем прикрепляли два веника вместе и попарно развешивали сушиться на чердаках дома, в сараях или в кладовых.

Некоторые информанты говорили, что старые веники нельзя забирать из бани – их сжигали в банной каменке. Считалось, что «если использованный веник попадет в руки плохого человека, то он может причинить вред всем, кто пользовался этим веником» [Лукун: 88]. Все-таки чаще всего банные веники, как говорили в Вокнаволоке, после использования в бане обязательно ополаскивали в озере и потом забирали в избу для подметания полов [ФА: 2520/23; НА: 34/282]. Исключением были веники, которыми парились девушки. В Сямозерье их в течение всего года собирали, а потом в Ивановскую ночь относили на росстань, поджигали и прыгали через этот костер [Hautala 1982: 252]. Таким способом девушки понимали лемби, т. е. честь, славу и сексуальную привлекательность в глазах противоположного пола.

Интересно, что ижемские коми в Иванов день делали новый березовый веник и парились им в бане, но они обязательно относили его на речку и «выкидывали в воду этот веник, чтоб вода унесла болезни» [Фольклор 2014: 325].

Иногда карелы в бане в лечебных целях использовали крапивные веники, а также и можжевельновые, сорванные с молодых кустов, иголки у которых длинные и мягкие.

В бане использовали специальную утварь, которой нельзя было пользоваться в иных целях. Например, ведрами, которыми носили воду и выливали ее в банные корыта (*kylykartta*), выдолбленные из цельного куска дерева. Часто такие корыта были разделены на две части: в одной была холодная вода, в другой – горячая [KKS 1974: 520]. Делались корыта, а иногда и ушаты, из осины. Их не сразу ошкуривали, чтобы они быстро не растрескались. Воду нагревали в бочках-колодах, бросая в них раскаленные камни [Никольская 1983: 123].

По некоторым сведениям, в бане должно было быть четное количество тазов. Возможно, здесь прослеживается связь с культом предков. Вспомним, что в наши дни четное количество цветов приносят только умершим.

Мыла у карелов не было. Иногда его покупали для девушек. Даже в конце первой половины XX в. приятно пахнущий мыльный брусочек очень высоко ценился. Карелы называли его *duuhumuilu* ‘мыло-духи’ или ‘душистое мыло’. Обычно для мытья головы в бане использовали разведенный щелок, представлявший собой водный отвар березовой золы. Для его приготовления собирали золу, оставшуюся после горения только березовых поленьев, заливали ее водой и этот чугунок ставили на целый день в печь. Затем отвар остужали и процеживали. Получалась прозрачная жидкость желтоватого цвета. Перед мытьем или стиркой щелок разводили в необходимых пропорциях водой.

Мыли волосы и специальным отваром, приготовленным из *pakkuli*. Это особый гриб-трутовик, нарост на стволе березы. Для этого грибы-наросты закладывали в чугунок, заливали водой и целый день томили в печи. Приготовленный отвар носил название *pakkuli poruu keiteti* [НА: 8/622].

Мытье головы со щелоком и полоскание отваром трав способствовали росту и густоте волос, давали стойкий косметический эффект.

У финнов во время процесса приготовления мыла в домашних условиях существовал строгий запрет на произношение этого слова *saippu*. Табуированное слово заменялось другими, например, *lähretys*. При этом все делалось в тайне, чтобы никто из соседей не знал, т. е. сам процесс приготовления мыла даже в конце XIX в. был сакрализован [Лукун: 89].

Карелы использовали *koivupakkuli* и для мытья тела. После того как этот гриб-трутовик целый день парили в печи, он становился достаточно мягким [ФА: 2390/24], поэтому в бане терлись им как мочалкой. Позже появились мочалки из рогажи.

Как пишет И. К. Инха, банную процедуру карелы проводили, не торопясь, подолгу сидели и разговаривали. После бани очень любили купаться. Купальный сезон у карелов начинался ранней весной, когда в озере появлялись первые полыньи. Многие зимой купались в снегу или обтирались им [Инха 1999: 124].

Вот как в конце XIX в. описывал банный процесс у южных карелов Н. Ф. Лесков: «Ходить в баню для кореляков величайшее удовольствие. В летние дни бани топят ежедневно; и все, пришедшие с работы, “валом валят” в них помыть свое грешное тело и распарить кости. Бани кореляков величиною не более как в квадратную сажень или полторы... Каменка занимает почти половину, по стенам узкие скамьи, и подле каменки высокий полоч. И представьте себе, что в этой тесноте помещается человек двадцать-тридцать обоего пола: здесь и мужики, и бабы, парни и девушки, и маленькие

дети; все хлещут себя вениками, все парятся до полузабытья. Совместное хождение в баню обоих полов не ведет, однако, к случаям прелюбодеяния. Совершить прелюбодеяние в бане, по мнению кореляков, один из самых страшных грехов и наказывается очень строго. Напарившись до изнеможения, все бросаются в озеро или реку – остыть в холодной воде; после холодной ванны снова начинается паренье еще с большим ожесточением; потом опять купанье и снова паренье, и так чередуется несколько раз. Зимой же, после паренья, выбегают на улицу, сидят на снегу, окачиваются холодной водою из проруби... Такие резкие переходы от жару к холоду и от холоду к жару приучают кореляков безвредно переносить всевозможные перемены температуры и застраховывают их от заболеваний простудою» [Лесков 1894: 515].

Купаясь после бани, карелы считали, что они вторгаются во владения хозяев воды, проникают в чуждое, иномирное пространство. Для того чтобы такое проникновение было безопасным, старики-людики советовали подросткам есть заплесневелый хлеб: «Если будешь есть заплесневелый хлеб, будешь хорошим пловцом. Чем больше будешь есть такого хлеба, тем лучше будешь плавать» [Virtaranta 1963: 190]. С мифологической точки зрения этот совет объясним. Чужой, иной мир духов зеркально подобен своему, человеческому. В карельской мифологической прозе говорится, что когда у нас в мире людей темно, у них – светло; когда у нас идет дождь, у них – солнечно; если у нас холодно, у них – тепло. То же самое происходит и с едой: то, что в мире людей кажется опавшей листвой, мхом или даже калом, в мире духов – пряники и конфеты. Есть даже поговорка: «Плесень – это хлеб дьявола». Как известно, в фольклоре именно через еду, угощение происходит приобщение к иному миру, миру духов [Пропп 1986: 67], поэтому и в сказках, и в быличках герой или героиня, попав в чужой мир, имеют больше шансов вернуться домой, если они не притронулись к предлагаемым яствам. В случае же с поеданием заплесневелого хлеба хозяева воды (*vein izändy da vein emändy*) как бы видели в пловце, вторгнувшемся в их пространство, своего; так как человек, вкусив их пищу, в какой-то мере приобщился к их роду.

Карелы строго соблюдали правило, что всем людям надо суметь помыться в три очереди, «в три пара» – *kolmeh lölyyh*. «На четвертый пар» уже приходили духи-хозяева бани, которых карелы почитали и боялись прогневить. Помывшись в бане, карелы после себя обязательно оставляли чистую воду для мытья банных духов. Веник должен был лежать на лавке, а не под нею, чтобы они не обиделись на людей.

Перед уходом из бани обязательно произносили заговор, в котором еще раз подчеркивали взаимосвязь всех трех стихий в бане (земной, огненной и водной): «Спасибо, банька, за мытье. Спасибо, парок, за паренье. Банька – отец, парок – мать, водица – братец» [SKVR II: 1355].

Затем следовало поклониться, перекреститься и поблагодарить духов-хозяев бани: «Спасибо хозяевам бани, старшим бани, младшим бани! Спасибо всему народу за тепло! Люди (*ihmiset*) уходят, другие люди – на место!» [Virtaranta 1961: 76–78]. Обращает на себя внимание последняя вербальная формула. Она практически идентична той, которую произносил человек, заходя в лесную избушку: «Старые – вон, новые – на место!». Но тогда человек приказывал-просил духов-хозяев леса покинуть помещение и позволить ему переночевать в избушке. А здесь все иначе: он благодарит хозяев за гостеприимство и оставляет им баню на ночь в полное их распоряжение. Таким образом последний человек замыкал вербальный круг-оберег, начатый женщиной, приготовившей баню.

В 1913 г. современник писал про ухтинских карелов: «В зимнее время часто можно встретить кореляков, идущих из бани в адамовом костюме, хотя бывает довольно большой мороз» [Б-ков 1913: 108]. А с весны по осень дети и мужчины постарше всегда шли из бани домой обнаженными, прикрываясь спереди свернутым бельем [Tuupinen 1981: 298]. Иногда летом они сидели на улице, ждали, когда тело остудится и подсохнет, потом надевали нижнюю рубашку. В старину полотенцем после бани карелы не пользовались.

Карелы обычно умывались утром и вечером перед молитвой. Обязательно умывались, придя из бани, «иначе будет грех». «*Kylän jäljet pidäy pestä ääreh*» – «Банные следы надо смыть» [SKS 74/2593, 2595]. Зайдя в избу, ополаскивали лицо и руки, кланялись перед образами и благодарили за баню: «*Jumalalle kiitos, sain hyvin peseytyä!*» – «Слава Господу, хорошо помылся!». Женщина, придя из бани, ополаскивала грудь, прежде чем дать ее ребенку. Более того, если в баню водили больного или умирающего, то после банной процедуры его следовало полностью вымыть чистой водой в избе [Inha 1999: 52]. Согласно народным верованиям, так смывались следы присутствия в иномирном пространстве и происходило приобщение к домашнему очагу и духам-хозяевам дома. Затем садились ужинать. На столе обычно стояла каша с молоком, хлеб и свежая или соленая рыба.

Интересные параллели о регламентации банного процесса можно найти в мифологических рассказах, записанных от старообрядцев Литвы. Очень многое совпадает с представлениями карелов. Это и обязательное мытьё рук после возвращения из бани: «Дед... с бани придет, руки помое, потом перекрестится». И запрет на посещение бани после захода солнца: «Это уже в нас, борони Бога, с огнем мыться... мы никогда в байне не мылись с огнем». И запрет мыться вместе с носителями иной веры, свидетельствующий о некой сакральности банного пространства, которое в чем-то сродни церковному: «Нельзя ходить с иноверцами в баню, чтобы не было соблазна перейти в иную веру» [Народная 2009: 88, 83, 90]. Принципиальное отли-

чие состоит в том, что карелы почитали банных духов-хозяев, видели в них своих покровителей, а литовские старообрядцы однозначно считали их нечистой силой. Согласно Н. И. Толстому, «фольклор как система достаточно открывая и не строго нормированная воспринял многое от христианства... Но тот же фольклор сохранил многие языческие представления и образы в народном быту». И «эта культурная диглоссия не вела к двум культурам, к существованию двух культурных систем, к двоекультурью или двоеверию, а была результатом функционирования одной осложненной, богатой культурной системы» [Толстой 1998: 428–429]. Как показывает исследование, сакрализация и демонизация бани – не разностадийные, а вполне синхронные явления, но при этом с уверенностью можно говорить, что для карела банное пространство было в большей мере, безусловно, сакрализовано, чем демонизировано.

Таким образом, в банных обрядах карелов ярко проявился синкретизм народного мировоззрения, в котором переплелись рациональное и иррациональное, реальное и мистическое, древнее и новое, языческое и христианское. Весь процесс как приготовления, так и посещения бани у карелов был строго ритуализирован и табуирован. При этом если человек соблюдал все правила банного этикета, посещение бани обеспечивало его здоровьем и покровительством духов в дальнейшей повседневной жизни.

Литература и источники

- НА – Научный архив КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 2.
ФА – Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН.
SKVR II – Suomen Kansan Vanhat Runot. Osa II. Helsinki, 1927.
SKS – Suomen kirjallisuuden seura (Фольклорный архив Общества финской литературы).
Б-ков М. Быт карела // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1913. № 3. С. 108.
Георгиевский М. Д. Из народной жизни // ОГВ. 1880. № 73.
Иванова Л. И. Персонажи карельской мифологической прозы. М., 2012.
Конка А. П. Клубок для Кегри, или некоторые проблемы изучения древнего карельского аграрного праздника (культ мертвых и вопросы временной приуроченности) // Историко-культурный ландшафт Северо-Запада-3. СПб., 2014. С. 66–73.
Лавонен Н. А. Стол в верованиях карел. Петрозаводск, 2000.
Лесков Н. Ф. Viändöydä // Живая старина. Вып. 3–4. СПб., 1894.
Народная мифология. Поверья. Бытовая магия. Фольклор старообрядцев Литвы. Т. 2 / Издание подготовил Ю. Новиков. Вильнюс, 2009.
Никольская Р. Ф. Материальная культура // Карелы Карельской АССР. Петрозаводск, 1983.
Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. Бани в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.

Путешествия Элиаса Леннрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828–1842. Петрозаводск, 1985.

Степанова А. С. Толковый словарь языка карельских причитаний. Петрозаводск, 2004.

Толстой Н. И. Язычество и христианство Древней Руси // Толстой Н. И. Избранные труды. Т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998. С. 422–430.

Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе / Сост. А. Н. Рассыхаев, В. М. Кудряшова. Сыктывкар; Нарьян-Мар, 2014.

Hautala J. Vanhat merkkipäivät. Jyväskylä, 1982.

Hämäläinen A. Ihmisruumiin substanssi. Suomalais-ugrialaisten kansojen taikuudessa. Helsinki, 1920.

Inha I. K. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999.

Karjalan kielen sanakirja. Osa 2. Helsinki, 1974.

Karjalaisia sananpolvia / Toim. L. Miettinen, P. Leino. Helsinki, 1971.

Lykyn avain. 999 vanhaa taikkaa ja uskomusta / Toim. J. Nirkko. Helsinki, 1991.

Paulaharju S. Matkakuvia karjalan kankailta 1907. Helsinki, 1981.

Paulaharju S. Karjalainen sauna. Helsinki, 1982.

Turunen A. Kalevalan sanat i niiden taustat. Helsinki, 1981. S. 298.

Virtanen L. Omin yksillä. Kansanperinnettä ennen ja nyt. Mikkeli, 1984.

Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa 2. Helsinki, 1963.

Татьяна Владимировна Пашкова

*Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск*

БЕРЕЗА В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ КАРЕЛОВ

Среди традиционных способов карельской народной медицины фитотерапия занимала ведущее место. Карелы, как и другие прибалтийско-финские народы, обладали накопленным и проверенным веками опытом по сбору, заготовке и употреблению лечебных трав. Набор лекарственных трав был связан в первую очередь с местной флорой, условиями жизни населения и видами болезней. Познание целебных свойств растений давало людям возможность применять их в качестве лекарств при самых различных заболеваниях. В статье впервые рассматривается вопрос об использовании различных частей березы (коры, листьев, веток, почек и др.), а также сока в лечебной практике карелов.

При написании статьи автор опирался на полевые материалы, собранные им в карельских деревнях Пряжинского района в 2004–2014 гг., образцы карельской речи и словари карельского языка. Исходя из собранного материала, можно констатировать, что карелы используют около 70 видов лекарственных растений. Чаще всего при лечении заболеваний они обращались к березе.

Настойку из почек березы ливвиковские (Ведлозеро, Метчелица) [ПМА] и тверские (Васильевское) карелы применяли при зубной боли, порезах, ожогах и ранах [СКГ: 147]. Держанские карелы (Семеновское, Новое) втирали настойку в болезненные участки тела при ревматизме. Лекарство заготавливали еще весной: собирали липкие и ароматные почки березы, до того как они распустились, и настаивали на вине в течение одного или двух месяцев [Norvik 1983: 226]. Для лечения нарывов в такую настойку добавляли деревянное масло (деревянное масло – это низший сорт оливкового масла, которое использовалось ранее в церковных светильниках). Этот способ лечения считался эффективным у всех групп карелов.

Имеющий целебные свойства свежий сок березы карелы Пряжинского района (Метчелица, Корбинаволоок, Лахта) употребляли внутрь от кашля и чихотки. Собирали его ранней весной из надломленных, надрезанных живых сучьев или стволов берез [ПМА].

В д. Войница от образовавшихся наростов / шишек на ножках ребенка (симптом болезни рахит. – *Прим. автора*) избавлялись с помощью отвара из березовых листьев. Ребенка обдавали этим отваром или натирали больные места, затем к суставам прикладывали выпаренные березовые листья [Paulaharju 1924: 52].

Березовый веник обладал целительной силой. Например, в период сенокоса чаще всего парились березовым веником, который оказывал на кожу, зудящую от комариных укусов, целебное и успокаивающее воздействие [Никольская, Сурхаско 1992: 72]. Березовые веники заготавливали в июне после Троицы, когда листья еще не начинают опадать. Для этого выбирали небольшую березу и языком проверяли ее листья: если лист был темный и гладкий, то ветки этого дерева подходили для веника; если же лист – жесткий и шершавый, то не подходили [Virtaranta 1961: 78].

Кора, равно как и листья березы, в основном применялась для наружного лечения. При возникновении лишая сямозерские карелы оборачивали больное место березовой корой на несколько дней, после чего кору выкидывали на сарай или в дырочку в хлеву [NKK: 273]. Измельченной в порошок берестой (паданские карелы брали только темно-красную кору) северные и ливвиковские карелы лечили обморожения и останавливали кровотечения [Повенецкие карелы: 54].

В магических ритуалах использовались необычные наросты из веток, которые образовывались на березе, ели и ольхе и носили у карелов название *tuulen kobru* (букв. 'горсть ветра'). По описанию Н. Ф. Лескова, *tuulen kobru* представлял собой густой веник, состоящий из весьма укороченных, тесно сидящих веточек [Лесков 1894: 515]. Согласно верованиям карелов, *tuulen kobru* был наделен особым целебным свойством. В русском языке эквивалентом карельского наименования является термин *ведьмино поме-*

ло. В словаре В. Даля [Даль 2005: 503] дается следующая трактовка лексеме *ведьмино помело* – болезненный выгон веток кучкой на дереве или вихревое гнездо. Иная «ведьмина метла» может содержать несколько сотен крупных и мелких веток. В верованиях многих народов «ведьмина метла» наделялась магическими свойствами. У народов Сибири, например, найти такой «клубок» считалось большой удачей. Его приносили домой и подвешивали как оберег. Карельское наименование *tuulen kobru* указывает на то, что карелы образование необычных «горстей» веток приписывали ветру, который персонифицировался. *Tuulen kobru* применялся для лечения именно тех болезней, которые были «насланы по ветру» или «приставали от ветра». Тверские карелы красные прыщи на теле (обветривание), которые считались одним из основных симптомов болезни *tuulennenä*, ср. ск., ливв. ‘хворь от ветра’, лечили с помощью *tuulen kobru*: сквозь ольховое или березовое ведьмино помело поливали на больные места [Virtaranta 1961: 208].

Как северные, так и южные карелы при головных болях простудного характера мыли голову отваром из березового нароста *tuulen kobru* [Никольская, Сурхаско 1994: 106].

Важное значение при лечении некоторых заболеваний у детей придавалось породе дерева, с которого срубали *tuulen kobru*. Для успеха лечения порода дерева должна была соответствовать полу ребенка. Например, ливвиковские карелы для избавления ребенка от сглаза (сглаз могли наслать злые люди по ветру) для мальчиков собирали «горсть ветра» с березы, а для девочек – с сосны. Для ритуала достаточно было одного пучка ветвей, а вершинки – по крайней мере, девять или трижды по девять. Срывать вершинки надо было с молодых деревьев и так, чтобы дерево от дерева находилось на значительном расстоянии (чтобы, стоя около одного, не было видно другого). В бане пучки ветвей и вершинки клали в решето, затем открывали трубу или отверстие, сделанное посередине потолка для выпуска дима (если не было трубы). Ребенка поднимали к этому отверстию и через решето поливали водой с заговорами [Из быта и верований: 788]⁴.

Исследование показало, что береза имела достаточно широкий спектр употребления в медицинской практике всех карельских групп. Целебной силой обладали кора, почки, листья и ветки березы. Следует заметить также, что применение различных частей данного дерева для лечебных целей происходило без совершения ритуала. Исключением является *tuulen kobru*, связь которого отражена в мифологических представлениях карелов, причем единых для карелов как Карелии, так и проживающих за ее пределами, т. е. данный пример показывает, что некоторые магические способы лечения карелы, покинувшие Карельский перешеек в результате российско-шведских столкновений, продолжали устойчиво практиковать на новых местах проживания.

Литература и источники

Из быта и верований – Из быта и верований карел Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости. 1892. № 75. С. 788–789.

Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 736 с.

Лесков Н. «Viändöйдь» // Живая старина. 1894. Вып. 3–4. С. 514–517.

Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. Бани в семейном быту карел // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1992. С. 68–86.

Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. О карельской народной медицине: рациональное и «иррациональное» в традиционном врачевании // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1994. С. 103–121.

Повенецкие карелы – Повенецкие карелы. Их домашний быт, поверья и предания // Олонецкие губернские ведомости. 1863. № 15. С. 52–54.

СКГ – Слушаю карельский говор / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск: Периодика, 2001. 208 с.

Norvik P. Djořan karjalaisten kansanlääkinnästä // Kansa parantaa / Toim. Laaksonen P., Piela U. Helsinki: SKS, 1983. S. 225–230.

NKK – Näytteitä karjalan kielestä. I. Joensuu; Petroskoi: Joensuun yliopiston monistuskeskus, 1994. 457 s.

Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Porvoo: WSO, 1924. 188 s.

Virtaranta P. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo: Helsinki: WSO, 1961. 271 s.

Сокращения

букв. – буквально

ливв. – ливвиковское наречие карельского языка, ливвиковские карелы

ПМА – полевые материалы автора

ск. – собственно карельское наречие карельского языка

Константин Кузьмич Логинов

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ И ПОВЕРЬЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОХРАНОЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ОБОНЕЖЬЕ*

Данная статья посвящена проблеме природопользования у русского сельского населения Обонежья. Делается попытка ответить на вопрос, существовали ли крестьянские экологические традиции, хотя здесь сразу

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Очерки по этнографии народов Карелии. Карелы. Вепсы. Русские», № 0225-2014-0015.

следует оговориться, что такие научные понятия, как «экология» и «экологическое самосознание», крестьянам Русского Севера были неизвестны. Иными словами, в статье речь пойдет о бережном отношении крестьян русского традиционного общества к окружающей природе и формах его проявления.

На народное природопользование влияло государственное законодательство об охране окружающей среды. Правительственные указы требовали от крестьян соблюдения строгих правил по регламентации подсечно-огневого земледелия и Закона «О правильной охоте» 1893 г.¹. В безрассудной деятельности по уничтожению экологической ниши проживания неграмотную в своей основе крестьянскую массу никто бы не обвинил. Понятно, что главная причина тому – низкая производительность и отсталость крестьянских технологий с их почти 100% использованием природных материалов. Не только на технологическом несовершенстве зиждилось бережное отношение крестьян к окружающей среде, к природным ресурсам. Во многом причина осмотрительного, выражаясь современным языком, «экологического поведения» крестьян лежала в области их традиционного мировоззрения. А оно, как представляется, базировалось на негласном признании и соблюдении некоего «крестьянского мифологического устава» [Логинов 1993а]. Суть его заключалась в том, что крестьянское сознание воспринимало небесную сферу, землю, лес, воду и другие природные стихии в качестве субстанций, управляемых и самоуправляемых разумными и могущественными силами. Вступая во владения этих сил, крестьяне почитали за благо с ними договариваться, чтобы не понести ущерба от деятельности в «чужих» (с точки зрения традиционного сознания) владениях.

Каждое утро в деревне крестьянин, встав после ночного сна, осенял себя крестным знаменем, кланялся по углам избы (начиная с того, где иконы) и произносил: «Благослови, Господи, на все четыре стороны, на весь на Божий день!» [НА, ф. 1, оп. 6, д. 628, л. 67–68; Логинов 2006: 203]. Этими словами человек не только ставил себя под защиту Создателя / Спасителя. Говоря научным языком, он актуализировал в голове естественную для него картину мира, управляемого как иерархией высших бесплотных сил, так и духов низшей мифологии (домовых, водяных и прочих). В мире традиционного крестьянского самосознания человек не был повелителем природы, ему отводилась очень скромная роль. Традиционное мировоззрение довлело над всеми

¹ Этот закон касался и рыболовства. Он запрещал устраивать лабиринты-«котцы» из щепы для лова рыбы в озерах, полностью перекрывать сетями, загородками и ловушками в реках «королевскую струю» – центральную треть ширины реки.

сознательными поступками севернорусского крестьянина. Сформированные в его сознании мифологические правила запрещали причинять вред не столько природе (такой категорией крестьянское сознание, похоже, не располагало), сколько, прежде всего, владениям «хозяев» природных стихий. Именно это специфическое поведение крестьянина (с оглядкой на предполагаемый вред, который якобы могли причинить человеку духи-хозяева) не позволяло совершать действий, наносящих ущерб природной и культурной (языческим и православным святыням, кладбищам и т. п.) среде обитания.

Крестьяне верили, что одушевленными являются земля, лес, вода, а также воздушная и огненная стихии [Криничная 2000, 2001, 2011, 2014 и др.]. Лес, в частности, воспринимался не только живым в целом, но и наделенным собственным разумом, способным помогать человеку или мстить за непочтительное к нему отношение. Хозяином и олицетворением лесной стихии почитался в крестьянских верованиях *Батюшка Лес*, *Царь Лесной*¹ или, как часто говорили, *Лес Праведный*. Считалось, что в лесу каждая «деревиночка» обладала отдельной живой душой, поэтому охотник, собираясь провести темную дождливую ночь под елкой, обращался к дереву с такой просьбой: «Ель Еленица, красная девица, разреши мне под твоими ветками переночевать» [Зеленин 1937: 3–4]. Хозяин, задумавший построить новое жилье, подходил в бору к каждому выбранному для строительства дереву, кланялся ему и, положив на ствол свободную от топора руку, произносил: «Бор Батюшка! Ты вырос, позволь и моим деткам вырасти» [Логинов 2006: 220]. Человек традиционного общества, в отличие от современного, не мог оставить после себя в лесу покрытую пнями и корягами, изодранную и израненную гусеничной техникой землю. Человек трепетал перед лесной стихией, перед *Лесом Праведным*, не смел его так глубоко обидеть.

Народные представления о том, что каждое дерево обладает живой душой, подробно описаны в одной из статей Д. К. Зеленина [Зеленин 1937]. На них базировался ритуал срубания дерева и доставки его в деревню у русских, реконструированный автором данной статьи и подробно описанный в 2000 г. в журнале «Живая старина» [Логинов 2000б]. Оказалось, что традиционные правила обращения со срубленным деревом у русских во многом схожи с правилами обращения с телом умершего человека. Так, срубленные деревья (даже на дрова) в деревню везут только комлем вперед, словно покойника на кладбище. До истечения 40

¹ Обращения к духам природных стихий типа: «*Царь Лесной*, *Царь Водяной* и т. п.» возникли, видимо, не ранее Средневековья, когда на мифологическую иерархию духов природных стихий были распространены представления о социальной организации человеческого общества.

дней «деревья о своей судьбе плачут», поэтому из привезенных из леса бревен сруб в течение 40 дней делать запрещено. Но и человека в причитаниях 40 дней оплакивают, после чего проявления сильного горя по умершему становятся запретными. Превращать сруб в жилище, утепляя его мхом, у русских (карелов и вепсов тоже. – Л. К.) разрешено только через год после срубания деревьев в лесу. Но и душу человека, как считается, «с того света» после поминок на его годовщину больше «не отпускают» [Логинов 1993в: 176].

Крестьяне бережно относились не только к живому дереву. Даже не прогоревшую в печи головню ночью на улицу выбрасывать не разрешалось. Ее следовало потушить в помойном ведре и «оставить ночевать» в доме, «иначе голова от угара утром болеть будет» [Логинов 2006: 221]. Как можно видеть, в крестьянской среде существовали верования в способность деревьев наказывать людей за непочтительное к ним отношение.

Не только взрослое дерево нельзя было рубить «без спросу». Разрешений «спрашивали» у елок даже на заготовку лапника для подстилки скоту в хлев. Без особого дела в лес старались не ходить. Когда шли по делу, то всегда спрашивали: «Лес-Отец, Земля-Мать, позвольте мне грибов (или ягод, если за ягодами отправлялись) собрать. Позвольте добром в лес зайти, да добром и из лесу выйти» [Логинов 2006: 143]. Мужчины при этом еще и шапку с головы снимали. Женщины без платка в лес не ходили. Боялись «опростоволоситься» перед *Батюшкой Лесом*, словно перед старшим мужчиной-большаком крестьянской семьи. Заблудившись в лесу, крестьяне снимали с себя всю одежду и, вывернув наизнанку, одевали снова строго в той последовательности, в которой ее снимали. Этот обычай и ныне в ходу. Считается, что после переодевания лесные духи перестают видеть нарушителя, а потому не могут дальше водить его кругами по лесу. Об иных суеверных правилах поведения в лесу, о «деревьях колдунов» и мистическом отношении к деревьям и кустарникам среди севернорусских крестьян можно прочитать в специальных статьях автора [Логинов 2000а: 9, 2002, 2004, 2009; Loginov 2003 и др.].

Экологические представления крестьян Русского Севера, связанные с земной стихией (*Землей-Матерью*), к началу XX в. сохранились значительно хуже [Логинов 1993б: 18–19, 21–22, 25; Логинов 2006: 58, 61–65]. Тем не менее автору этих строк приходилось выслушивать от стариков такие поучения о поведении с землей дачного участка во время первого приезда весной: «На Землю-Матушку “не набрасывайся с лопатой, как разбойник с ножом на женщину”» [Логинов 1994: 15–16¹]. Мотивировался этот запрет следующим образом: «У всех есть родная мать, и земля –

¹ Здесь и далее указаны номера листов внутри дела.

тоже мать. Она нам всем родная мать. С земелькой сначала поздоровайся, с деревьями, с кустами... а потом уж грядки копай» [Логинов 1994: 16]. Не случайно сохи и бороны наши деды на поле везли так, чтобы сучками и лемехами дорогу не поцарапать, *Землю-Матушку* не поранить. Через кладбище путь не сокращали, чтобы мертвящую силу не принести на весеннее поле. Мужики, вспахивая поле под лен, чтобы разжалобить *Землю-Матушку*, работали в одной рубаше. Мол, так обнищали, что уже и без портков ходим. Хотя не исключено, что здесь прослеживается древнеземледельческий мотив обрядового «осеменения» земли. Завершая уборку зерновых на полосе, неполный сноп на другое поле не переносили, чтобы «не убыла силушка на этом поле у *Земли-Матушки*. Небольшой пятачок в уголке поля никогда до конца не жали, а, завернув колоски, придавливали сверху камушком, чтобы «вернуть силы полюшку».

До сих пор сохраняется традиция совершать выкуп у *Земли-Матери* для своего усопшего. Бросая медную монетку в могилу на кладбище, участники похорон произносят заклинание: «Земля выкуплена для (называется имя умершего)». Мифологическими хозяевами деревьев, растений и земли в пределах кладбищенской ограды у русских считаются покойники, а не *Земля-Мать*, поэтому и не совершали крестьяне святотатств раньше на кладбищах, поскольку боялись «суда мертвых» и неизбежного наказания болезнью или смертью за непозволительные действия на кладбищах.

Хозяином водной стихии у русских крестьян считался *Водяной Хозяин-Батюшка*. Более древние представления о *Воде-Матери* в XX в. уже едва теплились. Пожалуй, только в случаях, когда очень долго не могли найти тело утонувшего человека, родная мать выходила на берег водоема или реки и голосила: «Вода-царица! Вода-Мать! Ты в воде мать. И я родная мать. Верни, выбрось на берег тело мертвое раба Божьего (называлось имя)» [Логинов 2010: 362].

Съедая рыбу у костра, рыбы кости всегда в воду бросали, а не в костер, чтобы не оскорбить этим поступком *Хозяина Водяного* («А то рыбки не даст больше») [Логинов 1998–1999: 57¹]. В воду через борт лодки «большую нужду» не справляли (мочиться все же дозволялось, мол, «тоже водица»). На Благовещение (7 марта н. ст.) кое-где на Севере «воду кормили», бросая монетки в колодец или в воду у сходней. Перед прогоном скота по льду или вывозом скотины на острова с водой расплачивались, бросая в волны или в прорубь «тридевять» монет: «Хозяин водяной и хозяйка водяная, примите от меня плату за перевоз (вариант – переход) рабов Божьих таких-то и за милую скотинушку. Тьфу-Аминь» [Логинов 2006: 87]. Чтобы набрать воды больному или по другому специальному

¹ Здесь указан номер листа внутри дела.

поводу, у колодца или на берегу читали: «Хозяин и хозяйка водяные, хозяин и хозяйка земные, хозяин и хозяйка лесные, хозяин и хозяйка небесные, позвольте водички набрать ни для хитрости, ни для мудрости, а (далее называлась цель, например, “напоить моего коня Карюшко”, “для исцеления раба Божьего такого-то” и т. п.)» [Ягодкин 1899]. В советское время подобные суеверия осмеивались, но современные исследования показывают, что вода способна воспринимать и сохранять информацию, доносить ее до человеческого организма, который сам на 90 % представляет собой жидкостную среду [Массаро 2006]. Возможно, в некоторых крестьянских суевериях есть доля правды. Не исключено, что холодная вода после произнесения заговора могла настолько менять свою структуру, что разгоряченная лошадь, попив ее, не заболела, как это происходило в другом случае – после питья не заговоренной воды.

Автору не довелось в своих многолетних экспедициях ни разу слышать о едином и главном «хозяине» воздушной стихии. Этот род «хозяев» в народных верованиях представлен либо «воздушными бесами», либо несколькими «хозяевами» ветров. К последним относятся: мощный *Полуденник* (южный ветер), раскрасавец *Шелонник* (юго-западный ветер), задиристый подросток *Восток*, *Сток* или *Щенник*, который своими невидимыми зубами «любую фуфайку насквозь прокусывает» и другие [Логинов 2006: 210–213]. Обрядовая практика еще очень хорошо сохранилась. Например, чтобы прекратить юго-западную бурю, женщины в лодке показывали ветру оголенный зад, а мужчины кричали, чтобы тот быстро летел домой, где ему жена изменяет. Подобная магическая практика дожила без изменений до наших дней на Водлозере, Онежском озере и Белом море. Этнограф Н. Н. Харузин писал о том, что севернорусские крестьяне с помощью заговоров «управляют» ветрами, как им удобно, и даже привел соответствующий заговор [Харузин 1894: 317–318]. Приношения (жертвоприношения) ветрам при буре выглядят несколько странно. Обычно это стельки, вынутые из сапог и брошенные в опасно набегающие волны. Логика таких приношений вполне понятна: «Чтобы волны над озером (морем) не поднимались выше, чем стельки над подошвой». К тому же запах потных человеческих ног (от стелек и портянок), по народным поверьям, не способна перенести на дух никакая «нечистая сила».

О духе-хозяине огненной стихии известно очень мало, кроме того, что практически ни один ведун не имеет над ним власти, поэтому пожары на Руси «усмиряли» обходом загоревшегося строения с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина» и чтением канонической молитвы, специально созданной на такой случай. Известно также, что «хозяин огня» не имеет в своем распоряжении множества других «хозяев» более низких уровней. Только духи домашнего очага (в Древнем Риме их звали Пенатами)

являются его младшими родственниками. Русское название этих духов не сохранилось, но к их помощи крестьяне часто прибегали, если хотели помешать сватовству либо наказать пирующих «свадебников». Обряд совершался следующим образом: человек, недовольный сватовством или свадьбой, незаметно, без всяких заговоров, перемешивал мутовкой угольки в загнетке печи. Считалось, что неизбежно после этого возникнет спор или ссора, на свадьбе неизменно переходящие в драку между гостями или новобрачными. В целом отношение севернорусских крестьян к стихии огня было уважительным и тоже способствовало сохранению среды обитания и экологического равновесия на просторах Русского Севера.

Таким образом, в системе экологических отношений «природа – человек» у русских Обонежья выявляется значительная роль духов-хозяев природных стихий.

Литература и источники

Зеленин Д. К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. Серия: Труды Института антропологии, археологии, этнографии. Т. XV, вып. 2. Этнографическая серия 5. М.: АН СССР, 1937. 78 с.

Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. В 3-х т. Т. 2. П.: Кар НЦ РАН, 2000. 410 с.

Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. В 3-х т. Т. 1. СПб.: Наука, 2000. 581 с.

Криничная Н. А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии. М.: Ун-т им. Дм. Пожарского, 2011. 632 с.

Криничная Н. А. Мифология воды и водоемов. Былички, бывальщины, поверья, космологические и этиологические рассказы Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. 390 с.

Логинов 1993а – Логинов К. К. Крестьянский «Мифологический устав» // Традиционная культура и проблемы комплексного изучения Карелии. Мат. симпозиума 1993 г. Петрозаводск: Кар НЦ РАН, 1993. С. 125–127.

Логинов 1993б – Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX – начало XX в.) СПб.: Наука, 1993.

Логинов 1993в – Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 227 с.

Логинов 1994 – Логинов К. К., Логинов Д. К. Этнографический отчет об исследовании Водлозерья летом 1994 г. // НА, ф. 1, оп. 6, д. 404.

Логинов 1998–1999 – Логинов К. К. Отчет об экспедициях в Водлозерье, нижнее и среднее Поилексье 1998–1999 г. // НА, ф. 1, оп. 6, д. 529.

Логинов 2000а – Логинов К. К. «Знак дерева» в русской избе Обонежья // Живая старина. 2000. № 2. С. 8–9.

Логинов 2000б – Логинов К. К. Обонежские ритуалы срубания дерева // Живая старина. 2000. №3. С. 11–13.

Логинов К. К. Лес и «лесная сила» в современных представлениях русских Карелии // Живая старина. 2002. № 4 (36). С. 2–3.

Логинов К. К. Деревья и кустарники в поверьях народов Карелии // Живая старина. 2004. № 3 (43). С. 2–6.

Логинов К. К. Этнолокальная группа русских Водлозерья. М.: Наука, 2006. 276 с.

Логинов К. К. Моление об Армагеддоне // Живая старина. 2009. № 1. С. 20–22.

Логинов К. К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты. М.; Петрозаводск, 2010. 413 с.

Массаро Э. Энергия воды для самопознания и исцеления. М.: София, 2006. 96 с.

НА – Научный архив Карельского научного центра РАН.

Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии // Олонецкий сборник. Вып. 3. Петрозаводск, 1894.

Ягодкин Д. Весенние картинки Олонецкого края // Олонецкие губернские ведомости. 1899. № 25. С. 2; № 26. С. 2–3; № 27. С. 2; № 28. С. 2; № 30. С. 2–3; № 31. С. 3; № 32. С. 2–3; № 35. С. 2.

Loginov K. Forest in the traditional beliefs of the Russian population of Vodlozero land // Biodiversity and conservation of boreal nature / Proceedings of the 10 years anniversary symposium of the Nature Reserve Friendship. Vantaa, 2003. S. 315–317.

Софья Михайловна Лойтер
г. Петрозаводск

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА КАК ХРАНИТЕЛЬНИЦА ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОВ

(по следам материалов и записей
от Анастасии Степановны Койбиной из Заонежья)

Эта встреча и все, что с ней связано и последовало за ней, не оставляет меня уже много лет. Все не получалось погрузиться в эти материалы, обнародовать некоторые из них, а заодно и выразить благодарность тем, кто трепетно сохранил и приобщил меня к ним.

Еще в начале 1980-х гг. поэт Виктор Сергин передал мне через мужа (оба тогда работали в редакции журнала «Север») пять машинописных страниц с текстами свадебных причитаний, принадлежащих живущей в Петрозаводске тете Анастасии Степановне Койбиной. Они не просто заинтересовали меня, но вызвали неодолимое желание встретиться с Анастасией Степановной и сделать собственные, соответствующие профессиональным требованиям записи. Созвонившись по телефону и получив согласие на встречу, я с группой студентов (Катя Дешина, Люба Зевахина и Люда Приходько) в июле 1983 г. отправились на улицу Нойбрандербургскую. Поскольку беседа, осложненная работой с магнитофоном,

оказалась довольно продолжительной, мы, видя, что Анастасия Степановна устала и озадачена какими-то домашними делами, откланялись и попросили разрешения еще на одно посещение. Оно состоялось спустя некоторое время уже с другим составом студентов (Тамара Жукевич, Антонина Иванова), когда были сделаны повторные и новые записи. Они включали в себя рассказ о свадебном обряде с сопутствующими текстами, описание праздников, кадрилиные песни, пословицы, колыбельные песни, 10 стихов баллады, несколько стихов былины «Про Илью Муромца» (коллекция передана в НА КарНЦ РАН¹).



*А. С. Койбина
1950–1960-е гг.*

С первых минут общения мы поняли, что Анастасия Степановна – информант не обычный, совсем не похожий на привычных сельских бабушек, с которыми много встречались. Она абсолютно городской человек. Ее рассказ о себе оказался незаменимым комментарием для понимания не только судьбы, но – и это для нас было особо важно – истоков ее фольклорного знания. Какое счастье, что мы успели это зафиксировать. В 1984 г. Анастасии Степановны не стало.

В числе названных хранителей фольклора, чьи биографии и материалы имеются в НА КарНЦ РАН и отражены в книге «Исполнители фольклорных произведений (Заонежье. Карелия)», подготовленной Т. С. Курец [Исполнители 2008], А. С. Койбиной нет. И это закономерно. Ее не могли зафиксировать участники фольклорных заонежских экспедиций XX века. Она уже не жила в Заонежье, куда впоследствии приезжала только на каникулы и в гости к родным. Когда девочке исполнилось 11 лет (это было в 1919 г., к тому времени умер отец), мать отправила ее к старшей дочери в Ленинград. Ей, родившейся с одной рукой по локоть и не способной к крестьянскому труду, надо было дать образование. В Ленинграде Анастасия Степановна окончила школу, бухгалтерские курсы, работала на турбинном заводе. Вышла замуж. Родила дочь. Много лет жила в Севастополе, других городах. Была активной общественницей. После Великой Отечественной войны прочно поселилась в Петрозаводске.

И лишь энергия и сила памяти детства, память культуры детских лет позволила Анастасии Степановне, со всем грузом прожитых лет и типично советским образом мыслей, погруженной в совершенно иную реальность, сохранить в своем сознании старый жизненный уклад и

¹ Научный архив Карельского научного центра РАН.

фольклорную стихию Заонежья. В моем распоряжении, помимо наших записей, оказалась бережно сохраненная тетрадь Анастасии Степановны, знакомством с которой обязана ее дочери Надежде Михайловне Абакумовой. Встреча с этой весьма пожилой (1930 г. р.) женщиной, музыкантом по образованию, до выхода на пенсию много лет работавшей в дошкольных учреждениях Петрозаводска, произвела на меня большое впечатление. Поразили ее спокойные ясные глаза, духовная наполненность, какое-то особое – его называют применительно к заонежанам – «гордовежливое» достоинство.

Толстая тетрадь в мягкой обложке, в линейку, исписанная карандашом. Оставляю за рукописью право называться так, как ее обозначил автор, – «Дневник». Однако строго говоря, это не дневник, а последовательное повествование – некий сплав дневника, воспоминаний, духовной автобиографии, записной книжки, писем и, что особенно важно, самозаписей сохранившихся в памяти фольклорно-этнографических фактов, большинство которых уже были в нашей коллекции. Отсутствуют даты, когда дневник (примем это авторское название) начат и окончен, нет дат каждого конкретного эпизода, фрагмента, без чего, как правило, не обходятся дневники. Снимая с него компьютерную копию и вчитываясь в текст, предположила, что начала его Анастасия Степановна в последние годы жизни, поощряемая племянником Виктором Сергиным, который и сделал машинописные копии с впечатливших его текстов свадебных причитаний и песен.

Дневник состоит из двух совершенно разнохарактерных и разнотипных частей: одна, преобладающая по объему, – подробное хронологическое изложение течения жизни с ее событиями, фактами, действующими лицами, иногда сопровождаемое комментариями и собственными стихотворными текстами; другая – фольклорно-этнографические записи. Одна – способ «воспроизводства себя», другая – воссоздание фольклорно-этнографической атмосферы своего бытия детских лет. И тогда этот автодокумент, или, как сейчас принято называть, «эго-текст», т. е. текст от имени «я» повествователя, оказывается не только средством самоописания, но и имеющим общественный интерес источником, в нашем случае по народной культуре Заонежья. Именно это качество дневника подчеркивал В. Каверин в своем предисловии к трехтомному Дневнику К. И. Чуковского: «Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Дневник для себя – это в конечном счете – все-таки дневник для других» [Чуковский: 4].

Первую часть дневника А. С. Койбиной приведу в отдельных извлечениях, фрагментах, с обозначенными купюрами. «Рассказ о свадьбе» из второй части представляю почти полностью (сохраняю авторское правописание).

«Я, Анастасия, дочь крестьянина Сергина Степана Лазаревича, родилась в 1908 году бывш. Олонецкой губернии дер. Мунозеро, теперь Медвежьегорский р-н. Мать моя Сергина Александра Федоровна, брат Сергин Николай Степанович. Когда мне исполнилось 3 года, умер мой отец. Остались на попечении матери и дяди 7 человек детей. Когда мне исполнилось 11 лет, моя сестра Митина Евдокия Степановна увезла меня в Петроград. Я поступила учиться в 59-ю трудовую школу I и II-й ступени. Помню: стали проверять мои знания, подготовка была очень слабая, что ни спросят, ничего не знаю. Но я твердо знала, что нужно учиться, и добилась того, что учиться стала отлично. <...> Петроград в те годы казался грязным, холодным, голодным, очереди за хлебом, за продуктами. <...> В 1924 году окончила школу 2-й ступени, а в 1926 году – бухгалтерские курсы, после чего была направлена на практику на металлический завод крупного машиностроения. <...> Здесь <...> в 18-летнем возрасте была выдвинута женделегаткой от коллектива котельного отделения.

Весной 1926 года встретила я свою судьбу, встретился очень интересный и содержательный молодой человек Наумов Михаил Васильевич. <...> Полюбили мы друг друга, и 12 июля 1926 года состоялась наша свадьба. Мы не венчались, а только регистрировались в загсе...

Ленинград – город моего духовного становления. Я любила и часто ходила с мужем в кино, театры, слушала оперы в театре им. Кирова «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Русалка», «Дубровский», «Риголетто»; смотрела балет «Лебединое озеро».

Но недолги были наши радости. Заболел мой любимый, дорогой человек, мой муж. <...> В 1930 году родилась Надежда (Дина). <...> Здоровье мужа все ухудшалось, врачи советовали переменить климат – уехать на юг. В 1934 году мы с мужем и дочерью уехали в Севастополь <...> Я очень полюбила Севастополь за его героическое прошлое, за море. <...> Я в Севастополе работала бухгалтером в горсовете. Здесь застала война. <...> 25 июня 1941 года вызвали меня в горком ВКП(б) и назначили начальником по эвакуации детей дошкольного возраста на станцию Альма (эта станция между Севастополем и Симферополем). <...> Здоровье мужа ухудшалось, у него гнойное воспаление почек. 6 ноября 1941 года в 19 часов скончался мой муж <...>. Вот я осталась одна в осажденном городе на руках с девочкой. <...> Дочь до войны училась в музыкальной школе. <...> В Севастополе встретила день Победы. <...> После освобождения Петрозаводска я узнала, что жива моя дорогая милая старушка-мама. Стала мама упорно звать меня на родину, в Петрозаводск, поближе к своим родным, и очень стало жаль маму, она потеряла двух сыновей в блокаду Ленинграда. В декабре 1945 года я переехала в Петрозаводск, поближе к своим родным. <...>

Помню я свое раннее детство, свою маленькую деревушку Мунозеро¹ у маленького озера. Дом в д. Мунозере, в котором я родилась, сейчас перевезен в Кижы как памятник деревянного зодчества. Строил его мой дедушка Сергин Лазарь Яковлевич во второй половине XIX-го столетия, он был крестьянин. Дедушка жил 93 года, было у него 4 сына и дочь. <...> Спасибо дедушке за его зодчество – оставил потомству на память. Дом у нас был 2-этажный и третий этаж: чердаки, светелки. Всего в доме было 8 комнат, большинство по 20–25 метров. В нижнем этаже, с южной стороны, была изба и горница, в основном тут находилась вся семья, пили чай, обедали, ужинали, принимали прохожих – заезжих людей. Стоит гостю переступить порог, помолиться перед образами, осенить себя крестным знаменем и сказать «Бог на помощь», как хозяйка сразу же ставит самовар. Если просто проезжий, даже незнакомый, все равно угостят чаем и накормят или рыбник, или кулебяку. Если пост, то волнушки, репу, картошки. Посты соблюдали строго, особенно рождественский пост и великий пост (перед Пасхой), не ели мяса, молока, сливочного масла и др. молочных продуктов. (Дом воспет в поэме Виктора Сергина «Отчий дом». – С. Л.)

<...> Вспоминаю наши детские игры в родном Мунозере. Напротив нашего сергинского дома был рюшник, где мужчины, парни играли в рюхи (городки), а когда был не свободен рюшник, то играли в такие игры, как лапта, чижик, бегали, играли в жмурки, завязывали глаза и ловили друг друга. Была счастливая пора детства».

А далее следуют воспоминания Анастасии Степановны о свадьбе одной из старших сестер – «Рассказ о свадьбе».

«Маму уговорили назначить день сватовства, рукобיתье (т. е. обручение). В этот день должны собраться близкие родственники как со стороны жениха, так и со стороны невесты. Кони убраны в нарядные сбруи, сани лаковые, к дуге привязаны колокольчики. Жениха и невесту ставят перед образами (иконами), жених и невеста молятся Богу, после чего невеста кланяется в ноги родителям, старшему брату, подружки берут ее под руки, и она начинает причитывать:

То не утышка во бережке закрякала,
Не красна девушка во тереме заплакала,
То не в колокол родители ударили,
Не в трезвон – ли да желанны затрезвонили,
Меня, девушку, в заботу обзавотили,

¹Топоним «Мунозеро», по характеристике И. И. Муллонен, относится к так называемым недолговечным. И об этом говорит тот факт, что ни в одном из фольклорных изданий XX века деревня Мунозеро не упоминается [Муллонен 2008: 88, 132, 176].

Русу косыньку в неволю обневолили.
Уж я первый раз, лебедушка, поклонилась,
Моя волопка на головушке спевелилась.
Как второй раз лебедушка поклонилась,
Моя волопка на плечики скатилась.
Уж я третий раз лебедушка поклонилась,
Моя волопка во ноженьки скатилась.
Она клубушком во ноженьках каталась,
Она червышком во резвых свивалась,
На головушку ко девушке давалась.
Не осмелось взять баженой вольной волопки,
Моей девичьей сиротской покрушки.
Позади стоит остудник (жених), млад отцовский сын,
Впереди стоят желанные родители,
По бокам стоят светушки братцы родимые,
Не позволят взять баженой вольной волопки,
Моей милой девичьей покрушки.
Пораздвиньтесь-ко, народ да люди добрые,
Дайте девушке тропиночку с мостиночку,
Вы с мостиночки убавьте половиночку.
Моя волопка теперь есть не господская,
Моя волопка теперь да есть сиротская...

После сватовства назначают день свадьбы, невеста собирает девушек – своих подружек. Родственники дают на эти дни своих лошадей, невеста с подружками ездит в гости к родным, приглашает на свадьбу. У крыльца дома, куда приезжают гости, причитывает:

Слава Богу, слава милостивый Господи,
Путь-дороженька моя да скороталась,
Тут ступистые лошадушки приступались,
Красны девушки во песенках замешались,
Верно тут стоит любимое гостинище,
Верно тут живет желанна мила тетенька.

Невеста едет с подружками на лошадях, у которых дуги украшены лентами и колокольчиками. Девушки поют свадебные песни во время езды. Вот одна из них:

Отлетает мой бедной соколик,
Высоко ли, высоко, высоко ли,
Летел далеко, далеко, да не высоко.
Не высоко улетел, недалеко,
Недалеко из очей моих или да из глаз,
Вот из глаз, дак во слезах, во слезах.
Его бедная просила-говорила,
Хоть ты немножко, хоть немножко со мной поживи,
Поживи так хоть маленечко,

Хоть ты маленько хорошенько один с девушкой со мной годок.
– Рад бы, душечка, с тобой пожить, вот пожить,
Судьба зла, судьба злая вместе не свела, не свела.
Так там живут соседushки, люди злые,
Злы-лихие не советуют,
Не советуют тебя любить, вот любить,
Так велят бросить, вовсе позабыть.
– Я тогда тебя, милой, забуду-позабуду,
Когда я в крепкий сон бедна усну.

Между сватовством и свадьбой проходит целая неделя, и в доме невесты каждый вечер собирается молодежь, а на последней вечеринке невеста причитает:

Ты прости-прощай, тиха смирна беседушка,
Ты прости-прощай, последняя вечериночка,
Больше девушку во девушках не увидите,
Жалких песенок моих да не услышите.

Накануне свадьбы топят баню – специально для невесты и тоже причитают, приглашают в баню невесту:

Как от берега до терема, до пиленого крылечушка,
Открывайся, дверь дубовая.
Я отдам поклон в первой во большой угол,
Там сидят все старушки стародавние,
Там сидят все старички многопочтенные.
Вы пожалуйста, пожалуйста в теплу-парну баенку,
В теплу-парну не угарную.
Извините-ка, пожалуйста, не про вас да байна топлена,
Не про вас да вода ношена:
Байна топлена про девушку,
Вода ношена про волошку.

Наступает день свадьбы. Утром будят невесту, тоже с причитаниями:

Встань-повыстань, наша белая лебедушка.
По крестьянским домам да печи топятся,
По бобылинским сараям петухи поют.

До приезда жениха невеста причитает, приглашает родителей и родных, благодарит за хлеб-соль, за любовь:

Подойди-ко мне, родитель, мила маменька,
Не убойся подневольной красной девушки.
Ты возьми меня на белы свои рученьки,
Ты крепко прижми ко ретивому сердечушку. <...>
Выживают меня девушку,
Будто ворога лота зверя из темна леса.
Не по шейке хомут да одеваете,
Не за ровнюшку меня да выдаваете.

И еще одно причитание /отдает волю/, когда расплетают косу невесте и больше не заплетают. Тут она прощается с девичеством своим, делается подневольной, отдает волю родному брату или двоюродному, но холостому. Причитывает (это очень трогательный плач невесты):

Ты лети-лети, бажена вольна волопшка,
На две, на три, на четыре на сторонупки.
Лети, волопшка, на чужую сторонупку,
Лети, волопшка, ко чужому отцу с матерью,
Уж ты сядь там на косивчато окопечко,
Расскажу тебе про чужу дальнюю сторонупку.

На этом заканчивается плач невесты. Мне пришлось быть очевидцем на одной свадьбе в д. Барковицы. Девушку звали Таней. Замуж она выходила не по любви, а парень, которого она очень любила, был в солдатах. Вот как она отдавала волю, я сейчас не могу без слез вспомнить. У нее была большая коса, она ее несколько раз закрутила вокруг руки и так зажала косу, что мужчины не могли разнять ее руки, а потом с ней стало плохо, потеряла сознание. Мучались, пока пришла в себя, тогда только подвели к столу.

Когда приезжает жених, первым в дом входит дружка, встречают его девушки песней:

Я не знала, не ведала, не ведала,
Да откуль сваха наехала,
Сваха гордая, спесивая,
Да на словах сваха гордивая.
Сваха ступить, не ступила, не ступила,
Да словцо смолвит, не смолвила,
Да только смолвила словечупко,
Да похвалила чужу сторону,
Да как на чужой на сторонупке,
Да как у чужого чужанина
Стоит домик на семи верстах,
Да на семи верстах с половиною,
На середке дома горница. <...>

Невесту подводят к жениху и говорят:

Вот тебе тетерка не щипаная и не трепаная,
Сам тереби, а от других береги.

Гости садятся за стол кушать, угощаться. Жених и невеста садятся в центре стола под приданной иконой невесты, пьют, угощаются, а соседские деревенские девушки и женщины поют свадебные песни. Хвалебные жениху и невесте и всем родным жениха, которые сидят за столом. Вот одна из них:

Винна ягода по сахару пыля,
Да по меду, меду крупичатому,
Что ль по сахару рассыпчатому,
Наша Аннушка по бархату шла,
Да шла Степановна по аленькому.
Приходила ко белому ко шатру.
Да бел шатер растворен стоит,
Во шатре стоит убраный стол,
За столом сидит Степан-господин,
Да за столом сидит Федорович.
Тебе хлеб-соль, Степан-господин,
Да тебе хлеб-соль, Федорович.
Да хлеба кушать, Анна-душа,
Да хлеба кушать, Степановна.
– Да я не есть пришла, не кушати,
Я пришла поиграть с тобой
Во все папки, во все папмурки,
Во все игры молодецкие,
Да во забавушки турецкие.
Проигрался Степан-господин,
Проигрался свет-Федорович,
Да со кармана золоты часы,
Со другого позолоченные.
Проигралася Анна-душа,
Проигралася Степановна,
Да со головушки волошку,
Да со русой косы ленточку,
Золотую перевязточку.

После того как песни все перепеты, гости за столом угостились, жених и невеста едут к венцу, причем отдельно – жених на своей лошади, невесту к венцу везет, как правило, брат или дядя. После венца молодые едут на одной лошади в дом жениха. Там встречают родители жениха молодых с хлебом-солью и посыпают дорогу зерном (овсом), под ноги подстилают дорожки, после чего садятся за стол. Начинается угощение. Называется *хваленье*. Собираются мужчины – соседи деревенские и кричат: «князь молодой с княгиней молодой хороши», и так хвалят всех гостей. За хвалу платят им деньги. ... На второй день для молодых топят баню, бьют горшки и опять угощают родных невесты. *Красный стол*, после чего гости разъезжаются по домам, через несколько дней молодые ведут к родителям жены в гости. Так называются *хлебины*, а потом родители жены едут на хлебины к родителям мужа. Появляется новая родня. Да вот еще забыла рассказать: во время свадьбы. Мужики встречают свадебный поезд (лошадей), жгут солому прямо перед лошадьми и кричат, напр.,

«Якову Степановичу – ура, ура!». Он обязан бросить мужикам деньги сколько может. Бывает во время свадьбы по злобе тайно под дугу или хомут лошади жениха ложат кусок медвежьего сала, и лошадь никак не идет, ... тогда в народе говорят: «спорчен жених», нужно позвать колдуну, чтобы снять портеж. Колдун снимает кусочек сала, лошадь идет, а колдуну на свадьбе первое место, и деревня вся боится этого человека как злого духа, старается его задобрить, чем только может».

Этот рассказ-воспоминание А. С. Койбиной, извлеченный в 1980-е годы из кладовой памяти детства, предваряет и дополняет вышедшую в 2001 году книгу В. П. Кузнецовой и К. К. Логинова «Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало XX в.)», представляющую многочисленных в основном пожилых исполнителей всех эпизодов свадебного действа. А причитания – «Что не утышка во тереме заплакала...» и «Отлетает мой бедный соколик...», песня «Вина ягода по сахару плыла...» – прекрасные варианты текстов этого собрания [Кузнецова, Логинов 2001: 3¹, 8, 28, 102 и др.]. Повторюсь: причитания, исполненные Койбиной, и ее самозаписи, принадлежат девочке. Вспоминается известное суждение об Ирине Федосовой, которая в 12 лет уже славилась в Заонежье своими плачами, а позже, как пишет Е. В. Барсов, создала хор подголосниц, который состоял из девочек-подростков 10 лет [Барсов 1997: 277].

Предъявленный свадебный обряд – наиболее яркий и впечатляющий фольклорно-этнографический факт, укоренившийся в сознании одиннадцатилетней девочки, но он, как и другие запомнившиеся тексты, свидетельствует о том, что память детства – особый феномен. О том, что память детства – неисчерпаемый источник для всех видов профессионального искусства, вызвавший к жизни многочисленные шедевры в разных его жанрах, общеизвестно. «О детство! Ковш душевной глуби» – это Б. Пастернак. Мне очень небезразлично, что детство играет свою роль в сохранении традиционной культуры и не только в виде детского фольклора, но и многих других фольклорно-этнографических объектов народной традиции. Традиционная культура многим обязана памяти детства. И об этом свидетельствует опыт Анастасии Степановны Койбиной.

Литература и источники

Научный архив Карельского научного центра РАН (НА КарНЦ РАН), ф. 1, оп. 1.
Исполнители – Исполнители фольклорных произведений (Заонежье, Карелия) / Издание подгот. Т. С. Курец. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. 372 с.

Кузнецова В. П., Логинов К. К. Русская свадьба Заонежья (конец XIX– начало XX в.) / Науч. ред. К. В. Чистов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 327 с.

¹ Здесь указаны номера текстов в книге.

Муллонен И. И. Топонимия Заонежья: словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 242 с.

Причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым. Т. 1. Похоронные причитания / Изд. подгот. Б. Е. Чистова, К. В. Чистов. СПб.: Наука, 1997. 500 с.

Сергин В. В. Нами сотворенное время. Стихи. Петрозаводск: Карелия, 2003. 164 с.

Чуковский – Корней Чуковский. Дневник. В 3-х т. Т. 1. 1901–1921 / Сост., подгот. текста, коммент. Е. Чуковской; предисл. В. Каверина. М.: ПРОЗАИК, 2012. 592 с.

Ирина Игоревна Набокова

Музей-заповедник «Кижский»,

г. Петрозаводск

СКАЗИТЕЛИ КОСМОЗЕРСКОЙ ВОЛОСТИ: МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИЯМ

Былинная традиция в разных районах Заонежья в течение XIX – первой четверти XX в. сохранялась далеко не в равной степени. Интенсивность ее бытования была обусловлена различными местными социально-экономическими условиями, особенностями этнокультурных связей населения, степенью развитости эпической традиции в прошлом и т. д. Одним из признанных центров былинной традиции Заонежья была Космозерская волость.

Космозеро, материковое озеро Заонежского полуострова, протянувшееся с севера на юг на 30 километров, представляло собой одну из важных водных магистралей Заонежья и со времен освоения края являлось пограничьем, сначала между славянским и прибалтийско-финским населением, а позже границей между территориями расселения выходцев из новгородских и псковских земель [Муллонен 2008: 202–204].

В конце XVIII – середине XIX в. Космозерская волость объединяла 13, затем – 8 деревень, в которых проживало более 1000 человек. Административным, культурным и религиозным центром волости был Космозерский погост с двумя шатровыми храмами и колокольней, основанный еще в XVII в. Большая часть его поселений располагалась вдоль восточного побережья озера, следуя за почтовым трактом. Как сетовали священнослужители в первой половине XIX в., Космозерский приход являлся одним из наиболее зараженных расколом во всем Заонежье [НАРК, ф. 25, оп. 20, № 25/258, л. 4]. Известные нам сказители проживали в основном в деревнях, прилегавших к погосту. Эти поселения вели свое начало со времен первых насельников, с XVI–XVII вв. (см. прил. 1).

Композиционные и стилистические особенности былин, репертуар и исполнительская манера космозерских сказителей обращали на себя внимание многих собирателей и исследователей. В. И. Чичеров [Чичеров 1982], анализируя местные и региональные типы былинной традиции, подтвердил своеобразие исполнительской школы Космозера, в сравнении с традициями Кижей и Сенной Губы. Изучению среды, в которой жил эпос, крестьянской семье заонежских сказителей XVIII–XIX вв. Кижской и Сенногубской волостей было посвящено исследование С. В. Воробьевой [Воробьева 2006]. Опираясь на разработанную автором методику, мы продолжили работу по изучению родословий сказителей Заонежья, сосредоточив внимание на исполнителях, проживавших в Космозерской волости. Основные задачи, на решение которых было направлено исследование, включали уточнение и дополнение биографических данных о сказителях, определение прямых родственных связей, изучение имущественного положения семей.

Большая часть имен космозерских сказителей конца XVIII – начала XX в. была известна со слов собирателей и самих исполнителей, и в первую очередь от И. А. Касьянова. Мы дополнили этот список, опираясь на генеалогические изыскания. Он включил 14 имен: Матвей Егоров Самылин, Петр Григорьевич Горшков, Григорей Павлов Горшков, Павел Перфилов Горшков, Иван Иванович Касьянов, Иван Аникиев Касьянов (Кастьянов), Онтон Иванов Устрецкой, Иван Егоров Сперов, дядя И. Сперова (калика переходный), Иуда Егоров, Иван Трофимов (кривой), Трифон Иванов Злобин, Филипп Климов Сизой, Михаила слепой (гусельщик).

Первая четверть XX в. была отмечена постепенным забвением эпического слова в Космозерской волости. Былины сохранялись лишь в памяти немногих стариков, которые, «хотя <...> почти совсем растеряли свое былое знание, продолжали по-прежнему любить и ценить эпическое наследие» [Былины Севера: 377]. Среди последних космозерских сказителей лучшими называли: Самылина Матвея Егоровича¹ (Георгиевича)² (2 авг. 1879 – до 1945) [НАРК, ф. 25, оп. 27, д. 560, л. 154 об.] и Горшкова Петра Григорьевича (27 авг. 1875 – 10 янв. 1949³). Они проживали по соседству, были почти ровесниками. Прямых родственных связей между их семейст-

¹ Егор – разговорная, просторечная форма имени Георгий.

² Уточнена дата рождения сказителя. «Родился младенец Матвий 2 августа 1879 г. в д. Демидовской Космозерского прихода. Родители: государственный крестьянин Георгий Митрофанов и законная жена его Наталья Александрова, оба православного вероисповедания. Восприемник: д. Демидовской крестьянин Авксентий Елесов».

³ Дата кончины сказителя установлена по надписи на памятнике на кладбище у с. Космозеро.

вами на протяжении конца XVIII – начала XIX столетия выявить не удалось. Биографии этих исполнителей достаточно хорошо изучены¹, однако об их учителе Павле Перфильевиче Горшкове известно немного.

Павел Перфильевич (Перфильев) родился 5 января 1823 г. в д. Карташевой (она же Демидовская) [НА РК, оп. 18., ед. хр. 77/764, л. 90 об.]. Фамилию унаследовал от деда Максима Федорова Горшкова (1766–1833) [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 62/577, л. 73 об.]. До 60-х гг. XIX в. Горшковы жили большой нераздельной семьей, возглавляемой отцом, Перфилом Семеновым (1797–1866) и его супругой Агафьей Никифоровой (1801–?). Помимо прямых родственников, в доме проживали и два двоюродных брата хозяина, Петр и Иван Ипатовы. По Ревизской сказке 1858 г. семейство насчитывало 25 человек [НА РК, ф. 4, оп. 18., д. 77/764, л. 90 об.]. В эти годы хозяйство значилось как зажиточное. Высеивали 23 четверти² хлеба озимого, 46 четвертей ярового, выкашивали 50 копен сена, держали 5 лошадей и 5 коров [НА РК, ф. 37, оп. 58, д. 13/68, л. 60 об.]. В 1854 г. один из сыновей Перфила, Филат, получил рекрутский жребий. У семьи хватило средств на освобождение от повинности [ФМК: № 218³]. Законным способом избавиться от рекрутчины можно было, наняв охотника либо же внеся деньги в казну и приобретя у государства т. н. зачетную рекрутскую квитанцию. Правительство всегда поддерживало высокую цену на рекрутские квитанции – на уровне 300 руб. серебром, цена эта возвышалась еще больше при перепродажах у частных лиц [Иванов 2004, 2013].

В 1876 г., после кончины отца, Павел Перфилов Горшков возглавил семью. Он имел дом со службами (хозяйственной частью) и амбар [НА РК, ф. 14, оп. 1, д. 18/9, л. 20 об.]. По-видимому, семье были близки устои старой веры. В 60-е гг. XIX в. супруга Павла Перфилова, Елена Иванова (1826–?), официально записана раскольницей [ФМК: № 218], остальные члены семьи в Исповедальных ведомостях причислялись к последователям даниловской секты и входили в число тайных раскольников [НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 92/1019, л. 8]. Особое отношение властей к «неблагонадежным» приверженцам старой веры не помешало Павлу Перфилову в течение долгих лет занимать выборные крестьянские должности: поочередно с Иваном Аникиевым Касьяновым он выполнял роль волостного писаря, вел церковно-приходские книги, был волостным старостой. Он часто выезжал в город по торговым делам, любил литературу, имел небольшую библиотеку. В семье Павла Перфилова и супруги Елены Ивановой было рождено четверо детей. Григорей Павлов Горшков, отец скази-

¹ О Самылине М. Е. см. [Исполнители фольклорных произведений: 218–221], о Горшкове П. Г. см. [Исполнители фольклорных произведений: 85–89].

² 1 четверть – примерно 210 кг.

³ Здесь и далее указаны номера именных записей крестьян-дворохозяев внутри документа.

теля П. Г. Горшкова, был старший в семье. Родился он 23 сентября 1850 г., в 1871 г. вступил в брак с Авдотьей Степановой (1855–1791) [ФМК: № 218]. П. Г. Горшков вспоминал, что отец «был строгий, не пил вина и сыну не давал, был хорошим работником, но больше “займоваяся” рыбой». Сказывать былины он научился от отца, наследовав потом свое умение сыну, Петру Григорьевичу Горшкову.

По свидетельству собирателей, 1870–1890 гг. для Космозерской волости отмечены угасанием эпической традиции, но материалы исследования говорят о том, что в те годы былины знали многие из космозеров¹. На этот период падает расцвет сказительской карьеры известного космозерского исполнителя былин Ивана Аникиева Касьянова (Кастьянова). Личность сказителя была интересна многим исследователям. Биографические данные о зрелых годах его жизни приводятся в работах А. Ф. Гильфердинга, Е. В. Барсова, Ф. М. Истомина и Г. О. Дютша, И. Ф. Тюменева, А. М. Астаховой, В. С. Бахтина, К. В. Чистова. Наиболее полные сведения об истории семьи И. А. Касьянова удалось собрать Т. А. Мошиной [Мошина 2000]. Тем не менее ранние годы жизни Касьянова оставались менее всего изученными. Дальнейшие генеалогические изыскания позволили открыть материалы, дополняющие биографию сказителя.

Родился Иван Аникиев Касьянов² в деревне Денисова Гора Космозерского мирского общества Кижской волости 27 ноября 1826 г., крещен был по православному обряду 29 ноября, восприемником его стал брат матери, мещанин Василий Назаров [НА РК, ф. 25, оп. 22, д. 59, л. 266].

Имя прадеда сказителя, Кастьяна Иванова (1694–1790), впоследствии стало патронимической фамилией семьи [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 2/8, л. 130 об.]. Он принадлежал, по-видимому, к категории активных крестьян, имевших достаток. В надежде на некоторые налоговые льготы в 1770-е гг. Кастьян вместе с сыном Устином записался в петрозаводское мещанство, но спустя десять лет, в 1787 г., семья вновь «обращается во крестьянство» [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 11/93, л. 44 об.]. В семье Устина Кастьянова (1742–1795) и Авдотьи Григорьевой (1746 – после 1816) рождено было много детей, но до зрелых лет дожили два сына: Матфей (1785 – отдан в рекруты в 1811 г.) и Аника Устинов Кастьянов – продолжатель рода (1804–1865) [ФМК: № 205]. После смерти отца братья остались жить под одной крышей. И когда в 1813 г. старший брат Матфей был призван на службу в ополчение, Аника Устинов остался на хозяйстве, воспитывая своих четырех детей и племянников: Фепона и Антона. На его иждивении находилась также супруга брата Стефанида Веденеева [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 34/343, л. 74 об.]. Спустя несколько лет

¹ *Космозёра* – самоназвание локальной группы населения Космозерского куста деревень.

² Фамилия фиксируется в документах с 1830-х гг. в написании «Кастьянов».

племянники покинули дом дяди, в 1832 г. в рекруты был отдан Антон, к 1850 г. Фепон перевелся со всем семейством в д. Окуловскую Типиничского общества [НА РК, ф. 4, оп. 19, д. 17/152, л. 71 об; оп. 18, д. 62/577, л. 67 об.]. Аника Устинов остался жить в Денисовой Горе, занимаясь плотничьим делом. Следует отметить, что отхожими промыслами и ремеслами занимались многие космозеры. Как объясняли местные жители, уход на заработки был связан с крайним истощением земли и скудостью рыбных запасов внутренних озер [Кастьянов]. Волости Петрозаводского уезда имели специализацию по определенным видам ремесел, которыми занимались их крестьяне в отходе. На юге Заонежского полуострова крестьяне Яндомозерского куста деревень преуспели в столярном деле, северные волости – Шуньгская и Толвуйская – славились своими плотниками. Для Космозерской волости также наиболее распространенным было плотничье дело (см. прил. 2). Плотничали крестьяне из самых старых волостных деревень: Демидовской, Денисовой Горы, Артовской. В 1852 г. из 33 ремесленников-космозеров 17 были плотниками. По словам И. А. Касьянова, многие из соседей, в т. ч. и сказители, которых ему доводилось слышать в молодые годы, ходили поодиночке и артелями на Выг. Востребованы были эти мастера вплоть до закрытия Выговской старообрядческой пустыни в 1855 г.

В семье Аники Устинова (1789–1865) и жены его Мавры Назаровой (1790–1867) было рождено восемь детей. Первым появился на свет Евтефей (1818–1841), он умер бездетным в 23 года. Место старшего брата занял Иван Аникиев Кастьянов (27 нояб. 1826 – 3 сент. 1896). До 1860 г. он вместе с родителями «был в расколе по Даниловской секте», позже с семьей перешел в единоверие [НА РК, ф. 25, оп. 21, д. 24/72, л. 109; ФМК: № 205]. Плотничье дело отца Касьянов не перенял. Занимался землепашеством, рыбной ловлей и разными извозами. Женат был дважды. Первая жена его Ирина Антропова скончалась бездетной. В 1854 г. на помин ее души Иван Аникиев отдал в Успенскую церковь Космозерского прихода женский сарафан для пошива подризника [НА РК, ф. 696, оп. 1, д. 1/2, л. 6]. Вторая супруга Марфа Иванова (1833–?) радовала мужа многочисленным потомством. По ревизской сказке 1858 г., в семье было семеро детей: Петр (19 дек. 1850 – в рекр. с 1873 г.), Федор (9 июня 1855 – ?), Анна, Пелагея, Марья, Аграпена, последним рождается Иван (9 июня 1855 – после 1926) [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 77/764, л. 86 об.; ФМК: № 205]. Именно с ним удалось встретиться собирателям А. М. Астаховой, Н. П. Колпаковой и А. И. Никифорову в Космозере в 1926 г. К сожалению, из обширного поэтического наследия своего отца (более 18 былин) Иван Иванович усвоил только одну былинку «О Вольге и Микуле», которую уже не пел, а сказывал.

Иван Аникиев Кастьянов имел крепкое хозяйство: дом со службами и амбар [НА РК, ф. 14, оп. 1, д. 18/9, л. 20]. В 1852 г. семья высевала 10 чет-

вертей озимого, 20 четвертей ярового хлеба, накашивали 28 стогов сена, держали 2 лошадей, 4 коровы и овец. Кроме того, Иван Аникиевич одним из первых в деревне занялся выращиванием картофеля [НА РК, ф. 37, оп. 58, д. 13/68, л. 57 об.].

Долгое время оставалась невыясненной дата кончины прославленного космозера. Установить ее помогло изучение фонда И. Ф. Тюменева, с которым сказитель находился в давней переписке. Было найдено письмо его супруги, в котором сообщалось о кончине мужа 3 сентября 1896 г. [БАН].

Из воспоминаний И. А. Касьянова мы узнаем о сказителях периода расцвета былинной традиции в Космозерской волости. Во время бесед с Е. В. Барсовым он назвал имена самых известных во всем Заонежье исполнителей, которых довелось ему слышать в молодости: Трифона Иванова Злобина и Филиппа Климентьева Сизого [Барсов 1873: 6–10].

Нам удалось идентифицировать эти имена с реально существовавшими людьми, реконструировать родословия этих сказителей, славившихся поэтическим даром в первой четверти XIX в.

Трифон Иванов Злобин, по воспоминаниям односельчан, был «недовидок», т. е. плохо видел, заикался, но этот недостаток скрадывался, когда Трифон начинал петь старины. Он обнаруживал чудесный голос и мастерское исполнение. «И в умах нет, что поет заика». И. А. Касьянов слышал от него былины про Дюка Степановича и Добрыню Никитича. Он был грамотен, читал церковные книги. По воспоминаниям космозеров, когда кто-либо «плохо разбирал в книге», ему говорили: «Ступай к Трифону, он лучше тебя знает, даром что подслеповатой». Описание Трифона Иванова Злобина близко к образу кривого старика Ивана Трофимова, от которого И. А. Касьянов учился петь старины на рыбной ловле [Онежские былины: 536]. Возможно, эти имена принадлежат одному и тому же лицу.

Впервые упоминание фамилии Злобиных¹ в документах по Космозерской волости встречается в именной росписи (ревизии) крестьян по деревне Денисова Гора Космозерской волости за 1795 г. [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 11/93, л. 48]. Появление фамилии дает повод предположить, что основатели рода были выходцами из городских сословий посадских или служилых людей. У данной категории граждан фамилии начали фиксироваться достаточно рано.

Изучение архивных источников позволило выяснить основные даты жизни и детали биографии Трифона Иванова Злобина (1793–1851). Родился он в 1793 г. Был старшим в семье мальчиком. В конце XIX в., кро-

¹ Фамилия Злобин принадлежит к одному из самых распространенных и в то же время древнейших типов русских фамилий, образованных от мирского имени-прозвища Злоба или, возможно, от свойств характера.

ме него, в семье проживали две сводные сестры: Матрена – 13 лет, Марфа – 8 лет и младший брат Григорей (1795–1838). Отца Трифона звали Иван Иванов Злобин. Скончался он в 1823 г. Братья Трифон и Григорий продолжали жить вместе, ведя общее хозяйство [НА РК, ф. 37, оп. 58, ед. хр. 10/53, л. 203]. Судя по всему, Трифон, по слабости здоровья, оставался при доме. Физический недуг отчасти освобождал его от тяжелых крестьянских работ, больше времени он мог уделять чтению, духовному совершенствованию и занятиям, располагавшим к освоению эпического знания. Григорей же занимался плотницким делом [НА РК, ф. 32, оп. 58, д. 13/68, л. 55]. По причине нехватки пахотной земли многие крестьяне Космозерской волости уходили в отход плотничать. В 1815 г. Трифон женился, в браке рождались лишь девочки. Единственный наследник – сын Иосиф, умер в 1820 г. в возрасте 4 лет. У брата Григорья брак был более удачен. На свет появляются мальчики: Саввелий (1821), Фома (1824 – ум. до 1834) и Петр (1828). В 1838 г. после смерти брата на плечах сказителя остаются собственные дочери и племянники. Хотя работников в семье было немного, хозяйство семьи на протяжении 1820–1850 гг. причислялось к категории посредственных, т. е. имеющих достаточно средств. Высеивали ок. 20 четвертей озимого и 40 четвертей ярового хлеба, выкашивали до 40 возов сена. В хозяйстве держали 1–3 лошади, 5–6 коров и овец [НА РК, ф. 32, оп. 58, д. 13/68, л. 55]. В 1846 г. племянник Трифона, Савва, был отдан в рекруты. Судя по документам, «послуга зачтена была из наличных брату Петру», т. е. старший брат ушел на службу за младшего. Возможно, этот выбор был сделан в связи с тем, что младший Петр был «явным» старообрядцем, что накладывало печать неблагонадежности. В 1851 г. Трифон Иванов Злобин скончался в возрасте 58 лет. После смерти сказителя хозяйство наследовал его племянник, Петр Григорьев Злобин (1828 – ?) и внучатый племянник Иван Савинов (1842–1867). Потомки Злобиных до сих пор проживают в с. Космозеро. В год смерти знаменитого сказителя Ивану Касьянову исполнилось 25 лет. Он имел возможность в течение достаточно срока общаться с мастером эпического слова. Молодая цепкая память позволила сохранить воспоминания о тех встречах и усвоить репертуар.

Еще одной яркой фигурой среди космозерских сказителей начала XIX в. был Филипп Сизой, «широкий, порный и сильный старикище». Ученик Михаила гусельщика, он не только знал большое количество старин и исполнял их в особой манере, но и еще был талантливым плотником, работал в основном в Даниловом старообрядческом монастыре на Выге, о точности его плотничьего глаза ходили по округе рассказы [Барсов 1873: 10].

Фамилия Сизой нередко встречалась в заонежских деревнях в середине XIX в. Скорее всего, она могла быть образована от деревенской «про-

зывки». В северных (псковских и тверских) говорах «сизым» называли бледного, худого человека. Могла породить прозвище и ранняя седина, окрасившая волосы основателя рода.

Изучение архивных материалов позволило соотнести образ «могучного» плотника-сказителя с реально существовавшей личностью. По данным ревизии 1782 г., семья Филиппа Климова (1763–1835) проживала в д. Карповской (она же Артовская или Артовы Нивы) на Космозере. Его родители, Клим Ларионов (1725–1792) и жена Евгения Петрова (1742 – после 1816), имели пятеро детей. Филипп Климов родился в 1763 г. В 30 лет, когда умер отец, Филипп возглавил семью. Она была небольшая: Филипп с супругой Феклой Федотовой, мать Евгения Петрова, дочь Меланья и брат Федот (1786–1873) [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 11/93, л. 52 об.; ФМК: № 209]. Из годных работников мужеского пола был лишь один Филипп. На жизнь семьи он зарабатывал отхожим плотницким ремеслом. Разница с младшим братом Федотом была значительная – 23 года. После 1811 г. семейство разделилось, что для того времени было редкостью. Младший брат, женившись, ушел на собственное хозяйство и забрал к себе престарелую мать. По воспоминаниям И. А. Касьянова, Федот был им не знаком, занимался охотой, «зверей ловил больше, лисиц да зайцев». В семье сказителя Филиппа Климова остался сын Тимофей и две возрастные сестры. Посемейные списки о состоянии крестьян Космозерского мирского общества за 1825 г. показали, что, занимаясь плотницким промыслом, он совсем отошел от земли. Хозяйство значилось как бедное. Заводские подати за него платили брат Федот Климов и сосед Ермолай Наумов, возможно, в связи с тем что пахотные и сенокосные земли были отданы им в пользование. Скотины семья не держала [НА РК, ф. 37, оп. 58, д. 5/26, л. 141]. За два года до смерти Филиппа Климова, в 1833 г., сын сказителя Тимофей ушел примаком в семью Мирона Михеева Губина в д. Грязная Сельга Великогубской трети и взял впоследствии фамилию тестя [НА РК, ф. 14, оп. 1, ед. хр. 18/9, л. 53 об.; ф. 4, оп. 18, д. 62/577, л. 69 об.]. Сказитель Филипп Климов на старости лет остался в доме со старшими дочерьми. Скончался он в 1835 г. на 72 году жизни [НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 62/577, л. 73 об.]. В год кончины Филиппа Климова Сизого Касьянову исполнилось всего 9 лет, тем не менее он смог многое запомнить из яркой биографии исполнителя.

Изучение исторических документов Национального архива Республики Карелия позволило проследить судьбу большей части семей сказителей Космозерской волости от периода расцвета былинной традиции в конце XVIII – начале XIX в. до угасания эпического слова второй половины XIX в. и полного забвения в XX столетии. Были соотнесены имена исполнителей, известных из устных и литературных источников, с конкретными историческими личностями, дополнен список имен народных певцов Космозерской

волости, уточнены биографические данные, установлены прямые родственные связи членов их семей, особенности вероисповедания и семейно-бытовых отношений. Анализ архивных материалов дал повод предположить, что в первой половине XIX в. освоение и передача героического эпоса на Космозере происходили не только в замкнутом семейном кругу. Освоению былин способствовал значительный интерес крестьян-отходников к этому жанру. Космозеры – плотники, владевшие эпическим словом – пополняли свой репертуар, оттачивали мастерство на артельных промыслах. Исполнители былин были выходцами преимущественно из живших нераздельно, сложных по составу семей, имевших достаток, сохранявших традиционный уклад. В значительной степени семьи космозерских сказителей были связаны со старообрядчеством, что также оказывало влияние на сохранение и наследование эпической традиции.

Литература и источники

Барсов Е. В. Памятники народного творчества в Олонецкой губернии. СПб.: Типография В. Н. Майкова, 1873. [Электронный ресурс]. URL: <http://static.myshop.ru/product/pdf/88/876627.pdf> (20.12.2015).

Былины Севера. Т. II. Прионежье, Пинега и Поморье. Записи, вступ. статья и комментарий А. М. Астаховой. М.; Л., 1951.

Воробьева С. В. Родословия русских сказителей Заонежья XVIII–XIX веков (Кижи – Сенная Губа) // Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 2006. 160 с.

Иванов Ф. Н. К истории рекрутских наборов в Вологодской губернии в середине 1840-х – начале 1870-х гг. // Двинская земля. Вып. 3. Материалы Третьих межрегиональных общественно-научных историко-краеведческих Стефановских чтений. Вельск, 2004. С. 98–107 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.booksite.ru/fulltext/dvi/nsk/aya/4.htm> (27.12.2015).

Иванов Ф. Н. Губернаторские отчеты как источник по истории рекрутской повинности в Олонецкой губернии в XIX в. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 7. Ч. 1. С. 78–82. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.net/materials/3/2013/7-1/17.html> (10.12.2015).

Исполнители фольклорных произведений (Заонежье. Карелия) / Изд. подгот. Т. С. Курец. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008.

Касьянов И. А. Воспоминание крестьянина об А. Ф. Гильфердинге // Русская старина. 1872. Т. 6. № 12. С. 694–698.

Кастьянов И. А. Этнографические материалы по Олонецкой губернии. Архив Русского географического общества (Архив РГО), фонд Олонецкой губернии, р. 25, оп. 1, № 12, тетрадь 1, л. 2.

Мопина Т. А. Сказитель из Космозера Иван Касьянов // Рябининские чтения-1999. Петрозаводск, 2000. С. 233–241.

Муллонен И. И. Топонимия Заонежья: Словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008.

Онежские былины – Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. М.; Л., 1949–1951. Т. 2. С. 536.

Архивные источники

БАН – Библиотека академии наук. Отдел рукописей. Ф. 796, оп. 2, д. 159. Письмо Тюменеву И. Ф. от Касьяновой Марфы Ивановны от 14 авг. 1897 г.

Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК), ф. 25, оп. 20, д. 92/1019, л. 8. Именной список явных и тайных раскольников по Космозерскому приходу за 1868 г.

НА РК, ф. 32, оп. 58, д. 13/68. Посемейные списки о состоянии Яндомо-Космозерского и Великогубского сельскохозяйственного общества Кижской вотчины Петрозаводского уезда 1852 года.

НА РК, ф. 14, оп. 1, д. 18/9. Страховая опись крестьянских хозяйств Яндомо-Космозерского общества за 1874–1876.

НА РК, ф. 25, оп. 20, д. 25/258. [Св. М. Н. Чернянский] Сведения о материальном обеспечении и средствах существования причта Космозерского погоста Петрозаводского уезда. 1863 г.

НА РК, ф. 25, оп. 22, д. 59, д. 266. Метрическая книга Петрозаводского уезда, Космозерского прихода за 1830 г.

НА РК, ф. 37, оп. 58, д. 5/26. Посемейные списки о состоянии крестьян Кижской волости 1825 года.

НА РК, ф. 37, оп. 58, ед. хр. 10/53. Посемейные списки о состоянии крестьян Кижской волости Космозерского мирского общества за 1840 год.

НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 2/8. Ревизская сказка Великогубской трети Космозерской волости за 1782 г.

НА РК, ф. 37, оп. 58, д. 13/68. Посемейные списки о состоянии крестьян Кижской волости 1852 года.

НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 34/343. Ревизская сказка Петрозаводского уезда Яндомозерской и Космозерской волостей за 1816 г.

НА РК, ф. 4, оп. 19, д. 17/152. Ревизская сказка Петрозаводского уезда Яндомозерской и Космозерской волостей за 1834 г.

НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 62/577. Ревизская сказка Петрозаводского уезда Кижской волости Яндомозерско-Космозерского общества за 1850 г.

НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 77/764, л. 90 об. Ревизская сказка Петрозаводского уезда Кижской волости Яндомо-Космозерского общества 1858 г.

НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 11/93. Копия сказок государственных крестьян Петрозаводского уезда Яндомозерской и Космозерской волостей за 1795 г.

НА РК, ф. 696, оп. 1, д. 1/2. Приходо-расходная книга Успенской церкви Космозерского прихода за 1853–1867 гг.

НА РК, ф. 25, оп. 21, д. 24/72. Исповедальные ведомости Космозерского прихода Петрозаводского уезда 1793–1863 гг.

ФМК – Фонды музея «Кижь». КП-1439. Рекрутский список крестьян Петрозаводского уезда Кижской волости Яндомо-Космозерского сельского общества. Составлен в 1869 году.

Изменение названий поселений Космозерской волости

Имена сказителей	Названия поселений в разные годы					
	1563	1696	1782	1825	1852	1858
1. Трифон Иванов Злобин 2. Иван Аникиев Кастьянов	—	—	Дер. Денисова Гора	Дер. Денисова Гора	Дер. Денисова Гора	Дер. Денисова Гора, она же Космозерско-погостская
1. Михаила слепой (гусельщик) 2. Петр Григорьевич Горшков	Дер. На Котмо-озерки словет Демидовская	Деревня на Космо Озере ж Демидова Карташева	Дер. Карташевская	Дер. Карташева	Дер. Демидовская, она же Карташева	Дер. Демидовская и Артовская по их смежности в землях и близкому расстоянию соединены в одно общее селение Демидовская
1. Филипп Климов Сизой 2. Матвей Егорович Самылин	—	Деревня на Космо ж Озере Карповская	Дер. Карповская	Дер. Карповская	Дер. Артовская (Артовы Нивы), она же Карповская	

Ремесленные занятия крестьян по Яндомозерско-Космозерскому обществу на 1852 г.¹

Деревни	Кол-во дворов	Ремесленные занятия крестьян			
		Плотники	Столяры	Портные	Кузнецы
Космозерский куст деревень					
Д. Демидовской	13	4	5	1	
Д. Денисовой Горы	24	11	4	3	
Д. Артовской	10	2	3		
Яндомозерский куст деревень					
Д. Устьяндомы восточной	15		3		
Д. Устьяндомы западной	18		14		
Д. Есинской	19		7		1
Д. Потаповской	4		6		
Д. Родионовской	6		7		
Д. Ранковской	14		9		

¹ Таблица составлена по статистическим данным, приведенным в Посемейных списках о состоянии крестьян Кижской волости 1852 года [НА РК, ф. 37, оп. 58, д. 13/68].

*Археология
и история*



ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНИЧЕСТВО В ДРЕВНЕЙ ИНДУСТРИИ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ*

Введение. Индустрия каменных орудий и явление ученичества

Передача знаний и умений путем демонстрации и объяснения, а также разработка соответствующего инструментария являются основой существования и развития человеческой культуры, начиная с самых ранних этапов истории рода Homo. Феномены обучения и ученичества [Безрогов 2008: 6–9], существование все более усложняющейся институциональной среды для передачи подрастающим поколениям культурного и технологического багажа были характерны уже для обществ каменного века. Высказываются идеи, что данные явления входят в число ключевых поведенческих особенностей, возникших вместе со становлением *человека разумного* и обусловивших успех обществ, создававшихся представителями этого биологического вида [Högberg, Larsson 2011].

В отличие от современной городской среды, в первобытных и традиционных обществах количество людей, не достигших совершеннолетия, обычно весьма велико и может доходить до половины всей популяции и даже больше. Соответственно, среди материальных следов древней человеческой культуры, с которыми имеет дело археология, количество артефактов, так или иначе связанных с деятельностью детей и подростков, должно быть весьма значительным [Shea 2006]. Вместе с тем какой-то особый «детский мир», как правило, очень слабо вычленен в древней материальной культуре, особенно среди тех ее остатков, которые сохранились до наших дней. В связи с этим специальные археологические работы, посвященные вопросам детства и, соответственно, социализации и обучения, являются весьма редкими, хотя все же возникают, в том числе в отечественной археологии [Берсенева 2010].

В области изучения древних каменных индустрий, в которой специализируется автор данной заметки, можно найти серию исследований, направленных на установление возможностей выявления среди каменных артефактов результатов обучения и игры детей и подростков и вполне убедительно демонстрирующих такие возможности с помощью технологического анализа и ремонта на материалах целого ряда конкретных

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Интерпретация археологических источников в системном изучении древних и средневековых культур Карелии и прилегающих территорий», № 0225-2014-0014.

памятников, начиная уже со среднего палеолита [Pelegrin 1990; Högberg 1999; Shea 2006; Högberg, Larsson 2011; Apel 2001; Hildebrand 2012 и др.]. Следует подчеркнуть, что для исследований каменного века значение индустрии каменных орудий сложно переоценить, поскольку на абсолютном большинстве археологических памятников этого времени каменные артефакты являются преобладающей категорией находок.

Основной принцип, по которому приводится выделение среди каменных артефактов тех, которые могли быть изготовлены учениками (несовершеннолетними), заключается в резком отличии качества обработки между изделиями, происходящими из (археологически) одновременных комплексов. Особенно, если можно утверждать, что комплекс возник одномоментно. Среди многообразия изученных археологами древних каменных индустрий встречаются весьма простые варианты, не требующие натренированных навыков и не позволяющие продемонстрировать высокий уровень мастерства. Если мы сталкиваемся в комплексе именно с такими вариантами, вычленение артефактов, изготовленных детьми, является весьма проблематичным или вообще невозможным. Тем не менее довольно многие варианты технологий расщепления камня, в том числе известные уже с палеолитической эпохи, требуют весьма серьезных вложений времени и сил для получения необходимых *знаний* о технических приемах и *умений* или *жестов* (*know-how, gestures*), т. е. натренированной мышечной памяти, позволяющей применять эти приемы должным образом [Pelegrin 1990; Apel 2001].

Именно в случае таких индустрий оказывается недостаточным для их освоения простое копирование с минимальными пояснениями более опытного человека. Становится необходимой организация более-менее планомерного обучения, включающего как объяснение и демонстрацию, так и контроль над правильностью выполнения действий с коррекцией ошибочного поведения. Кроме этого, необходимо достаточное количество каменного сырья, которое может быть потрачено только для нужд обучения. В такой ситуации возможно возникновение ученичества как особого социального института. Примеры организации подобного обучения описаны в этноархеологической литературе, посвященной изучению ныне существующих индустрий каменных орудий в удаленных районах Новой Гвинеи [Petrequin et al. 1998; Hampton 1999: 226–231; Stout 2002].

Изделия, созданные в рамках индустрий такого рода, вполне позволяют делать заключения об уровне мастерства людей, которые их изготовили, и, соответственно, различать работу опытных мастеров и неопытных, т. е. учеников, детей и подростков. В настоящей статье делается попытка поиска свидетельств участия в производственной деятельности таких неопытных мастеров, скорее всего, несовершеннолетнего возраста, на материалах стоянки-мастерской Фофаново XIII на западном побережье Онежского озера.

Стоянка-мастерская Фофаново XIII. Общие сведения

Стоянка-мастерская Фофаново XIII находится в устье р. Шуи на западном побережье Онежского озера. Она является одним из множества археологических памятников данного микрорегиона, на которых в начале эпохи раннего металла (ок. 3000 кал. лет до н. э.) происходило изготовление каменных рубящих орудий т. н. русско-карельского типа с трапециевидным поперечным сечением. Данные изделия активно использовались для обмена как на территории современной Карелии, так и далеко за ее пределами [Äugärää 1941; Тарасов 2008; Тарасов и др. 2010]. Важно также отметить, что технология производства таких изделий отличается высоким уровнем сложности и, по мнению автора данной статьи, может быть признана наиболее сложной среди всех технологий изготовления каменных орудий, существовавших на территории Карелии в древности.

Среди всех стоянок-мастерских нижнего течения Шуи, исследованных в настоящий момент, стоянка Фофаново XIII является наиболее масштабной. Памятник исследовался раскопками в 2010–2011 гг. на площади 30 кв. м. Коллекция находок составила свыше 350000 экз., преимущественно отходов от изготовления каменных рубящих орудий из зеленокаменной породы – метатупа. Масштаб производства, наряду с присутствием также значительного количества других ценных предметов (янтарных украшений, кусков меди), позволил утверждать, что имело место массовое, т. е. существенно превышавшее потребности изготовителей и ориентированное на обмен, изготовление орудий русско-карельского типа. Кроме этого, с большой долей вероятности можно предположить, что здесь происходили социально значимые мероприятия, привлекавшие значительное количество участников и предполагавшие организацию обмена ценными предметами [Tarasov, Stafeev 2014; Тарасов 2015].

Совершенно естественным будет предположить, что в том месте, где происходит массовое изготовление чего-либо, организуется также и учебный процесс для новичков, поскольку скапливается значительное количество сырья и одновременно можно поучиться у многих опытных мастеров. Анализ артефактов с данной стоянки, связанных с производством рубящих орудий, кратко представленный ниже, подталкивает к выводу о том, что неопытные мастера действительно участвовали в возникновении этого комплекса находок.

Оценка масштабов производства и уровня мастерства

Оценка количества готовых изделий – тёсел, желобчатых тёсел и топоров, которые могли быть произведены в пределах раскопанной площади, была осуществлена на основе серии экспериментов по репликации процесса изготовления орудий русско-карельского типа.

Принцип, который лежит в основе такой реконструкции, заключается в том, что количество отходов от изготовления одного орудия должно оставаться в пределах некоего диапазона, несмотря на влияние множества разнообразных факторов, как-то размер кусков сырья, уровень мастерства, погодные условия и т. п. Размер этого диапазона, прежде всего, определен особенностями используемой технологии и свойствами сырья. В ходе проведенной серии экспериментов по изготовлению орудий русско-карельского типа была сделана попытка изготовить орудие из 31 куска сырья с тем, чтобы экспериментальным путем наметить хотя бы приблизительные границы этого диапазона для данной технологии. Результаты ранее подробно представлялись в отдельной статье [Tarasov, Stafeev 2014].

В итоге были получены 11 удачных изделий, т. е. заготовок, готовых к шлифованию, 43 неудачных заготовки и 17524 отщепа (в том числе 4004 отщепа размером свыше 15 мм). Число неудачных заготовок и готовых изделий превышает количество кусков сырья в связи с тем, что в большинстве случаев исходный кусок разламывался в процессе обработки и из одного куска в итоге получалось более одной заготовки. В целом можно считать, что 11 экспериментов завершились удачно, т. е. было получено готовое изделие, и 20 – неудачно. Коэффициент брака – показатель, напрямую связанный с нашим уровнем мастерства, в данной серии оказался равным $20/11 \sim 1,8$.

Количество готовых, удачных изделий, которые могли быть произведены в пределах раскопанной площади, рассчитывалось следующим образом.

Среднее количество отщепов, получаемое при производстве n орудий в нашем эксперименте рассчитывается по формуле $215n + 1,8n82 = 362,6n$, где 215 – среднее количество отщепов размером свыше 15 мм, произведенных в удачных экспериментах, 82 – среднее количество отщепов, полученных в неудачных экспериментах, и 1,8 – коэффициент брака в наших экспериментах. Минимальное и максимальное возможное количество определяется сходным образом и является равным ~ 242 и ~ 1333 соответственно. Если мы предположим, что коэффициент брака в древности был таким же, то среднее количество готовых орудий, произведенных в пределах раскопанной площади на стоянке-мастерской Фофаново XIII, могло быть равным $187667/362,6 \sim 518$, где 187667 – количество отщепов размером свыше 15 мм, найденных в раскопе. Минимальное и максимальное возможное количество – ~ 430 и ~ 2399 .

Такие результаты получаются при условии, что средний уровень квалификации древних мастеров был сходен с уровнем экспериментато-

ра, однако у нас нет никаких оснований утверждать, что он действительно был таким, тем более что автор статьи не занимается изготовлением каменных орудий с помощью расщепления на регулярной основе. Мы можем попытаться оценить этот уровень путем расчета примерного количества незавершенных заготовок, используя тот же подход и те же данные, и сравнения полученного результата с реальным числом таких заготовок, найденных при раскопках. Среднее количество отщепов, произведенных в ходе «неудачных» попыток, в наших экспериментах равнялось $215n/1.8+82=201.4$; ожидаемое среднее количество выбракованных заготовок в раскопе, соответственно, должно равняться $187667/201.4\sim 932$. В действительности, в раскопе были найдены 684 заготовки, что свидетельствует о более высоком среднем уровне квалификации мастеров, производивших здесь изготовление каменных рубящих орудий в древности.

Более того, следует подчеркнуть, что в предложенном здесь способе количественной оценки уровня мастерства (коэффициента брака) учитываются попытки изготовления орудия, а не количество самих удавшихся и неудавшихся изделий. Между тем в большинстве случаев неудачная попытка означала разлом заготовки и получение двух неудавшихся заготовок (намного реже трех и более). При оценке ожидаемого числа неудачных заготовок мы имеем все основания как минимум удвоить ранее полученное число. В итоге это количество будет равняться $932*2=1864$, что существенно больше, чем реальное число заготовок, найденных при раскопках. В этой связи у нас есть все основания предполагать, что средний уровень квалификации мастеров был еще выше и общее количество готовых изделий, произведенных в пределах раскопанной площади, было все же ближе к 1000 экз., чем к 500 экз., и, вероятно, даже больше 1000 экз.

Вместе с тем эти расчеты показывают, что долю неудачных попыток изготовления орудий все же приходится признать весьма заметной. Эта доля может быть отчасти связана с особенностями сырья, которое является гораздо более сложным для обработки с помощью расщепления, чем, например, кремль и сходные с ним породы. Однако также очень вероятно, что мы в данном случае сталкиваемся с недостаточной квалификацией некоторого количества мастеров, т. е. с наличием мастеров, чье обучение еще не было завершено.

Свидетельства, полученные в ходе анализа заготовок

О наличии таких недостаточно компетентных людей в данной группе свидетельствуют и результаты технико-морфологического анализа самих незавершенных заготовок.

Технология расщепления является в значительной степени непредсказуемой, в связи с чем ошибки, в том числе фатальные, могут допускать и вполне опытные мастера. Сам факт того, что заготовка не удалась и была отброшена, не свидетельствует о том, что ее делал неквалифицированный человек. В нашем случае мы можем попытаться выделить вещи, произведенные мастерами, находящимися еще в процессе обучения, используя принцип «технологической необходимости», или «взаимозависимости различных элементов процесса расщепления» [Гиря 1997: 47]. Технологическая необходимость означает, что для достижения нужной формы предмета расщепления требуется некоторый набор действий, выполняемых в определенной последовательности. Эти действия одновременно определены целью расщепления и свойствами обрабатываемого сырья, которое не может «резаться» под любым углом и в любых направлениях наподобие куска масла.

Ошибки, возникшие при выполнении технологических действий, характерных для той или иной технологии расщепления, могут быть сделаны как опытным мастером, так и неопытным, не натренированным в достаточной степени навыками. В то же время наличие в коллекции предметов, особенности которых свидетельствуют о «нелогичном» поведении мастера, идущим вразрез с технологическими необходимостями, с большой вероятностью сигнализирует о присутствии в группе людей, недостаточно их осознавших, т. е. учеников. Безусловно, выделение таких вещей в коллекции неизбежно происходит с большей или меньшей долей субъективизма, что зависит от экспериментального опыта исследователя.

При анализе заготовок, представленных в коллекции из раскопок, удалось выделить 40 предметов, которые могли являться работой учеников или даже просто результатом детской «игры». В большинстве случаев основанием для их выделения являлась «бессмысленность» действий мастера, т. е. продолжение обработки в той ситуации, когда конечная цель расщепления (в нашем случае – получение заготовки орудия русско-карельского типа, готовой к шлифованию) заведомо не может быть достигнута. Такая ситуация, при которой удачное завершение процесса в принципе невозможно, возникает либо при использовании заведомо неподходящего куска сырья, либо при продолжении расщепления после какой-то фатальной ошибки. Вполне возможно, что эти предметы подбирались младшими членами коллектива или специально передавались им для отработки навыков расщепления, включая как базовые навыки, так и отработку техник, характерных для русско-карельской технологии. При этом они могли пытаться копировать, в меру своего понимания, приемы работы опытных мастеров, находившихся рядом.

Заключение

В силу неустраимых особенностей «немых» археологических источников, не предоставляющих в наше распоряжение каких-либо нарративов или описаний, сделанных непосредственными участниками событий в древности, интерпретации археологических данных в большинстве случаев остаются в той или иной степени гипотетическими. Гипотетическими остаются и выводы, сделанные в данной статье. В случае с керамическим производством у нас есть хотя бы возможность найти отпечатки пальцев, оставленные несовершеннолетними, и тем самым непосредственно доказать их участие в изготовлении керамических изделий. При изучении каменной индустрии найти такие непосредственные свидетельства в принципе невозможно. Тем не менее участие неопытных, обучающихся мастеров в общем производственном процессе и их обучение в ходе этого процесса в свете всего здесь изложенного представляется весьма вероятным. Данное заключение основывается не только на элементарном здравом смысле, подсказывающем, что обучение подрастающего поколения где-то должно было происходить, но и на особенностях проанализированных археологических материалов, делающих вполне возможной предложенную здесь интерпретацию.

Взяв ее за основу и используя также экспериментальный опыт автора статьи и этноархеологические свидетельства, можно высказать еще некоторые соображения об обучении технологии производства рубящих орудий русско-карельского типа в древности. Сырье для изготовления таких орудий – метатупф – является весьма сложным для обработки и требует приложения значительных физических усилий для отделения сколов в процессе расщепления. Уже только по этой причине маловероятно, чтобы к процессу обучения данной технологии привлекались дети, не достигшие как минимум подросткового возраста. Об этом свидетельствуют и упоминавшиеся уже выше этноархеологические данные из Новой Гвинеи, также связанные с изготовлением крупных рубящих орудий из сходного типа сырья. Ученичество в описанных примерах начинается в возрасте 12–14 лет и продолжается от 5 до 10 лет [Hampton 1999: 231; Stout 2002].

Эти же примеры свидетельствуют о том, что производство рубящих орудий находилось в сфере мужской субкультуры, и подростки женского пола к обучению не привлекались. Кроме того, такой сложной технологии обучались не все подростки мужского пола, поскольку возможности войти в число учеников сильно ограничены. Как правило, ими становились близкие родственники мастеров или люди, каким-либо образом добившиеся их благосклонности. На Фофаново XIII, по моему мнению, мы также сталкиваемся с относительно массовым спе-

циализированным и ориентированным на обмен производством весьма сложных изделий, как и в указанных этноархеологических описаниях. В этой связи есть все основания предполагать, что отбор учеников для обучения здесь происходил сходным образом.

Литература

Безрогов В. Традиции ученичества и институт школы в древних цивилизациях. М.: Памятники исторической мысли, 2008. 459 с.

Берсенева Н. А. Социализация детей как одно из направлений социокультурной адаптации в древних обществах (по материалам синташтинской культуры) // Уральский археологический вестник. 2010. № 2(27). С. 38–45.

Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий: Методика микро-макроанализа древних орудий труда. СПб., 1997. Ч. 2. 198 с.

Тарасов А. Ю. Фофаново XIII – пример интенсивной производственной деятельности эпохи раннего металла в лесной зоне // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в контексте современных археологических исследований. Замятинский сборник. Вып. 4. СПб.: МАЭ РАН, 2015. С. 307–317.

Тарасов А. Ю. Энеолитическая индустрия макроорудий Карелии в ряду европейских индустрий позднего каменного века // Хронология, периодизация и кросс-культурные связи в каменном веке. СПб.: Наука, 2008. Вып. 1. С. 190–201.

Тарасов А. Ю., Крийска А., Кирс Ю. Свидетельства обмена между населением Карелии и Эстонии в финальном каменном веке: По результатам археологического и петрографического изучения рубящих орудий русско-карельского типа с территории Эстонии // Труды КарНЦ РАН. 2010. № 4. Серия: «Гуманитарные исследования». Вып. 1. С. 56–65.

Apel J. Daggers knowledge and power: The social aspects of flint dagger technology in Scandinavia (2350–1500 cal BC). Uppsala, 2001. 365 p.

Äyräpää A. Itä-Karjala kivikautisen asekaupan keskustan. Tuloksia Kansallismuseon itäkarjalaisten kokoelmien tutkimuksista. – Muinaista ja vanhaa Itä-Karjalaa. Tutkielmia Itä-Karjalan esihistoria, kulttuurihistorian ja kansankulttuurin alalta. Korrehtuurivedos. 1944 (рукопись в Национальном Музеем Водомстве Финляндии).

Hampton O. W. Culture of stone: sacred and profane uses of stone among the Dani. Austin, 1999. 319 p.

Hildebrand J. Children in archaeological lithic analysis // Nebraska Anthropologist. 27. 2012. P. 25–42.

Högberg A., Larsson L. Lithic technology and behavioral modernity: new results from the Still Bay Site, Hollow Rock Shelter, Western Cape Province, South Africa // Journal of Human Evolution. 2011. P. 1–23.

Högberg A. Child and adult at a knapping area. A technological flake analysis of the manufacture of a Neolithic square sectioned axe and a child's flint knapping activities on an assemblage excavated as part of the Öresund fixed link project // Acta Archaeologica. 70. 1999. P. 79–106.

Pelegrin J. Prehistoric lithic technology: Some aspects of research // Archaeological review from Cambridge. V. 9. N 1. Technology in the humanities. 1990. P. 116–125.

Petrequin P., Petrequin A.-M., Jeudy F. et al. From the raw material to the Neolithic stone axe: Production processes and social context // Understanding the Neolithic of North-Western Europe. Glasgow: Cruithne Press, 1998. P. 277–311.

Shea John J. Child's play: reflections on the invisibility of children in the Paleolithic record // Evolutionary anthropology. 2006. 15(6). P. 212–216.

Stout D. Skill and cognition in stone tool production: an ethnographic case study from Irian Jaya // Current Anthropology. 2002. V. 43. N 5.

Tarasov A., Stafeev S. Estimating the scale of stone axe production: A case study from Onega Lake, Russian Karelia // Journal of Lithic Studies. 2014. N 1(1). P. 239–261.

Татьяна Анатольевна Хорошун

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВНЕГО ГОНЧАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ ПО ДАННЫМ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ*

Изучение древнего гончарства является одним из приоритетных направлений в археологических исследованиях. Керамика – наиболее массовый и представительный материал на поселениях. Неолитическая эпоха знаменуется широким распространением глиняной посуды. Именно керамика считается первым искусственным материалом, созданным человеком. Она занимает особое место в жизнедеятельности древнего населения. Помимо повседневного ее использования в хозяйстве для хранения и приготовления пищи, имеются свидетельства о возможном включении некоторых изделий в обрядовую ритуальную деятельность [Витенкова 2014], в том числе и по такому важному признаку, как применение природной краски охры, фиксируемой на многих археологических объектах. Исследование технологии древнего гончарства дает возможность не только определить ее особенности, но и рассматривать вопросы, связанные с адаптацией, миграцией населения, освоением новых территорий.

Доказано, что любая гончарная технология – прежде всего системное образование, обладающее определенной устойчивостью и формирующееся

* Исследование выполнено в рамках проектов РФФИ № 13-06-90716 «мол рф нр» «Петрографическое исследование керамики позднего неолита Карелии» и № 15-36-50238 «Технология изготовления ромбо-ямочной керамики (по материалам эталонных памятников эпохи неолита Южной Карелии и Верхнего Дона)».

исторически из опыта нескольких поколений. В задачи этой системы входит последовательное превращение исходного сырья в готовые изделия через подготовительную, созидательную и закрепительную стадии. Первая стадия включает отбор, добычу, обработку исходного сырья и составление формовочной массы. Вторая – конструирование сосудов, придание формы и механическую обработку поверхностей. На закрепительной стадии обретается прочность [Бобринский 1999: 8–11]. При исследовании керамики мы имеем дело уже с готовыми изделиями, поэтому при получении информации о составах формовочных масс, качественных характеристиках компонентов важно свои наблюдения подкреплять данными, выявленными в результате дополнительных исследований с привлечением естественнонаучных методов, а также экспериментального моделирования.

В связи с этим особое внимание уделяется апробированному и доступному петрографическому анализу. Важно отметить, что методы микроскопии (петрографическая, бинокулярная, электронная) с применением точных оптических приборов позволяют выявлять признаки и особенности, скрытые от обычного визуального наблюдения, характеризующие основные стадии гончарного производства [Кулькова 2012].

В работе представлены итоги петрографического исследования неолитической керамики Карелии. Анализ керамики выполнен в лаборатории кафедры геологии и геоэкологии факультета географии РГПУ им. Герцена¹. Изучение фрагментов произведено в шлифованных образцах с использованием бинокля МСБ-1 при увеличении в 16, 24 и 140 раз. Петрографическое исследование осуществлено в шлифах под поляризационным микроскопом Leica в РЦ «Геомодель» СПбГУ.

В результате исследования определены минеральные составы формовочных масс (глинистого компонента и отошителя), идентифицированы естественные и искусственные добавки, их количественное соотношение, выявлены микроструктурные особенности включений, рецепты изготовления изделий, в том числе температура и условия обжига.

Общее количество образцов составило 103 фрагмента керамики из 22 памятников: 13 ямочно-гребенчатой, 33 гребенчато-ямочной и 57 ромбо-ямочной (рис. 1, табл. 1). Внимание в основном уделено поздненеолитической керамике и ромбо-ямочной. По составам формовочных масс и режимам обжига определено несколько рецептов изготовления древней глиняной посуды. Фиксируется их разнообразие как внутри выделенных типов, так и по районам распространения [Хорошун, Сумманен 2015; Хорошун, Кулькова 2014; 2015].

¹ Автор выражает глубокую признательность и благодарность к. г.-м. н. М. А. Кульковой за поддержку в участии и реализации проектов.

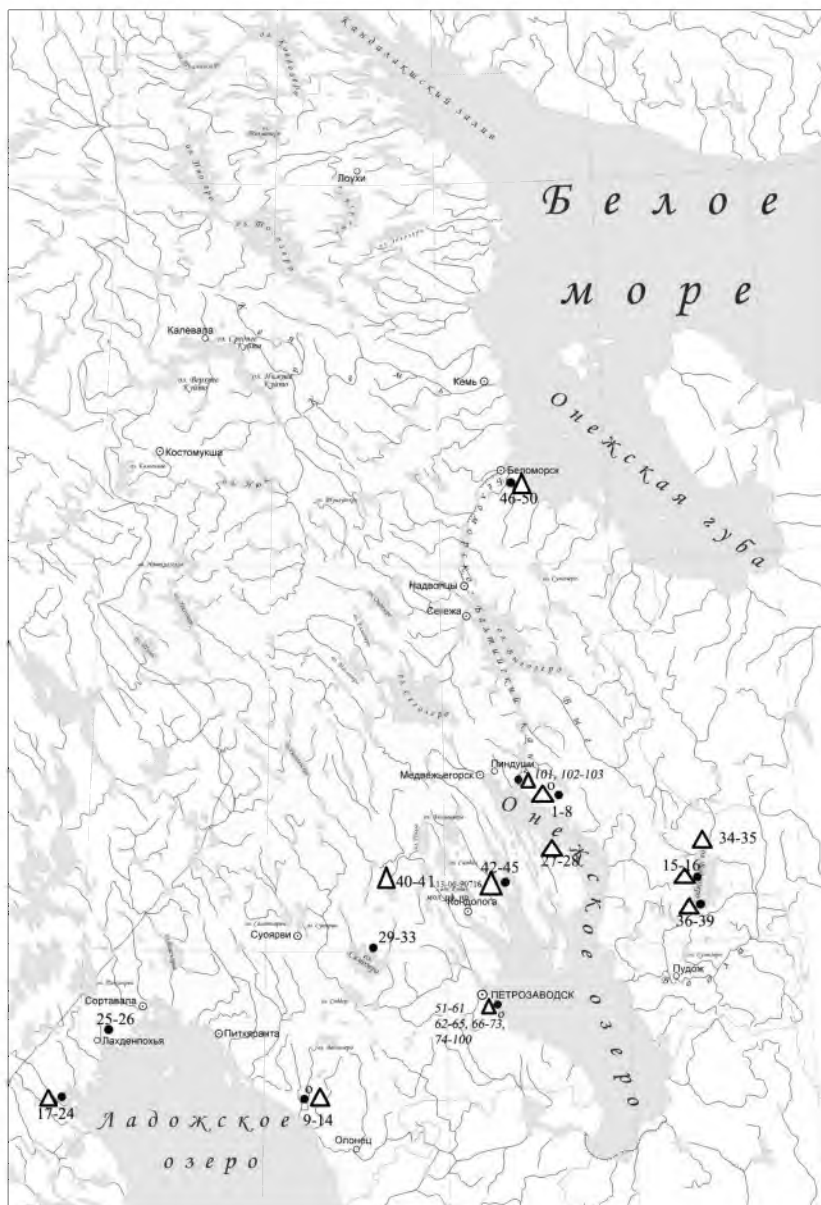


Рис. 1. Карта расположения памятников

Таблица 1

Образцы керамики

№ п/п	Название поселения	Колл. №	Тип керамики	№ п/п	Название поселения	Колл. №	Тип керамики
1	Черная Губа IX	2162/2470	РЯ ¹	53	Вигайнаволоок I	330/14761	ЯГ
2	Черная Губа IX	2162/1414	РЯ	54	Вигайнаволоок I	Без №	ЯГ
3	Черная Губа IX	2093/1090	ГЯ	55	Вигайнаволоок I	365/2177	ЯГ
4	Черная Губа IX	2093/1437	РЯ	56	Вигайнаволоок I	330/11332, 11337	ЯГ
5	Черная Губа III	2091/246	ГЯ	57	Вигайнаволоок I	330/3742	ЯГ
6	Черная Губа III	2226/477	ГЯ	58	Вигайнаволоок I	330/17139	ЯГ
7	Черная Губа IV	2092/601	ЯГ	59	Вигайнаволоок I	330/3793	ЯГ
8	Черная Губа IV	2161/1041	РЯ	60	Вигайнаволоок I	330/9500	ЯГ
9	Новземское I	1326/519	ГЯ	61	Вигайнаволоок I	330/15112	ЯГ
10	Новземское I	1326/1056	ГЯ	62	Вигайнаволоок I	330/14366	РЯ (КЯ)
11	Новземское I	1326/1242	РЯ	63	Вигайнаволоок I	368/4311	РЯ (КЯ)
12	Новземское III	2441/10	ГЯ	64	Вигайнаволоок I	?/48	РЯ (КЯ)
13	Новземское III	2441/19	ГЯ	65	Вигайнаволоок I	424/2296	РЯ (КЯ)
14	Новземское VII	2445/93	ЯГ	66	Вигайнаволоок I	424/559	ГЯ
15	Келка I	2342/362	РЯ	67	Вигайнаволоок I	330/14864	ГЯ
16	Келка I	2342/649	ГЯ	68	Вигайнаволоок I	424/1292	ГЯ
17	Вятккя I	3187/480,898	РЯ	69	Вигайнаволоок I	424/271	ГЯ
18	Вятккя I	3187/886	РЯ	70	Вигайнаволоок I	330/12855	ГЯ
19	Вятккя I	3187/23	РЯ	71	Вигайнаволоок I	424/1994	ГЯ
20	Вятккя I	3187/902	РЯ	72	Вигайнаволоок I	368/3551	ГЯ
21	Вятккя I	3187/646	ГЯ	73	Вигайнаволоок I	368/4411	ГЯ
22	Вятккя I	3187/635	ГЯ	74	Вигайнаволоок I	330/17332	РЯ (КЯ)
23	Вятккя I	3187/757	ГЯ	75	Вигайнаволоок I	424/332	РЯ (КЯ)
24	Вятккя I	3187/846	ГЯ	76	Вигайнаволоок I	424/223	РЯ (КЯ)
25	Мейери II	1807/167	ГЯ	77	Вигайнаволоок I	424/435	РЯ (КЯ)
26	Мейери II	1807/166	ГЯ	78	Вигайнаволоок I	368/430	РЯ (ОЯ)
27	Клим I	1134/480	РЯ	79	Вигайнаволоок I	368/395	РЯ (ОЯ)
28	Клим I	1134/390	РЯ	80	Вигайнаволоок I	330/5585	РЯ (ОЯ)
29	Лакшезеро II	1836/233	ГЯ	81	Вигайнаволоок I	368/5642	РЯ (ОЯ)
30	Лакшезеро II	1836/226	ГЯ	82	Вигайнаволоок I	368/6058	РЯ (ОЯ)
31	Лакшезеро II	151/14	ГЯ	83	Вигайнаволоок I	368/1836	РЯ (ОЯ)
32	Лакшезеро II	700/232	ГЯ	84	Вигайнаволоок I	330/17643	РЯ (ОЯ)
33	Лакшезеро II	700/98	ГЯ	85	Вигайнаволоок I	330/17763	РЯ (ОЯ)
34	Илекса IV	778/1670	РЯ	86	Вигайнаволоок I	330/8377	РЯ (ОЯ)
35	Илекса IV	778/11775	РЯ	87	Вигайнаволоок I	368/2785	РЯ (ОЯ)
36	Пога I	441/271	РЯ	88	Вигайнаволоок I	330/2104	РЯ
37	Пога I	441/722	ГЯ	89	Вигайнаволоок I	330/?	РЯ (ОЯ)
38	Сомбома	1844/2346	ГЯ	90	Вигайнаволоок I	368/5334	РЯ (ОЯ)
39	Сомбома	1844/949	РЯ	91	Вигайнаволоок I	368/4892	РЯ (ОЯ)

¹ Здесь и далее: яг – ямочно-гребенчатая, гя – гребенчато-ямочная, ря – ромбо-ямочная керамика (кя – круглоямочная, оя – овальноямочная)

Окончание табл.

№ п/п	Название поселения	Колл. №	Тип керамики	№ п/п	Название поселения	Колл. №	Тип керамики
40	Черанга III	1731/153	РЯ	92	Вигайнаволоок I	424/2284	РЯ
41	Черанга III	1731/1134	РЯ	93	Вигайнаволоок I	Без №	РЯ (ОЯ)
42	Пегрема I	784/1133	РЯ	94	Вигайнаволоок I	424/191	РЯ (ОЯ)
43	Пегрема I	784/39	РЯ	95	Вигайнаволоок I	424/694	РЯ
44	Пегрема X	433/1270	РЯ	96	Вигайнаволоок I	368/968	РЯ
45	Пегрема X	719/1270	ГЯ	97	Вигайнаволоок I	368/743	РЯ
46	Залавруга I	281/535	ГЯ	98	Вигайнаволоок I	368/2767	РЯ
47	Залавруга II	738/67	РЯ	99	Вигайнаволоок I	368/768	РЯ
48	Залавруга IV	579/311	РЯ	100	Вигайнаволоок I	368/1548	РЯ
49	Залавруга IV	579/915	РЯ	101	Оровнаволоок XVI	Без №	ГЯ
50	Залавруга IV	579/1603	ГЯ	102	Оровнаволоок XVI	2933/438	РЯ (ОЯ)
51	Вигайнаволоок I	Без №	ЯГ	103	Оровнаволоок XVI	2933/469	РЯ
52	Вигайнаволоок I	330/6277	ЯГ				

Суммируя результаты, можно говорить о сложившейся гончарной традиции в эпоху среднего неолита – раннего энеолита (табл. 2), для которой характерны следующие показатели. Исходным сырьем служила глина. Доля глинистого компонента в тесте варьирует от 30 до 90 % (чаще всего 40–70 %). Для некоторых образцов характерна глина, обогащенная водной органикой (53 % гребенчато-ямочной и 32 % ромбо-ямочной) на памятниках крупных водоемов Ладожского и Онежского озер. Показатель минеральных примесей, как правило, постоянный (10–35 %) и не зависит от качественных характеристик составов глин (тощие или жирные).

Минеральными отошителями являются песок, дресва и шамот. Выделяется шамот-керамика – это размельченная керамика и шамот-глина – не до конца высушенная и растертая глина. Помимо минеральных добавок, отмечаются рецепты с пухом-пером либо дробленой костью, либо органическим раствором (клеем), в одном случае зафиксирован волос-шерсть. Между тем во всех типах преобладают рецепты с минеральными отошителями, составов с органическими добавками существенно меньше: для ямочно-гребенчатой – 84 и 16 %, для гребенчато-ямочной – 67 и 33 %, для ромбо-ямочной – 79 и 21 % соответственно.

Рецепты для ямочно-гребенчатой керамики довольно разнообразны (всего шесть). Для Ладожского бассейна характерно сочетание глины и дресвы, для Онежского озера отмечены дополнительно глина+песок и глина+песок+дресва (а также с дробленой костью), глина+дресва+шамот. К важным показателям относятся органические добавки и сложные составы, сочетающие более трех компонентов.

Таблица 2

Процентное соотношение составов формовочных масс по типам керамики

Составы	Керамика		
	яг, %	гя, %	ря, %
Г+Д ¹	18	17	23
Г+П	8	9	27
Г+Д+П	50	12	18
Г+Д+Ш	8	29	9
Г+Д+П+Ш	—	—	2
Г+О	—	3	—
Г+Д+О	—	12	2
Г+П+О	8	3	2
Г+Д+П+О	8	12	13
Г+Д+Ш+О	—	3	2
Г+Д+П+Ш+О	—	—	2
Итого	100	100	100

Для гребенчато-ямочной керамики выделено девять рецептов. Наибольшая их вариабельность приходится на район Ладожского озера и характеризуется широким применением дресвы, шамота и органических добавок, что сближает ее с подобной посудой внутреннего района Сямозера. Лишь в одном случае отмечен в составе песок, который характерен для бассейна Онежского озера и не определен в образцах из памятников Белого моря. Заметим, что вместе с глиной и дресвой выявлен шамот на Онежском озере, а в северной Карелии зафиксирован образец, где глина сочетается с органическим компонентом в виде пуха-пера.

Ромбо-ямочная керамика более характерна для района Онежского озера. Здесь количественно выделяются рецепты с песком, с дресвой и песком, в том числе включающие органические примеси. В некоторых образцах представлен шамот, но, как и прежде, он характеризует в основном район Ладожского озера.

Таким образом, составы формовочных масс и вариабельность используемых рецептов как внутри типов керамики, так и по районам распространения отражают довольно сложную ситуацию на данном этапе развития. Использование петрографических методов обусловлено в первую очередь особенностью глиняных фрагментов: чаще всего они насыщены минеральными отошителями, не позволяющими при визуальном рассмотрении образцов дать объективную характеристику составам. Кроме того, исходя из полученных данных, можно говорить о сохранении общей тенденции в использовании минеральных и органических

¹ Г – глина, Д – дресва, П – песок, Ш – шамот, О – органическая добавка.

добавок, а также определить адаптивные признаки, явившиеся результатом приспособления к источникам сырья. В данном случае имеется в виду доминирующее использование шамота в районе Ладожского озера и песка в бассейне Онежского озера.

О сохранении культурной преемственности в развитии древней гончарной технологии свидетельствуют результаты изучения керамики из эталонного поселения среднего неолита – раннего энеолита Вигаинаволока I [Панкрушев, Журавлев 1966; Хорошун 2013]. Выделено пять групп. Первая включает образцы ямочно-гребенчатой и ромбо-ямочной керамики с рецептами из глины 60–65 % и дресвы 35–40 %. Глина с железистыми включениями. В группе II образцы гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики, в составе которых к глине (65–88 %) добавлен песок (12–35 %). В группе III и IV наибольшее количество образцов, где в качестве минерального отощителя использованы дресва (20–40 %) и песок (10–20 %). Группа IV имеет сложные составы с несколькими видами минеральных отощителей – дресва (20–25 %) и шамот (7 %). В группе V с образцами с органической добавкой выделены четыре подгруппы. Первая включает ямочно-гребенчатую и ромбо-ямочную керамику, в рецептах которых к глинам добавлен песок (12–20 %) и дробленая кость или костный клей (10 %). Во второй подгруппе имеется образец ромбо-ямочной керамики, в составе которого отмечена глина (80 %) + дресва (20 %) и костный клей. К третьей отнесены образцы каждого типа, где в качестве добавок использованы песок (12 %), дресва (20 %) и дробленая кость (5 %). В четвертую подгруппу включен образец ромбо-ямочной керамики с дресвой (25 %), шамотом (7 %), песком (7 %) и дробленой костью (7 %).

Итак, во всех типах керамики преобладают рецепты без органики: если в ямочно-гребенчатой количество их примерно одинаковое, то в гребенчато-ямочной их больше в два раза, в ромбо-ямочной – в три. Включение дресвы связано с образцами ямочно-гребенчатой и ромбо-ямочной керамики, а добавка песка характерна для гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной керамики. Сложные составы, где, помимо дресвы, имеется песок или шамот, относятся ко всем типам, как и составы с органическими добавками (дробленая кость или костный клей) с песком и/или дресвой. В одном образце ямочно-гребенчатой керамики с дресвой возможно наличие костного клея.

При анализе составов формовочных масс и качественной характеристике компонентов выявляются некоторые закономерности развития древней технологии внутри культурных типов керамики. Наблюдается сохранение культурной преемственности в технологии изготовления ке-

рамики как на поселениях, так и в районах распространения исследуемых типов керамики. Выявляются особенности развития технологической традиции на локальных участках и проявляются признаки адаптации к окружающей природной среде и ресурсам. Результаты являются важными документированными источниками и создают базу для его дальнейшего изучения неолитических культур лесной зоны Восточной Европы.

Литература

Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5–105.

Витенкова И. Ф. Проблема отражения религиозно-мифологических традиций финно-угорских народов в археологических материалах // Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России. Материалы V Всероссийской конференции финно-угроведов. Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. 2014. С. 475–477. Интернет-ссылка.

Кулькова М. А. Методы прикладных палеоландшафтных геохимических исследований. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. 152 с.

Панкрупшев Г. А., Журавлев А. П. Стоянка Вигайнаволок I // Новые памятники истории древней Карелии. М.; Л., 1966. С. 152–172.

Хорошун Т. А. Памятники с ямочно-гребенчатой и ромбо-ямочной керамикой на западном побережье Онежского озера (конец V – начало III тыс. до н. э.). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2013. 18 с.

Хорошун Т. А., Кулькова М. А. Технология изготовления и состав глиняной посуды неолита Карелии // Геология, геоэкология, эволюционная география: кол. монография. Т. XII // Под ред. Е. М. Нестерова, В. А. Снытко. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. С. 252–259.

Хорошун Т. А., Кулькова М. А. К вопросу об изготовлении ромбо-ямочной керамики (по данным петрографического исследования эталонных памятников Южной Карелии и Верхнего Дона, IV–III тыс. до н.э.) // Геология, геоэкология, эволюционная география: кол. монография. Т. XIV. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. С. 231–242.

Хорошун Т. А., Сумманен И. М. Роль естественнонаучных методов в изучении древней керамики памятников Карелии // Труды КарНЦ РАН. № 8. Серия: «Гуманитарные исследования». Петрозаводск, 2015. С. 17–27.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СААМИ И ВЕПСОВ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ IX–XVII вв.*

Правовое положение населения любой страны отражает его политико-правовую систему. Она воплощает устремления правящих верхов, в большей или меньшей степени учитывает интересы и чаяния населения страны, а также отражает связи с другими странами. В многонациональном государстве правовой статус каждого народа строится на основе внутренней политики, включающей управление собственными подданными (или гражданами), внешней политики (способа сосуществования с другими государствами) и военной политики – достижения политических целей государства вооруженным путем. Конкретно, воздействие вышеуказанных сфер политики на этносы, их «удельный вес» напрямую зависит от места проживания этноса, включая расстояние до государственной границы. В статье данный тезис проясняется на основе сравнительно-исторического и сравнительно-генетического анализа правового статуса саами и вепсов в системе российской государственности IX–XVII вв. Саами кочевали непосредственно по обе стороны самой северной границы России – в Лапландии, на Кольском полуострове и севере Карелии. Южнее их, в более отдаленной от границы области Присвирья и Онежско-Ладужского межозерья проживали оседло вепсы. Такое сравнение представляется нам тем более уместным, что обстоятельства проживания саами и вепсов в северном приграничье России заставляли центральное правительство не только воплощать на их землях собственные устремления, но и учитывать интересы местных жителей, зачастую сдерживая свои фискальные намерения в пользу выстраивания более надежной системы управления.

До сих пор в историографии не предпринималось развернутого сравнения правового статуса данных народов. Впрочем, имеются научные наработки по другим «приграничным» народам России. Впервые поднятая проблематика в современной российской историографии отражена в монографии «Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления». Она присутствует и в коллективном исследовании «Административные реформы в России: история и современность» [Национальные окраины 1998; Административные ре-

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Узловые проблемы истории Карелии. К столетию республики. Научные очерки и статьи», № 0225-2014-0012.

формы 2006]. Этническая история карелов (ближайших соседей вепсов и саами), в т. ч. их правовой статус, были обрисованы в коллективной монографии финских исследователей «История карельского народа» [Киркинен, Невалайнен, Сихво 1998]. Имеются и труды с общей характеристикой вепсов и саами, их административного устройства и системы хозяйства, но без сравнительного анализа их положения между собой [Ушаков 1997–1998; Прибалтийско-финские народы России 2003: 39–48, 333–348; Буланов 2007; Булгаков 2008]. Автор статьи также поднимал данную проблематику в монографиях, но в основном применительно к вепсам [История Карелии; Жуков 2003; Жуков 2013], тогда как правовое положение саами в XIII–XVII вв. отражено им в публикации источников [Жуков 2004; Zhukov 2004].

Для начала обратимся к анализу положения вепсов. Их предки (*весь*) стояли у истоков создания Древнерусского государства в IX–X вв., участвуя вместе с северными славянами и поволжскими финнами в «призывании варягов» и в походах Олега на Смоленск и Киев. Г. С. Лебедев в «Повести временных лет» провел анализ положения народов. В ней весь объединена с поволжскими финнами («меря, мурома, черемись, морьдва») в группу, «иже дань даютъ Руси»: у каждого «языкъ свой», они «погани» (язычники), но при этом «седять» (оседлые) и имеют свои «грады». У веси – это город Белоозеро: в нем *весь* – «первии наследницы» (основатели и коренное население), а варяги – лишь «находницы» (пришлые) [Лаврентьевская летопись: 19–20; Ипатьевская летопись: 14–16; Лебедев 1985: 192–195].

Высшие представители *племенной знати* веси вошли в правящий слой Новгорода – главного оплота русской государственности на Севере. По предположению ряда скандинавистов, в кодексе законов Руси «Правде Роуской» (1015/16 г.) они выступают под именем *колбяги*: их правовой статус не отличался от статуса знатных русских воинов, но их нельзя смешивать с варягами («Варягъ любо Колбягъ»). Колбяги являлись этносоциальной группой северной Руси, возникшей в результате связей скандинавских воинов с племенной верхушкой веси и проживавшей от нее к западу *чуди* (других прибалто-финнов) [Новгородская первая летопись: 176–180; Рыдзевская 1934: 511–513; Мачинский, Мачинская 1988: 52–54; Кочкуркина, Джаксон, Спиридонов 1990: 110–111; Богуславский, Мачинская 1993: 117–122].

Колбяги упоминаются и в скандинавских (исландских) исторических сказаниях – сагах – под названием *кюльфинги*. В «Саге о Хальвдане Эйстейнссоне» говорится о связях кюльфингов с карелами, вепсами и русскими и, соответственно, с их территориями – Кирияларботнар («Карельскими заливами», т. е. карельскими землями у балтийских шхер в районе Выборга), с Альдейгыюборгом (городом Ладога) и с Алаборгом.

Согласно саге, Алаборг находился «к северу» от Альдейгьюборга [Хрестоматия: 290]. Данное обстоятельство позволяет сопоставить его со скоплением археологических памятников на р. Сясь в вепсском Юго-Восточном Приладожье (городище, селище и захоронения) [Археология Карелии 1996: 287–289; Джаксон 2000: 70–72]. К этому добавим, что именно в данном районе, на притоке р. Сясь, р. Воложба, впоследствии располагался *погост* (район) «Климецкой в Колбегах» [Неволин 1853: 164]. Отмеченное обстоятельство упрочивает связь Алаборга с Сястью и с колбями «Правды Роуской».

Сведения «Саги об Эгиле Скаллаgrimссоне» дают материал для сравнения первичного правового положения древних вепсов и саами. В ней утверждалось, что кюльфинги совершали походы на север к саами, где занимались торговлей, «а кое-где – и грабежами» [Хрестоматия: 205]. И в саамском фольклоре они тоже фигурируют под именем *чудь* в качестве и торговцев-добытчиков, и грабителей-убийц [История Карелии: 64–65]. Таким образом, независимые друг от друга источники (русские летописи и законы, скандинавские саги и саамский фольклор) дают твердое основание для утверждения о принципиальном отличии статуса вепсов и саами в начале российской государственности. Первые, благодаря племенной знати, подкреплявшей свое положение тесными связями с воинами-скандинавами, наличие «града» и участию в военно-политических походах Олега, заняли довольно прочное и высокое положение в системе древнерусской государственности. Правда, рядовые вепсы выплачивали государству (князю) дань. Саами же в IX–XI вв. вообще не являлись подданными Древнерусского государства, проживая за его пределами первобытным строем, и поэтому не получали от него никакой защиты.

Вернемся к вепсам. Налог (*дань*) с вепсов взимался методом *полюдьа*. Это зафиксировано в берестяной грамоте № 226 (1160–1180 гг.): «в полюдие семо м... по Паше...» [Арциховский, Борковский 1963: 49]. Паша – река в Юго-Восточном Приладожье. Но вепсы постепенно заселяли и более северные земли. Так, уже с XIII в. вепские крестьяне стали осваивать даже Заонежский полуостров, ландшафт, почва (с природным неорганическим удобрением шунгитом) и климат которого подходили для сельскохозяйственного использования. В Заонежье к ним подселялись и русские из новгородских и псковских земель, поэтому, кстати, говоры заонежан восходят как к древневепским говорам р. Оять (Присвирья), так и к нерасчлененному до второй трети XIII в. новгородско-псковскому диалекту древнерусского языка. Даже в середине XVII в. в Толвуе помнили, что первая церковь здесь появилась «лет с чetyреста», т. е. общий русско-вепсский церковный приход здесь образовался в середине XIII в. [Герд 1979: 206–211; История Карелии: 74].

В Заонежье сохранилось древнейшее предание о начале налогообложения заонежан в пользу «князя Юрика» (мы не отождествляем прямо этого Юрика с Рюриком). Предание гласит: «Пусть крестьяне заонежане, порешил он, ополномочены мной *данью*, нетяжелым оброком. Под Новгород подберу их и положу на них – половину беличьего хвоста в *дар* с их брать; потом через малое время положу полшкурки беличьей, а тут и шкуру целую, и далее, и более» [ОГВ]. Весьма показательно, что налог назван и *данью*, и *даром* («в дар»). В Древней Руси дар – это налог с русского населения, а дань – с иноязычного. Очевидно, именно так преломилось в сознании заонежан первичное разделение предков на русских – с даром, и вепсов – с данью. И еще. В предании нет и намека на то, что ставки дара и дани отличались друг от друга количественно. Это свидетельствует о едином политико-правовом пространстве в сфере фиска, которое не зависело от этнической принадлежности подданных. Собственно, сам термин «полноудье» восходит к *людие* ‘люди’, т. е. лично свободные. Поскольку в Заонежье и вепсы, и русские принадлежали к этой социальной категории, то и размер налога с них был одинаков.

Территория проживания вепсов стала частью Новгородской земли (в предании: «под Новгород подберу их»). *Земля* в удельно-феодальной Руси – это основное политико-административное образование с правами самоуправления, наличием веча, т. е. с известной независимостью от верховной княжеской власти. Земли XII–XV вв. образовались на основе древнерусских «племенных княжений» – *волостей*, подчиненных вел. князю Киевскому [Горский 2004: 140]. В 1136/37 г. возникло удельное государство Новгородская республика, известное как *Господин Великий Новгород*. Именно о Новгородской земле как государстве во главе с приглашенным князем пишет летописец под 1136/37 г., информируя о первой ее войне: новгородский князь Святослав Ольгович «свьькупи всю землю Новгородскую» для подчинения Пскова Великому Новгороду [Новгородская первая летопись: 25]. Далее, в XIII–XV вв. уже сам Великий Новгород разделился на земли (с вечами): Псковскую, Корельскую, Двинскую и др. Все это время территория вепсов оставалась в составе собственно Новгородской земли. Изменился лишь ее внутренний статус.

В результате конфликта вел. князя Александра Ярославича Невского с Новгородом по поводу выплат ордынской дани на землях вепсов появился особый административно-владельческий округ – так называемый *Обонежский ряд*. Сам *ряд* князя с республикой – это договор: по нему князь потерял прямую власть, суд и сбор налогов над богатейшей Двинской землей (Заволочьем), но взамен получил эти права на землях вепсов, а также в районе Бежицы на юго-востоке Новгородской земли [Лаврентьевская летопись: 475; Владимирский летописец: 92; Новгородская первая летопись: 82–83, 310–

311; Рогожский летописец: 401]. Скорее всего, договор о Северном Обонежье (Присвирье с Олонцом) и о Бежицах был заключен при князе Дмитрие Александровиче, около 1259–1263 гг. [Янин 1990: 142; История Карелии: 83]. Так, у вепсов появился новый верховный господин – уже не сам Господин Великий Новгород, а князь (вел. князь), который через своего наместника в Новгороде и присылаемого на место управленца-«доможирича» (*жирь* ‘богатство, доход’) управлял, судил и собирал налоги с населения.

Заключение договора Новгорода с князем потребовало обновления другого ряда – договора князя с Домом св. Софии (Новгородской епархией). Прежний договор 1137 г. касался сбора церковной десятины с погостов бассейна р. Онега и Подвинья. А теперь речь шла уже о Северном Обонежье (Присвирье и Олонец) и Бежицах. Видимо, новый договор был заключен также около 1259–1263 гг.: к старому ряду составили две приписки об *Обонежском* и *Бежицком* рядах. Под обоими названиями дан список их погостов с суммами выплат десятины. Интересно, что вепсские сельские погосты названы по именам вепских же старейшин, которые и управляли на местах своими соплеменниками, кроме трех окраинных погостов: «во Олонци» (Олонецкий погост), «На Свири» (Важинский) и «в Юсколе» (Юковичи) [Уставы: 147–148].

В XIV – начале XV в. постепенно земли вепсского Присвирья, побережья Онежского озера и Олонец вошли в состав боярских и монастырских вотчин и владений Дома св. Софии. Соответственно, доходы князя с Обонежья значительно упали, и поэтому в 1436 (или 1560) г. великокняжеский наместник Г. В. Заболоцкий продал доходы с княжеского суда новгородским частным лицам на условиях откупа (т. е. по более высокой стоимости), оформив сделку Откупной грамотой [Грамоты: 149; Янин 1990: 184]. Так, на закате удельной независимости Великого Новгорода большинство вепсов и местных русских попало в категорию зависимого населения – либо частного (вотчинно-боярского, -купеческого, -житьего), либо корпоративного (монастырского), либо церковно-епархиального («волости за владыкою»).

При этом административно Обонежский округ всегда оставался частью собственно Новгородской земли, составляя одну из ее десяти *тысяч*. В смысле административно-территориального деления Великого Новгорода стоит говорить не об Обонежском ряде, а об *Обонежской тысяче*. Как таковая она значится в «Уставе о мостехъ» 1265–1267 гг. кн. Ярослава Ярославича: в нем перечислены 10 сотен (т. е. тысяча) самой столицы, а затем 9 тысяч областей, в т. ч. «13 Бежичкаа, ... 15 Обонискаа» [Новгородская первая летопись: 507]. Таким образом, несмотря на создание княжеского округа, Новгород продолжал включать вепсское Северное Обонежье в административно-территориальную и военно-мобилизационную структуры собственно Новгородской земли.

Низовой единицей административно-территориальной структуры являлись погосты. Как правило, на погосте стояла церковь, и новгородский архиепископ через священника и церковный причт контролировал прихожан. Археологи находят, что на рубеже XII–XIII вв. на землях веси сходит «на нет» прежняя языческая культура курганных захоронений, в могилах обнаруживаются нательные крестики [Археология Карелии 1996: 290]. Данное обстоятельство свидетельствует о постепенном крещении вепсов.

Крещение и подготовило почву для создания структуры погостов. Несомненно, что владыка как самый авторитетный управленец Великого Новгорода (в XV в. – и официальный глава его правительства – Совета Господ) проводил через церковную структуру внутреннюю политику вепчовой республики. Кроме того, весь запад Олонецкого погоста и некоторые районы Присвирья были отданы Новгородом в прямое управление архиепископу. На Олонце владычные земли назывались *Станом св. Софии, Олонецким станом*, в XVII в. – *Софийской вотчиной*. А в целом размеры владычного землевладения достигали 16 % от всех земель будущих Заонежских погостов: Присвирья, Онежско-Ладожского межозерья, широкого побережья Онежского озера, а на самом севере – и Поморского берега Белого моря [Аграрная история: 245]. Следовательно, их доля на коренных вепских землях была значительно больше. Думается, что владыка как глава правительства «уравновешивал» власть князя на вепских землях Обонежского ряда.

Новгородская епархия делилась на церковные округа – *десятины*. Вепские погосты Обонежского ряда составили *Колову десятину*. Своей территорией она повторяла княжеский судебно-податной округ. Даже в XVI–XVII вв. Колова десятина сохраняла свои границы, демонстрируя нам постоянство церковной организации Новгорода. Церкви Коловой десятины, ее карта-схема, идентификация храмов на местности представлены в недавней публикации «Приходной книге новгородского Дома Святой Софии 1576/77 гг.» [Приходная книга: 10, 16–17, 44, 49, 70–71, 96–98, 184–189, 190–193].

Как отмечено выше, вепсы постепенно осваивали и север – западное, южное и северное побережья Онежского озера, в т. ч. Заонежье. Между тем все эти земли, вплоть до Поморского берега Белого моря, не входили ни в княжеский округ, ни в Колову десятину – они составляли *Заонежскую десятину* Новгородской епархии. В ту же десятину входила и территория будущих Лопских погостов – северной окраины Корельской земли (от верховий р. Суна на юге до бассейна р. Кемь на севере) [Приходная книга: 11, 15, 45–47, 71–74, 96–98, 194–202]. Лопские погосты осваивались карелами; судя по топонимии, они же проникали и на западный берег Онежского озера [Муллонен 2002: 156–174], поэтому

можно констатировать: церковно-административное устройство Новгородской епархии поддерживало устремления карелов по освоению северных и восточных земель края, задолго предвосхищая будущее объединение Заонежских и Лопских погостов в один Олонецкий уезд (1649 г.). Впрочем, как мы видели и ранее, появление вепсских церковных погостов предшествовало административному становлению Обонежской тысячи.

Вместе с тем связь самих присвирских вепсов и их старост с северными владениями сохранялась. Ее характеризует публично-правовой акт – «Мировая грамота» [т. е. соглашение о мире – так!] 1375 г. старосты «Вымоченского погоста» с челмужским боярином Григорием Семеновичем. Вепсам из южноприсвирского погоста в Имоченицах принадлежали поселения Толвуя, Шуньга и Кузаранда в Заонежье (в будущем – Толвуйский и Шунгский погосты) и лежащие напротив них земли пудожского берега Онежского озера. На последние и позарился боярин Григорий из соседней Челмужской вотчины. Их конфликт был разрешен в 1375 г. заключением «мира».

Удивительно, но его формуляр один в один совпадает с формуляром Ореховецкого мирного договора 1323 г. Новгорода со Швецией. В первой клаузуле обоих актов перечислены его участники: в 1323 г. – это правители и их послы, а в 1375 г. – боярин и самоуправление на уровне погоста. Оказывается, что контроль за землями на севере осуществляли: во-первых, староста Имочениц, во-вторых, его правящий род, только в-третьих, местные заонежане, о землях которых и шел спор, и, наконец, в-четвертых, остальные «все имоченцы». Следовательно, основная власть на уровне погоста оставалась за старостой и его родом и не делегировалась окраинным общинам толвуян, шунжан и кузарандцев.

Затем в акте 1323 г. говорится: «докончали есмы миръ вечный» (заключили мирный договор), а в акте 1375 г.: «докончаша миръ ... миръ взяли» – как будто речь шла о настоящей войне. Третьи клаузулы объявляли основой соглашений компромисс: «по любви» в Корельской земле, имоченцы с боярином также «урядили». Четвертые описывали новые границы – *межу* со Швецией (1323 г.) и *межу* с Челмужской вотчиной (1375 г.). Пятые клаузулы содержат конкретные условия будущих взаимоотношений [Грамоты: 67–68, 265]. Принципиальная схожесть формуляров этих двух актов XIV в. – и по порядку следования клаузул, и по их содержанию, и даже по юридической терминологии – свидетельствует о том, что *вепсы твердо находились в едином политико-правовом пространстве Великого Новгорода*. Что касается пудожских владений имоченцев, то в будущем – это Тубозерская и Песчанская волости, продолжавшие принадлежать Толвуйскому погосту.

В свою очередь, вепские старосты напрямую подчинялись властям столицы, о чем недвусмысленно говорит текст берестяной грамоты № 279 (1369–1382 гг.). Ею староста Пашеозерского погоста обращался к соцким Новгорода: «Поклонъ от старосты от Михале и от всех пашазерчевъ къ сотскимъ къ Мазиму и ко Онани и к Къст...» [Арциховский, Борковский 1963: 105–107]. Итак, *вепсы и их самоуправление оказались надежно вписаны в удельную государственность Великого Новгорода, в его политико-правовую систему.*

После присоединения в 1478 г. вел. князем Иваном III Васильевичем Великого Новгорода к своей державе вепсы попали в орбиту уже новой общероссийской государственности. Новая форма внесла изменения в политико-правовой статус подавляющего большинства жителей северной России, в т. ч. вепсов: упразднение частно-феодалного землевладения новгородской знати превратило их в великокняжеских (царских) черносошных крестьян. Статус черносошного крестьянина известен, не будем на нем специально останавливаться. Присви́рские старосты потеряли власть над северными землями, которые стали погостами с собственным выборным самоуправлением. Церковно-приходские процессы привели к тому, что и внутри погостов постепенно образовались волости со своими старостами, подчиненными, впрочем, самоуправлению своих погостов.

Новые и старые погосты объединились в Заонежские погосты Новгородского уезда – бывшей Новгородской земли, что, несомненно, выразило преемственность временам Великого Новгорода. В южные погосты – Оштинский стан, от Свири и Ояти до Вытегры – назначался оштинский волостель, в северные погосты Выгозерского стана – выгозерский; Олонецкий погост управлялся службами Дворца, а его запад оставался у Дома св. Софии. В середине XVI в. появилась выборная полиция, судьи и денежные сборщики из помещиков и крестьян, а посты волостелей были упразднены. С 1584 г. все Заонежские погосты стали дворцовым округом во главе с приказчиком (воеводой) в Оште [История Карелии: 105–108, 112–113]. Наконец, в 1649 г., с постройкой города Олонца, был создан Олонецкий уезд, который объединил Заонежские и Лопские погосты. У местного самоуправления не осталось права на совместный суд с олонецкими воеводами, но контроль за землепользованием и справедливая раскладка налогов по хозяйствам по-прежнему оставались в руках самоуправления погостов и волостей [Жуков 2003: 149–200; Жуков 2013: 336–339]. С такими итогами вепсы подошли к эпохе Петра I.

Теперь обратимся к сравнительной характеристике саами. В отличие от вепсов, по внешнеполитическим причинам территория саами формально получила статус *Лопской земли*, но это произошло только в начале XVI в., по инструкциям сборщиков дани вел. князя Василия III 1525 г. [Возгрин, Шас-

кольский, Шрадер 1998]. К этому времени само понятие «земля» сильно изменилось, оно потеряло уже прежнее значение удельной территории, превратившись в политико-территориальное понятие. Административно Лопская земля входила в Двинский уезд, а с 1582 г. – в новый Кольский уезд.

По месту проживания (кочевания) саами разделялись на три группы. Первая территориальная группа – это *Терская Лопь*: терские саами кочевали по р. Поной и, видимо, уже в XII в. попали в орбиту древнерусской (новгородской) государственности, прежде всего, как податное население. Под 1215 г. летопись сообщила о *терском даннике* – знатном новгородском сборщике налогов на *Терском берегу* Белого моря (юг Кольского полуострова) [Новгородская первая летопись: 57, 257]. Очевидно, что сюда новгородцы попадали через Сев. Двину из погоста «На море» в ее устье, напротив Терского берега. Погост фигурирует уже в «Уставе Святослава Ольговича» 1136/37 г. [Уставы: 147–148].

В дальнейшем Терский берег – это *волость Тре (Тирь)* летописей с главным карельским селением Варзугой: «Арзуга, погост корильский» летописного сообщения о норвежском набеде 1418–19 гг. [Новгородская первая летопись: 411]. В двинском Беломорье с XIV в. существовал Николо-Карельский монастырь (ныне – Северодвинск). Несомненно, что Белое море осваивалось карелами точно так же, как и северная Карелия. Можно предположить, что сбор дани с саами Великий Новгород возложил на карельскую знать, но древние связи карелов с саами прослеживаются еще с XII в.: карельские вещи находят в саамских захоронениях и святилищах Беломорья, Кольского полуострова и северной Финляндии [Кочуркина 1981: 29; Макаров 1993: 27; Carpelan 1997: 71–82].

Вторая и третья территориальные группы саами проживали на окраине собственно Корельской земли. Они известны из завещаний Ивана III (1504 г.) и Ивана IV Грозного (1570-е гг.) наследникам: «даю ему Корельскую землю всю, с городом Корелой, с селы и с погосты ... и с *Лопью Лешюю*, и с *Дикою Лопью*», т. е. с землями живущих в лесах и кочевавших саами [Памятники русского права: 269; Дополнения: 384].

Другое название Дикой Лопи – это *Кончанская Лопь*, потому что ее родоплеменные группы кочевали по *Мурманскому концу* – самым северным землям России в приграничье с Норвегией (по-русски – с *Мурманом*). Именно о них речь шла в Разграничительной грамоте 1252 г. между Новгородом и Норвегией: оба государства будут брать с саами (по-норвежски – с *финнов*) в налог «не более пяти серых шкурок с каждого лука» (читай: с охотника-саами). По договору Новгороду разрешалось брать дань с кочевавших саами от Кьёль (р. Кола) на запад по берегу океана до Люнгестува (ныне – Люнген, Норвегия), далее на восток через «гору» (Скандинавский хребет) на Мелеа (гряда Манселья) и по ней обратно в Кьёль (очевидно,

по западному притоку р. Кола, р. Тулома, стекавшей с Манселькя); норвежцы же брали дань с кольских саами и «полукарелов-полуфиннов, матери у которых были финки» (саамки), от Кьэль (Колы) на восток вплоть до Гандвика (Белого моря) [Кочкуркина, Спиридонов, Джаксон 1996: 114–116; Жуков 2004; Zhukov 2004]. И это понятно. Далее вдоль горла Белого моря кочевала уже Терская Лопь, обязанная данью только Новгороду.

Оба государства не могли установить сильное стационарное управление из-за незначительности сил, которые стороны могли выставить на Крайнем Севере для охраны своих владений. Очевидно, что дань взималась методом поллюдья карелами. *Исландские анналы*¹ сообщают о «разбое» карелов в области Халогаланд, т. е. на землях, с которых по договору дань шла Новгороду (1271 г.); под 1279 г.: «Карелы схватили на горе Торбьёрна Скени, чиновника конунга Магнуса и убили его тридцать пять человек»; 1303 г.: «Господин Эгмунд Ундаганц воевал с карелами при поддержке конунга Хакона»; 1310 г.: «Конунг Хакон послал Гишура Галли в Финнмарк² за данью, которая не собиралась за много лет»; под 1316 г.; в 1323 г.: «Русы ходили войной на север, на Халогаланд и сожгли Бьярклей господина Эрлинга сына Видкуна» [Шаскольский 1994: 236–237]. Очевидно, *русы* здесь – это карелы по их государственной принадлежности.

Новый мирный договор с Норвегией 1326 г. прощал сторонам все прежние «обиды» и запрещал им пересекать общую «старую границу» [Грамоты: 69–70], т. е. сбор дани с Кончанской Лопи продолжился по условиям прежней Разграничительной грамоты 1252 г. Таким образом, политико-правовой статус саами в XIII–XV вв., прежде всего, определялся их приграничным положением и закреплялся новгородско-норвежскими договорами, декларировавшими мирные взаимоотношения.

Южнее Лапландии, на русско-шведской границе, войны шли одна за другой, сменяясь короткими перемириями. Здесь, в лесах Карелии, проживала *Лешая Лопь*. По карте «Восточная Европа в V–VIII вв.» из «Национального атласа России» на юге зона расселения саами доходит до линии Северное Приладожье – Северное Прионежье, на востоке – примерно до меридиана Беломорско-Балтийского канала [Национальный атлас России: 16]. Топонимисты находят густую сеть следов саамской и прасаамской топонимии вплоть до Онежско-Ладожского Межозерья [Муллонен 2002: 175–306]. Записаны многочисленные народные предания о проживании в Карелии саами, например, в районе Реболы–Лужма [Pääkönen 1898: 168–175]. Наиболее ранняя из обнаруженных нами архивных запи-

¹ Норвежские хроники, лучше всего сохранившиеся в Исландии: *Annales regii*, *Flátó-annaler*, *Oddveria Annall*, *Gottskalls Annaler*, *Henrik Hóyers Annaler*, *Gottskalls Annaler*, *Annales vetustissimi* и др.

² Т. е. в Саамскую марку/область.

сей (1620 г.) повествует об основании деревни Поросозеро (около середины XV в.): на месте деревни проживал лопарь (саами) Пор, не занимаясь сельским хозяйством, он охотился и ловил рыбу на озере; к нему и подселились три карела-крестьянина – основатели деревни, которую они наименовали в честь Пора Порозером, Порозером же назвали и озеро [РГАДА 1620: 115–119¹]. Не налог, но феодальную ренту – празгу – за использование лесных угодий с саами собирала карельская и новгородская знать [Материалы: 101, 105–108, 120–122].

В XVI–XVII вв. политико-правовой статус саами России, особенно Кончанской Лопи, по-прежнему определялся их приграничным проживанием, но сбор празги прекратился, поскольку саами приравнивали к черносошным крестьянам. Новшеством стало и основание Норвегией и Россией стационарных центров управления – приграничных крепостей Вардё и Колы. Соответственно, стороны постарались закрепить за собой «своих» саами. Сразу после постройки Вардё, в 1559 г., вспыхнул конфликт из-за налогов, о котором царский данщик информировал Кремль. Немедленно Иван IV Грозный направил посла в Датское королевство (тогда Норвегия была в унии с Данией). Стороны вновь согласились «рубеж ведать по старине», т. е. по «Разграничительной грамоте» и Можайскому договору с Данией 1516 г. [Русские акты: 51–54], поэтому в дальнейшем весь XVII в. русские данщики ездили к саами за данью вдоль р. Тенойоки к ее истокам на Скандинавском хребте, т. е. за тысячу верст на юго-запад от Колы и Вардё. По существу, царская дань продолжала собираться методом полюды. В кольской «Книге сбора стрелецких денег» 1700 г. центры сбора саамской дани названы *погостами*, но на самом деле они являлись пунктами сбора кочевавших саами, решавших здесь свои общие дела и привозивших сюда налоги [Жуков 2004; Zhukov 2004: 304–308, 311–316].

Поначалу к стационарному управлению и христианскому окормлению Кончанской Лопи Иван IV подключил церковь в лице братии Печенгского монастыря (до гибели обители в 1589 г.), но церковная самоорганизация самих саами на приходы не складывалась. В 1681 г. по всем кончанским «погостам» проехал кольский священник Алексей Симонов, который расспрашивал саами об их вере и церквах. Выяснилось, что с середины XVI в. только у тазрецких саами имелась Борисоглебская церковь, но ныне она запустела. Саами, по их словам, «не крещены и таинств не знают», поэтому везде в саамских временных станах–«погостах» священник поставил часовни, а свой отчет отправил царю Федору Алексеевичу [Жуков 2004; Zhukov 2004: 304–311]. Разделенные на родоплеменные группы саами не видели нужды еще и в дополнительном церковном разделении на приходы.

¹ Здесь и далее в ссылках на архивные источники указаны номера листов в деле.

Управлением и окормлением Терской Лопи занимался старец Феогност по Жалованной ей грамоте 1575 г. Грамота была выдана по просьбе саамских старост (глав родов): они говорили от имени и по поручению собравшихся на сход всех терских саами, просивших царя защитить их от «сильных корельских людей» и возобновить на Поное Петропавловскую церковь [Материалы: 236–238; Сборник грамот: 437–442]. Мы видим, что взаимоотношения Терской Лопи с верховной властью ничем не отличаются от аналогичной связи обычных черносошных крестьян с царем через челобитные.

Создание в 1582 г. Кольского уезда во главе с воеводами еще более укрепило внутривластную линию на выстраивание ординарного управления через структуру московских приказов в центре и воеводскую администрацию на местах. Продолжал действовать и внешнеполитический фактор как России, так и Дании по отношению к саами, причем не только к Кончанской Лопи, но и к Терской Лопи. В 1580-е – начале 1600-х гг. Копенгаген настаивал, что его норвежские данщики имеют право на сбор дани с терских саами. В ответ Москва отказывалась не только допускать их на Поной и Терский берег, не попадающие под русско-норвежские (-датские) договоры, но даже на кольское побережье восточнее Колы до Белого моря (Гандвика). Видимо, для Дании вопрос о северных податных владениях Норвегии был совершенно не принципиальным, и, в конце концов, Копенгаген согласился со сложившимся положением [Русские акты: 217–226, 225–238, 309–326, 377–378].

В российской Карелии Лешая Лопь проживала в двух уездах: в Лопских погостах Новгородского (с 1649 г. – Олонецкого) и в Ребольских волостях Корельского (с 1620-х гг. – Кольского) уездов. К 1597 г. численно саами оставалось немного: в Ругозерском погосте в д. Паязмозеро – 1 саами, а от проживавших ранее в Тикше, Чирко-Кеми и Пизмолакше саами остались лишь «следы» их дворов; в Панозерском погосте в лесу в «вежах» (полуземлянках) проживали 5 саамских семей, а живших здесь ранее 33 лопарских семьи убили и пленили шведы [Дозорная книга: 206–208, 214–215]. Тогда же немногие саами оставались проживать в соседней Кемской волости Соловецкого монастыря [Материалы: 325]. В борьбе со Швецией центральные власти заботились о проживании саами в Карелии: шведские дипломаты настаивали, что земли карелов, Лопские погосты и Ребольские волости, должны принадлежать Швеции, как и весь Корельский уезд. Им отвечали: «Нет, здесь живут лопари», а на местах русские власти предоставляли оставшимся в живых саами налоговые льготы. Так, с 1620 г. вместо всех налогов с саамских «ребольских волосток с Реболы и Ровкулы» стали брать по 50 рублей в год, собиравшихся методом полюдьа кольским данщиком [Приходно-расходные книги: 320]. По переписи 1678 г. на севере Ребольского погоста саами даже основали два новых

«Лешие Лопи крещеных лопарей погостишка: Лопской Пяозерской погост ... Лопской Орьезерской погостъ» – 2 поселения, всего 9 веж, но в каждом имелся свой староста (глава рода) [РГАДА 1678: 153 об.–155].

В целом же следует сделать вывод о том, что политика в отношении саами была значительно мягче и проводилась через весьма отдаленные от кочевий центры управления. В этом состоит отличие от положения оседлого крестьянского населения более южных земель, например, вепсов. Во-первых, довлел фактор внешней политики, во-вторых, сама кочевая жизнь большинства саами не позволяла наладить на их землях надежного стационарного государственного управления. Даже налоги собирали не выбранные саами сборщики, а посылавшиеся государством данщики старинным методом полюдья. В целом констатируем, что саамское население, кроме сбора дани, было предоставлено само себе, но до тех пор, пока не назревал спор из-за саамской дани между Россией и Норвегией (Данией) или пока не бушевала очередная война со Швецией из-за карельских земель. Несомненно, удержание и поддержка русским правительством саамского населения на территории Карелии преследовали не столько фискальные цели (налоговые поступления были слишком малы), сколько внешнеполитические. И в этом их коренное отличие от условий проживания вепсов, более отдаленных от границы.

В отличие от саами, правовой статус вепсов, в том числе в области фискальной политики, ничем не отличался от положения таких же оседлых соседей – русских или карелов. Внешнеполитический фактор возникал изредка, в чрезвычайных обстоятельствах, например, в годы шведской интервенции 1610-х гг., когда речь действительно шла о том, останется ли Карелия с Присвирьем в орбите российской государственности или вся (а не только Корельский уезд) перейдет под власть шведской короны.

Подводя итог, можно сказать, что политико-правовое положение вепсов и саами соответствовало внутривластным и юридическим реалиям каждого из исторических периодов. И вепсы, и саами были включены в политико-правовую систему государства и не только «страдали» от ее воздействия, но и пользовались ее выгодами. Саами приравнивались к черносошным крестьянам. Ими же являлось большинство вепсов. Церковная самоорганизация вепсов не отличалась от приходского деления соседних русских. Саами же не видели нужды в приходском разделении в дополнение к своему традиционному разграничению на роды и этнические группы. Отчетливо проявлялись и «следы первобытности», например, в избрании старостами глав родов. Поэтому отношение государства к вепсам укладывалось в обычную, ординарную схему «государство – крестьяне и их волостное самоуправление», а отношения с саами выстраивались несколько по-иному: «государство – саамские старосты (главы родов) – рядовые саами».

Источники

Арциховский А. В., Борковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956–1957 гг.). М.: АН СССР, 1963. 328 с.

Владимирский летописец – Владимирский летописец. Новгородская II (Архивская) летопись // Полное собрание русских летописей. М.; Л.: АН СССР, 1965. 239 с.

Возгрин В. Е., Шаскольский И. П., Шрадер Т. А. Грамоты великого князя Василия III сборщикам дани в Лопской земле // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб.: СПб Институт истории РАН, 1998. С. 125–135.

Грамоты – Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под общ. ред. С. Н. Валка. М.; Л.: АН СССР, 1949. 409 с.

Дозорная книга – Дозорная книга Лопских погостов 1597 г. // История Карелии XVI–XVII вв. в документах / Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvulta. Петрозаводск; Йоэнсуу / Joensuu; Petroskoi, 1987. I. С. 189–233.

Дополнения – Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб.: Тип. II Отделения собств. ЕИВ канцелярии, 1846. 446 с.

Жуков А. Ю. Саами в XIII–XVII вв. (публикация источников и комментарий) // Антропологический форум. СПб., 2004. № 1. Современные тенденции в антропологических исследованиях. С. 298–322.

Ипатьевская летопись – Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. 2-е изд. Т. II. М.: Языки славянской культуры, 2001. 648 с.

Кочуркина С. И., Спиридонов А. М., Джаксон Т. Н. Письменные известия о карелах. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1996. 210 с.

Лаврентьевская летопись – Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. 2-е изд. Т. I. М.: Языки славянской культуры, 2001. 496 с.

Материалы – Материалы по истории Карелии XII–XVI вв.: Сб. документов / Под ред. В. Г. Геймана. Петрозаводск: Госиздат КФСР, 1941. 440 с.

Новгородская первая летопись – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание русских летописей. Т. III. М.: Языки русской культуры, 2000. 720 с.

ОГВ – Олонецкие губернские ведомости. Петрозаводск, 1868. № 51. Часть неофициальная.

Памятники русского права. Вып. III. Памятники права периода образования Русского централизованного государства. М.: Госиздат юридической литературы, 1955. 527 с.

Приходная книга – Приходная книга новгородского Дома Святой Софии 1576/77 гг. («Книга записи софийской пошщины») / Сост. И. Ю. Анкудинов, А. А. Фролов. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2001. 284 с.

Приходно-расходные книги – Приходно-расходные книги московских приказов 1619–1621 гг. М.: Наука, 1983. 480 с.

РГАДА 1620 – Российский государственный архив древних актов. Ф. 96. Сношения со Швецией (Коллекция дел и документов). Оп. 1/1620. «Отписки новгородских и других с шведами пограничных городов воевод, и отписки к ним государевых грамот о разных пограничных делах» за 1620 г. Д. 1. Л. 115–119. Донесение властей Новгорода в Посольский приказ о показаниях под присягой жителя Поросозера Лариона Алексеева, не позднее 22 марта 1620 г. Подлинник.

РГАДА 1678 – Российский государственный архив древних актов. Ф. 1209. Поместный приказ, вотчинная канцелярия, вотчинный департамент. Оп. 1. Д. 15056. Л. 97–154 об. Переписная книга Кольского уезда корельских Ребольских волостей стрелецкого головы Кольского острога Ивана Власова сына Старцова 1678 г. Подлинник.

Рогожский летописец – Рогожский летописец. Тверской сборник // Полное собрание русских летописей. Т. XV. 2-е изд. М.: Языки русской культуры, 2000. 432 с.

Русские акты – Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Т. 16. Русские акты Копенгагенского архива, извлеченные Ю. Н. Щербачевым. СПб.: Тип. II Отделения собств. ЕИВ канцелярии, 1897. 616 с.

Сборник грамот – Сборник грамот Коллегии Экономии. Т. 2. Грамоты Двинского, Кольского, Кеврольско-Мезенского и Важского уездов. Л.: АН СССР, 1929. 968 стб.

Уставы – Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Подгот. Я. Н. Шапов. М.: Наука, 1976. 240 с.

Хрестоматия – Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия / Под ред. Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. Т. V. Древнескандинавские источники / Сост. Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельникова. 384 с.

Шаскольский И. П. Сведения по истории Руси X–XIV вв. в Исландских анналах / Подгот. и пер. публикации Т. Н. Джаксон // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXV. СПб.: СПб Институт истории РАН, 1994. С. 231–239.

Zhukov A. Yu. The Saami, 1200–1700 (Source Materials and Commentary) // Forum for Anthropology and Culture. SPb., 2004. N 1. Cultural Anthropology: The State of the Field. P. 304–336.

Литература

Аграрная история – Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV – начало XVI в. Л.: Наука, 1971. 402 с.

Административные реформы – Административные реформы в России: история и современность / Под общ. ред. Р. Н. Байгузина. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 645 с.

Археология Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1996. 416 с.

Богуславский О. И., Мачинская А. Д. Сясьское городище и поселения Нижнего поволжья (опыт сопоставления) // Петербургский археологический вестник. Вып. 6. Скифы. Сарматы. Славяне. Русь. Сб. археологических статей в честь 56-летия Д. А. Мачинского. СПб.: Ойум, Фарн, 1993. С. 117–122.

Буланов В. Н. Русский Север. В 2-х кн. Кн. первая. Заволочье (IX–XVI вв.). Архангельск, 1997.

Булгаков М. Б. Народы Европейского Севера России в XVII веке: управление и хозяйство. М.: Институт российской истории РАН, 2008. 204 с.

Герд А. С. К истории образования говоров Заонежья // Севернорусские говоры. Вып. 3. Л.: Изд-во Ленинградского ГУ. 1979. С. 206–211.

Горский А. А. Русь. От славянского расселения до Московского царства. М.: Языки славянской культуры, 2004. 392 с.

Джаксон Т. Н. Древняя Русь глазами средневековых исландцев / Jackson T. N. Old Rus through the eyes of medieval Icelanders // Российские исследования по мировой истории и культуре / Russian Studies in World History and Culture. Т. 3. V. 3. N.-Y.: The Edwin Mellen Press, 2000. 390 с.

Жуков А. Ю. Управление и самоуправление в Карелии в XVII в. Великий Новгород: Изд-во Новгородского ГУ им. Ярослава Мудрого, 2003. 256 с.

Жуков А. Ю. Самоуправление в политике России: Карелия в XII – начале XVII в. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 492 с.

История Карелии – История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск: Периодика, 2001. 944 с.

Кириainen Х., Невалайнен П., Сихво Х. История карельского народа / Отв. ред. И. А. Чернякова. Рус. перевод Л. В. Суни. Петрозаводск: [ПетрГУ], 1998. 332 с.

Кочуркина С. И. Археологические памятники Корелы V–XV вв. Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1982. 158 с.

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1985. 288 с.

Макаров Н. А. Русский Север: таинственное Средневековье. М.: Институт археологии РАН, 1993. 206 с.

Мачинский Д. А., Мачинская А. Д. Северная Русь, Русский Север и Старая Ладога в VIII–XI вв. // Культура Русского Севера. Л.: Наука, Ленингр. отд. 1988. С. 44–58.

Муллонен И. И. Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 356 с.

Национальные окраины – Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления / Отв. ред. С. Г. Агаджанов, В. В. Трепавлов. М.: Славянский диалог, 1998. 416 с.

Неволин К. А. О пятинах и погостах Новгородских в XVI в. СПб., 1853. 414 с.

Национальный атлас России – Национальный атлас России. Общая характеристика территории. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство «Астрель», 2008. 496 с.

Прибалтийско-финские народы России / Отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина. М.: Наука, 2003. 672 с.

Рыдзевская Е. А. К варяжскому вопросу: местные названия скандинавского происхождения в связи с вопросом о варягах на Руси. Ч. 1 // Известия АН СССР. Сер. VII. Отделение общественных наук. 1934. № 7. С. 485–532.

Ушаков И. Ф. Избранные произведения. Мурманск: Мурманское книжное издательство. Т. 1. Кольская земля. 1997. 648 с.; Т. 2. Кольский север в досоветское время. 1998. 376 с.

Янин В. Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М.: Наука, 1990. 384 с.

Carpelan Ch. Later Iron Age finds from Northern Finland // Славяне и финно-угры (археология, история, культура): Доклады российско-финляндского симпозиума по вопросам археологии / Под общ. ред. А. Н. Кирпичникова, Е. А. Рябикина и А. И. Саксы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 71–82.

Pääkkönen L. V. Kesämatkjoja Venäjän Karjalassa sekä hajanaisia kuvauksia Karjalan Kansan nykyisyydestä ja entisyydestä // Suomen muinaismuisto-yhdistuksen aikakauskirja. Helsinki, 1898.

Александр Валерьевич Пигин
*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
г. С.-Петербурга*

ПРОСИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СТАРООБРЯДЦЕВ ШЕЛТОПОРОГСКОГО СКИТА О МИЛОСТЫНЕ

В богатейшем книжно-рукописном наследии русских старообрядцев выделяется группа текстов, имеющих сугубо прагматический характер, – просительные послания о милостыне. Нехватка денежных средств, тяжелые хозяйственно-экономические условия заставляли старообрядческие общины отправлять своих представителей в разные города и веси к единоверцам для сбора подаяния. Посылаемые с этой целью поверенные брали с собой специальные книжки, в которых содержались письма с просьбой о помощи и куда благотворители могли записывать свои пожертвования.

Такие источники севернорусского происхождения уже попадали в поле зрения исследователей. Так, Д. Березкин опубликовал сборную книжку рубежа XVIII–XIX вв. из Топозерского скита (в северной части современной Карелии) [Березкин 1898: 21–26]. Автор настоящих строк ввел в научный оборот книжку 1815–1818 гг., составленную в некоей Юрьегорской пустыни, которая находилась, по-видимому, на землях упраздненного Троицкого Юрьегорского монастыря к северу от Водлозера и была названа так в честь св. Диодора Юрьегорского [Пигин 2010: 325–329]. В фонде Канцелярии олонеккого губернатора в НАРК А. Н. Старицыну удалось найти книги за 1838, 1855, 1868 гг. для сбора средств от имени Пертозерской, Шожмозерской и Сумской старообрядческих пустыней [Старицын 2014: 23]. Сбор подаяний на нужды старообрядческих поселений преследовался властями, «церковная администрация объявляла старообрядческие сборные книжки фальшивыми, а пустыни несуществующими» [Старицын 2014: 20], что не соответствовало действительности. Историческая ценность этих источников заключается как раз в том, что они позволяют порой установить сам факт существования того или иного старообрядческого поселения, неизвестного по другим документам, хотя точная географическая локализация этих «скитов» и «пустыней» (обычно – традиционных крестьянских поселений, где жили семьями) не всегда возможна по причине крайней скудности содержащейся в книжках информации.

Сбором подаяний в разные годы вынуждены были заниматься и насельники Выго-Лексинского общежительства – самого крупного на Севере России оплота «древлего благочестия», знаменитого культур-

ного и просветительского старообрядческого центра (1694–1856). По свидетельству выговского историка Ивана Филиппова, уже первые отцы, основатели общежительства братья Андрей и Семен Денисовы, Петр Прокопьев и другие, ездили для обустройства пустыни по разным городам: «...и начаша им добрые люди милостивцы подавание давати, ов денгами, ов книгами и иконами, ов хлебом, такожде даваху на псалтырь по умерших и на помяновение...» [Филиппов 1862: 136]. Сохранились свидетельства о сборе пожертвований выговцами в 1740-е гг., но особенно широко, по наблюдениям Е. М. Юхименко, к подобной практике стали прибегать на Выге с 1760-х гг. [Юхименко 1: 478]. Согласно выводам исследовательницы, это объясняется тем, что во второй половине XVIII в. в общежительстве сократилось число работоспособного населения, «наличных денежных средств стало недостаточно для уплаты двойного налога и рекрутской повинности и закупок продовольствия в периоды неурожая» [Юхименко 1: 478]. В двух рукописях из собрания Е. В. Барсова в РГБ (№ 187 и 388) Е. М. Юхименко удалось обнаружить несколько неизвестных ранее просительных посланий выговцев, которые датируются 1750–1770-и гг., причем два из них скреплены подписями выговских отцов Никифора Семенова, Даниила Матвеева, Поликарпа Яковлева и других, а еще три написаны рукой Даниила Матвеева [Юхименко 1: 478–479; Юхименко 2: 92 (№ 347, 348), 96 (№ 366), 127–128 (№ 485–488)]. Обращаясь к «милостивым государям отцам» и «благотворителям» со своим «слезным прошением» о помощи, выговцы напоминают им о Христовых заповедях милосердия, жалуются на неурожай и голод, тяжкое бремя рекрутского набора и т. д.

К этим посланиям примыкает еще один текст, которому и посвящена настоящая статья. В коллекции И. А. Шляпкина в Саратовском государственном университете хранится старообрядческий сборник-конволют XVIII–XIX вв. (№ 284) форматом в 2°, на 85 листах, содержащий преимущественно материалы угличского происхождения: об угличских монастырях, о св. Паисии Угличском, Сказание о страсти Иоанна младенца Угличского, выписки о царевице Димитрии, документы Угличского магистрата и т. д. (см. описание рукописи: [Перетц 1960: 464–466]). В самый конец сборника вложены листы такого же формата (л. 84–85), содержащие текст просительного послания старообрядцев Шелтопорогского скита. Текст не имеет датировки, написан четким поморским полууставом и скреплен несколькими подписями. На бумаге просматривается водяной знак «Pro Patria / AG [вензель]», который использовался в широком хронологическом диапазоне середины–второй половины XVIII в. [Клепиков 1959:

№ 20, 22, 25, 867, 868]¹. Включение этого письма в сборник угличских материалов, по всей видимости, не случайно: весьма вероятно, что сборщик милостыни был отправлен именно в ярославско-угличские земли к местным старообрядцам-беспоповцам².

Шелтопорогский скит – одно из самых ранних поселений Выго-Лексинского общежительства, он находился на территории Выговского суземка, всего в нескольких верстах от Выговской мужской обители, ниже по течению р. Выг. Об основании этого скита Иван Филиппов сообщает следующее: «Также и в Шелтопорожском ските поселишася сперва космозерцы, братия Крюковы, и старец Леванид со своею семьею, и Гавриил Ефремов з братиею. И прочие вси в своих келиях живяху» [Филиппов 1862: 122]. Первопоселенцы Шелтопорога инок Леонид (Леванид) и Гавриил Ефремов (крестьянин Шунгского погоста, умер в 1741 г.) с братьями являлись «сильными помощниками» «духовному правлению» Выговской пустыни [Филиппов 1862: 94–95]. Позднее, в начале 1730-х гг., скитом управлял некто Илия Ефремович – ему 16 марта 1732 г. было отправлено послание Семена Денисова о недельном посте и молитвах за выговцев, посланных в Петербург с прошением о снятии рекрутской повинности [Маркелов 2008: 279–280, 457–459]. В 1739 г. некоторые именитые люди скита (Яков Кокин, Федор Леванидов, Федор Ларионов и др.) подверглись суровым допросам во время работы следственной комиссии О. Т. Квашнина-Самарина, по доносу Ивана Круглого, который тоже первоначально проживал в Шелтопорожском скиту [Филиппов 1862: 394–416, 376].

Часовня Шелтопорогского скита была посвящена Илье Пророку. По описанию 1739 г., в Шелтопорожском скиту насчитывалось около 60 изб с хлебными амбарами, хлевами для скотины, сараями и другими хозяйственными постройками [Есипов 1861: 538–540]. И в XVIII, и в XIX в. в Шелтопороге проживали известные на Выге иконописцы и мастера медного литья [Фролова 1993: 51; Платонов 1987: 99–101].

Несмотря на то что Шелтопорог являлся одним из наиболее старых и крупных поселений Выго-Лексинского общежительства, никаких литературных памятников, созданных здесь, до сих пор обнаружено не было³.

¹ В. Н. Перетц, без указания филигранны, датировал письмо рубежом XVIII–XIX вв. [Перетц 1960: 466].

² В XVIII–XIX вв. в Угличском уезде проживали старообрядцы-федосеевцы, которые поддерживали контакты с Выго-Лексинским общежительством (см.: [Дневные дозорные записи: 82–83]). Благодарю Е. М. Юхименко, обратившую мое внимание на этот факт и данную публикацию.

³ В Шелтопороге была найдена небольшая рукопись на 10 листах форматом в 8°, содержащая известный духовный стих «Плчч Иосифа Прекрасного» (БАН, коллекция Дружинина, № 442 (470), л. 32–41) [Певческие книги: 386–387]. Другие рукописи из Шелтопорога нам неизвестны.

тируется 1760–1770-и гг., он не подписан – Е. М. Юхименко предположительно атрибутирует его выговским больничным. По всей видимости, у выговцев существовали некие типовые тексты просительных посланий, которые могли варьироваться в деталях и использовались в сборе милостыни разными поселениями суземка.

Ниже публикуем текст шелтопорогского просительного послания.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь.

Пречестнейшим господам всякаго чина и звания, елицы в купечестве и елицы во обхождении всяцем бывающия, владущим и владомым, мужем и женам и всякаго звания людем на лета премного всещасливаго мира и здравия, еже о Христе спасения, всепокорно и слезно, общекупственно со слезами кланяемся до лица земли.

Всеубожайшия сироты, Олонецкаго уезду пустынножители, оставльшиися от прежних отцев сироты и вдовицы, поселившиися близ студенаго моря, скитающияся во мхах и во блатех и не в проходимых местех и неудобь сказаемых за древлеправославную христианскую веру и святых апостол предание и святых отец учение, ревнующи прежним своим учителем, и записаны в платеж двойнаго окладу. При сем просим и молим вашу дражайшую честность и приятную милость о подании святыя милостыни: первое Спасу и Пресвятой Богородицы на свечи и на ладан, также и нам, грешным, на пропитание и в платеж двойнаго окладу подушных денег и на всякия расходы, понеже в наших местех пришли великия нужды.

Милостивыя наши приятели, умиосердитесь о нас, грешных! Не ради нас, бедных, но ради Царя Небеснаго и ради Пресвятыя Богородицы и ради великаго святителя Николы чудотворца молим и просим: подайте святую милостыню // (л. 84 об.) от праведнаго своего имения, кому что Бог по сердцу положит. Яко убо тягостное тяжких податей, положенных на нас, двойнаго окладу за содержание древлецерковнаго святоотеческаго благочестия кому от нас, убогих, когда подъяти? Точию вашим подаянием бедным и не имущим надежды сиротам получитьи, токмо вашим подаянием обретаем. Ибо сребра послушают всяческая, то убо и царем сердца укроти, егоже кроме вашего милостиваго подаяния где обрести, не вемы.

Не имеем себе обилия доволна. Все наше житие — близ студенаго моря, вси пажити — в дебрех, все стяжание — в пропастьех земных. Едино нам утешение от Господа, еже плакати о гресех непрестанно, ихже ради и домы и сродства оставихом. Находимыя напасти всегдашнии беды не дают нам управляти в покои, а вашим щедрым подаянием сих всех отраду приемлем. И за оное ваше щедрое подаяние ко общему всех Владыце Христу притекаем неусыпно, просим и молим соборне и келейне о вашем здравии и душам спасение получитьи, ото всех бед и напастей сво-

божжение быти вам, драгия милостыни доброхотным дателем. И милующи нас, убогих, милостивый Господь Бог обещает помилованным быти, глаголя: «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут»¹. И за таковое ваше подаяние воздаст вам Господь Бог стосугубое умножение имению вашему и в будущем получитьи жизнь вечную. // (л. 85) При сем вашия высокосклонныя отеческия милости всегдашнии снискатели, раби и богомолцы, убогия пустынножители, и престарелыя сироты и вдовицы, нищия и убогия, и до последняя души, яко пред самими вами повергаем и всепокорно и рабоуниженно кланяемся.

Данное сие письмо Шелтопорожскаго скита от убогих сирот нашим поверенным П. П. с товарищем. И что подаст ваше благоутробие, то на сем писме своею рукою и подпишите².

В вышеобъявленном ските имеется числом мужеска пола семьдесят две души да женских сто сорок душ.

К сему просителному писму вместо убогих сирот Алексея Козмина, Ивана и Михаила Сергеевых и прочих по общему прошению убогий старик Стефан Иванов руку приложил.

Никола Андреев руку приложил.

К сему просителному писму по прошению бедных сирот и от великих подастей подушных платежей горко плачущих по их прошению, да свидетелствуя быти самую сущую истину, Василей Стефанов подписуюсь своею рукою.

Убогий старик Иван Дмитриев руку приложил.

Литература

Березкин Д. Сборная книжка Топозерского раскольниковскаго скита (к истории раскола в Олонецком крае) // Олонецкие епархиальные ведомости. 1898. № 5 (1 сентября). Часть неофициальная. С. 21–26.

Дневные дозорные записи – Дневные дозорные записи о московских раскольниках. Части 3–7. С предисловием А. Титова // ЧОИДР. М., 1892. Кн. 1 (160).

Есипов Г. Раскольниковы дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенскаго приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. Т. 1. СПб., 1861.

Клепиков С. А. Филигранные и штампы на бумаге русского и иностраннаго производства XVII–XX вв. М., 1959.

Маркелов Г. В. Выгорецкий чиновник. Т. 2: Тексты и исследование. СПб., 2008.

Певческие книги – Певческие книги выголексинскаго письма. XVIII – первая половина XIX в. / Сост. Ф. В. Панченко. СПб., 2001 (Описание рукописнаго отдела Библиотеки РАН. Т. 9, вып. 1).

¹ «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут» – Мф. 5, 7.

² Записей о пожертвованиях в рукописи нет. Либо они находились на других, несохранившихся, листах, либо послание так и не было использовано в деле.

Перетц В. Н. Описание собрания рукописей проф. И. А. Шляпкина, принесенного в дар владельцем Саратовскому государственному университету // Археографический ежегодник за 1959 год. М., 1960. С. 361–466.

Пигин А. В. О некоторых книгах из Троицкого Юрьегорского монастыря // Книжные центры Древней Руси: Книжное наследие Соловецкого монастыря. СПб., 2010. С. 321–329.

Платонов В. Г. К истории художественных традиций старообрядчества в Карелии // Православие в Карелии: история и современность. Петрозаводск, 1987. С. 97–101.

Старицын А. Н. Староверческие поселения в окрестностях Диодоро-Юрьегорского монастыря // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2014. № 3 (140), май. С. 18–23.

Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862.

Фролова Г. И. К вопросу о технологии выговского (поморского) медного литья // Русское медное литье. М., 1993. Вып. 2. С. 48–60.

Юхименко 1 – Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. Т. 1. М., 2002.

Юхименко 2 – Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. Т. 2. М., 2002.

Сокращения

БАН – Библиотека Российской академии наук (С.-Петербург).

НАРК – Национальный архив Республики Карелия (Петрозаводск).

РГБ – Российская государственная библиотека (Москва).

ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете.

Ирина Александровна Чернякова

*Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск*

ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В КАРЕЛИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX СТОЛЕТИЙ: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ*

Статья для сборника, посвященного юбилею доктора наук Ирмы Ивановны Муллонен – коллеги по прежней работе в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, глубокоуважаемого соавтора в ряде заявок на выполнение научных проектов, как состояв-

* Исследование выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, № 33.1162.2014/К.

шихся и успешно завершённых [Село Суйсарь: история, быт, культура 1997; Рубцова 2000; Деревня Юккогуба и ее округа 2001], так и оставшихся в силу обстоятельств нереализованными, а также неоцененного единомышленника в организации исследовательской работы студентов [Чернякова, Муллонен, Ляля 2013], является изложением первоначальных наблюдений, которые появились в ходе подготовки выступления, заданного международным семинаром, организованным совместно с профессором Киммо Катаяла в Университете Восточной Финляндии в апреле 2015 г. в тематике выигранного коллективом сотрудников Петрозаводского государственного университета под моим руководством проекта в рамках конкурсной части государственного задания Министерства образования и науки России на 2014–2016 гг.: «Традиционное общество как фактор стабильности в полиэтничном приграничном регионе: Карелия в XVII – начале XX века». При акцентном внимании к локально-ориентированным исследованиям проект предполагает знание социально-этнических характеристик населения губернии на рубеже XIX–XX столетий, в том числе уездных сообществ – по преимуществу сельских, но не исключительно деревенских, так как существовали несколько городов (Петрозаводск, Олонец, Лодейное Поле, Вытегра, Каргополь, Пудож, Повенец).

Историография, которая так или иначе касается статистики соответствующего времени, необозрима. Своей задачей я не ставлю не только ее аналитическую оценку, но и обзор. Не является целью в данный момент и многообещающее доскональное изучение содержащейся в статистических изданиях полного спектра количественной информации. Мое внимание будет сосредоточено на неожиданно обнаруженном казусе, объяснение которому, по-видимому, еще предстоит найти в будущем. Замечу лишь, что обращает внимание явно недостаточное использование богатейшего статистического материала, содержащегося в Первой всеобщей переписи населения. Выглядит, будто объектом непосредственного анализа в общероссийском контексте они являлись лишь в дореволюционной историографии [Котельников 1909]. Даже среди работ классика современной исторической демографии В. М. Кабузана, последовательно изучившего развитие народонаселения в дореволюционной России [Кабузан 1971; 1990; 1992; 2002], нет монографии, в которой бы анализировался собственно этот уникальный источник информации. В тщательно подготовленной на материалах Олонецкой губернии кандидатской диссертации С. С. Смирновой, внесшей существенный вклад в разработку проблемы народонаселения Карелии в период, обозначенный в заголовке данной статьи, обращение к статистике государственного уровня вообще не потребовалось, если не брать в расчет краткую констатацию, не имеющую никакой отсылки: «В губернии преобладало русское население, со-

ставлявшее около 70 %, однако в некоторых уездах (Олонецкий, Петрозаводский) была велика доля карелов, финнов и вепсов. Жителей других национальностей было около 1 %» [Смирнова 2002].

Очевидно, что существующие дореволюционные издания по Карелии со сводной статистической информацией исчерпывающего характера все еще ждут сопоставительного критического анализа специалистов. Обычно обращение к ним выглядит как лапидарное упоминание той или иной количественной характеристики. Историки вообще склонны ограничиваться приведением отдельных цифр и утверждений как своего рода 'отправной точки' в контексте собственных рассуждений.

Типичными примерами обращения к цифровым выкладкам дореволюционных статистиков являются краткие констатации процентной доли крестьян, горожан либо национальных меньшинств – в зависимости от того, чему посвящено то или иное конкретное исследование. Преобладают косвенные ссылки на источники: как правило, они только упоминаются в тексте, а отсылка идет к изданию, содержащему уже обработанную информацию: процентные соотношения, причем без каких-либо дополнительных пояснений или комментариев, даже без упоминания авторства приводимых подсчетов. Позволю себе только два примера. В сборнике материалов и документов с исчерпывающе полной подборкой текстов самого широкого спектра происхождения, раскрывающих процесс этнической мобилизации вепсов, авторы-составители обозначают места основного проживания (Олонецкая и Новгородская губернии) и приводят наиболее ранние, признаваемые достоверными, данные о численности с отсылкой к Первой всеобщей переписи населения 1897 г. – 26,7 тыс. чел., при этом в списке присутствует всего лишь общее название коллективного исследования (Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 332) [Вепсы: модели этнической мобилизации 2007: 11]. Так же поступает М. В. Пулькин в статье о еврейском населении Европейского Севера в конце XIX – начале XX в., еще раз продемонстрировав незаурядное знание старой литературы (Сборник материалов об экономическом положении евреев в России. Издание Еврейского колонизационного общества. СПб., 1904. Т. 2. Табл. 2) [Пулькин 2008: 80]. Может ли быть, что сакраментальная сентенция – «статистический анализ не заменяет анализа исторического» [Миронов 2005: 541] – формирует в современной историографии недооценку потенциальной информативности дореволюционной статистики и даже опасение прямо к ней обращаться?

Вопросом о пределах сопоставимости дошедших до нас количественных оценок демографических и социальных процессов по данным разных временных срезов конца XIX – начала XX в., насколько мне известно, никто в историографии Карелии не задавался. Не является исключением в

этом смысле и убедительное, остающееся самым цитируемым, исследование количественного состава населения Карелии И. П. Покровской, отправной точкой в котором явились детально проанализированные материалы переписи 1897 г. [Покровская 1978]. К нему обращаются практически все историки за приведенными к процентным соотношениям демографическими характеристиками. Цитирование, впрочем, даже в этом случае может носить весьма своеобразный характер: с упоминанием в собственном тексте оригинального источника информации и всего лишь с глухой отсылкой к авторскому исследованию, из которого приводимая информация в адаптированном виде была взята [Pashkov 2009: 21].

Итак, исходим из того, что общепризнанными источниками сведений по этническому и социальному составу населения Карелии на рубеже XIX и XX столетий являются авторитетные издания материалов переписи населения Российской империи 1897 г., подготовленные в ряду аналогичных по другим регионам в виде трех тетрадей, составляющих XXVII том со сведениями по Олонецкой губернии, Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел под редакцией Н. А. Тройницкого [ПВПН-1, ПВПН-2, ПВПН-3]. Не менее многообещающие цифровые выкладки, организованные в сводные таблицы, содержат издания Олонецкого губернского статистического комитета [СНМ-1905] и Олонецкой губернской земской управы [ОГСС-1913].

Сразу отметим, что очевидное несовпадение формуляров перечисленных выше, важнейших с точки зрения количественных оценок демографического состояния Карелии интересующего нас периода времени, статистических материалов, существенно сужает возможности их сопоставительного использования. В то время как в ПВПН-1 находим сводные таблицы с общим количеством населения, с его распределением по полу и возрастным группам – при этом выделены обитатели городов и населенных пунктов с более чем 500 человек обоего пола¹, сведения о грамотности и принадлежности к сословиям; в ПВПН-2 – данные о распределении населения по сословиям и возрастным группам, по родному языку, по вероисповеданию, а также по месту рождения; в ПВПН-3 – сводные данные о семейном положении населения с учетом возрастных групп и родного языка, распределение по занятиям (сельское хозяйство, рыболовство и охота, побочные промыслы), а также сведения о лицах с физическими недостатками; СНМ-1905 в части статистики содержит только итоговые выкладки о числе волостей, обществ, деревень и их обитателей, о распределении поселений по числу домов и жителей, а также о численности городского населения. Причем последние данные в издании не син-

¹ Далее – чел. о. п.

хронны остальным – датированы 1 января 1907 г. Всегда присутствующий интерес исследователя к поиску сопоставимой исторической информации за разные периоды времени как будто обещает удовлетворить ОГСС-1913, так как содержит широкий спектр ценнейших сведений не только хозяйственного плана (о земледельческих и других занятиях, крестьянских бюджетах, кооперативных учреждениях, распределении земли по категориям владельцев, по угодьям, по урожайности, оценки занятых лесом пространств) и некоторые климатические наблюдения, но и демографического порядка (население, в том числе сведения о плотности, движении, грамотности, распределении по территории, полу, возрасту, наряду с занятием). Однако, как будет показано далее, именно к этому источнику возник вопрос, на который пока нет ответа.

Касательно социальной стратификации общеизвестно, что на рубеже XIX и XX столетий абсолютно подавляющее большинство населения Карелии составляли сельские жители. С. Н. Филимончик сообщает, что, по данным 1897 г., в городах проживало всего 7 % населения Олонецкой губернии, и подчеркивает, что «примерно столько же было и в соседних губерниях Европейского Севера (6 % в Вологодской, 9,2 % в Архангельской)» [Филимончик 2000: 70]. Причем, если исключить из учтенного городского населения (25508 чел. о. п.) 1396 чел. так называемых временно пребывающих и еще 12 иностранных подданных и сделать то же относительно общего количества населения (364156 чел. о. п.), для чего вычесть соответственно 20912 и 21 чел., доля горожан составит в числе 343223 чел. о. п. постоянного населения губернии 24100 чел., т. е. те же 7 % [ПВПН-1: табл. I].

Согласно итоговой ведомости СНМ-1905 о числе волостей, обществ, деревень и жителей, спустя почти десять порубежных лет населенность губернии практически не изменилась (составила 367081 чел. о. п., то есть всего на 2925 больше). При этом крестьянское население составляло 360313 чел. о. п. (98,2 %), некрестьянское – 6768 (1,8 %) [СНМ-1905: 294]. Любопытно, что обитатели губернии, отнесенные к последней группе, составляли гораздо меньшее количество, чем официально считавшиеся горожанами. Как явствует из наших подсчетов по другой таблице в том же издании, в которой сведены данные именно по городам, всего в них в самом начале 1907 г. проживало 28099 чел. о. п. При этом практически в одинаковой пропорции были представлены мужчины и женщины: 14022 и 14077 соответственно [СНМ-1905: 296]. Казалось бы, несложные вычисления позволяют утверждать, что за десять лет, прошедших после переписи 1897 г., соотношение изменилось очень мало: в пропорциональном отношении городских жителей стало всего на 0,7 % больше. Однако не следует упускать из виду немаловажное обстоятельство

асинхронности данных, которыми мы объективно располагаем. В то время как сведения по каждому населенному пункту собраны в СНМ-1905 по состоянию на середину 1905 г., обзорные таблицы содержат сведения, собранные к 1 января 1906 г. [СНМ-1905: Предисловие], а данные по городам, как ясно из уточняющей записи в соответствующей таблице, отражают ситуацию на 1 января 1907 г. [СНМ-1905: 296–297].

Тем не менее, полагаясь на мнение просвещенного составителя И. И. Благовещенского, обратившего внимание на то, что губернию отличал «слишком медленный прирост населения... слабое развитие экономической жизни и совершенное отсутствие переселений» [СНМ-1905: Предисловие], полагаем возможным констатировать, что доля горожан была такой, как показывают наши вычисления (7,7 %). Выглядит, что пропорция между сельским и городским населением вообще не изменилась к следующему временному срезу имеющейся массовой информации – на 1913 г. Согласно известному справочнику, по данным местного статистического комитета в самом начале 1913 г. в Олонецкой губернии в городах числилось всего 7,8 %, в то время как в сельской местности (*уездах* в терминологии составителей) – 92,2 % [ОГСС-1913: 22]. Нельзя не обратить внимание, однако, на то, что общее количество горожан возросло в целом на 19,4 %, а по отдельным городам существенно больше: например, численность петрозаводчан с 1907 по 1913 г. увеличилась почти на 27 %, а пудожан – чуть ли не на 38 % (см. табл. 1).

Таблица 1

Городское население в Олонецкой губернии в конце XIX – начале XX в.

Город	Количество жителей о. п.			Увеличение / уменьшение в %	
	1897	1907	1913	1897–1907	1907–1913
Петрозаводск	12522	13809	18879	+9,3	+26,9
Олонец	1246	1816	2095	+31,4	+13,3
Лодейное Поле	1432	1581	1826	+9,4	+13,4
Вьеггра	4502	5179	5616	+13,1	+7,8
Каргополь	3057	3025	2782	–1,1	–8,7
Пудож	1455	1317	2120	–10,5	+37,9
Повенец	1294	1372	1540	+5,7	+10,9
Всего	25508	28099	34858	+9,2	+19,4

Составлено по: ПВПН-1: 5–6; СНМ-1905: 296–297; ОГСС-1913: 343.

Распределение поселений по уездам в Олонецкой губернии также представляется немаловажной характеристикой для социальной стратификации в региональном ракурсе. Однако, опираясь на данные дореволюционных статистиков, приходится иметь в виду, что опубликованные подсчеты базируются на близких, но не идентичных современным мерам длины и площади (в одной кв. версте следует считать 1,138 кв. км).

На 100 кв. верст, соответствующих примерно 114 кв. км, приходилось не более двух поселений на большей территории губернии: в Повенецком и Пудожском уездах; от четырех до пяти – в Петрозаводском и Каргопольском; и семь-восемь – в Олонецком, Лодейнопольском и Вытегорском. По количеству обитаемых дворов в расчете на ту же кв. версту более или менее многолюдно было лишь в южной части губернии – в окрестностях Лодейного Поля (101 домохозяйство). Заметно меньше, но все-таки сопоставимое количество домохозяйств в среднем на кв. версту статистики обнаружили в Петрозаводском (92), Олонецком (91), Вытегорском (84) и Каргопольском (75) уездах. Всего 33 крестьянских хозяйства на площади в 114 кв. км в среднем было в Пудожском и только 14 – в Повенецком уезде, являвшемся обширным российско-финляндским приграничьем.

Говоря о поселениях, отметим, что СНМ-1905 содержит множество полезной информации о каждом населенном пункте в Олонецкой губернии. Все они перечислены согласно административной принадлежности по уездам, в последовательности по ходу движения переписной комиссии, неукоснительно фиксировавшей расположение на берегу озера, реки или у дороги. Составители показали расстояние каждой деревни от главного уездного города, от волостного правления, от ближайшего соседнего селения. Имеется информация о школах, почтовых станциях и судовых причалах. Главное достоинство данного издания в рамках обозначенной в заголовке темы состоит в том, что исследователь имеет возможность выяснить социальную стратификацию обитателей любого из интересующих регионов, вплоть до отдельного населенного пункта. Обитатели поселений разделены на две группы по основному занятию: крестьяне и некрестьяне; внутри каждой показано, сколько семей населяли стоявшие в них дома и приведены данные по гендерной принадлежности. Немаловажную информацию о благосостоянии населения сохранили составители СНМ-1905, зафиксировав количество скота, тоже по каждому поселению.

Строго говоря, сведения эти не выглядят сопоставимыми с данными о занятиях населения, дошедшими до наших дней в составе таблиц ОГСС-1913. Однако при выше обозначенной замедленности развития событий, а также имея в виду крайне близкую долю городского населения, позволим себе увидеть своего рода «расшифровку» в них того социального состояния, которое в 1905 г. попало в разряд «некрестьяне». Составители справочника в 1913 г., выделив шесть сфер занятости, показали на графике, что кроме земледелия (84 %) обитатели губернии трудились профессионально в добывающей и обрабатывающей промышленности (5 %), на службе в учреждениях (5 %), торговле (3 %), обслуживании путей сообщения (2 %). Оставшуюся долю составили не определенные более точно «прочие занятия» (1 %) [ОГСС-1913: Приложения]. Казус заключается в

том, что сведения эти даны не по состоянию на 1913 г., как ожидается, а, по-видимому, отражают ситуацию двадцатилетней давности – то, что было установлено в ходе переписи 1897 г. Информативным знаком для такого именно прочтения статистических данных является единственная абсолютная цифра, присутствующая в центральной части диаграммы как своего рода «подсказка» – «363156 (100 %)» [ОГСС-1913: Приложения]. Цифра эта не совпадает с официально известным общим количеством населения в 1897 г. – 364156 тыс. чел. о. п. [ПВПН-1: 5–6], но близка ей и, честно говоря, никаких других объяснений тому, что стоит за обсуждаемой диаграммой (с допущением возможной опечатки), пока не возникает, учитывая общую численность населения в Олонецкой губернии на январь 1913 г. – 448327 чел. о. п. [ОГСС-1913: 22].

При этом в условных схемах-картах с характеристиками расселения, также являющихся частью приложений, присутствует абсолютное значение соответствующего временному срезу 1913 г. количества населения – «448,3 т[ысяч] ж[ителей]»; график, показывающий естественное движение населения, тоже составленный исключительно в процентных соотношениях, показывает ситуацию в динамике: с 1897 по 1911 (!) г.; рисунок «пирамида», отражающая распределение населения по полу и возрасту, вообще не содержит каких-либо абсолютных цифр, что позволило бы позиционировать представленные сведения во времени [ОГСС-1913: Приложения]. Отсутствие указания года, как показывает наш анализ, не является *a priori* знаком того, что все статистические выборки, в целом объявленные на 1913 г., соответствуют данному временному срезу по умолчанию.

Еще менее однозначными, по сравнению с выше обозначенными возможностями использования предреволюционной статистики для выяснения социальной стратификации населения, пусть и в самом первом приближении (горожане – сельские жители; крестьяне – некрестьяне; распределение по занятию в профессиональной сфере), представляются сведения, позволяющие суждения о полиэтничности.

И. П. Покровская подчеркивала, что в ходе проведения Первой всеобщей переписи населения 1897 г. вообще не ставился вопрос о национальности. Единственным признаком, дающим основания для наблюдений в этой части демографических оценок, может служить признание того или иного языка родным теми, кто был опрошен составителями в ходе ее проведения. По мнению автора, эти сведения не дают точной картины национального состава населения, всего лишь позволяя приблизиться к представлению о нем [Покровская 1978: 8]. Важной призна на также информация о месте рождения, позволяющая установить долю пришлого населения среди обитателей губернии, даже отследить деловые и семейные связи с другими регионами империи.

Распределение населения Олонецкой губернии по родному языку в соответствии с ПВПН, по данным, приведенным И. П. Покровской, существенно разнилось по уездам. Автором установлено, что в целом, согласно данным ПВПН в четырех уездах Олонецкой и части Архангельской губернии, 58,9 % населения считали родным языком русский, 36,5 % – карельский, 3,4 % – вепсский, 0,9 % – финский и 0,3 % – другие языки. Отмечено, что в Кемском уезде расклад был несколько иным: 54,4 % населения считали главным для себя языком карельский и только 45 % – русский; отмечено, что особенно сложным этническим составом отличался Петрозаводский уезд [Покровская 1978: 19]. Однако остается неясным, на чем основано данное заключение. Цифры примерно одинаковы: всего 0,6 % опрошенных выбрали другой язык в качестве родного. К сожалению, никакой дополнительной информации о составе группы «другие языки» в исследовании не приводится. И так это и ведется в историографии: этнические характеристики населения губернии в предреволюционное время ограничиваются перечислением трех народов (русские, карелы, вепсы), иногда присутствует упоминание четвертого – финнов. Представители других народностей в лучшем случае фигурируют как «прочие». Повидимому, эта традиция ведет начало еще с предреволюционного подхода к статистическим выборкам.

Так, «распределение населения по наречию» – важная для целей проекта, в котором исследуется традиционное общество в полиэтническом ракурсе, статистическая выборка в ОГСС-1913 тоже присутствует исключительно в процентных соотношениях и тоже, как показывает сопоставление, раскрывает ситуацию не современную составлению справочника, а двадцатилетней давности. Проведенное сравнение наших вычислений по материалам ПВПН-2 и цифровых выкладок в ОГСС-1913 убеждает в этом. Приведем цифры только по Петрозаводскому уезду. Родным языком признали русский 67,1 % населения в 1897 г. и столько же в 1913; карельский – 22,1 % и вепсский (в ОГСС обозначено «чудь») – 9,1 % соответственно. Другие языки в долевого отношении тоже представлены в одной и той же пропорции по сведениям накануне наступления следующего столетия (в 1897 г.) и накануне Октябрьской революции, то есть спустя 20 лет, в 1913 г.

Во многих смыслах традиционно авторитетными считаются показатели, достигнутые Российской империей именно к 1913 г. Жаль, что это никак не относится к карельской предреволюционной статистике. Составители ОГСС как раз ограничились весьма лапидарными графическими констатациями, которые, надо признать, восхищают современностью подходов и изобретательностью в представлении статистической

информации. К сожалению, в издании недостает сопровождения рисунков и графиков необходимыми легендами, поэтому показанная в пропорциональных соотношениях информация, взятая без должного критического анализа, может ввести в заблуждение и привести к неадекватным выводам. Не потому ли в современной историографии не находим широкого использования богатейшей статистики рубежа XIX–XX столетий? Перспективным представляется не уход от проблемы, а именно так следует расценивать краткие упоминания общеизвестных сведений из ПВПН, т. е. сведений из конца XIX в., вместо обращения к данным 1913 г., и сразу же переход к оценкам изучаемых явлений и процессов по документам советского времени, а ее критический анализ с использованием первичных архивных данных многочисленных управленческих учреждений Олонецкой губернии.

Источники

ОГСС-1913 – Олонецкая губерния: Статистический справочник / Статистическое бюро Олонецкой губернской земской управы. Петрозаводск, 1913. 347 с.

ПВПН-1 – Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 27: Олонецкая губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел; под ред. Н. А. Тройницкого. Б. м. Тетрадь 1. 1899. 35 с.

ПВПН-2 – Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 27: Олонецкая губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел; под ред. Н. А. Тройницкого. Б. м. Тетрадь 2. 1900. 134 с.

ПВПН-3 – Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 27: Олонецкая губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел; под ред. Н. А. Тройницкого. Б. м. Тетрадь 3. 1904. 151 с.

СНМ-1905 – Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год / Олонецкий губернский статистический комитет; сост. И. И. Благовещенский. Петрозаводск, 1907. 326 с.

Литература

Вепсы: модели этнической мобилизации: Сб. материалов и документов / Е. И. Клементьев (рук.), А. А. Кожанов, З. И. Строгальщикова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 336 с.

Деревня Юккогуба и ее округа / И. Е. Гришина [и др.]; редкол.: В. П. Орфинский (отв. ред.) [и др.]. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 427 с.

Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М.: Наука, 1971. 190 с.

Кабузан В. М. Народы России в XVIII в.: численность и этнический состав. М.: Наука, 1990. 256 с.

Кабузан В. М. Народы России в первой половине XIX в.: численность и этнический состав. М.: Наука, 1992. 216 с.

Кабузан В. М. Крепостное население России в XVIII–XIX в. (численность, размещение, этнический состав). СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2002. 272 с.

Котельников А. Н. История производства и разработки Всеобщей переписи населения 28 января 1897 г. СПб.: Новая жизнь, 1909. 123 с.

Миронов Б. Н. Можно ли увидеть всю Россию из Малых Пупков? // Крут идей: Алгоритмы и технологии исторической информатики / Труды IX конференции ассоциации «История и компьютер». Москва; Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. С. 528–543.

Покровская И. Н. Население Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1978. 192 с.

Пушкин М. В. Еврейское население Европейского Севера: проблемы социального конструирования (конец XIX – начало XX в. // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 279–298.

Рубцова З. В. [Рец.] Село Суйсарь: история, быт, культура // Бюллетень / Научное и культурно-просветительское общество «Энциклопедия российских деревень». М., 2000. № 1. С. 91–95. См. аналог: URL: http://illmik.petrstu.ru/Alkonost/pdf_s/RecSuisar.pdf

Село Суйсарь: история, быт, культура / И. Е. Гришина, Т. В. Краснополянская, К. К. Логинов [и др.] / Под ред. Т. В. Краснополянской, В. П. Орфинского. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. 295 с.

Смирнова С. С. Демографические процессы в Олонецкой губернии в XIX – начале XX вв. Опыт компьютерного анализа метрических книг / Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Санкт-Петербург, 2002. 26 с. См. аналог: URL: <http://www.dissercat.com/content/demograficheskie-protsessy-v-olonetskoi-gubernii-v-xix-nachale-xx-vv-opyt-kompyuternogo-anal>

Филимончик С. Н. Демографическая характеристика городского населения Карелии в начале индустриализации (по материалам Петрозаводска) // Компьютер и историческая демография. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2000. С. 69–94.

Чернякова И. А., Муллонен И. И., Ляля Е. В. Студенческая научно-исследовательская лаборатория ИсТоК (Историческая топонимика Карелии): концепция и образовательный потенциал // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации: Сб. научных статей VI региональной научно-методической конференции (22–23 ноября 2012 г.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. С. 191–197.

Pashkov A. M. Studies of local lore as a form of ethnic consciousness: The Karelians of Olonets Province in the Nineteenth and Twentieth centuries // Journal of ethnology and folkloristics / Estonian Literary Museum, Estonian National Museum, University of Tartu. 2009. V. 3 (1). P. 21–34.

**ПРАЗДНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.:
ГУБЕРНСКИЙ ПЕТРОЗАВОДСК ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ***

Праздники и обряды составляют неотъемлемую часть общественного быта и духовной культуры любого традиционного общества. В отличие от повседневности с ее рутинной и случайностью, праздник как один из элементов бытия человека имеет четкую целостную структуру, в центре которой всегда находится событие. Праздник становится одним из тех пространств, где линейное и циклическое время переплетаются. Общество поддерживает у людей ощущение солидарности и коллективной идентичности при помощи периодически повторяющихся ритуалов, которые воссоздают совместное сакральное прошлое. В центре того, что данное сообщество считает сакральным, располагается коллективно воображаемое прошлое, и благодаря циклически воспроизводимым ритуалам группе «удается поддерживать ощущение самотождественности на протяжении длительного времени», несмотря на происходящие с ней более или менее радикальные перемены [Васильев 2009: 57].

Вслед за специалистом по изучению праздничной культуры Петербурга Е. Э. Келлер представляется возможным применительно к Петрозаводску конца XIX – начала XX в., губернскому центру Олонецкого края, выявить некоторые из «мест памяти», разграничив понятия «народный праздник» и «народное гулянье». Первое теснейшим образом связано с деревенской аграрной культурой и фольклорным типом мышления, а сам праздник строится на строгой повторяемости локальной традиции и включенности его участников в обрядовую сущность календарного праздника. Городская же культура «превратила народный праздник в народное гулянье, где поменялся смысл главных элементов: вместо обряда – игра, вместо локальной традиции – массовая усредненная культура, а фольклорное осмысление праздника заменяется потребностью всеобщего веселья, праздничной объединенности и переключения из будней в праздники» [Келлер 2001: 65].

Будучи по своей сути временем свободы от заботы и тревоги, праздник обладает свойством «пустоты», незанятости, которое не только указывает на прекращение профанного течения времени, но и устанавливает

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Узловые проблемы истории Карелии. Научные очерки и статьи», № 0225-2014-0012.

строгий запрет на заполнение священного места каким-либо иным содержанием. Разумеется, даже образованные горожане того времени были далеки от подобного толкования феномена праздника, и зачастую происходившее в г. Петрозаводске, к примеру, на Святочной неделе, воспринималось ими как «необузданный разгул» и вызывало крайнее недоумение. Об этом свидетельствует публикация в одном из январских номеров «Олонецких губернских ведомостей» за 1865 г. Автор заметки возмущен тем, что «едва ли где из губернских городов России обычай маскирования распространен в такой степени, как в Петрозаводске», где «целые сотни наряженных разъезжают каждую ночь и танцуют до упаду на частных вечерах». «При совершенном отсутствии у нас сценических развлечений почему бы молодежи не заняться на время Святки представлением чего-либо более разумного, чем простое перехаживание из дома в дом в нарядах, весьма далеких от действительной роли, которую они играют, – продолжает автор публикации, – не странно ли слышать, например, из-под тоги испанца или из-под турецкой чалмы говор простого русского мужика, который так идет к красной рубахе с косым воротником или к серому зипуну» [Петрозаводск 2001: 359].

Приведенный текст примечателен упоминанием тех этнических образов, которые в представлениях горожан особенно явно олицетворяли «других» и этим особенно подходили на роль персонажей ряжения в архаичном ритуале, изначально призванном способствовать плодородию, урожайности, изобилию и достатку. Традиционным персонажем святочных проказ ряженных был козел, об этом рассказывал в 1937 г. фольклористу А. Соймонову бывший рабочий Александровского завода И. А. Вепрев (1882 г. р.), хотя запись его воспоминаний в соответствии с духом времени была озаглавлена «Под Новый год»: «Козлом одевались, чучело козла на палке, колокольчик повешен, и позади ведет кто-нибудь чучело. Говорят: козелку выпить хочется, то козлу на сено найдут, на сено» [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 61, д. 277, л. 67].

Как отметила петрозаводский историк Л. И. Капуста, праздничная культура Петрозаводска на рубеже XIX–XX вв. имела ярко выраженную локальную специфику: присутствие в губернском центре военного завода и горного чиновничества оказывало влияние на все стороны жизни Петрозаводска, придавая и праздникам «военный» оттенок [Капуста 1993: 134]. В проведении цеховых праздников на Александровском заводе осуществлялась основная цель одной из специфических фаз коллективной жизни рабочих. В специально выделенное для этого время происходила трансляция ценностных доминант сообщества мастеровых людей, подтверждались высшие для них ценности и идеалы, призванные выразить отношение к историческим событиям, к предшествующему опыту и к будущему.

По свидетельству очевидца, в каждом цехе завода была своя почитаемая икона, но всеми рабочими отмечались праздники Покрова Богородицы, Николин день и Ильин день. «В этот праздник привозили священника, а то и двух и трех». Служили молебен, на котором присутствовали мастера и инженеры. «После молебна рабочих завода и мастеров поздравляли с праздником», конкретно же поздравление выражалось в раздаче денег на водку. «После этого попойка. Кто плохо стоит, плохо молится – на плохом счету», «в столярном цеху всегда лампада теплилась», – вспоминал информант в 1930-е гг. о подробностях «дореволюционного» прошлого [НА КарНЦ РАН, ф. 1, оп. 1, кол. 61, д. 342, л. 1].

Яркие свидетельства о праздничной культуре петрозаводчан встречаются в воспоминаниях Ивана Михайловича Никитина (1881–1965), который в конце XIX в. получил образование в петрозаводском городском училище и более двух десятков лет прослужил в Олонецкой духовной консистории. Автор рассказал о своих предках, работавших на Суоярвском чугуноплавильном заводе (завод действовал в системе Олонецких металлургических предприятий). В голодные годы выходцам из маленькой приграничной деревни в Великом княжестве Финляндском удалось переехать в Петрозаводск и устроиться на работу на Александровский снарядоделательный завод [Дубровская 2012: 321–330]. Неопубликованные воспоминания, написанные в 1960-е гг. для родственников, во многом послужили основой для генеалогического исследования его внука [Никитин: 20–35].

Разграничение «своего» и «чужого» на субъективном уровне конкретного участника городских праздников начала XX в. может быть проиллюстрировано фрагментами воспоминаний И. М. Никитина, относящимися к периоду службы в духовной консистории, биографическими материалами других петрозаводских старожилов из архивных коллекций, а также опубликованными документальными свидетельствами. Став «классным чином» консистории, автор воспоминаний получил возможность ознакомиться с тем, как проводили свободное время и праздничные дни люди, принадлежавшие к «чужим» социальным группам – чиновники, приказчики и др.

И. М. Никитин повествует о различных категориях населения старого Петрозаводска – предпринимателях, купечестве, ремесленниках, вспоминает о представителях городской интеллигенции – учителях начальных школ и Александровской мужской гимназии, перечисляет лиц из круга чиновников, многие из которых были сосланы в Олонецкий край в административном порядке за должностные преступления и оставлены на жительство в губернском центре. Навыки последних часто оказывались востребованы губернскими и уездными учреждениями, испытывавшими острую нехватку в квалифицированных специалистах-управленцах.

На страницах его «Воспоминаний о старом Петрозаводске», подготовленных в 1958 г. для Карельского государственного краеведческого музея (НМРК), чиновники, которые работали в губернском городе, как правило, заслуживали положительной оценки лишь в том случае, если были политическими ссыльными, однако встречаются и исключения. Большинство из ссыльных, оставленных на жительство в Петрозаводске, оказались здесь по приговору за должностные преступления и «неблаговидные поступки в административном порядке». Среди них упоминается высланный из Москвы Александр Николаевич Занковский, который был известен своими инициативами по организации досуга горожан. Зимой он устраивал катки, на Масленицу оборудовал традиционную горку для катания на салазках, принимал участие в финансировании обустройства Левашовского бульвара на ул. Широкой. «В Рождественские Святки дверь его квартиры была всегда открыта. Принимал маскированных. Танцевали в зале, а в столовой было поставлено угощение» [НА НМРК, д. 771, л. 13].

Как пишет И. М. Никитин, по эскизам самого Занковского, устроившего в 1899 г. слесарную мастерскую и пригласившего на работу слесаря П. Морозова, изготавливались большие фонари из толстого кровельного железа с резервуарами для керосина. На Масляной неделе перед окнами дома Маликовых (совр. пр. А. Невского), где квартировал чиновник, устраивалась традиционная горка. «Вечерами эти фонари зажигались, освещая горку», что привлекало со всех концов города молодежь, желавшую кататься на саночках. «На месте теперешнего парка Онежского завода, – вспоминает мемуарист, – Занковский устроил каток, соорудив железный резервуар возле здания почты на Марииинской ул. и подведя к катку трубы». Правда, «каток просуществовал только один сезон» [НА НМРК, д. 771, л. 13].

И. М. Никитин перечисляет и традиционные для горожан развлечения праздничного цикла. На Святки, с 26 декабря по 6 января (ст. ст.), группы девушек, договорившись за плату в отдельных домах в разных частях города, «собирались, как это называлось, “сидеть”, а ребята, группой в 10–15 чел., нанимали на все Святки лошадь с извозчиком и ежедневно с 8 час. вечера с музыкантом, в масках и костюмах, ездили туда, где “сидят”. Потанцевали – и дальше по маршруту, не засиживаясь». По пути заезжали на вечера, устраиваемые индивидуально, если было получено приглашение [НА НМРК, д. 771, л. 45].

Описанный К. К. Логиновым на материале Водлозерья первой половины XX в. святочный обычай прихода в дом ряженных-«хухляков» предполагал присутствие среди них «цыгана с медведем» или «беременной цыганки» с корзиной в руке. В корзине «цыганки», которая оставалась позади других ряженных, нередко были мелкие угли и зола, сыпавшиеся на пол сквозь отверстия между лучинами корзины [Логинов 2010: 166–167]. Бытование

этого святочного обычая в предвоенном Пудуже подтверждается свидетельствами о ритуальных проказах ряженных, относящимися к концу 1930-х гг. После ухода ряженных хозяевам пришлось отмывать некрашеный пол от незаметно рассеянных по полу углей, раздавленных ногами непрошенных гостей [Архив автора]. Однако отказывать ряженным в одаривании их выпечкой было не принято. Стремление осознать ритм жизни, связанный с явлениями природного цикла, с жизнедеятельностью человека, мифическим или историческим временем, слиться с ним, оказать на него влияние, предотвратить его возможные нарушения побуждали людей строго соблюдать архаические ритуалы, сложившиеся веками.

Исследовательница феномена праздничной культуры С. Ю. Мальшева отметила, что старорежимные Рождество и Пасха, главные и любимейшие праздники в дореволюционном официальном календаре, и вытеснившие их затем близкие по времени одни из главных советских праздников Новый год и 1 Мая образуют любопытные календарные «пары». Именно эти «пары» в итоге «сплавили праздничные традиции двух исторических эпох и были унаследованы эпохой современной» [Мальшева 2005: 27].

Те же временные ориентиры присутствуют и в воспоминаниях И. М. Никитина, свидетельствуя о победе, одержанной «новым» праздничным календарем в противостояниях «праздничной войны» раннесоветского периода. В соответствии с доминантой «нового» праздничного календаря И. М. Никитин повествует о том, как «под Новый год две-три подружки собирались вместе у одной из них, «варили пельмени, пряжили пироги», а двое-трое из ребят приходили в масках и приносили петуха для гадания. По его воспоминаниям, так проводила святочные дни «молодежь из заводских рабочих и мелких служащих, выходцы из рабочих семей» [НА НМРК, д. 771, л. 45].

О своем участии в традиционных развлечениях праздничного цикла И. М. Никитин рассказывает следующее: «Взят был отдельный возница, и в течение всех Святков каждый вечер собирались 10–12 человек замаскировавшихся и ездили по всему городу по устраивавшимся вечерам». Примечательно его сетование по поводу того, что долгое время, вплоть до следующих гуляний на Масленицу, на этих вечерах никак не удавалось встретить девушку, которая бы его заинтересовала¹. Такого рода событийные доминанты индивидуального жизненного цикла мемуариста вплетаются в основу сюжеттики повествовательной истории семьи петрозаводчан Никитиных. В праздничной обрядности горожан, традиционной

¹ Приношу благодарность М. В. Никитину, выпускнице филологического факультета КГПА Е. П. Михалевой, правнучке мемуариста, и д. и. н. И. А. Разумовой за предоставленную возможность ознакомиться с рукописью воспоминаний.

и для деревенских рождественских праздников, связанных с Новолетием, «магия первого дня», которая лежала в основе молодежных обрядов, была нацелена на выбор брачного партнера в преддверии массового устройства свадеб [Разумова 2001: 244–245; Винокурова 2010: 15].

Трактуя праздник как «оторванность» от привычных условий повседневности, как «вино неожиданной свободы», выдающийся религиозный философ о. Павел Флоренский обнаруживает «качественно новое священное время», которое напоминает о забытом младенчестве (весь мир как праздник), словно воспоминание об утраченном рае. Сущность праздника определяется его временностью, а глубинный смысл составляет образ будущего, в феномене праздника заложены первоначальные отношения бытия и времени; праздничному времени, олицетворяющему модель мира, предназначено быть антитезой вечности – посмертному бытию верующего человека [Давыдова 2009: 158].

Природа праздника, таким образом, связана с религиозным культом и важнейшими датами в истории народа и государства, с трудовым правом и организацией производства, предполагающей наличие свободного, праздничного времени, времени отдыха, с народными обрядами, торжествами и демонстрациями, с традициями социальных движений. По справедливому наблюдению культуролога В. В. Давыдовой, «праздник противопоставлен времени будней, это – некий протест против всего рутинного, старого и надоевшего. Идея романтизма с ее радостью, весельем, играми, пиршеством, потреблением и растратами характерна для праздничной ситуации как способ преодоления обыденности» [Давыдова 2009: 158–159].

Считалось, что балаган – центр праздничной площади – это лицо гулянья. В российской столице репертуар балаганных представлений включал сказки, комедии, самодеятельные актеры показывали разные «чудеса», позже – пьесы «из русской жизни» с небольшими диалогами [Келлер 2001: 71]. В Петрозаводске «арлекинада» упомянутых Никитиным трехдневных «царских праздников» запомнилась горожанам неуклюжими импровизациями «самородка-стихоплета» Мазнева. В соответствии с традицией «ряжения», переворачивавшей привычный мир с ног на голову, тот был одет в пестрядинную рубаху и такие же штаны, с париком из кудели на голове и двумя грошовыми кренделями на глазах вместо очков [НА НМРК, д. 771, л.44]. Автор воспоминаний сохранил и примеры фольклорных текстов, которые звучали с помоста из уст импровизатора, «подогреваемого хмельным»: «Как живу я в Петрозаводске зимой – где метла греет да мертвых бреют, а летом (указывал на заводской мостик в гору к угольному забору (в сторону ул. Угольной, совр. Калинина. – Е. Д.) – через речку перейдешь, меня совсем не найдешь». И. М. Никитин сетует на то, сколь неразвитой была публика, награждавшая исполнителя аплодис-

ментами, и приводит примеры таких импровизаций. «Из толпы слышались возгласы: «Вот умственный!»» в знак одобрения балагура, который рассказывал, «что только взбредет ему в голову, всякую чушь»:

«Вот у меня жена хозяйка, так хозяйка:

пельмень ел целый день,

а котлету – так ее ел целое лето.

В приданое принесла медной посуды:

крест да пуговицу» [НА НМРК, д. 771, л. 44].

В тексте воспоминаний И. М. Никитина прослеживается еще одно отличительное свойство праздника как «особого» времени, которое лежит по другую сторону мира труда и порядка с его законами и правилами. Это избыточность и изобилие. В рамках праздничного пространства совершается как ритуальное разграничение реального и сакрального миров, света и тьмы, добра и зла, так и соединение, установление связи между верхом и низом. Через ритуал праздник выполняет две функции: социальную и психологическую, служит средством интеграции и поддержания человеческих коллективов, а также снимает психологическое напряжение и играет важную роль в процессе социализации личности.

По описаниям мемуариста чувствуется, что невзыскательная городская публика, которая наверняка в значительной своей части состояла из «своих» «ребят заводских рабочих» (детей мастеровых), уже становилась «чужой» молодому чиновнику, далекому от восхищения проявлениями «смеховой культуры» горожан в дни государственного праздника [Дубровская 2011: 41–43]. «Другими» по отношению к окружению Ивана Никитина оказывались и сверстники, служившие у петрозовских купцов приказчиками. У приказчиков «было в моде» катание в саночках на Масленной неделе по Мариинской и Александровской улицам «на общих тройках или парах лошадей». Верхом щегольства состоятельной городской молодежи становилось катание парочками на санках без кучера, где кавалер сам правил лошадьё [НА НМРК, д. 771, л. 44]. Отзвуки такого праздничного веселья слышны в петрозовском тексте, относящемся к детскому фольклору 1930-х гг.:

«Запрягу я кошку в дрожки,

А собаку в тарантас,

Прокачу я нашу Мусю

По Моринке (Мариинке. – Е. Д.) триста раз».

[НА КарНЦ РАН, личный фонд М. Н. Власовой].

В начале XX в. «сакральное пространство» центра губернского города становилось той сценой, на которой издавна разворачивалось действие праздничного ритуала. Ежегодно повторяющийся ритм календарных торжеств создавался установившимся сценарием его проведения – от торжественного выезда представителей власти на главные улицы Петрозавод-

ска до массового катания горожан по тем же улицам во время святочных или масленичных гуляний. Подобный ритуал, хотя и в более узких границах квартала исторической застройки, воспроизводится и во время современных реконструкций городских праздников столетней давности. Благодаря счастливому начинанию музея «Кижи», гулянья на улицах старого Петрозаводска стали одними из самых ожидаемых событий праздничной программы Дня города, который ежегодно проводится в конце июня.

Праздничные балаганы издавна были едва ли не главной приметой народных гуляний. Балаганы с неизменным Петрушкой в праздник 1 Мая – своеобразный день встречи лета – устанавливались в Петрозаводске недалеко от часовни Иоанна Предтечи на Петербургском тракте. К полудню здесь собиралось многолюдное гулянье, играл оркестр, при хорошей погоде гулянье, в котором участвовали представители всех сословий, продолжалось до поздней ночи [Капуста 1993: 134]. По словам И. М. Никитина, «в день 1 мая – «лето встречи» – и стар и мал считал своим долгом съездить или сходить до часовни Иоанна Крестителя». Сюда выезжали на целый день продавцы сладостей, «и целый день большим потоком шел народ, приветствуя каждого пожеланием теплого лета, угощая конфеткой или пряником» [НА НМРК, д. 771, л. 47].

Как показали исследования В. В. Давыдовой, коллективность относится к основополагающим элементам структуры любого праздника. Праздничная «карусель» обещает «насыщенное общение и несет душевное удовлетворение», тогда как всякое обособление, уединение разрушает праздничную стихию, и в ходе массового праздника люди обретают возможность разделить с другими сильные всплески эмоций [Давыдова 2009: 161].

Источники, позволяющие судить о праздничной культуре Петрозаводска конца XIX – начала XX в., свидетельствуют о том, что во время праздников горожане переполнялись избыточной энергией, которая искала выхода и жаждала выплеснуться. «Сакральное» праздничное время становилось уникальным моментом получения избытка сил и энергии, а также возможности избавиться от накопленного излишка. Жители города стремились освободиться от себя, от своего прошлого и будущего, чтобы остаться только «здесь и сейчас».

Литература и источники

Васильев А. Г. Мемориализация и забвение как механизмы производства культурного единства и разнообразия // Фундаментальные проблемы культурологии. Т. VI. М.; СПб., 2009. С. 56–68.

Винокурова И. Ю. Праздничная система крестьянского населения Олонецкой губернии (конец XIX – начало XX вв.) // Праздничные традиции и новации народов Карелии и сопредельных территорий: исследования, источники, историография. Петрозаводск, 2010. С. 9–37.

Давыдова В. В. Онтология праздника // Фундаментальные проблемы культурологии. Т. VI. М., СПб., 2009. С. 157–163.

Дубровская Е. Ю. Праздничная культура и досуг жителей Петрозаводска в начале XX в. по воспоминаниям И. М. Никитина: «свое» и «чужое» // Рябининские чтения-2011. Матер. VI конф. по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2011. С. 41–43.

Дубровская Е. Ю. Представления жителей Восточной Карелии о времени (конец XIX – начало XX в.) // Грани сотрудничества: Россия и Северная Европа. Петрозаводск, 2012. С. 321–330.

Капуста Л. И. Праздники старого Петрозаводска // Север. 1993. № 6. С. 132–135.

Келлер Е. Э. Праздничная культура Петербурга. Очерки истории. СПб., 2001.

Логинов К. К. Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты. М., 2010.

Мальшева С. Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917–1927). Казань, 2005.

НА КарНЦ РАН – Научный архив Карельского научного центра РАН.

НА НМРК – Научный архив Национального музея Республики Карелия.

Никитин М. В. Наша родословная в истории Петрозаводска. Б/м., б/г. 35 с.

Петрозаводск. 300 лет истории. Кн. 2. 1803–1903. Петрозаводск, 2001.

Разумова И. А. Потайное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М., 2001.

Людмила Ивановна Вавулинская

*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

ФИННОЯЗЫЧНАЯ ШКОЛА В КАРЕЛИИ В 1944 – КОНЦЕ 1950-х гг.*

Выдвинутые в числе важнейших на современном этапе задачи модернизации образования и его соответствия потребностям времени определяют особую актуальность изучения проблем общеобразовательной школы, наименее исследованными среди которых являются вопросы преподавания родных языков.

В Карелии национальная школа, в которой обучались дети карелов, вепсов и финнов, исторически, с 1920-х гг., сложилась как финноязычная. Она существовала с перерывами в 1920–1930-е гг. и с 1940-х до середины 1950-х гг. Затем обучение на финском языке в школах республики было прекращено. И только с середины 1960-х гг. возобновилось преподавание

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Узловые проблемы истории Карелии», № 0225-2014-0012.

финского языка как предмета в школах Карелии. Принятый в марте 2004 г. Закон «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия» предусматривает проведение комплекса мер по сохранению, изучению, развитию и использованию языков, в том числе организацию системы обучения в образовательных учреждениях республики [Закон 2004]. В связи с этим особый научный интерес представляет обобщение как положительного, так и негативного опыта, накопленного финноязычной школой Карелии в первые послевоенные десятилетия.

Перед Великой Отечественной войной в Карелии работало 206 нерусских (так называемых карело-финских) школ, в том числе 150 начальных, 43 семилетних и 13 средних. В них насчитывалось более 15 тыс. учащихся. В послевоенный период, исходя из политических соображений, в Карело-Финской ССР было вновь введено обязательное обучение детей карелов и вепсов на финском языке. В 1945/46 учебном году в 11 районах республики, где проживали финны и карелы, действовали 118 нерусских школ (97 начальных и 21 семилетняя), в которых обучались 5946 учеников [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 7, л. 1; д. 205^а, л. 60–61]. Основная часть школ с преподаванием на финском языке находилась в сельской местности. Школы оказались в очень тяжелом положении: не хватало оборудования, учебников, наглядных пособий. Так, в Пряжинском районе на 25 четвертых классов имелось только 14 учебников по истории [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 5/39, л. 50]. Многие дети в первые послевоенные годы не могли посещать школу по различным причинам – отсутствие обуви и одежды, помощь родителям по дому, вынужденная работа на предприятии, отдаленность школы, болезнь. Из-за болезни в начале 1946 г. в отдельных школах уроки посещали лишь 20–25 % учащихся [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 5/39, л. 42]. Многие дети были истощены. По решению местных властей в районах республики открылись специальные детские столовые, для детей со слабым здоровьем выделялись дополнительные пайки: хлеб, зерно, картофель, овощи, рыба и другие продукты. В некоторых школах организовали сбор вещей, и сотни детей получили подарки. Население Олонецкого района помогло школам в ремонте зданий, заготовке топлива. Эта инициатива была подхвачена в других районах Карелии [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 1/7, л. 4; д. 5/39, л. 14].

Особенно остро стояли проблемы с обеспечением школ квалифицированными преподавателями. В 1945/46 г. только 2/3 учителей начальных классов карело-финских школ имели среднее педагогическое образование, остальные окончили 7–10 классов и педагогические курсы [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 7, л. 50]. Подготовка учителей для начальных классов велась на отделении Петрозаводского педагогического училища, учителя 5–7-х классов по финскому языку и литературному чтению готовились на отделении учительского института, открывшемся в 1949/50 г. 1 сентября 1952 г. начались занятия в пе-

дагогическом институте, созданном на базе учительского института. 68 человек были приняты на организованные при институте национальные отделения – историческое, биологическое, географическое, математическое, финского языка и литературы. Тем самым было положено начало решению проблемы подготовки педагогических кадров высшей квалификации для нерусских школ республики, которые до этого времени в основном поступали из вузов других республик и только на 8–10 % потребность в учителях обеспечивалась за счет выпускников Петрозаводского университета. Преподавание на национальных отделениях велось на русском языке, а занятия по финскому языку проводились два раза в неделю. Число студентов этих отделений было небольшим, так как в начале 1950-х гг. лишь в трех школах из 11 нерусских средних школ республики имелись выпускные 10-е классы с обучением на финском языке – в Ведлозерской, Олонецкой № 2 и Ухтинской школах. Первый послевоенный выпуск из этих школ состоялся в 1952 г. в количестве 21 человека, в 1952 г. школу закончили 30 человек, в 1954 г. – 27 [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 480, л. 5].

В 1952 г. в семилетних финских школах не хватало 100 преподавателей. Из 473 учителей карелы составляли 59,8 %, финны – 33%, русские – 7,2%. 50% учителей 5–7-х классов имели только среднее педагогическое образование, а 11 % учителей начальных классов не имели законченного среднего педагогического или среднего образования. Лучше обстояло дело в 8–10-х классах, где высшее образование имели 57,7 % учителей [КГАНИ, ф. 8, оп. 86, д. 673, л. 9, 10].

Из-за нехватки учителей, а также слабого знания финского языка некоторыми преподавателями ряд предметов в финских школах преподавался на русском языке – в 7 школах по 1–2 предмета и в двух школах – по 4–5 предметов. Существенные различия в лексике, особенно в диалектах южной и средней частей Карелии и финского языка, вызывали затруднения у детей карелов. Уровень знаний учащихся был низким. По итогам 1945/46 учебного года 22 % учеников нерусских школ остались на второй год, а 12,6 % должны были пересдавать экзамены осенью (в русской школе эти показатели были немного выше: 19 и 11 %) [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 7, л. 5, 33]. В 1946/47 учебном году в Олонецком районе из 610 учащихся 4-х классов переведены в следующий класс 346 (57 %), в Сегозерском национальном районе из 306 учащихся не успевало 124 [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 5/39, л. 57, 58]. В числе причин такого положения Министерством просвещения республики назывались несоответствие между учебным планом и программой нерусских школ, меньшее количество учебных часов на изучение ряда предметов, по сравнению с программами школ РСФСР, почти полное отсутствие методической литературы, игнорирование особенностей местного диалекта при обучении литературному языку [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 5/39, л. 55, 57].

Больше всего неудовлетворительных оценок было по русскому языку. В первую очередь неуспеваемость по русскому языку объяснялась тем, что преподавание в карело-финских школах с 1 по 7 класс велось на финском литературном языке. На финский язык как предмет в этих школах отводилось 67 часов в неделю, а на русский язык и литературу – 48,5 часа в неделю. Дети карелов, для которых как финский, так и русский языки являлись новыми, плохо усваивали русскую разговорную речь и грамматику.

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. план финских школ изменялся 2 раза. В учебном плане до 1950 г. преподавание русского языка предусматривалось только со 2-го класса. Со второго учебного полугодия 1950/51 учебного года были введены разговорные уроки русского языка с первого класса по одному часу в неделю. В 1951 г. учебный план был вновь переработан и введено преподавание русского языка с первого класса со второго полугодия по 6 часов в неделю. Количество недельных часов на русский язык было увеличено на 17,5 часа, т. е. на 577,5 годовых часа, по сравнению с предыдущим учебным планом.

Были составлены также новые программы по литературному чтению и литературе для семилетних и средних нерусских школ. Преподавание литературы в средних школах (в 1951/52 учебном году в трех школах обучалось 111 учащихся) осуществлялось на русском и финском языках. На русском языке литература изучалась по программам и учебникам нерусских школ РСФСР, а на финском языке – по программам, составленным кафедрой финского языка учительского института. В программу по литературе, изучаемой на финском языке, входили устное народное творчество, современная русская и карело-финская литература, литература братских народов СССР, а также отдельные произведения зарубежной литературы. Из новых программ в соответствии с указанием ЦК КП(б) КФССР было исключено изучение «финляндской буржуазной литературы». Школьными программами предусматривалось знакомство учащихся с произведениями финских писателей К. Крамсу, М. Кант, И. Рантамала, «проникнутыми духом классовой борьбы». Из произведений русских писателей изучались те, которые были уже переведены на финский язык, в результате многие произведения остались неизвестны школьникам или изучались лишь в отрывках. Основное внимание в программах уделялось изучению советской литературы с тем, чтобы учащиеся получили знания в таком же объеме, как и в русской школе [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 59/480, л. 75–79].

В целом учебный план финноязычных школ, по сравнению с учебным планом русских школ, предусматривал меньшее количество часов по следующим предметам: русский язык и литература – на 874,5 годо-

вых часа, иностранный язык – на 264 часа, математика – на 66 часов, география – на 49,5 часа, история – на 33 часа, биология – на 15,5 часа, физическое воспитание – на 165 часов. На финский язык с 1 по 10 класс отводилось 2046 часов в год, т. е. на 132 часа меньше, чем на русский язык. Недельная нагрузка учащихся 2–10-х классов в финских школах в целом была на 16 часов больше, чем в русских школах [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 3/58, л. 58]. Преподавание финского языка как предмета ни в одной русской школе республики не было организовано, так как это привело бы к чрезмерной перегрузке учащихся [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 67/569-б, л. 50].

В конце 1953 г. в Карелии работало 130 нерусских школ, из них в 76 школах преподавание велось только на финском языке, а в 54 школах имелись параллельные классы с обучением на финском языке [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 480, л. 35]. К 1953/54 учебному году Министерство просвещения издало 16 названий новых учебников, грамматические таблицы на финском языке, был составлен новый учебник по морфологии русского языка.

Несмотря на меры, принятые в начале 1950-х гг., по развитию финской школы, успеваемость учащихся оставалась низкой. Ежегодно 30–40 учеников не заканчивали 7-й класс [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 67/569-б, л. 1]. Комплектование первых классов финских школ ежегодно проходило с большими трудностями. Так, в Зарецком районе г. Петрозаводска в 1953 г. было учтено 400 детей карелов и финнов школьного возраста, однако в нерусских классах 8-й средней и 26-й семилетней школ обучалось всего 30 человек. Еще 13 человек посещали нерусские классы 7-й средней школы Петрозаводска. В Петровском районе из 506 детей карелов и финнов в финской школе занимались 11 человек (2 %) [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 67/569-б, л. 50]. В целом в нерусских школах республики в 1954 г. учились 4578 человек, тогда как в русских школах – около 13 тыс. детей карелов и финнов [КГАНИ, ф. 8, оп. 99, д. 44, л. 24].

Чтобы сохранить число школ с финским языком обучения, органы народного образования формировали классы с незначительным числом учащихся. В 1953/54 г. в 34 школах насчитывалось от 3 до 10 учеников, в 20 школах – от 11 до 20, а в 330 начальных классах было от 1 до 5 человек, в то время как в других школах с русским языком обучения – в среднем 21 человек. Эти меры не дали результатов. Число финских школ сокращалось с каждым годом. Если в 1949/50 г. их было 164, то в 1953/54 г. – 130, а число учащихся уменьшилось на 2053 человека [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 59/480, л. 3, 4]. Особенно ощутимым было уменьшение количества начальных школ. Наибольшее число финноязычных школ сохранялось в Олонецком, Калевальском и Пряжинском районах.

В справке Министерства просвещения КФССР от 20 января 1954 г. в числе причин сокращения числа нерусских школ названы низкий уровень работы школ и отсутствие разъяснительной работы среди населения о политическом значении обучения детей на двух государственных языках – русском и финском, недостаточный идейный и научный уровень преподавания литературы, русского и финского языков [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 59/480, л. 32].

Выпускники национальных школ, изучая основы наук и терминологию по предметам на финском языке, испытывали затруднения при поступлении в техникумы и вузы, где обучение велось на русском языке, и в основном поступали учиться на финские отделения педагогического и дошкольного училищ или в педагогический институт. В связи с этим в первые послевоенные десятилетия широкое распространение получил внеконкурсный прием в вузы других республик и районов страны, который в некоторой степени давал возможность обойти языковые трудности для лиц коренной национальности. На практике он использовался и для учащихся других национальностей, доля же карелов, финнов и вепсов в составе направленных на учебу составляла от 15 до 25 % [Бархатова 1990: 14]. С 1952 г. республике ежегодно выделялось 60 мест по внеконкурсному приему в вузы, а с 1959 г. их число возросло до 120. Однако планы набора учащихся систематически не выполнялись, многие студенты не заканчивали учебу [НАРК, ф. Р-690, оп. 11, д. 1734, л. 4].

В июне 1954 г. ЦК КП КФССР обратился в ЦК КПСС с просьбой о переводе преподавания в нерусских школах республики с финского на русский язык. В письме подчеркивалось, что «практика обучения детей коренной национальности на финском языке не оправдала себя... Отмечаются факты, когда местные органы народного образования принуждают коренное население отдавать детей на обучение в школы с финским языком обучения. Население различными путями добивается определения детей в русские школы, зачастую переводит детей в другие районы, где действуют русские школы, принимают меры, независимо от нуждемости, к определению детей в детские сады, откуда допускается прием в русские школы и т. д., а когда это не удастся, выражает недовольство действиями местных органов. Имели место факты массового отказа учащихся от обучения на финском языке» [КГАНИ, ф. 8, оп. 99, д. 44, л. 25].

В 1954 г. силами работников партийных органов, органов народного образования, высших учебных заведений и научных учреждений республики в 9 районах, где проживала основная масса карелов и финнов, была проверена работа 41 нерусской школы из 130. В ходе ее проводились бе-

седы с родителями, учащимися, работниками школ. Результатом проверки явилось постановление Совета министров республики от 12 августа 1954 г. об отмене обязательного преподавания на финском языке всех предметов в 1–10-х классах нерусских школ. Обязательное изучение финского языка как одного из основных предметов было введено для детей карелов и финнов в 130 школах (14 средних, 38 семилетних и 78 начальных) с 3 по 10-й класс [НА РК, ф. Р-1394, оп. 6, д. 2294, л. 195–197]. По существу, эти меры проводились в контексте подготовки ликвидации статуса финского языка как государственного и ликвидации самого статуса союзной республики в 1956 г.

В новом учебном плане нерусских школ на изучение основных общеобразовательных предметов, за исключением иностранного языка, предусматривалось такое же количество часов, как и в русской школе. На уроки русского языка отводилось на 16,5 годовых часа больше, чем в русской школе. На финский язык с 3 по 10-й класс приходилось 33 недельных часа – за счет сокращения времени на иностранный язык (на 5,5 недельных часа, по сравнению с русской школой) и на физкультуру (на 5 часов в неделю меньше) [НА РК, ф. Р-1192, оп. 3, д. 58, л. 54].

В 1956/57 г. в республике насчитывалось 117 школ с обучением финскому языку, из них 17 средних, 31 семилетняя и 69 начальных. Финский язык изучали 3939 учащихся 3–10-х классов [НА РК, ф. Р-630, оп. 3, д. 1/4, л. 17]. Первые два года работы школ после отмены обязательного преподавания на финском языке показали, что у учащихся улучшились навыки русской речи, несколько повысилась грамотность, хотя на первых порах в ряде школ использовался карельский язык с постепенным переходом на русский язык. Успеваемость в школах за 1954/55–1956/57 г. выросла с 81 до 88,5 %. В 29 начальных школах в 1957 г. была достигнута полная успеваемость [НА РК, ф. Р-630, оп. 3, д. 4, л. 17, 18; ф. Р-119, оп. 4, д. 64, л. 2]. В то же время часть учителей снизила требования к знаниям по финскому языку и ослабила внимание к этому предмету. В связи с переводом школ на русский язык обучения была свернута подготовка учителей на финском языке, ликвидированы финские отделения в школьном и дошкольном педагогических училищах, закрыта специальность «финский язык и литература» в Петрозаводском университете.

В Министерство просвещения республики продолжали поступать письма родителей с просьбой прекратить преподавание финского языка в школах. В сентябре–октябре 1957 г. в Паданской средней школе им. И. А. Григорьева состоялись родительские собрания, на которых родители задавали такие вопросы: «Как контролировать ребенка на фин-

ском языке, если сами [им] не владем?», «Могут ли дети родителей, не желающих учиться на финском языке, уходить с этих уроков и посещать кроме финского урока другие уроки этого дня?», «Почему не во всех школах нашего района ведется преподавание финского языка, хотя имеются дети карелов?» На собрании было решено довести до сведения Президиума Верховного Совета республики постановление родительского собрания о необходимости отмены финского языка в школе [НА РК, ф. Р-630, оп. 3, д. 109, л. 2, 3, 5 об.].

В ответ на настойчивые просьбы родителей Министерство просвещения в 1957 г. разрешило прекратить преподавание финского языка в Паданской средней, Селецкой семилетней, Евгорской и Кармасельгской начальных школах Медвежьегорского района.

В условиях изменившейся политической обстановки, когда Карело-Финская ССР была преобразована в автономную республику (16 июля 1956 г.), отпала необходимость в обязательном изучении финского языка в школе. 25 апреля 1958 г. постановлением Совета министров КАССР отменено обязательное изучение детьми финнов и карелов финского языка как предмета в школе [НА РК, ф. Р-690, оп. 11, д. 251, л. 52–53]. До середины 1960-х гг. финский язык фактически был исключен из общественно-политической и культурной жизни республики.

Таким образом, в послевоенный период школа, как и в 1920–1930-е гг., оказалась заложником государственной политики. Практическая деятельность директивных органов республики была направлена на обязательное обучение детей карельской национальности в школах на финском языке. Попытки решения языковых проблем путем административных постановлений вызвали немалые издержки в организации народного образования, в подготовке кадров. Вместе с тем активное внедрение в школьное обучение финского языка позволило в первое послевоенное десятилетие поддерживать сохранение и развитие финноязычной культуры в Карелии.

Литература и источники

Бархатова С. В. Формирование интеллигенции в Карелии. 1944–1960 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Петрозаводск, 1990.

Закон Республики Карелия «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия». Принят Законодательным Собранием 17 марта 2004 года // Карелия. 2004. 23 марта.

Карельский государственный архив новейшей истории (КГАНИ, в настоящее время – в составе Национального архива Республики Карелия).

Национальный архив Республики Карелия (НА РК).

Ольга Павловна Илюха
*Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
г. Петрозаводск*

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ «НАШЕЙ СТРАНЫ» И «НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ» В БУКВАРЯХ ДЛЯ ШКОЛ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР*

Isänmaa Kalevan, kotimaa runojen,
Jota Leninin Stalinin lippu johtaa.
[Отечество Калевы¹, родина рун,
Которую Ленина-Сталина знамя ведет]
Из гимна Карело-Финской ССР, 1945

После завершения Великой Отечественной войны в Карело-Финской ССР был продолжен едва успевший начаться в довоенное время новый этап коренизации, предполагавший финнизацию, а не карелизацию. Он совпал с перемещением в республику в конце 1940-х гг. более 20 тысяч финнов-ингерманландцев [Захарова 2009: 304–312]. Для детей финнов и карелов создавались национальные школы², где преподавание с 1-го по 7-й класс велось на финском языке. Преподавание русского языка, как правило, начиналось с первого полугодия второго года обучения.

В это время было положено начало созданию нового поколения учебников. Новизна подходов диктовалась не только сменой педагогического вектора (в частности, в годы Великой Отечественной войны произошла переоценка опыта дореволюционного гимназического образования), но и идеологией позднего сталинизма, кристаллизация которого шла в атмосфере победной эйфории. В марте 1949 г. бюро ЦК КП(б) КФССР приняло Постановление «О мерах по улучшению работы нерусских школ республики», которое отвечало духу кампании по борьбе с космополитизмом, развернувшейся годом ранее. Внимание к национальной школе затронуло широкий спектр вопросов. Генеральным направлением перемен в отношении содержания обучения было увеличение количества уроков русского языка. Потребовались корректировка программ и переработка учебников.

* Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР, тема «Узловые проблемы истории Карелии», № 0225-2014-0012 и при поддержке программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность».

¹ Калева – в мифологии карелов и финнов – предок эпических героев Ваянямёйнена, Илмаринена, Лемминкяйнена, называемых иногда его сыновьями. От его имени происходит название поэмы Элиаса Лённрота «Калевала». Калевала – эпическое имя страны, дословно – «место, где живёт Калева».

² В начале 1946 г. в республике насчитывалось 118 таких школ [Вавулинская 2002: 138].

В работе по созданию учебников в республике активное участие принимал Иван Степанович Беляев (1907–1967). Педагог, государственный и общественный деятель, он происходил из тверских карелов. После окончания в 1930 г. Тверского пединститута был направлен учительствовать в Карельскую АССР. Начав с работы в школе, И. С. Беляев в последнее десятилетие своей жизни, на пике карьеры, стал Председателем Совета министров Карельской АССР. После войны, когда Беляев активно занимался созданием учебников, включая интересующие нас буквари, он стремительно перемещался по служебной лестнице. С 1944 по 1951 г. занимал посты наркома, министра просвещения Карело-Финской ССР¹, с 1951 г. – первого заместителя Председателя Совета министров Карело-Финской ССР, министра иностранных дел Карело-Финской ССР. Ему были доступны высокие государственные трибуны. Так, в 1956 г. И. С. Беляев выступал с речью на заседании Совета Союза Верховного Совета СССР, являлся делегатом XXI, XXII и XXIII съездов партии, депутатом Верховного Совета СССР пяти созывов, орденоносцем [НА РК, ф. Р-2359, оп. 1, д. 3/24, 3/30; Некролог].

Первые школьные учебники И. С. Беляев создал еще в середине 1930-х гг., однако наиболее плодотворным в этой сфере его деятельности стал послевоенный период. Накопленный опыт по созданию учебников был обобщен в кандидатской диссертации «Основы методики начального обучения русскому языку карел и финнов / II–III классы нерусских школ Карело-Финской ССР», которую И. С. Беляев защитил в 1949 г. в Москве, в Академии педагогических наук РСФСР [НА РК, ф. Р-2359, оп. 1, д. 3/17].

В данной статье мы обратимся к букварям И. С. Беляева для нерусских школ КФССР. Это издания 1946, 1948, 1952 и 1953 гг. Они выходили с подзаголовком «Пособие по русскому языку для II классов нерусских школ Карело-Финской ССР»².

Война – разрушительная и победоносная – оказала влияние на все стороны жизни советского человека, изменила его мировосприятие и самоощущение. Она стала отправной точкой для построения многих идеологических конструкций, прочно вошла в общенациональный миф. Победа в войне не могла не изменить содержание школьных учебников, в том числе букварей для национальных школ. В этой связи зададимся вопросом: каким образом в послевоенных букварях И. С. Беляева представлена Карело-Финская ССР, которую гимн республики определял, ориентируясь на карельскую фольклорную традицию, как «Отечество Калевы».

¹ Народные комиссариаты были преобразованы в одноименные министерства в 1946 г.

² В русских школах республики использовались буквари, издававшиеся в Москве, а для изучения финского языка применялся букварь А. Раутио, выпускавшийся в Петрозаводске. В этой статье данные издания не рассматриваются.

Учитывая, что букварь – эффективный инструмент настройки детской социальной «оптики», играющий особую роль в процессе «образования смыслов», интересно проследить, как союзная республика вписывалась в систему образов «большой» родины – СССР и каким образом осуществлялась репрезентация локального, регионального и глобального в книге для обучения чтению.

Официально санкционированное знание о республике, пропущенное сквозь множество «фильтров» (методических, педагогических, идеологических и пр.), создавало на страницах учебной книги своеобразную картину Карелии, определенным образом настраивало детскую «оптику» на восприятие малой родины. Каков был инструментарий этой настройки и как выглядела воображаемая Карелия в ее учебном варианте? Попытаемся выявить характер информации, ценностные доминанты, систему образов, определявших субординацию локального и державного патриотизма.

Образ страны определяется через три ее базовых характеристики: большая, могучая, богатая. Во все послевоенные издания неизменно включается текст: «Наша страна большая, самая большая страна в мире. Если идти по ней из конца в конец, нужно очень много времени...». Однако с помощью радиосвязи можно устроить переключку сразу со всеми частями страны. Тогда окажется, что где-то утро, где-то полдень, а где-то глубокая ночь.

Могущество страны определяется силой армии. Если в букваре 1943 г. «как один за Родину мы стали, / нас позвал вождя народный зов», то в букваре 1946 г. и последующих изданиях, вплоть до 1952 г. тексты о войне всегда связаны с победой и именем Сталина. Богатства страны представлены конкретно, причем тексты такого рода переходят из букваря в букварь и сохраняются до 1953 г. Перечни «богатств» немного варьируют, а в совокупности включают железо, хлеб, уголь, хлопок, нефть, лен, лес – исключительно сырьевые ресурсы [Беляев 1946: 98, 120]. Восторгом окрашена цементирующая позитивная сила любви к большой родине: «Как хорошо тебя любить, могучая страна!» [Беляев 1946: 130]. Страна предстает через ее экономику, мир взрослых людей, отраженный в иллюстрациях. Трактор в поле, ферма колхоза «Большевик», люди, спешащие в заводские и фабричные цеха, – это те универсалии, которые легко вписались бы в любой советский букварь.

В первом послевоенном букваре нет упоминания о Карелии или Карело-Финской ССР¹. Дети рождаются и живут в СССР, чаще всего определяемом как «наша страна». В этой связи попытаемся вслед за

¹ В конце букваря упоминается лишь Верховный совет Карело-Финской ССР, куда избраны «лучшие люди нашей страны». Таким образом высший орган власти союзной республики сливается с «нашей страной» [Беляев 1946: 127].

Н. Б. Баранниковой и В. Г. Безроговым проследить, в каких лексических связках, смысловых контекстах используется понятие «*наш*», «*наше*» в букварях Карело-Финской ССР, прояснить проявления «нашизма» [Баранникова, Безрогов 2011].

В букваре 1946 г. «*наше*» используется для определения, прежде всего, очень близкого, того, что составляет мир повседневности ребенка-школьника: наша семья, наш класс, наша школа, наш красный уголок. Другой уровень «нашего» представлен нашей великой родиной, нашими героями, нашим Сталиным. Упоминание о Москве единично: там «стоит мавзолей В. И. Ленина» [Беляев 1946: 126]. «Наша стройка» – это не конкретная строительная площадка в родном городе или селе, а «общая» стройка, простирающаяся от края до края государства, в результате чего «растет и богатеет наша страна, наша любимая родина, наш СССР» [Беляев 1946: 98]. Здесь крайне редко, в отличие от учебников 1930-х гг., можно встретить *наш* колхоз, *нашу* фабрику, *наше* село или город. Таким образом, представлены «низовой», приватный уровень «нашего» и «высший», общегосударственный. Этот же взгляд на пространство страны, где локальное смыкалось с общегосударственным – «Мы горды и родиной, и школой» [Беляев 1952б: 39] – транслировали и упражнения других учебников¹. Так, при ответе на вопрос «Что мы любим?», ученики второго класса должны были переписать готовые выражения. Предписывалось любить реку, лес, весну, книгу, нашу школу, наш класс, нашу улицу, нашу деревню, нашу Родину и нашу Красную Армию [Беляев, Бонч-Осмоловская 1948: 13]. Отсутствие на страницах послевоенного букваря образа республики, являвшей «среднее звено» территориально-административной структуры страны, с одной стороны, упрощало логическую процедуру проведения аналогии между государством и семьей, между Сталиным и заботливым отцом, а с другой – отражало курс на укрепление империи, в плавильном котле которой должна была раствориться этническая и культурная самобытность регионов, где «спаяны великой дружбой» все народы.

В переработанной версии букваря 1952 г., а затем и в издании 1953 г. в мизерабельном объеме появляется промежуточный уровень репрезентации «нашего»: «наша республика». Характерно, что этой теме отведен лишь один разворот букваря, где республика сведена к репрезентации ее столицы. Здесь представлен текст о Петрозаводске, а также рисунки с изображениями улиц города, его новых домов и рабочих строительных специальностей. Тема города-стройки хорошо вписывалась в концепцию стройки-страны. Из текста дети узнавали о том, что Петрозаводск расположен на берегу Онежского озера и является столицей «нашей республи-

¹ См. также: [Илюха 2008].

ки». Далее следовала пара фраз о стройках города, а завершался текст информацией о том, что здесь поставлены памятники Ленину и Кирову. Имена пролетарских вождей скрепляли пространство города с большой родиной. Официальный статус города и республики представлен курсивом, что предполагало многократное чтение и переписывание фразы: «Город Петрозаводск – столица Карело-Финской Советской Социалистической Республики» [Беляев 1952а: 169–170].

Введение в букварь небольшой информации о республике, точнее – Петрозаводске, было сопровождено включением в состав букваря сразу нескольких текстов о Москве, которые раскрывают место и значение столицы для страны. Большая часть этих текстов была размещена до того, как ребенку предстояло прочитать рассказ о Петрозаводске, т. е. к этому моменту школьник должен был подойти с усвоенной системой базовых образов страны. Уже самая первая информация о столице несла мысль о силе Кремля, которая объединяет Родину: «Кремлевские звезды над нами горят, / повсюду доходит их свет! / Хорошая родина есть у ребят, / и лучше той родины нет!» [Беляев 1952а: 125]. Далее Москва представляла как синоним страны: «Кипучая, могучая, / никем непобедимая, / страна моя, / Москва моя – / ты самая любимая!»¹ [Беляев 1952а: 128]. Другое четверостишие объясняло, что за стенами Кремля находится человек, давший счастье стране, ее людям: «Есть человек за стенами Кремля – / знает и любит его вся земля. / Радость и счастье твое от него, / Сталин – великое имя его!» [Беляев 1952а: 165]. Наконец, предлагалось несколько раз переписать и выучить наизусть стихотворение, славящее державу и ее вождей: «Крепни, Советская наша держава, звезды, сияйте на башнях Кремля! Ленину слава, Сталину слава, слава стране Октября!» [Беляев 1952а: 167]. При чтении подборки этих стихов, распределенных по страницам букваря, складывается смысловая цепочка, подспудно вырисовывается формула «Родина = Москва = Кремль = Сталин = Победа». Рисунки «Победной Москвы» с изображением кремлевских башен и мавзолеем на их фоне, небо над которым расцветено салютом – устойчивые визуальные репрезентации столицы страны. Они тоже распределены по книжке так, чтобы то и дело возвращать ребенка к этой важной теме.

Заключительный текст серии материалов о столице включал образ ребенка. В рассказе «Ваня в Москве» протягивалась нить, символически соединяющая периферию страны («один колхоз») с главным городом СССР. Пионеры отправили на выставку в столицу выращенных

¹ Та же слитность Родины и столицы в стихотворении В. Лебедева-Кумача: «Цвети и здравствуй, Родина моя! / Ликуй, моя любимая столица!». См.: [Поляков, Чистяков 1950: 108].

ими телят, за что получили золотую медаль [Беляев 1953: 171]. Иерархия населенных пунктов выстраивалась четко: высшие награды и оценки гражданам страны дает столица СССР, но не столица союзной республики. Первоклассники всей страны, большинство из которых никогда не бывали в Москве, старательно выводили в тетрадах: «Москва для трудящихся – *самый родной город*»; «Всех слов дороже нам слова: / *Страна родная и Москва*» [Поляков, Чистяков 1950: 131, 135]. Октябрюта Карелии должны были проникнуться любовью к столице и ее символам и знакам: от кремлевских звезд и мавзолея до значка-кружка на карте, каким отмечен на ней «славный город» («...но один большой кружочек / сердцу дорог больше всех»¹).

Перелистывая страницу за страницей букварей в поисках образов Карелии, находим совсем немного из того, что отражает ее реалии. Специфика «лесного края» представлена в двух группах рисунков с изображением лесозаготовительных работ. Здесь мужчины валят деревья, женщины обрубают сучья, а трактора вывозят бревна [Беляев 1946: 14, 140]. Но эти образы можно считать «карельскими» с большой долей условности. Они репрезентируют более широкие географические пределы, их можно отнести ко всем областям Европейского Севера СССР.

Родное слово в букваре присутствует в небольшом объеме, что определялось методическими основаниями скорейшего погружения детей в языковую среду. Ценность знания и совершенствования «родной речи» по отношению к нерусским языкам никак не проговаривается, тогда как изучение русского языка, русской литературы пропагандируется. Так, стихотворение «Урок русского языка», появившееся в букваре 1953 г., не только отражало начало движения борцов за мир (в ответ на происки воображаемых поджигателей войны), но и связывало усвоение детьми идеи мира с изучением русского языка: «Пишут советские дети: “Мир всем народам на свете!...” / Наши советские дети так изучают язык» [Беляев 1953: 111]. В условиях борьбы с космополитизмом «родная речь», под которой подразумевается русский язык, становится маркером патриотизма: «Не меняй отчизны на страну чужую и везде и всюду помни речь родную» [Поляков, Чистяков 1950: 72].

В первой части букваря, отведенной на изучение букв и звуков, автор, наряду с русскими, использует финские имена (ряд из них совпадает с карельскими). Часто финские и русские имена приводятся парно. Например: «Суло косил. Лена косила»; «Эйнар читал. Зина читала». К использованию антропонимов автор прибегает и для передачи идеи «дружбы народов», которая на страницах букваря представлена совместными заня-

¹ Строки из стихотворения «Москва». Его следовало заучить наизусть, а затем написать по памяти. См.: [Беляев, Бонч-Осмоловская 1948: 10–11].

тиями детей разных национальностей. Так, детский «интернационал» (Тима, Вова, Суло, Лина, Айно и Дора) играет в саду, совершает вылазки в лес или уже в расширенном составе (добавились Хейкки, Дина и Ким) поет «песни о родном Сталине» [Беляев 1946: 38]. На уровне семьи также наблюдается «слияние культур», что отражало реалии межнациональных браков, число которых росло [Прибалтийско-финские народы России 2003: 541]: во дворе деревенского дома трудятся «папа, Дима и Онни» [Беляев 1946: 38]. Разумеется, эта мирная, счастливая жизнь освящена именем пролетарских вождей, имена которых дети любовно выводят на школьной доске: «Эмма писала – Ленин», «Эйно писал – Сталин» [Беляев 1946: 46]. Однако вторая половина букваря, где появляются относительно развернутые тексты, уже напрочь лишена «карело-финского этнокультурного компонента» и содержит исключительно русские имена.

В личном фонде И. С. Беляева, хранящемся в Национальном архиве Республики Карелия, отложились некоторые его рабочие материалы. В частности, он до конца жизни хранил вырезки из газет с материалами XX съезда партии. С трибуны Верховного Совета СССР в июле 1956 г. он приветствовал Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», но остался верен тем принципам советской педагогики, которые имплицитно присутствуют на страницах его букварей. Выступая в марте 1957 г. на съезде учителей Карелии, Беляев видел задачу школы и учительства в том, чтобы «воспитывать преданных Родине и партии патриотов», формировать у школьников характер «настоящих борцов за дело коммунизма, принципиальных, стойких и мужественных людей»¹.

После смерти Сталина из букваря, издававшегося к началу 1953/54 учебного года, И. С. Беляев изъяс индивидуальные портреты вождя и тексты о нем, но на первой странице появилось изображение идущих рука об руку Ленина и Сталина. Буквари Беляева создавались в условиях, когда национальная школа формировала советскую идентичность, а этническая культура воспринималась как помеха в социалистическом строительстве. Эти книги представляют собой во многом типичный образец политкорректного букваря, соответствовавшего духу времени. В своей диссертации И. С. Беляев дал решительный отпор рецензентам его учебников, возражавшим против использования в начальной школе трудных для восприятия ребенка общественно-политических текстов. Беляев не просто готовился к защите диссертации, он превентивно нападал на критиков, обличая их «по существу космополитические попытки превратить учебник в аполитичный» [Беляев 1948–1949: 175–176].

¹ Ленинская правда. 1957. 2 апреля. С. 2.

С работой И. С. Беляева по созданию учебников в чем-то перекликались исследования другого петрозаводского педагога. В 1952–1953 гг. эксперимент, направленный на выявление особенностей восприятия финскими и карельскими детьми текстов на русском языке, провел Борис Августович Тяхти, работавший над кандидатской диссертацией [Тяхти 1956]. В частности, он тщательно изучал проблему понимания детьми смысла научно-популярных текстов. При этом использовались два рассказа: один – политизированный о лесозаготовках, другой – политически нейтральный – о работе ученых в Казахстане. Текст «Лесозаготовки раньше и теперь» был выстроен по идеологическому клише: беспросветная жизнь рабочих до революции и счастливая советская действительность. В рассказе «Рыба на полях» говорилось о том, как ученые привезли в Казахстан маленьких карасей и выпустили их на рисовое поле, залитое водой. Карасики съели насекомых-вредителей, и получился хороший урожай.

Вывод Б. А. Тяхти был показателен: «... в пересказе [детьми] “Лесозаготовки раньше и теперь” наблюдается больший процент отсутствия мыслей, в том числе и основных, по сравнению с пересказом текста “Рыба на полях”» [Тяхти 1956: 77]. Исследователь отмечал те дополнения и «искажения», которые дети допускали в пересказе текста о лесозаготовках. Так, в ответах на вопрос «Кто дал лесозаготовителям машины?» (по тексту они поступили из Петрозаводска и Ленинграда), имелись следующие варианты: Ленин и Сталин, Сталин по приказу Ленина, Кремль, советская страна, бригадир, товарищ Киров, советский народ, начальник, мастер [Тяхти 1956: 137, 143]. Как видим, иерархия «начальников» охватывает низовой и высший уровни, она идеологически корректна и вполне отражает дискурсивный фон своего времени, в том числе и транслируемый букварем. По наблюдениям Тяхти, дети путали понятия, термины, обозначающие «эксплуататоров». Отвечая на вопрос «Кому принадлежали леса раньше?», иногда утверждали: купцам (как в рассказе); от себя добавляли: царям, кулакам, богачам, помещикам, капиталистам, богатым, немцам, богатырям [Тяхти 1956: 142, 145].

Разумеется, Б. А. Тяхти не делал на основании своих экспериментов заключения о несоразмерности идеологических задач обучения и возрастных возможностей младших школьников, но такой вывод явно вытекает из этого диссертационного исследования. Показывая больший отклик детей на рассказ «Рыба на полях», автор диссертации концентрирует внимание на том, что «лучше всего воспроизводятся из прочитанного мысли эмоционально окрашенные, а также близкие ученическому опыту» [Тяхти 1956: 272].

Гимн Карело-Финской ССР, упоминавшийся в начале этой статьи, был написан А. Эйкия в победном 1945 г. При проведении конкурса на

лучший текст гимна поэты получили конкретные идеологические ориентиры¹, патриотический смысл которых в полной мере был инфильтрован в другие пропагандистские тексты. В тексте гимна «Отечество Калевы» шагало под знаменами Ленина-Сталина. Эта же идея имплицитно присутствует в рассмотренных букварях, с той лишь разницей, что этническая специфика республики в этих книгах представлена лишь в именах детей, а регион очень компактно репрезентируется через столицу республики г. Петрозаводск и изображения лесозаготовок. Политическая инфильтрация была неизбежным для своего времени явлением при создании официальной учебной книги. Букварь становился «очками», определенным образом настраивавшими детский взгляд. И. С. Беляев признавал эту функцию учебной книги, введя в букварь известный рассказ-притчу: «Говорит мальчик отцу: “Купи мне очки. Я хочу книги читать”. “Хорошо, – сказал отец. – Я куплю тебе очки, только детские”. И купил мальчику букварь» [Беляев 1952а: 107].

P.S.

Когда существование КФССР было признано политически нецелесообразным, быстро нашлись основания и для ликвидации национальной школы. Как обычно в такой ситуации, были подготовлены обоснования, в которых содержались «убедительные факты». Подчеркивались недостатки этих школ, доказывалась их «неперспективность». В качестве аргументов использовались и соответствующие интересам момента «письма трудящихся», подобные следующему:

«Наши дети учатся в начальных классах Пряжинской средней школы... В школе в этих же классах учатся дети, родители которых русские, но тех детей не заставляют учить финский язык, а наших детей, потому что их родители карелы, их заставляют учить финский язык... Мы, родители, являемся сторонниками того, чтобы или никто не учил финский язык... или же чтобы всех учили наравне...» [История Карелии: 361].

¹ Специальная комиссия разработала следующие рекомендации к содержанию текста гимна: «Карело-Финская ССР, страна Калевалы, – неотъемлемая часть Советского Союза. Гордость карело-финского народа – принадлежность к великой братской семье народов могучего Советского Союза. Мы, граждане Карело-Финской ССР, являемся и гражданами великой державы – СССР; Чаяния карело-финского народа (Сампо) осуществились в результате тяжелой борьбы, при помощи великого русского народа, под водительством большевистской партии и вождей Ленина и Сталина; Богатства Карело-Финской ССР – счастье народа, его жизнь, залог силы, залог могущества; Завоеваний не отдадим. Наше счастье, что борец за судьбу поколений, нога в ногу с русским народом в дружной семье народов СССР; Карело-Финская ССР была и будет надежным форпостом Советского Союза». Цит. по: [Филатова 2014].

В этих суждениях отражалось не только недовольство родителей-карелов той дополнительной нагрузкой, которую испытывали их дети, изучавшие финский язык. При отсутствии контактов «обычных» людей с соседней страной финский язык воспринимался как бесполезный, а действовавшие социальные лифты требовали хорошего владения русской речью. Кроме того, были еще памятные уроки 1930-х гг., когда политика финнизации в Карелии сменилась карелизацией, а те, кто знал финский язык, стали вызывать подозрение. В 1958 г. в связи с состоявшейся ранее ликвидацией КФССР и низведением республики до уровня автономии нерусские школы были уравнены по своим программам с русскими школами. Наиболее рьяные учителя стали запрещать карельским детям разговаривать между собой на родном языке. Финский язык вернулся в школы в 1960-х гг., но уже как иностранный.

Литература и источники

Баранникова Н. Б., Безрогов В. Г. «Все разделилось вокруг на чужое и наше». К вопросу о локальном/глобальном в учебнике для начальной школы 1900-х – 2000-х гг. // Конструируя детское. Филология. История. Антропология. М.; СПб.: Азимут, Нестор-История, 2011. С. 150–167.

Беляев 1946 – Беляев И. С. Букварь. Пособие по русскому языку для II классов нерусских школ Карело-Финской ССР. Петрозаводск, 1946.

Беляев 1948 – Беляев И. С. Букварь. Пособие по русскому языку для II классов нерусских школ Карело-Финской ССР. Петрозаводск, 1948.

Беляев И. С., Бонч-Осмоловская А. Г. Сборник письменных упражнений по русскому языку для начальных классов нерусской школы Карело-Финской ССР. Пособие для учителей. Петрозаводск, 1948.

Беляев 1948–1949 – Беляев И. С. Основы методики начального обучения русскому языку карел и финнов / II–III классы нерусских школ Карело-Финской ССР. Дис. канд. пед. наук. Петрозаводск, 1948–1949.

Беляев 1952а – Беляев И. С. Букварь. Пособие по русскому языку для II классов нерусских школ Карело-Финской ССР. Петрозаводск, 1952.

Беляев 1952б – Беляев И. С. Русский язык. Учебник для второго класса карело-финской школы. Петрозаводск, 1952.

Беляев 1953 – Беляев И. С. Букварь. Пособие по русскому языку для II классов нерусских школ Карело-Финской ССР. Петрозаводск, 1953.

Вавулинская 2002 – Вавулинская Л. И. Общеобразовательная школа в Карелии в послевоенные годы (1945 – начало 1950-х) // Педагогический вуз в XXI веке. Материалы международной конференции 13–15 ноября 2001 г. Петрозаводск, 2002. С. 137–139.

Захарова Л. Соотношение финского и русского факторов в процессе национального строительства в Карелии в первые послевоенные десятилетия: циклы коренизации и особенности коммуникации и репрезентации // Финский фактор в истории и культуре Карелии XX века. Гуманитарные исследования. Вып. 3. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 299–321.

Илюха О.П. Советские границы в учебно-воспитательных текстах сталинского времени // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Петрозаводск, 2008. С. 205–214.

История Карелии – История Карелии в документах и материалах: Советский период: Учебное пособие для средней школы. Петрозаводск: Карелия, 1992. 428 с.

НА РК – Национальный архив Республики Карелия.

Некролог – И. С. Беляев. Некролог // Советская Россия. 1967. 25 марта. С. 3.

Поляков Г. В., Чистяков В. М. Русский язык. Грамматика, правописание, развитие речи. Учебник для учащихся 4 класса начальной школы. М., 1950.

Прибалтийско-финские народы России / Отв. ред. Клементьев Е. И., Шлыгина Н. В. М.: Наука, 2003. 671 с.

Тяhti Б. А. Понимание научно-популярных текстов учащимися начальной нерусской школы Карело-Финской ССР. Дис. канд. пед. наук. Л.: ЛПТИ им. А. И. Герцена, 1956.

Филатова Д. А. «Высоко на сопках твоих стою»: конструирование смыслов в гимнах Карелии и КФССР // *Studia Humanitatis Borealis*. 2014. № 2. С. 69–79.

Библиография трудов И. И. Муллонен

1979

Антропонимическая микротопонимия с. Шелтозеро // Вопросы финской филологии. Петрозаводск, 1979. С. 77–87.

1981

О некоторых формантах гидронимии бассейна реки Ояти // Прибалтийско-финское языкознание. 1981. Вып. 6. С. 81–85.

1982

Географические названия как исторический источник (Саамская гидронимия бассейна р. Ояти) // Актуальные проблемы обществен. наук: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. мол. ученых и специалистов. Петрозаводск, 1982. С. 71–72.

К этнической истории Приоатья (по данным топонимики) // Актуальные вопросы изучения экономического и культурного развития Европейского Севера СССР. Архангельск, 1982. С. 82–83.

Структурные типы микротопонимии с. Шелтозеро Карельской АССР // Ономастика Европейского Севера СССР. Мурманск, 1982. С. 24–28.

1983

Гидронимия бассейна реки Ояти: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1983. 22 с. Библиогр.: 6 назв.

Вепская ландшафтная терминология в гидронимии бассейна р. Ояти // Советское финно-угроведение. 1983. № 2. С. 99–104.

1985

Некоторые наблюдения над вепской географической терминологией // Топонимия Урала и Севера европейской части СССР. Свердловск, 1985. С. 98–106.

О гидронимии бассейна Ояти // Курганы летописной веси X – начала XIII века. Петрозаводск, 1985. С. 184–196.

Фольклорные мотивы в вепской ономастике // Актуальные вопросы общественных наук: Тез. докл. респ. науч.-теорет. конф. мол. ученых и специалистов. Петрозаводск, 1985. С. 86–87.

Zur geschichte des wepsishen wortschatzes: (nach toponimischen angaben) // Международный конгресс финно-угроведов. Т. 2. Сыктывкар, 1985. С. 162.

1986

О г' протетическом в русских говорах Карелии / И. И. Муллонен, В. С. Суханова // Севернорусские говоры в иноязычном окружении: Межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар, 1986. С. 38–45.

1987

Об этнической карте Юго-Восточного Приладожья в эпоху Средневековья (по археологическим и лингвистическим данным) / С. И. Кочкуркина, И. И. Муллонен // XVII Всесоюз. финно-угорская конф. Т. II.: Тез. Устинов, 1987.

Прибалтийско-финский -л-овый формант в вепсской ойконимии // XVII Всесоюзная финно-угорская конф.: Тез. докл. Устинов, 1987. Т. 1. С. 156–159.

1988

Гидронимия бассейна реки Ояти. Петрозаводск: Карелия, 1988. 161 с.

Географический термин Пуганда в контексте субстратной лексики Пудожья // Актуальные проблемы исторической и диалектологической лексикологии и лексикографии. Вологда, 1988. С. 146–147.

Ойконимия прионежских вепсов // Прибалтийско-финское языкознание. Петрозаводск, 1988. С. 50–66.

Русская адаптация вепсской гидронимии бассейна реки Ояти // Проблемы русско-финно-угорского двуязычия и межъязыковых контактов. Йошкар-Ола, 1988. С. 25–31.

О вепсской антропонимии (опыт топонимической реконструкции) // Советское финно-угроведение. 1988. № 4. С. 271–282.

Вепские личные имена – часть древней прибалтийско-финской антропонимии / Vepsäläiset henkilönimet – osa muinaista itämerensuomalaista nimestä // Symposiumi 1988. Referaatit. Turku, 1988. S. 64.

Освоение вепсами территории Межозерья (по топонимическим данным) // Congr. Septimus Intern. Fenno-Ugristarum Summaria disserttionum. Linguistica. Debrecen, 1988. S. 162.

1989

Вепсская топонимия: из прошлого в будущее // Исторические названия – памятники культуры: материалы Всесоюз. конф. М., 1989.

Вепские ойконимические форманты // Вопросы финно-угорской ономастики. Ижевск, 1989. С. 102–117.

Вепсы Прионежья по данным топонимики // Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск, 1989. С. 84–90.

Из истории вепсской лексики // Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск, 1989. С. 102–105.

О совещании по проблемам вепсской народности / И. И. Муллонен, Ю. Ю. Сурхаско // Проблемы истории и культуры вепсской народности. Петрозаводск, 1989. С. 159–163.

Äänisvepsäläistä paikannimistöä // Punalippu. 1989. N 2. S. 172–177.

1990

К истории вепсской лексики (по топонимическим данным) // Материалы VI Международ. конгресса финно-угроведов. Т. 2. М., 1990.

Mitä paikanimistö kertoo vepsäläisten asettumisesta Äänisen, Laatokan ja Valkeanjärven väliselle alueelle? // Itämerensuomalaiset kielikontaktit. Helsinki, 1990. S. 84–90.

Vepsians in Mezhozerije from placename data // Proceedings of the XVII internat. congress of onomastic sciences. Helsinki, 1990. V. 2. P. 195–202.

Paikannimien tutkijoita // Virtaranta P. Kulttuurikuvia Karjalasta: Ihmisiä ja elämäntaloita rajantakaisessa Karjalassa. Jyväskylä, 1990. S. 90–91.

1991

Мамонтова Н. Н. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии / Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1991. 158 с.: ил. Arv.: Kirppu L. Itämerensuomalainen maastosanasto // Karjalan Sanomat. 1992. 20. kesäk.

Мифологические мотивы вепсской топонимии // Вторая Всесоюзная конференция «Исторические названия – памятники культуры»: Сб. материалов. Вып. 2. М., 1991.

Вепсские топоформанты // Прибалтийско-финское языкознание. Петрозаводск, 1991. С. 57–64.

Лексика флоры в вепсской топонимике // Историческая география ландшафтов: теоретические проблемы и региональные исследования: Тез. докладов I Всесоюз. науч.-практ. конф., 2–7 сентября 1991 года. Петрозаводск, 1991. С. 154–155.

Отражение типов сельских поселений в вепсской ойконимии // Номинация в ономастике. Свердловск, 1991. С. 94–102.

Этноисторические мотивы топонимии Межозерья // Голубева Л. А., Кочкуркина С. И. Белозерская весь по материалам поселения Крутик IX–X вв. Петрозаводск, 1991. С. 187–196.

1992

Мамонтова Н. Н. Топонимия и национальные проблемы в Карелии / Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен // Топонимия и межнациональные отношения. М., 1992.

Мамонтова Н. Н. Об изучении топонимии Карелии / Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен // Вопросы финской филологии: Сб. науч. трудов. Петрозаводск, 1992. С. 22–36.

Zur Rekonstruktion der wepsischen Lexik nach toponymischen Belegen // *Linguistica Uralica*. 1992. № 28. S. 1–12.

Виртаранта П. Этюды о карельской культуре: Люди и судьбы. Петрозаводск: Карелия, 1992. 287 с., ил. Из содерж.: И. И. Муллонен. С. 95.

1993

Вепские топонимные ареалы на диалектном фоне // Российский этнограф. 15. Ономастика. Ч. 2. Грамматика собственных имен. Регион. Ареал. Диалект. М., 1993. С. 156–164.

Мамонтова Н. Н. Топонимия в контексте народной культуры: общечеловеческое и этническое. Проблемы комплексного изучения этносов Карелии: материалы симпозиума / Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен. Петрозаводск, 1993. С. 36–40.

О «святых» топонимах и некоторых следах древних верований вепсов в топонимии // Родные сердцу имена (Ономастика Карелии). Петрозаводск, 1993. С. 4–12.

1994

Очерки вепсской топонимии / Науч. ред. Н. Н. Мамонтова. СПб.: Наука, 1994. 156 с.

О переводе в топонимии // Материалы для изучения сельских поселений: докл. и сообщ. третьей науч.-практ. конф. «Центрально-черноземная деревня: история и современность». Ч. 1: Язык. Культура. М., 1994. С. 124–126.

Paikannimistö vepsäläisten muinaisen perinteen valoittajana // *Vepsäläiset tutuiksi. Kirjoituksia vepsäläisten kulttuurista*. Joensuu, 1994. S. 63–72.

1995

Ономастика Карелии: Проблемы взаимодействия разноязычных ономастических систем / Науч. ред.: Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1995. 126 с.: карт.

Герд А. С. К проблеме этнической истории прибалтийско-финских народов (по данным языкознания) / А. С. Герд, Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен // Севернорусские говоры: Сб. ст. Вып. 6. СПб., 1995. С. 3–14.

Заметки о топонимии Водлозерья // Природное и культурное наследие Водлозерского национального парка. Петрозаводск, 1995. С. 192–197.

К проблеме древних «речных» суффиксов (в контексте вепсской гидронимии) // Узловые проблемы современного финно-угроведения: Материалы I Всерос. науч. конф. финно-угроведов. Йошкар-Ола, 1995. С. 367–368.

Кивоя и Кивручей: две адаптационные модели в топонимии Присвирья // Ономастика Карелии. Проблемы взаимодействия разноязычных ономастических систем. Петрозаводск, 1995. С. 4–17.

«Святые» гидронимы в контексте вепско-русского контактирования // Ономастика Карелии. Проблемы взаимодействия разноязычных ономастических систем. Петрозаводск, 1995. С. 17–27.

Вепско-карельское контактирование в топонимии Северного Присвирья // Itämerensuomalainen kulttuurialue: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä, 12. 8. 1995. Helsinki, 1995. С. 161–163.

Karelisch-wepsische Kontakte im Ortsnamengut des nördlichen Svir-Gebietes // Itämerensuomalainen kulttuurialue. Castrenianumin toimitteita 49. Helsinki, 1995. S. 142–163.

Fennougristit 26 maasta koolla Jyväskylässä // Karjalan Sanomat. 1995. 26. elok.

1996

Об одной древнерусской ойконимной модели в Присвирье и Обонежье // Язык: история и современность. СПб., 1996. С. 109–120.

Субстратные элементы в лексике вепсского языка // 50 лет Карельскому научному центру РАН. Юбилейная науч. конф. Петрозаводск, 1996. С. 237–238.

Ученые Карельского научного центра Российской Академии наук: Биогр. слов. / Редкол.: И. М. Нестеренко (отв. ред.) и др. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1996. 132 с. О Муллонен И. И.: с. 97.

1997

Словарь гидронимов Юго-Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь) / Под ред. А. С. Герда. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1997. 193 с.

Заметки о топонимии Присвирья // Из истории Санкт-Петербургской губернии. Новое в гуманитарных исследованиях. СПб., 1997. С. 65–72.

Из истории славяно-финских контактов в юго-восточном Приладожье // 13 конф. по изучению истории, экономики, литературы и языка Сканд. стран и Финляндии: Тез. докл. М.; Петрозаводск, 1997. С. 382–383.

Вепско-карельские контакты в топонимии Северного Присвирья // Фольклорная культура и ее межэтнические связи в комплексном освещении: межвуз. сб. Петрозаводск, 1997. С. 152–163.

Гришина И. Е. Юго-западная Карелия в свете историко-архитектурных и топонимических данных: опыт междисциплинарного исследования / И. Е. Гришина, И. И. Муллонен, В. П. Орфинский // Фольклорная культура и ее межэтнические связи в комплексном освещении. Петрозаводск, 1997. С. 5–26.

Истоки топонима *Суна* в контексте этноязыковой истории Обонежья // Традиционная культура финно-угров и соседних с ними народов. Проблемы комплексного изучения. Международ. симпозиум: Тез. докл. Петрозаводск, 1997. С. 67–69.

Мамонтова Н. Н. Следы времен минувших: село Суйсарь и его окрестности в географических названиях / Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен // Село Суйсарь: история, быт, культура. Петрозаводск, 1997. С. 10–20.

Топонимия Заонежья: итоги и перспективы // Междунар. конф. по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининские чтения-95». Петрозаводск, 1997. С. 231–236.

Ученые Карельского научного центра Российской Академии наук: Биограф. слов. / Редкол.: И. М. Нестеренко (отв. ред.) и др. 2-е изд., доп. и перераб. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1999. 305 с. О Муллонен И. И.: с. 276.

1999

От Онежского озера до озера Неро: к разгадке истоков древних топонимов // Русская народная культура и ее этнические истоки. Пошехонские чтения-99. 1-й семинар. М., 1999. С. 27–30.

Суффиксальные модели в топонимии Присвирья // Севернорусские говоры. Вып. 7. СПб., 1999. С. 72–89.

О двух забытых вепсских географических терминах // Русская диалектная этимология. Третье науч. совещ. 21–23 октября 1999 г. Тез. докл. и сообщений. Екатеринбург, 1999. С. 27–30.

Вепсские языковые древности // Вепсы: история, культура и межэтнические контакты: Сб. научных трудов. Петрозаводск, 1999. С. 94–103.

«Свое» и «чужое» в контактировании разноязычных топонимических систем Обонежья // «Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера: Тез. докл. 2-й междунар. науч. конф. Петрозаводск, 1999. – С. 16–17.

Формирование историко-культурных зон Карелии (по материалам топонимии) // Важнейшие результаты исследований Карельского научного центра РАН: Тез. докл. юбилейной науч. конф. КНЦ РАН, посвящ. 275-летию РАН. Петрозаводск, 1999. С. 149.

К проблеме формирования ливвиковско-людиковской границы // «Олонцу–350»: Тез. науч.-практ. конф., 29–30 сентября 1999 г. Олонец, 1999. С. 15–19.

Pienen kansan suuret järvet // Carelia. 1999. № 3. S. 75–76.

2000

Топонимия Присвирья: Проблемы этноязыкового контактирования: Автореф. дис. на соискание учен. степ. д-ра фил. наук (10.02.07 – финно-угор. и самодийские яз.). Йошкар-Ола, 2000. 43 с.

Вепсский след в топонимии Олонецкого перешейка // Материалы междунар. науч.-метод. конф. преподавателей и аспирантов, посвящ. 75-летию кафедры финно-угорской филологии СПбГУ. СПб., 2000. С. 61–66.

Лимноним Ильмень в контексте ареальной дистрибуции топонимических основ российского Северо-Запада // Финно-угорское наследие в русском языке: Сб. науч. трудов. Вып. 1. Екатеринбург, 2000. С. 57–68.

В поисках утраченного: о коллективном творчестве создателей названий мест и мастерах – их хранителях (из опыта собирателей-топонимистов) / Н. Н. Мамонтова, И. И. Муллонен // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера: Докл. III Междунар. науч. конф. «Рябининские чтения-99». Петрозаводск, 2000. С. 202–208.

Вырозеро // Кижский вестник № 5: Сб. статей. Петрозаводск, 2000. С. 157–165.

Топонимия Беломорской Карелии: итоги и перспективы // Беломорская Карелия: история и перспективы развития. Петрозаводск, 2000. С. 30–31.

2001

Этнолингвистическая история Обонежья // Очерки исторической географии. Северо-Запад России. Славяне и финны. СПб., 2001. С. 332–348.

Юго-Восточное Приладожье по данным прибалтийско-финского языкознания // Очерки исторической географии. Северо-Запад России. Славяне и финны. СПб., 2001. С. 248–251.

«Верхние» гидронимы Обонежья // Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. Междунар. конф. Екатеринбург 24–26 октября 2001 г. Екатеринбург, 2001. С. 366–368.

История Сегозерья в географических названиях // Деревня Юккогуба и ее округа / И. Е. Гришина, П. М. Зайков, В. П. Ершов и др. Редкол.: В. П. Орфинский (отв. ред.) и др. Петрозаводск, 2001. С. 11–38.

Название Онежского озера в контексте субстратной топонимии Обонежья // Известия Уральского гос. университета. 20. Гуманитарные науки. Вып. 4. История. Филология. Искусствоведение. Екатеринбург, 2001. С. 122–128.

Топонимия древнего новгородского пути в Беломорье // Топонимия и диалектная лексика Новгородской земли: Материалы Междунар. науч. конф. «Историческая топонимика Великого Новгорода и Новгородской земли». Великий Новгород, 2001. С. 27–29.

Mullonen I. Vienan paikannimistön tutkimusten näköaloja // Uhtuan uutiset. 2001. N 11.

2002

Топонимия Присвирья: проблемы языкового контактирования. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 356 с.

Топонимический материал в лекционном курсе «Введение в финно-угроведение» // Научные издания московского Венгерского Колледжа П/1. М., 2002. С. 85–96.

Вепский язык // Язык и народ. Тексты и комментарии. СПб., 2002. С. 55–96.

Еще раз об интерпретации топоосновы ухт- // Русская диалектная этимология: Материалы IV Междунар. науч. конф. 22–24 октября 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 70–71.

Саранжа // Финно-угорское наследие в русском языке. Вып. 2. Екатеринбург, 2002. С. 113–122.

Дороги старой Толвуи в топонимии // Кижский вестник № 7: Сб. статей. Петрозаводск, 2002. С. 104–111.

Карельская топонимия Валаама // Сортавала: страницы истории (к 370-летию основания города): Тез. докл. I Междунар. науч.-просвет. краеведческой конф. (20–21 июня 2002 г., Сортавала). Петрозаводск, 2002. С. 30–32.

Der Name des Onegasees im Kontext der Substratponymie des Gebiets Obonežje // Sõna ja nimi. Tallinn, 2002.

2003

Территория расселения и этнонимы вепсов в XIX–XX вв. // Прибалтийско-финские народы России. М., 2003. С. 342–348.

О формировании населения южной Карелии по топонимическим свидетельствам // Язык и народ: социолингвистическая ситуация на Северо-Западе России: Сб. ст. / Под ред.: А. С. Герда, М. Савиярви, Т. де Графа. СПб., 2003. С. 80–103.

Древние дороги Обонежья // Природное и историко-культурное наследие Северной Фенноскандии: Материалы междунар. науч.-практ. конф., Петрозаводск, 3–4 июня 2003 г. Петрозаводск, 2003. С. 165–170.

История формирования топонимных ареалов Заонежья // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера (Материалы IV Междунар. науч. конф. «Рябининские чтения-2003»). Петрозаводск, 2003. С. 322–237.

Карельская топонимия Валаама // Прибалтийско-финское языкознание. Петрозаводск, 2003. С. 45–54.

Старое Заонежье: вепское или карельское? // Кижский вестник. Вып. 8. Петрозаводск, 2003. – С. 211–217.

История Петрозаводска в географических названиях // Север. 2003. № 5–6. С. 170–174.

Петрозаводск до Петрозаводска: История города в геогр. назв. // ТВР-Панорама. 2003. 14 мая. С. 24.

Русский Петрозаводск: История города в геогр. назв. // ТВР-Панорама. 2003. 4 июня. С. 8.

2004

Топонимия Заонежья: материал и его этноязыковая интерпретация // Сельская Россия: прошлое и настоящее. Вып. 3: Докл. и сообщ. девятой российской науч.-практ. конф. (Москва, декабрь, 2004). М., 2004. С. 235–237.

Культурный ландшафт Валаамского архипелага (на материале топонимии) // Валаамский монастырь: духовные традиции, история, культура: Материалы Второй междунар. научн. конф. СПб., 2004. С. 343–351.

Границы в топонимии Заонежья // История русского слова: ономастика и специальная лексика Северной Руси. Вологда, 2004. С. 164–178.

Бурсина О. Л. ГИС-технологии в исследовании топонимии Заонежья / О. Л. Бурсина, Е. В. Ляля, И. И. Муллонен // Проблемы развития гуманитарной науки на Северо-Западе России: опыт, традиции, инновации: Материалы науч. конф., посвящ. 10-летию РГНФ. Т. II. Петрозаводск, 2004. С. 112–116.

Информационные технологии в исследовании формирования топонимных ареалов Заонежья / И. И. Муллонен, Е. В. Ляля // Труды Карельского научного центра РАН. Вып. 6. Петрозаводск, 2004. С. 90–98.

Экспедиция к южным вепсам // Вопросы ономастики. 2004. № 1. С. 183–187.

Карлова О. Л. -L-овая модель в топонимии Карелии: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: специальность 10.02.22 – языки народов зарубеж. стран Европы, Азии, аборигенов Америки и Австралии (финно-угор. и самодийск. языки) / Карлова Ольга Леонидовна; науч. рук. Муллонен И. И. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2004. 22 с.

2005

Применение ГИС-технологий в исследовании топонимии Заонежья / И. И. Муллонен, Н. Л. Шибанова // Современные информационные технологии и филология: Тез. конф. 10–11 октября 2005 г. М., 2005. С. 38–40.

Границы в топонимии Заонежья // История русского слова: ономастика и специальная лексика Северной Руси. Вологда, 2005. С. 164–178.

Палеостров в ряду субстратных топонимов Обонежья // Ономастика в кругу гуманитарных наук: Материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 20–23 сентября 2005 г. Екатеринбург, 2005. С. 61–64.

Карельская топонимия Валаама // Сортавальский исторический сборник. Петрозаводск, 2005. Вып. 1. С. 17–27.

Об одной диалектной границе в Заонежье // Кижский вестник. Вып. 10. Петрозаводск, 2005. С. 208–215.

Топонимы как маркеры культурного ландшафта Заонежья // Прибалтийско-финское языкознание: лингвогеографические исследования: Сб. статей. Петрозаводск, 2005. С. 111–125.

Ляля Е. В. Геоинформационная аналитическая система «Топонимия Заонежья» / Е. В. Ляля, И. И. Муллонен // Вопросы ономастики. 2005. № 2. С. 86–96.

Роль карельского языка сегодня: Петр Зайков, Ирма Муллонен, Анатолий Кармазин, Ольга Карлова, Татьяна Клеерова // Карелия. 2005. 7 июля. С. 16–17.

Вечный спор физиков и лириков: старейшему науч.-исслед. учреждению Карелии, Ин-ту яз., лит. и истории (ИЯЛИ) КНЦ РАН, исполн. 75 лет / Татьяна Фомина, Ирма Муллонен // Карелия. 2005. 6 окт. С. 5.

Vepsian Oikonymy // Onomastica Uralica. 3. Settlement Names in the Uralian languages. Debrecen; Helsinki, 2005. P. 51–64.

Vepsän etnisen alueen muodostuminen paikannimistön perusteella // Vepsä. Maa, kansa, kulttuuri. SKST 1005. Tampereen museoiden julkaisuja 81. Jyväskylä, 2005. S. 48–62.

Кузьмин Д. В. Арсальная дистрибуция топонимных моделей Беломорской Карелии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: специальность 10.02.22 – языки народов зарубеж. стран Европы, Азии, аборигенов Америки и Австралии (финно-угор. и самодийск. языки) / Кузьмин Денис Викторович; науч. рук. Муллонен И. И.; ИЯЛИ КарНЦ РАН. Йошкар-Ола: МарГУ, 2005. 21 с.

Aro J. Paikannimet ovat Irma Mullosen intohimo: Mullonen on johtanut Karjalan kielen, kirjallisuuden ja historian tutkimuslaitosta vuoden alusta asti // Karjalan Sanomat. 2005. 14. syysk. (№ 36). S. 9.

2006

Академическая наука в Карелии: 1946–2006: в 2-х т. / РАН, КарНЦ; отв. ред. А. Ф. Титов; члены редкол.: Ю. А. Савватеев, В. С. Куликов, И. И. Муллонен [и др.] М.: Наука, 2006. Т. 1. 175 с.

Институт языка, литературы и истории // Академическая наука в Карелии. Т. 2. М., 2006.

Маркировка границы в топонимии Заонежья // Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике: К 70-летию Ж. Ж. Варбот. М., 2006. С. 245–255.

ГИС-технологии в исследованиях топонимии Карелии / И. И. Муллонен, Е. В. Ляля // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2006. № 1. С. 159–168. (Филология. Искусствоведение.) Библиогр.: с. 168.

Три публикации по прибалтийско-финской филологии // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2006. № 5. С. 59–64.

Сакральная топонимия Заонежья // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера: Сб. науч. статей. Архангельск, 2006. С. 121–128.

Топонимические этюды Вологодской земли // Вепсы: история, культура, современность: Материалы науч.-практ. конф. 29 марта 2006 г. Вологда, 2006. С. 63–72.

Наука о вепсах на рубеже столетий / В. П. Орфинский, И. И. Муллонен, И. Ю. Винокурова // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы: (памяти Н. И. Богданова). Петрозаводск, 2006. С. 7–33.

Формирование системы расселения в южновепском ареале // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы: (памяти Н. И. Богданова). Петрозаводск, 2006. С. 224–237.

Формирование этнолингвистической карты Карелии // Северная Европа в XXI веке: природа, культура, экономика. Т. 2: Материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию КарНЦ РАН (24–27 октября 2006 г.). Секция «Общественные и гуманитарные науки». Петрозаводск, 2006. С. 130–132.

Фонетическая интеграция прибалтийско-финской топонимии в русскую топонимию Заонежья // Славянизация Русского Севера. Механизмы и хронология / Под ред. Ю. Нуорлуото. Slavica Helsingiensia 27. Хельсинки, 2006. С. 282–292.

N. Zaitsevan vuotisjuhla // Linguistica Uralica XLII. 2006. N 2. С. 130–133.

2007

Введение в финно-угроведение: учебное пособие на финском языке – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 124 с.: ил. Загл. обл.: Johdatusta fennougristiikaan. Авт. также на фин. яз.: Irma Mullonen. Kirjall.: S. 4–5 ja teksteissa.

Карелия: Энциклопедия в 3-х т. / Редкол.: А. Ф. Титов (гл. ред.) [и др.]; ред. совет: С. Л. Катанандов (председатель) [и др.]; члены редкол.: Н. А. Басова, И. И. Муллонен [и др.]. Петрозаводск: ПетроПресс, 2007. Т. 1, А-Й. 400 с.

Загадка Выга // Комплексные гуманитарные исследования в бассейне Белого моря. Петрозаводск, 2007. С. 200–203.

Заонежье как центр и периферия топонимных ареалов Карелии // Рябининские чтения-2007: Материалы V науч. конф. по изучению народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 245–249.

Топонимический атлас Карелии: проблемы и перспективы // Финно-угорская топонимия в ареальном аспекте: Материалы науч. симпозиума. Петрозаводск, 2007. С. 7–19.

Этнокультурный потенциал вепсской топонимии // *Studia Slavica Finlandensia*. Т. XXIV. Вепсы и этнокультурные перемены XX века. Семинар в г. Санкт-Петербурге 5–6 октября 2006 г. Хельсинки, 2007. С. 39–56.

[Рецензия] // Вопросы ономастики. 2007. № 4. С. 134–137. Рец. на кн.: Дмитриева Т. Н. Топонимия бассейна реки Казым. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005.

Экспедиция на Осудареву дорогу // Вопросы ономастики. 2007. № 4. С. 174–179.

Das wepsische Personennamensystem // Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch Zentralladinisch. Hamburg, 2007. S. 231–240.

Ancient Place Names of Obonež'je in the Context of Ethnic and Linguistic Contacts // Topics on the Ethnic, Linguistic and Cultural Making of the Russian North / Ed. by Juhani Nuorluoto. *Slavica Helsingiensia* 32. Helsinki, 2007. P. 163–175.

Toponym Contacts along the River Svir // *Onomastica Uralica* 4. Borrowing of Place Names in the Uralian Languages. Debrecen; Helsinki, 2007. P. 141–157.

2008

Топонимия Заонежья: словарь с историко-культурными комментариями. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 240, [1] с.: карты.

Сельская Россия: прошлое и настоящее: Материалы XI Всерос. науч.-практ. конф. (Республика Карелия, Водлозерский национальный парк, 4–9 августа 2008 г.) / Редкол.: А. В. Петриков, О. П. Илюха, И. И. Муллонен [и др.]. М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. 377 с.

Словарь топонимов Заонежья: Проект // Севернорусские говоры. Вып. 9. СПб., 2008. С. 70–102.

Вепские материалы и исследования в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН // Вепсы на рубеже XX–XXI веков. По материалам межрегиональной науч.-практ. конф. «Вепсы – коренной малочисленный народ Российской Федерации: перспективы сохранения и развития», Петрозаводск, 24–25 апреля 2008 г. Петрозаводск, 2008. С. 50–56.

Границы топонимных ареалов Карелии. Материалы атласа // Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов: Гуманитарные исследования. Вып. 1. Петрозаводск, 2008. С. 217–256.

К истокам вепсских фамилий прионежских вепсов // Историко-культурное наследие вепсов и роль музея в жизни местного сообщества: Сб. науч. трудов по итогам междунар. конф., посвящ. 40-летию Шелтозерского вепсского этнографического музея, Петрозаводск–Шелтозеро, 30–31 октября 2007 г. / [редкол.: М. Л. Гольденберг и др.]. Петрозаводск, 2008. С. 158–164.

Топонимия как отражение этнического прошлого Сямозерья // История и культура Сямозерья. Петрозаводск, 2008. С. 25–38.

[Рецензия] // Вопросы ономастики. 2008. № 5. С. 183–188. Рец. на кн.: Saarikivi J. Substrate Uralica: Studies on Finni-Ugrian Substrate in Northern Russian Dialects. Tartu: Tartu University Press. 2006.

Возвращаясь к Онегабору: прибалтийско-финское прошлое Петрозаводска // Курьер Карелии. 2008. 10 янв. С. 5.

2009

Карелия: Энциклопедия в 3-х т. / Редкол.: А. Ф. Титов (гл. ред.) [и др.]; ред. совет: С. Л. Катанандов (председатель) [и др.]; члены редкол.: Н. А. Басова, И. И. Муллонен [и др.]. Петрозаводск: Петро-Пресс, 2011. Т. 2, К–П. 464 с.

Вепские карты в топонимическом атласе Карелии // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: Материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург 8–12 сентября 2009 г. Екатеринбург, 2009. С. 184–185.

Топонимический атлас Карелии в финно-угорском контексте // Языки и культура финно-угорских народов в условиях глобализации: Материалы IV Всерос. конф. финно-угроведов. Ханты-Мансийск, 2009. С. 15–17.

Международная конференция «"Калевала" в контексте региональной и мировой культуры» (Петрозаводск, 2–6 июня 2009 г.) // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2009. № 4 (57). С. 257–262.

[Рецензия] // Вопросы языкознания. 2009. № 2. С. 150–154. Рец. на кн.: С. А. Мызников. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб.: Наука, 2007. 395 с.

Типы языковых состояний в истории Заонежья // Севернорусские говоры. Вып. 10. СПб., 2009. С. 5–15.

Seesjärven historiaa paikannimien kertomana // Carelia. 2009. N 5. S. 89–93.

Georgi Kert on poissa: [muistokirjoitus] / S. L. Katanandov ym. // Karjalan Sanomat. 2009. 30. syysk. (№ 38). S. 3.

2010

«Калевала» в контексте региональной и мировой культуры: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 160-летию полного издания «Калевалы» / [Редкол.: ... И. И. Муллонен (отв. ред.) и др.]. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2010. 551, [3] с. : ил.

Географическая информационно-аналитическая система Топонимия Карелии: [буклет] [сост.: И. И. Муллонен, Е. В. Лялля]. Петрозаводск: Б. и., 2010. 1 л (слож. в 6 с.): ил.

Формирование этноязыковой карты Карелии (по материалам топонимического атласа) // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям. М., 2010. С. 424–427 (+ ил. 3 стр.).

Формирование диалектной карты карельского языка в контексте карело-вепсского контактирования // *Karelia Written and Sung: Representations of Locality in Soviet and Russian Contexts*. Helsinki, 2010. С. 16–28.

Язык и культура Поморья в «Словаре живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова / И. И. Муллонен, В. П. Кузнецова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2010. № 1 (106). С. 104–105.

[Рецензия] // Вопросы ономастики. 2010. № 1. С. 137–142. Рец. на кн.: Кюршунова И. А. Словарь некалендарных личных имен, прозвищ и фамильных прозваний Северо-Западной Руси XV–XVII вв.

«Нам есть чему поучиться у древних...» / интервьюер Елена Пиетийлайнен // Север. 2010. № 7/8. С. 90–93.

2011

И. М. Дуров. Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении / Редкол.: И. И. Муллонен (отв. ред.), В. П. Кузнецова, А. Е. Беликова. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 455 с.

Карелия: Энциклопедия в 3-х т. / Редкол.: А. Ф. Титов (гл. ред.) [и др.]; ред. совет: С. Л. Катанандов (председатель) [и др.]; члены редкол.: Н. А. Басова, И. И. Муллонен [и др.]. Петрозаводск: ПетроПресс, 2011. Т. 3, Р–Я. 384 с.

Новак И. П. Формирование и функционирование чередования ступеней согласных в карельском языке (фонологический и морфонологический аспекты): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спе-

циальность 10.02.22 – языки народов зарубеж. стран Европы, Азии, аборигенов Америки и Австралии (финно-угор. и самодийск. языки) / Новак Ирина Петровна; науч. рук. Муллонен И. И.; ИЯЛИ КарНЦ РАН. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 25 с.

Как это было. К 70-летию Н. Н. Мамонтовой. Биография, библиография, подборка публикаций в периодической печати / [авт. биогр. ст. И. И. Муллонен; сост. библиографии Н. В. Чикина]. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. 84 с.

Людики на топонимической карте Карелии // Историко-культурный ландшафт Северо-Запада: Четвертые Шёгреновские чтения. СПб.: Европейский Дом, 2011.

Исторические топонимы в контексте этнокультурного наследия Карелии // IX конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. Петрозаводск, 2011. С. 19–23.

Роль Института языка, литературы и истории КарНЦ в сохранении этнической идентичности прибалтийско-финских народов Карелии // Этнокультурное развитие национальных меньшинств на Северо-Западе России, в Северных странах и странах Балтии. Петрозаводск, 2011. С. 47–54.

Нина Николаевна Мамонтова (к 70-летию со дня рождения) // Труды КарНЦ РАН. 2011. № 6. С. 156–157.

[Рецензия] // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 3 (116). С. 114–115. Рец. на кн.: *Atlas Linguarum Fennicarum*, 1–3. – Helsinki, 2004–2010.

Уникальный «бренд» России. Карелия как пример правильной национальной политики: [интервью с директором Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук Ирмой Ивановной Муллонен / интервью вел Сергей Хорошавин] // Аргументы и факты. 2011. 2–8 февраля (№ 5). С. 3 (Прил.: Аргументы и факты. Карелия).

Voimaa kulttuuriperinnöstä: [keskustelu tieteen nykytilasta ja etnografi- ja antropologikongressin järjestelystä Petroskoissa Karjalan tiedekeskuksen kuuluvan Kielen, kirjallisuuden ja historian tutkimuslaitoksen johtajan Irma Mullosen kanssa / keskusteli Robert Kolomainen] // *Carelia*. 2011. N 4. S. 66–71.

2012

Зайцева Н. Г. Вопросник по собиранию материала для Лингвистического атласа вепсского языка / Н. Г. Зайцева, И. И. Муллонен, С. А. Мызников. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2012. 67 с.

Тысячелетний Сортавала: исторические ландшафтные театры / И. Муллонен [и др.]. Сортавала: О. В. Тальпина: Три Карелии, 2012. 71, [8] с.: ил.; 21 см. Авт. являются также: И. Смирнова, В. Громов, О. Яровой.

География на службе топонимики: две прибалтийско-финские топоосновы с «боковой» семантикой // Язык и прошлое народа: Сб. науч. статей памяти проф. А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2012. С. 170–181.

Применение ГИС-технологий в топонимике // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: Материалы II Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 8–10 сентября). Ч. 1. Екатеринбург, 2012.

Карельский след XVII века в топонимии Восточного Обонежья / Е. В. Захарова, И. И. Муллонен // XVII век в истории и культуре Русского Севера: Материалы XII Каргопольской науч. конф. Каргополь, 2012. С. 146–154.

Историческая топонимия как ресурс развития познавательного туризма в Карелии // Северные туристские дестинации как доминанта развития туризма Северо-Западного региона. Петрозаводск, 2012. С. 9–12.

Роль Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН в сохранении этнической идентичности прибалтийско-финских народов Карелии // Этнокультурное развитие национальных меньшинств на Северо-Западе России, в Северных странах и странах Балтии. Петрозаводск, 2012. С. 47–53.

Полевые исследования по ономастике Карелии // Вопросы ономастики. 2012. № 2.

Природные и культурные факторы формирования вепсской этнической территории // Труды КарНЦ РАН. 2012. № 4. С. 13–24.

[Рецензия] // Вопросы ономастики. 2012. № 2 (13). С. 127–133. Рец. на кн.: Кабинина Н. В. Субстратная топонимия Архангельского Поморья.

Уральская ономастика – о топонимии Поморья: [Рец. на кн.: Кабинина Н. В. Субстратная топонимия Архангельского Поморья] // Вестник Уральского отделения РАН. 2012. 2013/3. С. 270–272.

Захарова Е. В. ГИС-технологии в сохранении и исследовании топонимического наследия / Е. В. Захарова, И. И. Муллонен // Культурное наследие и информационные технологии: Тез. XIV междунар. конф. АДТИТ-2012. Петрозаводск, 2012. С. 26.

Большой и маленький залив: [о топонимах Пиньгуба и Ялгуба] // ТВР-Панорама. 2012. 17 окт. (№ 42). С. 22.

Ученые Карельского научного центра Российской академии наук: Биогр. слов. / Ред. кол.: А. Ф. Титов (глав. ред.) и др. 3-е изд., доп. и перераб. Петрозаводск: КНЦ РАН, 2012. 420 с. О Муллонен И. И.: с. 383.

2013

Первый карельско-русский словарь и его автор афонский архимандрит Феофан: [монография] / И. И. Муллонен, О. В. Панченко. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. 116 с.: ил.

Свод топонимов Заонежья / И. И. Муллонен, И. В. Азарова, А. С. Герд; под ред. А. С. Герда. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. 250 с.: карты. Алф. индекс топонимов. С. 176–250.

Большие озера маленького народа: идентификация по размеру в вепсской топонимии // Вепские ареальные исследования: Сб. ст. / Науч. ред. Н. Г. Зайцева, С. А. Мызников. Петрозаводск, 2013. С. 130–144.

Историко-культурное наследие Карельского Приладожья / С. И. Кочуркина, И. И. Муллонен // Зеленый пояс Фенноскандии: Материалы междунар. конф. Петрозаводск, 7–12 октября 2013 г. Петрозаводск, 2013. С. 47.

Студенческая научно-исследовательская лаборатория ИСТОК (историческая топонимика Карелии): концепция и образовательный потенциал // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации: Сб. науч. статей VI Региональной науч.-методич. конф. Петрозаводск, 2013. С. 191–198.

Карельско-русские словарные записи афонского архимандрита Феофана, сделанные в Соловецкой тюрьме (1666–1668 годы) / И. И. Муллонен, О. В. Панченко // Труды КарНЦ РАН. 2013. № 4. С. 16–30.

Новое исследование по гидронимии Белозерья (отзыв на: Макарова А. А. Русская озерная гидронимия Белозерья: системно-функциональный аспект) // Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14). С. 179–184.

«Язык земли»: топонимы российско-финляндского пограничья // Зеленый лист. 2013. № 3. С. 34–35.

К нашим баранам: [о том, что означают названия отдаленных районов Петрозаводска Зимник и Бараний Берег] // ТВР-Панорама. 2013. 16 января (№ 3). С. 21.

Деревня на горе: [о происхождении названия деревни Кинерма] // ТВР-Панорама. 2013. 20 февраля (№ 8). С. 10.

Остров водяного мха: [о происхождении названия о. Кижь] // ТВР-Панорама. 2013. 27 марта (№ 13). С. 12.

О Ладва-Ветке, Пас и Ивинке: [топонимы] // ТВР-Панорама. 2013. 22 мая (№ 21). С. 21.

Гора, где растет малина: [о происхождении названия Малиновая Варакка] // ТВР-Панорама. 2013. 20 ноября (№ 47). С. 29.

Karjalan paikannimikartasto: tuloksia ja ongelmia // Läänemeresoome keeled kaartidel. Õdagumeresoomõ keeleq kaartõ pääl. Itämerensuomalaiset kielet kartalla. Finnic languages on the map. 24. –26.10.2013. Kava ja teesid. Võru, 2013. C. 10.

2014

Этноязыковой и историко-культурный потенциал «Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков» // Труды Отделения историко-филологических наук 2008–2013. М., 2014. С. 527–542.

Заонежье на топонимической карте российского Северо-Запада // Церковь Преображения Господня на острове Киж: 300 лет на заонежской земле: сб. статей: [докл. науч. конф., посвящ. 300-летию Церкви Преображения Господня, Петрозаводск, 3–5 сентября 2014 г.]. Петрозаводск, 2014. С. 221–228.

Быкова Е. А. Квалитативные модели основной топонимии Карелии / Е. А. Быкова, И. И. Муллонен // V Всерос. конф. финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России», Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г.: материалы / Редкол.: Н. Г. Зайцева (отв. ред.), И. И. Муллонен (отв. ред.), И. Ю. Винокурова и др. Петрозаводск, 2014. С. 11–13.

Материалы по северновепской топонимии // Истоки Карелии: время, территория, народы. Полевые исследования и архивные материалы. Петрозаводск, 2014. С. 29–54.

Об одной субстратной финно-угорской топооснове в Верхневолжье // Ономастика Поволжья: Материалы XIV Междунар. науч. конф., Тверь, 10–12 сентября 2014 г. / Под ред. И. М. Ганжиной, В. И. Супруна. Тверь: Изд-во Марины Батасовой; Альфа-Пресс, 2014. С. 80–84.

От чуди до мери (рец. на кн.: Rahkonen P. South-Eastern Contact Area of Finnic Languages in the Light of Onomastics. Jyväskylä: Bookwell Oy, 2013. 246 p.) // Вопросы ономастики. 2014. №1 (16). С. 162–169.

Формирование диалектной карты карельского языка // V Всерос. конф. финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России», Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г.: материалы / Редкол.: Н. Г. Зайцева (отв. ред.), И. И. Муллонен (отв. ред.), И. Ю. Винокурова и др. Петрозаводск, 2014. С. 62–66.

Кивач и Кивакка: [о топонимике] // ТВР-Панорама. 2014. 26 февраля (№ 9). С. 10.

Эта неуклюжая граница: [о значении названий населенных пунктов в Карелии] // ТВР-Панорама. 2014. 29 октября (№ 44). С. 21.

Языковед Бубрих: [о крупнейшем отечественном финно-угроведе Д. В. Бубрихе] // Карелия. Мой Петрозаводск. 2014. 1 ноября (№ 44). С. 13.

Чудаковатое Киндасово: [об истории названия деревни] // ТВР-Панорама. 2014. 26 ноября (№ 48). С. 27.

Истоки Карелии: время, территория, народы: полевые исследования и архивные материалы / [С. И. Кочкуркина, И. И. Муллонен и др.]. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 186, [1] с., [2] л. карт.: ил.

V Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России», Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г.: материалы / Редкол.: Н. Г. Зайцева (отв. ред.), И. И. Муллонен (отв. ред.), И. Ю. Винокурова и др. Петрозаводск, 2014. 665 с.

2015

Материалы научной конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европейском Севере». Петрозаводск, 1–2 октября 2015 года / Редкол.: Н. Г. Зайцева, Е. В. Захарова ... И. И. Муллонен и др. Петрозаводск, 2015. 282 с.

Захарова Е. В. Интеграция субстратных прибалтийско-финских топонимов в русскую топонимическую систему Восточного Обонежья: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: специальность 10.02.02 – языки народов Российской Федерации (финно-угорские языки) / Захарова Екатерина Владимировна; науч. рук. Муллонен И. И.; ИЯЛИ КарНЦ РАН. СПб.: ИЛИ РАН, 2015. 24 с.

Проблемы интерпретации этноязыковой истории Европейского Севера России на материале топонимики // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2015. С. 93–107.

Топонимные модели как маркеры формирования этнических территорий // Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения издания томов серии «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества»): Материалы V междунар. конф. по исторической географии. СПб., 2015. С. 204–208.

Д. В. Бубрих и «Калевала» / И. И. Муллонен, Е. Г. Сойни // Материалы научной конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европейском Севере». Петрозаводск, 1–2 октября 2015 года / Редкол.: Н. Г. Зайцева, Е. В. Захарова ... И. И. Муллонен и др. Петрозаводск, 2015. С. 14–22.

Толстые носы и широкие губы: идентификация по форме в топонимии Карелии // Рябининские чтения-2015: Материалы VII конф. по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2015. С. 558–560.

Топонимический метод в исследовании этноязыковой истории Карелии // Материалы научной конференции «Бубриховские чтения: гуманитарные науки на Европейском Севере». Петрозаводск, 1–2 октября 2015 года / Редкол.: Н. Г. Зайцева, Е. В. Захарова, И. И. Муллонен и др. Петрозаводск, 2015. С. 247–256.

Формирование диалектной карты карельского языка // Истоки Карелии: время, территория, народы. Междисциплинарные исследования. Петрозаводск, 2015. С. 149–167.

On the sources of Vepsian family names (Vepsäläisten sukunimien syntyjuurista) // Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Oulu, 2015. Book of Abstracts / Ed. By H. Mantila, J. Sivenon etc. University of Oulu, 2015. S. 371.

Муллонен И. И. // Ведущие ученые Карельского научного центра: краткий справочник / Авт.-сост.: А. Ф. Титов, Ю. А. Савватеев. Петрозаводск, 2015. С. 113–114.

Tabula Gratulatoria

Айбабина Евгения Александровна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Алматов Владимир Михайлович, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института языкознания РАН

Аникин Александр Евгеньевич, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий сектором русского языка Института филологии Сибирского отделения РАН

Байбурин Альберт Каишуллович, доктор исторических наук, профессор, Европейский университет в Санкт-Петербурге

Беликова Александра Евгеньевна, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка, координатор программы по русскому языку как иностранному, Языковой центр Университета Аалто, Финляндия

Богданова Елена Викторовна, кандидат филологических наук, директор Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи»

Веригин Сергей Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета

Герд Александр Сергеевич, доктор филологических наук, Почетный профессор СПбГУ, заведующий кафедрой математической лингвистики СПбГУ

Жаринова Ольга Михайловна, кандидат филологических наук, директор Национального архива Республики Карелия

Жеребцов Игорь Любомирович, доктор исторических наук, директор ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Забоева Надежда Кимовна, зав. редакционно-издательским отделом ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Зайков Петр Мефодьевич, доктор филологических наук

Ива Сулев – Sulev Iva, researcher, Ph.D., Võro Instituut

Иганус Ирья Тойвовна, старший преподаватель кафедры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского государственного университета

Казанский Николай Николаевич, академик, директор Института лингвистических исследований РАН

Килин Юрий Михайлович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета

Кюришунова Ирина Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент Петрозаводского государственного университета

Лесонен Алексей Николаевич, министр культуры Республики Карелия

Лудыкова Валентина Матвеевна, доктор филологических наук, профессор Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина

Мальчукова Татьяна Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой классической филологии Петрозаводского государственного университета

Манин Андрей Александрович, министр Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации

Минеева Зоя Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Петрозаводского государственного университета

Михайлова Любовь Петровна, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка, заведующая лабораторией лингвистического краеведения и языковой экологии Петрозаводского государственного университета

Молдован Александр Михайлович, академик, директор Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Мусанов Алексей Геннадьевич, кандидат филологических наук, заведующий сектором языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Некрасова Галина Александровна, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Некрасова Ольга Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, научный сотрудник сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Патроева Наталья Викторовна, доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка Петрозаводского государственного университета

Паишков Александр Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета

Подсадник Лариса Анатольевна, ректор Карельского института развития образования

Пунегова Галина Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Ракин Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, доцент, главный сотрудник сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Рахимова Элина Гансовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы (ИМЛИ) им. Горького РАН

Ровенко Надежда Виленовна, кандидат филологических наук, ответственный секретарь научного журнала «Ученые записки Петрозаводского государственного университета», начальник отдела объединенной редакции научных журналов Петрозаводского государственного университета

Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Саар Эвар – Evar Saar, researcher, PhD, Võru Institute, University of Helsinki

Саарикиви Янне – Janne Saarikivi, PhD, kollegiumtutkija, Helsingin yliopisto

Сажина Светлана Александровна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Смирнов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского института истории РАН

Соломещ Илья Мотелевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета

Суни Лев Вальтерович, доктор исторических наук, профессор-эмеритус

Суутари Пекка – Pekka Suutari, professor of cultural studies, University of Eastern Finland, Joensuu

Такала Ирина Рейевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета

Федосеева Елена Николаевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Фишман Ольга Михайловна, доктор исторических наук, заведующая отделом этнографии народов Северо-Запада и Прибалтики Российского этнографического музея

Харитоновна Елизавета Евгениевна, заместитель министра Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации

Хямюнен Тапио – Tapio Hämynen, PhD, professor, Department of geographical and historical Studies, University of Eastern Finland

Цытанов Евгений Александрович, доктор филологических наук, доцент, заместитель директора по научной работе ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, зав. отделом языка, литературы и фольклора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН

Чистов Юрий Кириллович, доктор исторических наук, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Шикалов Юрий Геннадьевич, доктор философии, доцент кафедры истории и географии Университета Восточной Финляндии

Содержание

<i>От составителей</i>	5
<i>Зайцева Н. Г.</i> Разгадывая тайны ономастики: к юбилею Ирмы Ивановны Муллонен	7

Междисциплинарные исследования и научное партнерство

<i>Загребин А. Е.</i> «Забытые тексты» этнографического финно-угроведения (1920–1930-е гг.)	14
<i>Кочкуркина С. И.</i> Археология и топонимика	21
<i>Толстиков А. В.</i> Бояре по-шведски: понятие <i>bajor</i> в шведском языке XVI–XVII вв.	33
<i>Гольденберг М. Л.</i> Музей и наука: партнерство научных учреждений и Национального музея Республики Карелия	42
<i>Петухова И. Г., Намятова Е. С.</i> Ученые и архивисты: грани сотрудничества	47

Языкознание

<i>Saarikivi J.</i> Pieni essee sanojen kohtaloista	68
<i>Березович Е. Л., Рут М. Э.</i> Заметки на полях экспедиционных блокнотов (Волго-Двинское междуречье)	80
<i>Федюнева Г. В.</i> Лексика в освещении этнической истории пермских народов: к оценке валидности привлекаемых этимологий	91
<i>Михайлова Л. П.</i> О степени устойчивости экстенциальных лексических единиц в системе говора	105
<i>Зайцева Н. Г., Жукова О. Ю.</i> О некоторых терминах духовной культуры вепсов в свете лингвистической географии	117
<i>Мызников С. А.</i> Некоторые аспекты изучения оленеводческой лексики (на материале уральских языков и севернорусских говоров) ..	135
<i>Зайков П. М.</i> Междialeктные различия в области вокализма карельского языка.	142
<i>Новак И. П.</i> Случай аффиксального плеоназма в карельском языке (по результатам исследования именной словоизменительной системы тверских карельских диалектов)	153
<i>Аганитов В. А.</i> Почему все-таки Кижи?	161

<i>Кабинина Н. В.</i> К этимологии гидронима <i>Мезень</i>	164
<i>Karlova O.</i> Karjalainen ja vepsäläinen ei-kristillinen henkilönnimikantainen paikannimistö	171
<i>Кузьмин Д. В.</i> Ландшафтный термин <i>puro</i> в топонимии Карелии. . .	188
<i>Макарова А. А., Захарова Е. В.</i> Оппозиция топонимических моде- лей как маркер границы: названия островов леса на болоте в Бело- зерье.	194
<i>Соболев А. И.</i> Формирование культурного ландшафта в зеркале субстратной топонимии Юго-Восточного Обонежья.	203

Этнография и фольклористика

<i>Винокурова И. Ю.</i> Небесный пуп <i>taivaznaba</i> и небо в вепсской на- родной космографии.	222
<i>Иванова Л. И.</i> Элементы регламентации и табуирования в этике банного ритуала карелов.	232
<i>Пашкова Т. В.</i> Береза в народной медицине карелов.	244
<i>Логинов К. К.</i> Обычай, обряды и поверья, связанные с охраной природной среды в Обонежье.	247
<i>Лойтер С. М.</i> Память детства как хранилище фольклорно-эт- нографических фактов (по следам материалов и записей от Ана- стасии Степановны Койбиной из Заонежья)	254
<i>Набокова И. И.</i> Сказители Космозерской волости: материалы к биографиям.	264

Археология и история

<i>Тарасов А. Ю.</i> Обучение и ученичество в древней индустрии ка- менных орудий.	276
<i>Хорошун Т. А.</i> Технология древнего гончарства на территории Ка- релии по данным петрографического исследования неолитической керамики.	284
<i>Жуков А. Ю.</i> Правовое положение саами и вепсов в системе рос- сийской государственности IX–XVII вв.	292
<i>Пигин А. В.</i> Просительное послание старообрядцев Шелтопог- ского скита о милостыне.	308
<i>Чернякова И. А.</i> Полиэтничность и социальная стратификация в Карелии на рубеже XIX–XX столетий: источники информации. . .	314
<i>Дубровская Е. Ю.</i> Праздничное пространство города конца XIX – начала XX в.: губернский Петрозаводск глазами современников	325

<i>Бавулинская Л. И.</i> Финноязычная школа в Карелии в 1944 – конце 1950-х гг.	333
<i>Илюха О. П.</i> Репрезентация «нашей страны» и «нашей республики» в букварях для школ Карело-Финской ССР	341
Библиография трудов И. И. Муллонен (<i>составитель Н. В. Чикина</i>)	352
<i>Tabula Gratulatoria.</i>	373

Научное издание

ФИННО-УГОРСКАЯ МОЗАИКА

сборник статей к юбилею Ирмы Ивановны Муллонен

Редактор *Л. С. Баранцева*
Оригинал-макет *Н. Н. Сабанцева*

Сдано в печать 01.06.2016. Формат 60x84¹/₁₆
Гарнитура Times New Roman.
Уч.-изд. л. 21,5. Усл. печ. л. 22,0.
Тираж 300 экз. Заказ 363.

Карельский научный центр РАН
Редакционно-издательский отдел
185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50